

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ПО ИСТОРИИ
СРЕДНИХ ВЕКОВ

СОСТАВЛЕННАЯ КРУЖКОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА

П. Г. Виноградова

ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ
И ПОСЛЕДНИЙ

Москва - 1903 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящим четвертым выпуском заканчивается «Книга для чтения по истории средних веков». Собранные в нем статьи касаются так называемого «Возрождения»—перехода от средневековых начал к воззрениям и быту нового времени. Борьба в церкви, новые движения в литературе, открытия и изобретения, перемены в хозяйстве той эпохи могут рассматриваться с двух точек зрения: в связи с эволюцией Новой Европы, которая открывается ими, или в связи с жизнью XIV и XV веков, которая породила их. В нашем сборнике все эти явления характеризуются с второй точки зрения и как бы замыкают круг средневекового развития.

LXXII. Марсилий Падуанский и Вильгельм Оккам

Столкновение Людвига Баварского с папой

В XIII столетии, в лице могущественнейшего из пап, Иннокентия III, церковь праздновала свою высшую победу над государством. В том же веке величайший из средневековых философов Фома Аквинский нашел наиболее совершенную форму для выражения церковного мирозерцания, окончательно приспособив Аристотеля к потребностям господствующей церкви. Когда затем ближайшие ученики Фомы, Эгидий Римский и Альвар Пелагий, провозгласили, что папская власть не имеет веса, меры и числа и что папа есть не просто человек, а Бог и именно Бог императора,—дальше этого обоготворения идти было некуда.

Но в то самое время, когда провозглашали эти крайние выводы, уже начиналась реакция против папского всемогущества. Спор Бонифация VIII с Филиппом IV Красивым ознаменовал собою начало нового периода папства. С этих пор папскому авторитету наносятся все более и более тяжкие удары, пока, наконец, все это движение не закончилось полной победой государства над церковью и торжеством протестантизма. Светская власть постепенно приходит к сознанию своей силы. Вместе с тем все решительнее и смелее становится работа критической мысли, разрушавшей господствующее значение средневекового католицизма. В XIV веке мы встречаемся уже с учениями, которые безстрашно нападают на самые основы средневековой церкви и подвергают критике ее вековые предания. В этом отношении особенно замечателен литературный поход против папства, поводом к которому послужило столкновение Людвига Баварского с Иоанном XXII. В течение всех средних веков папы не знали оппозиции более опасной. Во главе движения стояли Марсилий Падуанский и Вильгельм Оккам, вооруженные всеми средствами схоластической учености и принадлежавшие к числу самых замечательных умов своего века. Один из ближайших преемников Иоанна XXII, Климент VI, не без основания говорил, что он, кроме спасения своей души, ничего не желает в такой степени, как спасения души и возвращения в лоно церкви Виль-

Пособия: *Goldast*, *Monarchia Sancti Imperii Romani*, II (политич. трактаты Марсилия П. и В. Оккама). *Rieder*, *Die Widersacher der Papste zur Zeit Ludwig des Baiers*, 1874. *Чичерин*, *История политических учений*, I, 1869.»

гельма Оккама. С такими же основанием он утверждали, что ему никогда не случалось читать худшего еретика, чем Марсилий. В этих отзывах заключается своеобразная оценка значения двух мыслителей, явившихся в XIV в. самыми сильными противниками пап.

Поводом к столкновению папы с Людвигом Баварским послужила распря в самой Германии. При избрании кандидата на императорский престол в коллегии курфюрстов Людвиг получил пять голосов, а остальные два были поданы за Фридриха Австрийского. Но последний не захотел уступить своему противнику и вступил с ним в борьбу, оспаривая у него права на императорскую корону. Когда оба соперника заявили о своих правах папе, последний не высказался определенно об их избрании. Однако, он назначил в Италию своего наместника вместо посланного туда Людвигом, как бы выражая этим свое несогласие признать законным его избрание в императоры. Победа Людвига над Фридрихом не уладила вопроса. Иоанн требовал, чтобы император сложил с себя власть и ждал папского утверждения. Людвиг ссылаясь на старый обычай, по которому император получает власть с момента избрания своего курфюрстами, и продолжал управлять империей, поддерживая в Италии своих приверженцев. Тогда папа отлучил императора от церкви и наложил интердикт на его земли. Таки началась эта борьба, продолжавшаяся со вступления Иоанна XXII на папский престол в 1316 году до самой смерти Людвига, последовавшей в 1347 году при втором из преемников Иоанна. Император то издавал протесты против папских интердиктов и взывал к вселенскому собору, по примеру Филиппа IV; то смирялся и посылал послов к папе, обещая подчиниться его воле; то предпринимал поход в Рим и созывал собор епископов для избрания нового папы; то готов был порой отказаться от престола, чтобы прекратить неурядицу, вызванную борьбою. Но Иоанн и его преемники оставались непреклонны и отвечали отказом на все попытки примирения. Еще недавно смирившиеся пред могуществом французских королей, авиньонские папы тем решительнее выступали против германских императоров, что находили себе поддержку во Франции. А между тем Германия страдала от всех бедствий неопределенного положения, поставленная между императорскою властью и папскими запретами. Во многих местах запирались храмы, и прерывались правильные службы; церковь отказывала в своем благословении народу. Там же, где императорская партия одерживала верх над папскою, епископы из страха, а иногда из преданности императору, переходили на его сторону, и интердикт нарушался. В зависимости от колебаний императорской политики и временного перевеса той или другой партии изменялось и отношение к папским распоряжениям отдельных церковных общин. Иногда прежние сторонники императора переходили на сторону папы, раскаиваясь в своем отступничестве и ссылаясь на принуждение светских властей. Вообще же и народ, и духовенство находились часто в крайне затрудненном и невозможном положении, поставленные в необходимость повиноваться двум властям, из которых одна повелевала, а другая запрещала, одна требовала присяги на верность, а другая торжественно давала разрешение от этой присяги. В XIV веке интердикт не утратил еще своего значения, и император испытывал самые серьезные затруднения от несогласия с папой. Истощенный долгою борьбой, Людвиг в конце своего царствования вновь готов был на всякие уступки, чтобы только добиться примирения. Но примирение не приходило. За год до смерти императора папа Климент VI подтвердил отлучение его от церкви, все еще недовольный уступками, которые делал Людвиг. Таковы были внешние условия, вызвавшие новых защитников светской вла-

сти на литературную борьбу против папского престола. Убегая от преследований папской курии, они собирались около Людвига и поддерживали его в борьбе с папой. Они защищали в своих трактатах политику императора, опровергали притязания пап и доказывали первенство вселенских соборов. Они вносили в борьбу еще большее ожесточение, не раз навлекая на императора новые осуждения за покровительство отступникам и еретикам.

Марсилий

Одним из первых прибывших к Людвигу был Марсилий, итальянец по происхождению, называемый обыкновенно, по месту рождения, Падуанским. Получив образование в родном городе, где он изучал философию и медицину, он провел несколько лет в Италии, пробуя свои силы на разных поприщах. Крайне подвижной и беспокойный по своему характеру, Марсилий переходил из одного города в другой, несколько раз менял занятия, от врачебной практики обращался к военному искусству и, наконец, принял духовное звание. После этого он переехал во Францию, где посвятил себя преподавательской деятельности в Парижском университете. В 1312 году он получил здесь почетную должность ректора. В Париже Марсилий должен был прийти в соприкосновение с главнейшими представителями ученого мира и, вероятно, здесь впервые он усвоил отрицательное отношение к папским теориям. Парижский университет еще так недавно стоял на стороне Филиппа Красивого в его споре с папой, и в нем были еще свежи воспоминания недавней полемики с защитниками папского авторитета. Будучи профессором Парижского университета, Марсилий уже распространял свои идеи о несостоятельности папских притязаний. Когда же возгорелась война Иоанна XXII с Людвигом, он изложил свое учение в обширном сочинении, которому дал характерное название: «Защитник мира» («Defensor pacis»). Сочинение Марсилия вышло в 1324 году. Вслед за этим он поспешил к германскому императору, с целью поддержать его в борьбе. «Ученые и правители», так писал он в своем трактате, «должны вместе бороться против губительных последствий папского учения. Было бы несправедливо терпеть зло, когда имеешь средства ему противодействовать».

Defensor pacis

В самом начале сочинения обнаруживается связь его темы с событиями дня. Марсилий начинает с утверждения, что во всяком государстве самое желательное есть спокойствие, а самое вредное—раздор. Аристотель, замечает Марсилий, описал многие причины раздора; но после него явилась еще одна, которую древний философ не мог предвидеть. Эту причину он и хочет раскрыть в этом своем сочинении, с целью помочь императору Людвигу восстановить в империи порядок и мир. В дальнейшем изложении разъясняется, что главным злом, нарушающим мир европейских государств, является ложное понятие духовенства о своей власти и в особенности притязания пап на право судить и наказывать князей и вообще светских лиц. Духовенство претендует на принудительную и карательную власть, между тем как Христос дал своим ученикам только власть учить, а не принуждать. Марсилий основывает свое утверждение и на евангельских текстах, и на соображениях общего характера о неприменимости принуждения в деле исполнения евангельских заветов, Нельзя ввести грешника в царствие Божие путем насилия. Нельзя и карать его за грехи, ибо наказание грешников принадлежит Богу и осуществляется в будущей жизни. Духовные лица могут только наставлять и увещевать, научая людей тому, что нужно делать для получения вечной награды. На этом основании Марсилий протестует против наказаний, налагаемых

на еретиков, и, таким образом, вооружается против давнишней практики папства, которую еще Августин завещал в наследие средним векам. Незадолго до Марсилия Фома Аквинский учил, в духе своей церкви, что еретиков следует наказывать смертью. Марсилий возставал против того, что признавалось в его время за неоспоримую истину высшими истолкователями католицизма. В его идее церковь являлась союзом исключительно духовным, наделенным одними нравственными средствами. Но, высказывая эту идею, Марсилий шел в разрез со всем строем средневековой церкви, присвоившей себе высшее распоряжение светским мечом и постоянно вторгавшейся в область гражданских отношений.

Определяя характер и границы духовной власти, Марсилий старается ввести в должные пределы и чрезмерные притязания пап. С помощью текстов Св. Писания он старается доказать, что все епископы имеют совершенно одинаковую власть, подобно тому, как одинаковою властью пользовались все апостолы. Христос не давал Петру главенства над другими своими учениками. К тому же из Св. Писания не видно, чтобы Петр когда-либо был в Риме. Следовательно, для римского епископа нет никакого основания считать себя его преемником. Для Марсилия преемство папской власти от Петра не более, как выдумка, а первенство пап над другими епископами — ни на чем не основанное притязание. Здесь Марсилий высказывается со смелостью, удивительно в писателе XIV века. По его воззрению, верховная власть в церковной области должна принадлежать не одному какому-либо епископу и даже не коллегии епископов, а всему обществу верующих, или всей церкви. Марсилий повсюду проводит ту мысль, что верховная власть должна находиться в руках народа, который является лучшим судьей в вопросах общего блага. Такие взгляды высказывались и некоторыми приверженцами пап, но только в отношении к светской области, с целью умалить значение светских правителей. Марсилий распространяет свою теорию и по отношению к области духовной, утверждая, что и здесь высшее право распоряжения принадлежит всей церкви. Но так как всех верующих невозможно созвать в одно собрание, то церковь издает законы и объявляет свои распоряжения при посредстве вселенского собора, состоящего из ее представителей. Собору и принадлежат те права, которые присваивает себе папа. Только он может издавать церковные законы; только он может отлучать от церкви князей и вообще граждан. Марсилий признает, что для охранения порядка в собраниях и для исполнения соборных постановлений полезно установление верховного епископа и что эти обязанности лучше всего поручить римскому епископу, согласно с старым обычаем церкви. Но никаких иных прав папа иметь не может.

Суживая, таким образом, власть церковного союза и пределы действий пап, Марсилий, конечно, лишь с осуждением мог отнестись к политике Иоанна XXII. Он считает незаконными все его действия по отношению к Людвигу и, с другой стороны, оправдывает императора, возставшего на защиту своей власти. Вообще он находит неправильным вмешательство папы в избрание императора. Если он избран курфюрстами, то папа должен его утвердить и короновать, при чем этими актами императору не сообщается никакой новой власти: они установлены лишь в качестве торжественной церемонии. Иоанн не имел также права отлучить Людвига от церкви и наложить интердикт на его земли: это мог сделать только собор. Действия папы производят лишь смуты и нарушают мир, и против них следует бороться всеми силами.

Все это обсуждается и излагается у Марсилия с большой обстоятельностью. Доводы за и

против повсюду приводятся в большом обилии. Несмотря на то, что сочинение написано в два месяца и по частному случаю, оно представляет собою солидное исследование, удовлетворяющее всем требованиям схоластической эрудиции. Чрез тяжеловесную форму изложения везде проглядывает живая и оригинальная мысль смелого новатора.

Марсилий посвятил свое сочинение Людвигу Баварскому и затем сам отправился к нему, чтобы руководить его действиями в борьбе с папой. Ему действительно удалось, хотя и не надолго, приобрести влияние на императора, который сделал его своим лейб-медиком и ближайшим советником. Но учение Марсилия было слишком ново и слишком радикально для своего времени. Папские проклятия не замедлили возвестить о впечатлении, которое было произведено сочинениями Марсилия в Авиньоне. Людвиг вскоре должен был отречься от теорий своего ученого советника, как от еретических заблуждений. Даже товарищи Марсилия по оппозиции папам находили иные взгляды его крайними и еретическими.

Оккам

В смысле практического влияния на общество гораздо более опасны для пап были сочинения Вильгельма Оккама, который везде искал средних путей и, однакоже, постоянно стремился указать границы для действий духовной власти.

Родом из Англии, Вильгельм Оккам, подобно Марсилию Падуанскому, занимался сначала преподаванием в Парижском университете, подобно ему, он примкнул еще здесь к партии противников папы. Но во время своей университетской деятельности Оккам прославился, главным образом, как философ, возродив учение номиналистов. На этот раз номинализм, отвергнутый прежде церковью и схоластическими авторитетами, выступает в новой роли и употребляется для защиты церковного учения. Реалисты, отстаивая соответствие общих понятий разума с действительностью, утверждали, что в этих понятиях могут быть для нас раскрыты и высшие реальности, составляющие предмет веры. На этом основано было их убеждение в возможности прийти к религиозным истинам путем разума. Но работа разума, даже направляемого церковным вероучением, не всегда оказывалась безопасной для принятого церковью понимания догматов. Являлись несогласия, противоречия, отступления. Это породило сомнение в возможности согласовать разум с верой. От этого сомнения и отправляется номинализм XIV века. Вопреки утверждениям реализма, он учит, что общим понятиям не соответствует ничто в действительности, что разум может познавать только единичные явления и неспособен к постижению религиозных начал, которые раскрываются только вере при посредстве откровения. Такова была форма, которую получил номинализм у Оккама и его последователей. В этом виде номиналистическое учение с успехом боролось теперь с реализмом и вскоре отняло у него значение доктрины, покровительствуемой церковью.

Вильгельм Оккам приобрел уже себе большую славу, как возобновитель номинализма, когда ему пришлось выступить на поприще литературной борьбы с папами. Первым поводом к этому послужило столкновение Францисканского ордена, к которому он принадлежал, с папой Иоанном XXII. Этот орден нищенствующих монахов требовал от своих членов отречения от всякой собственности, видя в этом путь к нравственному совершенству, указанный Христом и апостолами. И прежде это требование подвергалось различным толкованиям и возбуждало споры, которые часто восходили на разрешение пап. Когда подобный

спор возник при Иоанне XXII, он высказался против утверждения францисканцев, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, доказывая, что пользование необходимыми для жизни вещами не может быть отделено от собственности, и что, поэтому, полное отречение от всех имущественных благ не могло быть заповедано Христом. Учение францисканцев было объявлено еретическим. Тогда францисканцы, видя со стороны папы отрицание учения, на котором покоился весь порядок их жизни, сами обвинили его в ереси и апеллировали к вселенскому собору. Между папой и орденом завязалась борьба, в которой Вильгельм Оккам принял самое деятельное участие. Папа отлучил, наконец, протестующих монахов от церкви, и в 1328 году они должны были спасаться от его преследований бегством. Это привело их к Людвигу Баварскому. С этих пор Оккам провел остальные годы своей жизни в резиденции германского императора, Мюнхене, всецело предавшись делу литературной борьбы с папским престолом. Он изучил здесь все сочинения папских противников, и в течение двадцати лет неутомимо трудился над обработкой собственных взглядов, выпустив за это время целый ряд обширных исследований о природе духовной власти, об отношении ее к светским властям и о других вопросах средневековой политики.

Учение Оккама

В своей борьбе с папскими теориями Оккам выступает, прежде всего, в качестве защитника христианской веры. Это та же точка зрения, которую мы отметили в его философских воззрениях. «Никакая угроза, испытания и опасности, ничто не может отвратить нас от защиты христианской религии, за которую мы привыкли нести всякие тяготы и страдания», — писал Оккам о себе и своих товарищах. Спор Иоанна с францисканцами совершенно разрушил в Оккаме веру в папскую непогрешимость. Он увидел себя вынужденным защищать против папы истинный дух евангельского учения. Отправившись от богословского спора с папой, он перешел затем к рассмотрению всех притязаний средневекового папства. Он не мог уже, конечно, принять теорий папского всемогущества и повсюду старался ввести духовную власть в более тесные пределы. Однако, мы не находим у Оккама того строгого разграничения светской и духовной областей, которое делал Марсилий Падуанский. Оккам допускает даже вмешательство церкви в светские дела, хотя только в случаях крайней необходимости, когда светская власть забывает о своих обязанностях. Но обычным и естественным порядком он все-таки считает тот, когда обе власти действуют раздельно. Христос разделил обе власти, чтобы соединяющей их не возгордился и чтобы мирские заботы не мешали духовному служению. Поэтому духовная власть ограничивается церковными делами и может предписывать только то, что необходимо для спасения душ. Если при бездействии светских властей она и должна заботиться об общем благе, то, с другой стороны, и светские правители при нерадении духовенства могут вмешиваться в церковную область и прекращать возникающие в ней беспорядки. Так, например, светский князь может предать суду папу, повинного в ереси, если этого не делает духовенство.

Эта теория взаимного восполнения двух властей в случае бездействия одной из них не отличалась, конечно, большою определенностью. Оккам не решается отмежевать для духовной власти исключительно церковную область, делая таким образом уступку средневековому воззрению. Но зато он наделяет и светскую власть правом вмешательства в церковные дела, уравнивая ее в этом отношении с духовною. При всей своей умеренности это учение совершенно подрывает теорию полновластия и независимости пап.

Что касается главенства пап над другими епископами, то и здесь Вильгельм Оккам держится точки зрения более умеренной. Вопреки мнению Марсилия Падуанского, он думает, что Христос действительно установил единого главу церкви в лице Петра, законными преемниками которого являются римские епископы. Но Христос, прибавляет он, не отнял у церкви права изменять форму своего устройства, соответственно потребностям времени. Церковное единство, охраняемое папой, может охраняться и общею деятельностью епископов. В случае нужды церковь может перейти и к этому устройству, уничтожив главенство пап. Таким образом, для Оккама папство не более, как временное учреждение, которое, в случае необходимости, может быть и отменено. Держась средних путей, он все-таки приходит к мнениям, разрушающим самые основы средневекового католичества. — Неумолимый борец на литературном поприще, Оккам являлся сильнейшим противником пап. Светская власть имела в нем самого деятельного сторонника. На защиту Людвига он писал обширные трактаты, отстаивая правомерность его действий.

Но в век Людвига Баварского и его сподвижников еще не пришло время для победы новых начал над теориями средневекового папства. Император умер, истомленный борьбой с папами, и уступил свое место покорному приверженцу папского престола Карлу IV; Марсилий Падуанский окончил свою жизнь в неизвестности, лишившись влияния на дела; Оккам перед смертью выражал желание примириться с папой. Но тем началам, которые они защищали, принадлежало будущее. Важно было то, что в среде самого духовенства появились лица, столь решительно выступавшие против пап, что исконные притязания папства начинали подвергаться серьезной критике. Это было предзнаменованием новой эпохи, готовившейся разрушить господствующее значение средневековой церкви.

П. Новгородцев.

LXXIII. Джон Уиклифф

Биография

Если вообще ранние годы жизни средневековых писателей скрываются в тумане, который самая кропотливая разыскания не могут разорять, то в особенности это можно сказать о первых страницах биографии Джона Уиклиффа. Год рождения английского реформатора, годы его детства и юности, детских игр и университетского учения, первые самостоятельные шаги на жизненном пути, все это—пункты, о которых ученые спорили и продолжают спорить, не приходя к одному определенному и окончательному решению. Поэтому многое из того, что придется сообщить здесь о жизни Уиклиффа, более или менее вероятные предположения.

Год рождения Уиклиффа совершенно неизвестен. Основываясь на том факте, что умер Уиклифф в 1384 году в преклонном возрасте, разбитый параличом, предполагают, что родился он около 1320 года. Местом рождения его считают деревню Ipreswell (теперь Hipswell) в окрестностях Ричмонда (в Йоркшире); происходил он из семейства, владевшего поместьем (мэнором) Wycliffe-on-Tees. По обычаю того времени, Уиклифф очень молодым отправился в Оксфорд. Хотя при многих тысячах академического населения Оксфордский университет состоял тогда только из пяти небольших коллегий, в которых могло жить только весьма ограниченное число студентов (остальные были экстерны), тем не менее есть основания предполагать, что в одной из этих коллегий (именно в коллегии, основанной Баллиолями, в так называемой Balliol College) нашлось место и для Уиклиффа. Здесь прошел он университетский курс: четыре года посвятил он словесным наукам—грамматике, риторике и логике—и по истечении этого времени получил степень бакалавра искусств, и

Пособия: *Fasciculi Zizaniorum Magistri Johannis Wyclif*. Ed. Rev. W. W. Shirley. London. 1858 (из серии *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*). *Chronicon Angliae* Auctore Monacho quodam Sancti Albani. Ed. Edw. M. Thompson. London. 1874 (из той же серии). *The English Works of Wyclif* hitherto unprinted Ed. by F. D. Matthew. London. 1880 (Early English Text Society). *Wycliffe and Movements for Reform*, by Reginald Lana Poole. London. 1889 (Epochs of Church History). *Constitutional History of England*, by W. Stubbs, v. II. *John Wyclif and his English Precursors*, by prof. Lechler. Transl. by P. Lorimer. Vols I—II. London. 1878.

три года посвятил точными науками—арифметике, музыке, геометрии и астрономии,—после чего были награжден степенью магистра искусств (*magister artium*).

Между 1356 и 1360 годами Уиклифф, уже fellow of Balliol¹, были избран начальником Баллиолевской коллегии (*Master of Balliol*). В 1361 году он получили от коллегии приход Филлингэм (*Fillingham*) в Линкольншире и, вероятно, на некоторое время оставили Оксфорд. В 1363 году они вернулись и до 1365 года включительно жили в *Queen's College*, снимая здесь комнату. В 1368 году он получил от линкольнского епископа позволение не жить в своем приходе в течение двух лет, чтобы «посвятить себя изучению наук в Оксфорде». Почти непосредственно после этого Уиклифф получили приход *Ludgarshall* в графстве Бэкс, и так как эта местность находилась на расстоянии каких-нибудь пятнадцати миль от Оксфорда, то весьма вероятно, что Уиклифф мог совмещать обязанности приходского священника с научными занятиями в Оксфорде.

В это время Уиклифф были уже влиятельным лицом не только в Оксфорде, но и при дворе. В 1366 году папа Урбан V потребовали от английского короля уплаты огромной суммы денег. Иоанн Безземельный, как известно, признали себя вассалом папы и обязался за себя и за своих преемников уплачивать римскому первосвященнику ежегодную подать в тысячу марок. Эдуард III не посылал этой дани уже тридцать три года. Как он, так и английский народ совершенно забыли свою зависимость от римского престола. Еще не прошло и трех лет с тех пор, как чувства их к Риму довольно ясно выразились в знаменитом статуте *Præmunire* (изданном в 1353 г.), который грозил объявлением вне закона, лишением собственности и заключением в тюрьму всякому, кто вздумает обходить английские суды и переносить свои дела в папские трибуналы. Папа Урбан V не обратил на это внимания. Не хотел он знать и того, что в глазах англичан он, авиньонский пленник,—не столько видимый глава христианской церкви, сколько несомненный представитель интересов враждебного им народа. Нет, поэтому, ничего удивительного, что парламент, созданный в мае 1366 года, наотрез отказался платить недоимку. «Ни король Иоанн, ни какой-либо другой король,—был ответ парламента,—не имел права отдавать в подданство себя, свое королевство и свой народ без соизволения и согласия парламента». Иоанн подчинился папе «без согласия народа и в противность своей коронационной присяге». Светские лорды заявили при этом, что если папа вздумает силою отстаивать свои притязания, они будут сопротивляться ему до конца. С этих пор никогда уже не было слышно о притязаниях римского престола на сюзеренитет над Англией и на ежегодную дань.

Трактат *de dominio*

Инцидент этот выдвинул Уиклиффа. Неизвестно, принимал ли он какое-либо участие в решении майского парламента, но что он вполне сочувствовал такому решению, об этом у нас есть уж совершенно бесспорное свидетельство: Уиклифф публично выступал защитником парламента. Какой-то монах протестовал против парламентского решения, утверждая, что английский король, отказавшись платить папе ежегодную подать, за которую он держал от папы английское королевство согласно договору Иоанна, тем самым терял право на управление Англией. «В качестве королевского капеллана (*peculiaris regis clericus talis qualis*) я охотно беру на себя обязанность отвечать», читаем в возражении, написанном Уи-

1 Fellow—член коллегии.

клиффом на эти заявления анонимного автора. Судя по этим словам, можно утверждать, что документ этот («*Determinatio quaedam de dominio*») имеет вполне официальный характер. Основная мысль трактата—взгляд, что государство имеет власть лишать церковь ее владений в случае нужды. Мысль эту Уиклифф проводит в форме речей, произнесенных «в некотором совете» семью лордами против уплаты требуемой папой подати. Не следует думать, что эти речи действительно были произнесены в майском парламенте: это просто литературная форма. Трактата этот является первым литературным выражением идей Уиклиффа об отношении церкви и государства; это первая известная нам ступень в развитии этих идей. Вот что говорит Уиклифф устами выводимых им лордов: «Никакая подать или рента не может быть платима никому, кроме тех, кто имеет на нее право»; нельзя, следовательно, платить ее и папе: «ведь папа должен более всех других быть последователем Христа, а Христос не хотел быть обладателем гражданской власти; не должен, поэтому, быть им и папа». В такой форме высказывает здесь Уиклифф идею о евангельской бедности, как естественном состоянии духовенства. Папа, заявляет один из лордов, в качестве раба рабов Господних (*servus servorum Dei*) имеет право на получение только тех налогов, которые являются вознаграждением за службу (*ministerium*) с его стороны, а «мы знаем по опыту», что мы не получаем ни телесной, ни духовной помощи ни от папы, ни от кардиналов; напротив, папа... помогает нашими врагам деньгами, расположением своим и советом; поэтому мы должны отнять у него эту пенсию («*cum non aedificat regnum nostrum nec spiritualiter nec corporaliter sed... comformat pecunia, favore et consilio inimicos, videtur quod debemus provide praemissam pensionem subtrahere*»). Далее Уиклифф выражает мысль, что папа теряет право на владение царством, если он впал в смертный грех. С другой стороны, если миряне будут удерживаться от смертного греха и будут давать из своего богатства, что следует бедными, то они получают право владеть царством, держать свое королевство непосредственно от Христа, ибо Он—главный лорд (сюзерен), от которого держать все на земле.

Таким образом, по мнению Уиклиффа, *власти* (*dominium*) должна соответствовать *службе* (*ministerium*), а сама власть основана на благодати.

Далее Уиклифф доказывает, что притязание папы на сюзеренитет в отношении к церковной собственности наносит ущерб правами короля, потому что таким путем третья часть земли в Англии должна оказаться вне власти короля; ведь не может быть двух лордов на одной и той же территории, так как только один из двух может быть действительными сюзереном; а такими сюзереном должен быть король. Так как ясно из всего этого, что папа держит от короля, то он должен принести королю феодальную присягу и обязан нести службу за свое держание, и если он не делает этого, то теряет все права, и обязанность платить ему подать прекращается. Передача королем Иоанном своей страны папе в качестве платы за освобождение его от отлучения, а страны от интердикта, сама по себе была симонией, утверждает Уиклифф, и потому не имеет законной силы.

Вопрос о провизиях

Около 1370 года (вероятно) Уиклифф получил степень доктора богословия. Положение его в Оксфорде было очень высокое, если не совсем исключительное, что признают и его злейшие враги. Читая лекции, Уиклифф в то же время имел приход Лэдгарзголл (*Ludgarshall*) и влиятельное положение при дворе, где он, весьма возможно, занимал еще должность капеллана. Два факта свидетельствуют о том внимании и значении, какими он поль-

зовался при дворе. В начале апреля 1374 года распоряжением короля он был назначен настоятелем прихода Лэттеруорт (Lutterworth) в Лестерском графстве. В июле того же года он был назначен одним из комиссаров, которых король посылал в Брюгге для переговоров с уполномоченными папы; его имя стоит вторым в списке членов комиссии непосредственно после имени епископа Бангорского; содержание, которое он получал в качестве члена комиссии, равнялось 20 шил. в день. Предметом совещаний в Брюгге был старый вопрос о так называемых «провизиях», т. е. о праве папы назначать своих кандидатов на церковные должности в Англии. Как известно, статут 25 года царствования Эдуарда III-го (Statute of Provisors 25 Edw. III, Stat IV. A. D. 1351) грозит тюремным заключением всякому, получающему от папы «провизии»; получившие их должны были передать свои места королю и лишались права занимать места более высокие.

Статут этот оставался мертвой буквой. Король и папа, в обход статуту, выработали систему, удобную для них обоих. Когда, например, епископская кафедра оставалась вакантной, король посылал капитулу¹ разрешение приступить к избранию нового епископа, а одновременно с этим или непосредственно после этого отправлял капитулу письмо, указывая в нем лицо, которое он согласился бы утвердить, будь оно избрано капитулом; в то же время король письмом просил папу назначить это лицо епископом в силу папской *provisio*. Желание короля исполнялось как капитулом, так и папой; по этому поводу папа Климент VI сказал (в 1345 г.): «Если король английский станет просить за ослу, чтобы его сделали епископом, мы не должны сказать ему: нет». За это папы удержали исключительно за собою право назначать на вакантные кафедры путем перемещения.

После долгих споров, ведшихся письменно, в 1374 г. состоялся конгресс в Брюгге для решения общего вопроса. Переговоры, которые со стороны Англии вели епископ Бангорский Джилберт и Уиклифф, тянулись от июля 1374 г. по сентябрь 1375 г. Конгресс этот не привел, повидимому, ни к каким серьезным результатам и в сущности оставил все попрежнему, если даже не увеличил власти папы в Англии. Все, что известно об этих результатах, заключается в следующем: в 1375 г. папа Григорий X объявил недействительными назначения, сделанные им и его предшественником (Урбаном V) против желания короля, а в 1377 г. Эдуард III объявил, что так как он сам отказался от некоторых случаев патроната, влияния на замещение церковных должностей, то и папа устно согласился во время переговоров в Брюгге воздерживаться от резерваций² и допустить свободное избрание на епископские кафедры. Но это обещание, подобно всем предыдущим, так и осталось обещанием. В интересах короля было оставить все попрежнему: он мог очень удобно примирять свои личные интересы с интересами папы; интересы английского народа могли бы только мешать этому. Члены конгресса были вознаграждены повышениями и бенефициями: епископ Джилберт был перемещен в Герефордскую кафедру; Уиклиффу дали пребенду (т. е. доходы с прихода) Aust в коллегиальной церкви в Уэстбэри (Westbury-on-Trim), но через две недели он отказался от нея, не желая, может быть, являться совместителем. С этих пор и до конца жизни Уиклифф оставался настоятелем в Lutterworth'e, читал лекции по богословию в Оксфорде, часто посещал Лондон и говорил здесь проповеди, которые, даже по отзыву его врагов, производили сильное впечатление на знать и на горожан.

1 Капитул—корпорация из духовенства кафедрального собора (церковь с коллегиальным устройством).

2 Назначение папой преемника еще живому духовному лицу.

Джон Гентский

При дворе Уиклифф сошелся со вторым сыном короля, Джоном, герцогом Ланкастерским, так называемым Джоном Гентским (John of Gaunt). Джон Гентский, имевший огромное влияние на дела государства, был главой партии, стремившейся уменьшить политическое влияние духовенства и воспользоваться в интересах государства несметными богатствами английской церкви. Еще задолго до выступления Уиклиффа на арену публицистической деятельности при дворе зародилось сильное антицерковное настроение и возникла сильная партия, враждебно и завистливо относившаяся к влиянию церкви в социальной жизни и преобладанию духовенства в администрации. Столетняя война могла только усилить это настроение. В самом деле, в то время, как английский народ, можно сказать, стонал под бременем все новых и новых налогов на военные надобности, духовенство всеми силами старалось оградить свои богатства от рук государственного казначейства. Антицерковная партия при дворе весьма была склонна протянуть руку антицерковному движению среди народа, вызванному в сущности теми же фактами, но только другою их стороной. Богатства, скопившиеся постепенно в руках духовенства, давали высшим представителям церкви возможность вести роскошную жизнь со всеми ее мирскими соблазнами, отвлекая вместе с тем их от их прямых задач—словом и примером вести души пасомых к спасению; ордена нищенствующих монахов давным давно забыли об исключительно духовных целях, поставленных им их основателями, и только и делали, что всякими способами приумножали свои огромные земельные владения и движимые сокровища, открыто помогаясь изъятию от национального обложения; жадный, обжорливый и развратный монах стал весьма популярным персонажем сатирически-обличительных произведений. Потребность нравственной реформы была ощутительна для многих.

С таким настроением среди народа антицерковная партия при дворе ничего общего не имела. Напротив того, она всеми силами противилась нравственной реформации. Она готова была поддерживать религиозное недовольство только до тех пор, пока оно выполняло только отрицательную часть своей программы, пока оно нападало на церковь за ее богатства, ведущая к извращению ее задач.

Неудивительно, что между Уиклиффом и Джоном Гентским произошло сближение: для Джона Гентского, в голове которого, по словам историка английской конституции, проблема об отношении церкви и государства превратилась в задачу, как лучше ограбить богатых церковников в свою пользу, Уиклифф с его учением, что церковные имущества есть нововведение и тормаз, препятствующий церкви осуществлять свои духовные цели, являлся совершеннейшею находкой, человеком, которому он готов был оказать всяческое содействие и покровительство. Для совершенно обнаженных поползновений являлось чрезвычайно удобное покрывало, для не вполне благовидной практики являлась вполне серьезная теория, к тому же высказываемая человеком с чрезвычайно высокою репутацией. Что касается Уиклиффа, то возможно предположить, что он не вполне ясно видел истинные намерения своего покровителя. Вот какими словами характеризует проф. Шэрли это сближение. «Ланкастер, целью которого было унижить церковь, нашел себе странного союзника в лице Уиклиффа, стремившагося очистить церковь. Верный друг нищенствующих монахов, не раз выбиравший духовников своих из среды богословов, противников Уиклиффа, почти с симпатией взиравший на римскую курию, так как видел в ней естественный противовес

власти английских епископов, безнравственный в частной жизни, узкий и безсовестный политик,—он нашел для себя самую прочную, самую ценную поддержку в лице священника безупречного характера, заклятого врага нищенствующих, политические взгляды которого стояли выше интриги, очень часто выше здоровой действительности, и поднимались до самого возвышенного идеализма. Ланкастер, феодал до мозга костей, ненавидел чиновничью спесь прелатов и с большим неудовольствием смотрел на то, что они захватили значительную долю светской власти. Уиклиф мечтал вернуть духовенству давно утраченную им апостольскую чистоту путем возврата к апостольской бедности. При столь противоположных исходных пунктах и при целях, столь противоречивых, они сходились в стремлении уменьшить богатство и унижить гордость английской иерархии» (Shirley, Fasciculi Zizaniorum, Introduction, p. XXVI).

Если для Уиклифа, может быть, не вполне были ясны истинные намерения герцога Ланкастерского, то английское духовенство видело их очень хорошо, тем более, что герцог и не скрывал их. Представители английской церкви ненавидели герцога всеми силами души и только искали случая дать ему почувствовать свою ненависть. Случай представился. Случай этот настолько характерен для взаимных отношений духовенства и Джона Гентского, что мы позволяем себе рассказать о нем подробно.

Дело епископа Уинчестерского

Среди английских прелатов особенно ненавистен был герцогу Ланкастерскому Уильям Уайкгэм (Wickham), епископ уинчестерский, канцлер королевства. В 1371 г., когда особенно ярко обнаружились тенденции антицерковной партии, он был отставлен от канцлерства, а в октябре 1376 года против него было возбуждено судебное преследование; против Уайкгема было выставлено восемь пунктов: епископ обвинялся в расхищении казны и в разных упущениях, будто бы имевших место во время его канцлерства. В ноябре 1376 г., по предварительном расследовании дела перед тайным советом короля, у епископа уинчестерского было отнято право пользоваться доходами с имений, принадлежавших уинчестерской кафедре; при этом ему было запрещено приближаться ко двору на расстоянии двадцати миль. В январе 1377 г. собрался парламент. Выборы в парламент были произведены под сильным давлением герцога Ланкастерского (первый известный нам случай подобного рода), и поэтому парламент состоял в большинстве из лиц, угодных герцогу и готовых действовать в его интересах. Все решения предшествовавшего парламента, знаменитого Добраго парламента 1376 г., чрезвычайно резко высказавшагося против герцога и его клеветов, были отменены. В виду военных приготовлений Франции парламент вотировал поголовный налог. Духовенство собралось на конвокацию 3 февраля¹.

Умы всех присутствовавших были заняты обидами, нанесенными герцогом Ланкастерским епископу уинчестерскому; все речи обсуждали эту злобу дня. Когда было сделано обычное оповещение, что король просит субсидии, поднялся епископ лондонский Уильям Кортнэй (Courtenay) и стал убеждать собрание не давать королю ничего до тех пор, пока епископу уинчестерскому не будут возвращены все его права. Все единодушно согласились на предложение лондонского епископа. Архиепископ кентербэрийский приостановил на

¹ Конвокация—собрание духовенства одной из двух провинций, на которые в церковном отношении была разделена Англия (кентербэрийской и йоркской); собрание духовенства кентербэрийской провинции созывал архиепископ кентербэрийский, и происходило оно в Лондоне.

время обсуждение вопроса и отправили королю петицию в смысле принятого конвокацией решения. Король отвечал общим обещанием. Тогда Уайтгэм занял свое место в конвокации. Но духовенство не было этим удовлетворено. В глазах епископа лондонского момент был удобен не только для защиты, но и для нападения. Нужно было им воспользоваться, чтобы нанести главе антицерковной партии чувствительный удар. Направлять этот удар прямо на герцога Ланкастерского прелаты не находили возможным.

Уиклифф перед епископом лондонским

Более удобною мишенью для духовных стрел представлялся ученый защитник политики герцога, Джон Уиклифф, в сентябре прошлого года вызванный герцогом в королевский совет. Уиклиффу был послан приказ предстать 19 февраля в соборе св. Павла в Лондоне пред комитетом епископов, которые будут разбирать обвинения, выставленные против него конвокацией. В чем именно состояли эти обвинения, не известно, но едва ли может быть сомнение, что они касались взглядов Уиклиффа на светские владения церкви и на право отлучения. В назначенный день Уиклифф явился в собор св. Павла. Но он явился не один. Его сопровождали герцог Ланкастерский и лорд Перси, маршал Англии, с большою свитой, в которой находились четыре доктора богословия из четырех нищенствующих орденов. В соборе толпилась масса народа, так что, по словам летописца, трудно было проникнуть в него даже господам. Генри Перси безцеремонно стал расталкивать толпу, очищая путь себе и герцогу. Епископ лондонский нашел неприличным такое поведение лорда в храме Божьем и сказал, что, зная он заранее, что он будет так поступать, он бы не пустил его в церковь. Замечание это вызвало резкий ответ со стороны герцога Ланкастерского. Пройдя в капеллу Пресвятой Девы, герцог и маршал и их свита заняли места возле архиепископа и епископов. Перси предложил сесть и Уиклиффу, мотивируя свое приглашение тем, что так как Уиклиффу предстоит отвечать на многое, то ему следует сесть на кресле помягче. Епископ лондонский решительно воспротивился этому, заявляя, что это было бы противно разуму и праву, так как подсудимый должен стоять перед своими судьями, а уж никак не сидеть. Между Кортнэем и маршалом возгорелся спор.

В дело вмешался герцог Ланкастерский, и спор, в сущности, чисто теоретический, перешел в крупную перебранку между герцогом и епископом. В запальчивости герцог выразил желание за волосы вытащить епископа из церкви. Слова эти, хотя и сказанный вполголоса, долетели до ушей толпившихся в церкви лондонских горожан и вызвали громкий взрыв негодования. Горожане клялись, что никому не позволят так оскорблять своего епископа; они готовы скорее жизни лишиться, чем допустить, чтобы их епископ в собственной церкви подвергся такому безчестию. Собрание сделалось жертвой общего смятения. На другой день в городе вспыхнуло настоящее возмущение. Дворец герцога, носивший название Савой, едва не был сожжен; герцог и Перси едва успели спастись от рук разъяренной толпы. Волнение утихло благодаря увещаниям лондонского епископа и посредничеству принцессы Уэлзской. Горячность лондонских горожан в деле епископа лондонского объясняется не одним желанием вступить за своего епископа. Это был взрыв народного негодования против герцога Ланкастерского, попиравшего все права и вольности народа; это был взрыв негодования жителей столицы против человека, незадолго перед тем сделавшего покушение на их исконные привилегии.

Первое нападение на Уиклиффа оказалось неудачным. Но за первым ударом последо-

вал второй. На этот раз враги имели основание рассчитывать на полный успех: уж очень велик был тот авторитет, под знаменем которого они выступали. Но успеха не последовало: расчет был слишком теоретичен; конкретные условия английской жизни не вполне были поняты и оценены.

Осуждение заключений Уиклиффа папой

В январе 1377 года папа Григорий XI переселился в Рим. Авиньонское пленение пап кончилось. Весной того же года папа послал в Англию пять булл. Буллы помечены 30-м мая. Три из них были адресованы архиепископу кентербэрийскому и епископу лондонскому, одна Оксфордскому университету и одна королю. Буллой, отправленную Оксфордскому университету, папа потребовал, чтобы Уиклиффу запретили проповедывать свое учение в стенах университета; сам Уиклифф должен быть арестован и передан архиепископу кентербэрийскому и епископу лондонскому. Из булл, отправленных архиепископу кентербэрийскому и епископу лондонскому, одна требовала, чтобы король и знать были предостережены против заблуждений Уиклиффа, другая слала приказ немедленно арестовать Уиклиффа, произвести расследование о его учении, прислать протокол следствия, а самого Уиклиффа держать в цепях до тех пор, пока не последует распоряжения от папы, как дальше следует поступать. В случае, если архиепископ и епископ лондонский не будут в состоянии привести в исполнение эти инструкции, третья булла рекомендовала им позвать Уиклиффа перед папскую курию для суда не позже, как через три месяца. Булла, адресованная королю, просила его облегчить исполнение инструкций, содержащихся во всех других буллах. Виновость Уиклиффа доказывалась извлеченными из его сочинений восемнадцатью положениями (в некоторых рукописях этих *propositiones sive conclusiones* девятнадцать); папа осуждал эти *conclusiones* и текст их присылал вместе с буллами. Вот главные пункты этих положений:

Никто из людей не может дать что-нибудь другому и его преемникам в постоянное владение: владение и право на владение продолжаются до тех пор, пока человек находится в состоянии благодати.

Если церковь не исполняет, как следует, своего долга, светские лорды могут по праву и по закону лишить ее ее светских владений; вопрос о том, исполняет ли церковь свой долг или не исполняет, решается не богословом, но светским политиком.

Односторонний акт папы или папы и кардиналов сам по себе не может ни сделать правоспособным человека, ни лишить его прав. Отлучение не имеет силы, если объект его сам уже, путем греха, не отлучил себя от церкви; к отлучению следует прибегать только в отношении к преступившим закон Христов.

Ни в деятельности Христа, ни в деятельности его учеников нельзя найти данных, на которых можно было бы основывать отлучение человека за отнятие им у церкви мирских благ; поэтому современные ученики Христа и Его учеников не имеют права требовать от мирян разных взносов путем угрозы церковными наказаниями.

Папа, как и всякий другой, заявляющий притязание на право «вязать и решить», имеет такое право лишь постольку, поскольку он находится в согласии с законом Христа.

Каждый законно поставленный священник имеет право совершать таинства, а следова-

тельно, и право отпускать грехи кающемуся.

Статьи шестнадцатая и семнадцатая повторяют в более сильных выражениях утверждения, уже содержащиеся в предыдущих статьях; король имеет право лишить представителей церкви их собственности, если они употребляют ее во зло; так как все пожалования условны, кто бы их ни сделал, то поэтому вполне законно взять их обратно, если ими пользуются не для тех целей, для которых они сделаны. Представителя церкви, даже самого римского первосвященника, имеют право порицать и даже судить его подданные и миряне.

21-го июня умер Эдуард III. Хотя глава прежнего правительства Джон Гентский на время удалился от двора, тем не менее новое правительство, во главе которого стояла принцесса Уэлзская, мать нового короля Ричарда II-го, расположенная к Уиклиффу, не спешило приводить в исполнение папские буллы; оно не только не было склонно возбуждать преследование против Уиклиффа, но даже искало поддержки смелого теоретика в своей политике по отношению к римской курии. Совет, образовавшийся возле малолетнего короля, обратился к Уиклиффу, чтобы определить свое отношение к папскому престолу. Совет предложил на решение Уиклиффа вопрос, будет ли согласно с законом и справедливостью не допустить, вопреки велениям папы, вывоза денег за пределы Англии. Уиклифф дал ответ утвердительный (см. Fasc. Zizan., pp. 258—271: Responsio Magistri Johannis Wycliff ad dubium infrascriptum, quaesitum ab eo per dominum, Regem Angliae Ricardum Secundum, et magnum suum consilium: anno regni sui primo). Королевство наше, писал Уиклифф, может для своей защиты совершенно законно удерживать в своих пределах свои денежные средства. Папа может иметь притязания на эти средства только в форме милостыни. Раз прекращается, как в данном случае, право на милостыню, прекращается и право папы требовать денежные средства королевства; *требовать* милостыню противоречит понятию милостыни, которую дают из любви к ближнему, тем более нелепо требовать милостыни в такой момент, когда исполнение требования подвергает опасности государство. Светские лорды нашего королевства дали в дар все те владения, из которых папа черпает деньги, не церкви вообще, но исключительно церкви английской, с тою целью, чтобы духовные лица могли жить на средства, извлекаемый из этих владений, и совершать дела частной благотворительности. Яснее дня видно, что раз деньги, извлекаемые из этих владений, отсылаются в римскую курию, местная, английская церковь не может выполнять того назначения, для которого ей даны эти владения. Светские лорды обязаны поэтому воспрепятствовать вывозу денег. В противном случае может произойти следующее: вследствие вывоза денег уменьшится население Англии, римская курия вследствие излишнего количества денег совершит массу грехов, а враги нашего народа, располагая деньгами нашего королевства, тем самым получают возможность не прекращать своей вражды к нам; чужеземцы станут смеяться над нами, что по своей ослиной глупости (ex asina nostra stultitia) в мирском деле мы имеем смелость нападать на врагов, а в деле Божьем из рабского страха не осмеливаемся отказать в милостыне недостойным. За отказ в требовании папа может, конечно, подвергнуть английский народ интердикту. Но трудно допустить, чтобы наш святейший отец подверг такому наказанию столь верный ему народ за один только отказ в милостыне, отказ, к тому же вынужденный такими затруднительными обстоятельствами; благочестивый отец в подобном случае скорее поддержит своих сыновей как духовно, так и материально; иначе он любит не нас, а наше имущество.

Любовь, которая исчезает от отказа в милостыне, не евангельская любовь, а мирская. Святейший отец, которому известно, что королевство Англия между всеми народами—самое христианское, не допустит до такого соблазна наше королевство из любви к мирским благам, которых закон Христов учит презирать. Но если даже допустить, что учение антихриста ринется в бездну такого безумия, все-таки остается одно утешение, что такого рода наказание (интердикт) не имеет значения (*non abligat*) перед лицом Бога. Страх отлучения не дает права уклоняться от исполнения Христова закона. Если вследствие этого страха народ наш откажется противодействовать папе в данном случае, то с течением времени он может дожидаться того, что папа совершенно завладеет им. Всякий христианин обязан помогать папе добровольною милостыней в том, что требуется положением папы, но вовсе не обязан давать ему средства для мирской пышности и для плотских утех (*ad fastum secularem, aut voluptatem carnalem continuandum*). Мир (*saeculum*) находится в ослеплении и думает, что честь служителя Христова состоит в мирской славе, а не в добродетели и в соблюдении Христова закона. В древности, когда церковь была всецело проникнута первоначальною религией (*quando stetit ecclesia prospere in religione primaeva*), наместники Христа сражались не телесно, но духовно, словом Божиим.

Если денежные суммы, требуемая из Англии папой, останутся в стране, не произойдет ли от этого дурных последствий для Англии, не разовьются ли в народе алчность и другие пороки, соединенные с изобилием средств? Если такая опасность и может явиться, то ведь против нея есть и очень действительное средство: стоит только церковные имущества распределить благоразумно во славу Божию, оставив без внимания жадность прелатов и князей и вернув церковные имущества прежним их владельцам, тем, которые пожертвовали их в виде милостыни церкви, а остальное сохранив для упрочения истинного мира церкви. Если как-нибудь случится, что на папу не окажут давления члены его курии, жаждущие этих денежных средств (*haec temporalia*) вследствие охлаждения в них любви к ближним, то он окажет снисхождение своим английским сынам, которые только вследствие крайней необходимости, в интересах защиты своей церкви, намерены отказать ему в обычной милостыне. Достойные служители Христа имеют право только на такое количество средств (*tantum de temporalibus*), какое необходимо им для служения церкви (*quantum prodest eis ad ministrandum ecclesiae*), ибо ни Христос, ни кто-либо из его апостолов не хотел и не должен был требовать более этого. Очевидно, что папа не имеет права требовать из имущества Христа (*domino papae deficit jus ad vindicandum de patrimonio Christi*) средств для свадьбы своих внуков, для освобождения из долговой ямы своих братьев или для обогащения их (*pro redimendis suis fratribus vel ditandis*), а тем менее для того, чтобы самому вести светскую жизнь; и всякий, кто содействует ему во всем этом, а не противодействует, имея возможность противодействовать, является добровольным соучастником в преступлении. В заключение Уиклифф советует английскому народу, прежде чем решить вопрос, давать ли папе требуемое или послать ему решительный отказ, сговориться и прийти к одному определенному мнению.

Уиклифф о власти папы вязать и решить

На собравшемся 13 октября парламенте Уиклифф представил памфлет, в котором защищал свои осужденные папскими буллами положения (см. *Fasciculi Zizaniorum*, pp. 245—257: *Libellus magistri Johannis Wycliff, quem porrexit parlamento regis Ricardi contra*

statum Ecclesiae). К этому же времени относится анонимный трактат Уиклиффа, предназначенный для большой публики. В этом сочинении, как и в только что названном памфлете, Уиклифф защищает свои мнения, осужденные папой в форме *conclusiones*, и с особой обстоятельностью останавливается на вопросе о праве папы вязать и решить (см. Fasc. Zizan., pp. 481—492: De condemnatione XIX conclusionum). В последнее время,—говорит Уиклифф в этом трактате, все больше и больше приобретает авторитет мнение, что папа не погрешим, и все, что он ни решит, справедливо, а его письма равны по значению Евангелию, а то даже и превосходят его своим авторитетом. И Евангелию можно верить только через посредство папы: папа может какую угодно книгу изъять из канона Св. Писания и прибавить новую, может, следовательно, заменить новою всю Библию (*totam Bibliam innovare*) и, стало быть, может все Св. Писание объявить еретическим, провозгласить согласным с католическою верой как раз ему противоположное (*et per consequens totam scripturam sacram haereticare, et opposition christianae fidei catholicare*). Некий профессор Св. Писания высказал мнение, что служители Христа должны жить скромно и бедно, добросовестно исполняя свои обязанности. Враги такого взгляда довели об этих мнениях профессора до сведения папы, и папа выпустил против него несколько булл, осудивших его девятнадцать *conclusiones*, в особенности два из них, как еретические; из этих двух первое: цари могут отнимать у представителей церкви светские имущества, если они злоупотребляют ими; второе: представитель церкви, даже римский первосвященник, может на законном основании подвергаться обвинению и даже осуждению со стороны подданных и людей светских (*potest legitime a subditis et laicis corripī, et etiam accusari*). В основе осуждения этих двух положений лежит, очевидно, следующая доктрина. Все представители церкви не подлежат ни осуждению, ни наказанию, сколько бы они ни грешили; осуждать и наказывать их может один лишь Бог, да они сами в глубине души своей; все миряне должны служить им, доставляя им в изобилии средства к существованию, не должны судить их, лишать их милости, не должны мешать им грешить (*non impediendo quoinodocunque peccaverit*). Они не смеют осуждать духовных лиц, не смеют возражать им даже в интересах защиты (*non licet defendendo repercutere*), не смеют отказывать им ни в каком требовании, будет ли это требование иметь отношение к имуществу, к супружескому союзу или к самому человеку (*non exigenti bona sua, sive fortunae, sive conjugii vel naturae, negare*); иначе это будет сопротивление или, в случае доведения дела до суда,—обвинение; а ведь это осуждено, как поступок еретический. В подкрепление этого мнения, говорят, осуждены другие четыре параграфа.

«Если эти (четыре) положения еретические, смело утверждаю, что в таком случае вера Христова и истина Писания совершенно разрушены», восклицает Уиклифф. Анализ положений, противоположных этим «еретическим» положениям, приводит Уиклиффа к заключению, что эти-то противоположные мнения и суть самые еретические, наводящие ужас на всякого истинного сына церкви. Уиклифф взывает к воинам Христовым как к духовным, так и к светским, в особенности к исповедующим евангельскую бедность, приглашая их единодушно возстать против всех тех, кто делом или небрежением стоит на стороне такого богохульства. Если будет признано, что папа или его наместник только потому, что считает себя в праве разрешать или вязать, уже тем самым разрешает или вяжет, то как тогда устоит мир (*si enim canonisatum fuerit, quod, si papa vel ejus vicarius praetendat se quovismodo solvere vel ligare, eo ipso solvit vel ligat, quomodo stabit mundus*)? Ведь тогда, если папа вз-

думает предать вечному осуждению всякого, кто станет выказывать ему сопротивление в приобретении светских владений как движимых, так и недвижимых или в другом каком его желании, тем самым такой человек будет предан осуждению; папе, следовательно, будет весьма легко приобрести для себя все царства мира и разрушить все установления Христа; папа тогда получит возможность вместе со всем своим клиром похищать жен, дочерей и всякое имущество мирян и делать с ними, что ему угодно, и никто не будет иметь права сопротивляться ему; ведь, говорят, королям ничего не позволено отнимать у клириков, мирянину не позволено осуждать клирика или жаловаться на него в суд; если папа что решил, значит, решению его нужно повиноваться. А ведь это самая ужасная ересь. Если папа упорно держится таких мнений, то следует ему сопротивляться не как папе и не как представителю церкви, но как врагу Христовой церкви и злейшему антихристу. «Христианин, конечно, не должен предполагать, что папа таков, если об этом открыто не говорят деяния его; но как скоро об этом громко станут вопить факты, следует сопротивляться ему, как главе церкви лукавых (*tanquam capiti ecclesiae malignantium*) и главному зверю (*principali bestiae*) в колеснице фараона, влекущей его самого и его приверженцев в бездну Чермного моря». Люцифер хотел быть подобным Богу, но еще более ужасны намерения смертного создания, даже если это наместник Христа, который публично заявляет, что может равняться со Всевышним. Все, почитающие (*adorantes*) его, как такового, идолопоклонники, более ненавистные Богу, чем сыны Израиля, которые в отсутствие Моисея стали поклоняться вылитому из золота тельцу. Примеры из св. Писания (Уиклифф их приводит) учат, что христианин не должен боготворить наместников (*careat cultu sapiente vicarios adorari*). Наместники должны быть скромны, должны искоренить в своем сердце страсть к земному, должны жить трезво, справедливо и благочестиво в евангельской бедности.

Только через семь месяцев после того, как папские буллы были присланы в Англию, архиепископ кентербэрийский и епископ лондонский приступили к исполнению того, чего эти буллы требовали. 18 декабря 1377 года они отправили в Оксфордский университет приказ произвести расследование о мнениях Уиклиффа, осужденных папой, прислать отчет об этом, а самого Уиклиффа представить к ним в Лондон в течение тридцати дней. Приказ этот положил конец напряженному настроению членов университетской корпорации, вызванному папскою буллою. Булла совершенно взволновала университет. Многие из представителей университетской науки даже колебались, следует ли им принимать папскую буллу: ведь папа не имеет права вмешиваться во внутренние дела Англии и не смеет издавать приказ об аресте кого бы то ни было в пределах королевства; всех крайне раздражало такое безцеремонное нарушение университетских привилегий. Получив письмо архиепископа и епископа лондонского, оксфордские ученые решили подвергнуть Уиклиффа на время формальному аресту в стенах так называемой Черной Залы (*Black Hall*) и приступили к расследованию его мнений, осужденных папой. Все положения Уиклиффа, перечисленные в папской булле, были признаны согласными с учением католической церкви, но только выраженными в такой форме, что могли подать повод к ложным толкованиям (*«eas veras esse sed male sonare in auribus auditorum»*, *Eulogium Historiarum*, III, 347).

В начале 1378 года Уиклифф явился в капеллу Ламбетского дворца в Лондоне. Здесь собрались епископы, чтобы судить его за еретические заблуждения. Накануне суда принцесса Уэлзская, мать юного короля Ричарда II (вдова Черного Принца), прислала одного

из своей свиты сказать епископам, чтобы они ничего не предпринимали против Уиклиффа. Заявление это навело на судей такой страх, что они, по словам летописца, сделались подобными человеку, который не слышит и не имеет в устах своих слов укоризны («factos velut homo non audiens et non habens in ore suo redargutiones», *Chronicon Angliae*, p. 183). Прелаты очутились в очень затруднительном положении: приходилось исполнить приказ светской власти в ущерб интересам церкви, от главы которой они получили прямое распоряжение действовать исключительно в интересах церкви. Сами они не находили выхода. Выход был открыт для них совершенно неожиданным образом. Лондонские горожане с толпой городской черни ворвались в капеллу и прервали заседание в самом его начале. Таким образом, говорит летописец, благодаря расположению и старанию жителей Лондона, Уиклиффу удалось провести своих следователей, насмеяться над епископами и уйти невредимым («favore et dillgentia Londoniensium, delusit suos examinatores, episcopos derisit et evasit», *Chron. Angl.*, p. 189—190).

Епископы могли только ограничиться чисто-формальным запрещением Уиклиффу публично высказывать свои мнения в лекциях и проповедях, чтобы не вводить в соблазн мирян (*propter laicorum scandalum. Ib.*, 190). А ведь это были те самые лондонские горожане, которые не так давно едва не произвели возстания против главных покровителей Уиклиффа. Не много времени прошло с тех пор, но во многом выяснился для народа Уиклифф, в котором народ увидел не жалкое орудие в руках народного врага Джона Гентского, но смелого и решительного защитника истинно-народных интересов от папских посягательств.

Дело Гоула и Шэйкла

Осенью 1378 года Уиклифф опять играет роль в политической жизни, на этот раз роль весьма двусмысленную. Дело заключалось в следующем. В одну из испанских кампаний Черного Принца два эсквайра, Гоул (Haule) и Шэйкл (Schakel), взяли в плен графа de Denia, родственника кастильского царствующего дома. Они согласились взять с графа выкуп, и граф, возвращаясь в Испанию, оставил им в качестве заложника своего старшего сына. Герцог Ланкастерский, заявлявший притязания на кастильскую корону (он был женат на дочери Педро, короля Кастилии), нашел, что он облегчит себе путь к кастильскому трону, если молодой граф de Denia очутится у него в руках. Герцог предложил эсквайрам денег, чтобы они передали ему знатного заложника. Эсквайры отвечали отказом. Тогда герцог нашел возможным требовать выдачи графа именем короны и приказал посадить графа в Тауэр; но и тут он встретил препятствие со стороны эсквайров. Тогда он провел через парламент постановление, в силу которого Haule и Schakel должны подвергнуться тюремному заключению, если не выдадут графа. Это было в сессию 1377 года. Но и в этом случае герцог потерпел неудачу. Молодой граф оставался скрытым, а эсквайры, как истые англичане, остающиеся на строго-законной почве, даже сопротивляясь закону, отправились в Тауэр.

Пребывание в Тауэре вскоре оказалось небезопасным, и Haule и Schakel искали убежища в Уэстминстере. Рука герцога достала их и здесь. Утром, в день св. Лаврентия (11 августа 1378 г.), как раз в момент торжественной службы, Ральф де Феррерз (Ralph de Ferrers), один из подручников герцога, и с ним сорок вооруженных людей вошли в церковь. Haule был убит на месте, Schakel'я силой потащили в тюрьму. Ужас объял епископов при вести о таком святотатстве. Они совершенно растерялись и не знали, что предпринять. Наконец,

архиепископ кентерберийский с пятью суффраганами публично отлучил от церкви всех, на кого в той или иной степени падала вина в этом злодеянии.

Епископ лондонский каждое воскресенье, среду и пятницу повторял это отлучение, произнося проповеди в церкви св. Павла (at Saint Paul's Cross) перед толпами возбужденных горожан, и не щадил при этом имени самого герцога, которое теперь стало еще более ненавистным народу. Уиклиффу поручили написать защиту деяния герцога, и он взял на себя это щекотливое дело. Документ этот сохранился в трактате Уиклиффа *De Ecclesia*. Общий ход аргументации Уиклиффа таков.

Право убежища должно иметь границы. Герцог был в праве переступить пределы священного убежища: ведь он имел в виду представить в руки правосудия беглых преступников, которые первые сделали нападение на закон. Поэтому слуг герцога незначем осуждать за пролитие крови. Само каноническое право допускает исключения в вопросе о привилегии священного убежища, которым очень легко злоупотреблять во вред обществу и общественному миру.

Как бы мы ни судили об этой защите, несомненно то, что она не послужила к возвышению репутации Уиклиффа.

Великий раскол

В этом же 1378 году в истории Европы произошло событие, явившееся поворотным пунктом в деятельности Уиклиффа. 27 марта умер папа Григорий XI, и 7 апреля был избран ему в преемники Урбан VI. Кардиналы-французы были очень недовольны возвращением курии в Италию; еще больше недовольства вызвал насильственный тиранический образ действий нового папы.

Дело кончилось тем, что правильность избрания Урбана была подвергнута сомнению, затем совсем отвергнута, и в октябре был избран антипапа Климент VII. На стороне Климента была Франция, Испанские королевства, Неаполь и Шотландия; Англия, Фландрия, Германия, Богемия, Венгрия, Польша и Португалия остались верны Урбану. Урбан и его приверженцы остались в Риме, а Климент вернулся в Авиньон. В западном христианстве произошел Великий раскол. Почти столетия католическая Европа была разделена между двумя наместниками Христа, ведшими ожесточенную борьбу за право исключительного обладания ключами царствия небесного. Урбан и Климент проповедывали друг против друга крестовый поход; каждый из них предлагал всем желающим поддерживать его индульгенции, и продавцы этого странного товара разорялись по всей Европе. Торговля отличалась всеми особенностями ожесточенной конкуренции. Некоторые из папских комиссаров, разъезжавшие по Англии, утверждали, что по их приказанию ангелы сходили с неба и извлекали души из чистилища, где они терпели муки, и немедленно уводили их на небеса.

Ересь Уиклиффа

Если и прежде Уиклифф сурово порицал образ действий римской курии, несогласный, по его мнению, с порядками первой христианской общины, то теперь он стал решительным противником папства и католичества. Перевод Библии на английский язык, «бедные священники» и отрицание таинства пресуществления—вот три пункта, ясно показывающие, чем явился Уиклифф после Великого раскола.

Некоторые части Библии были переведены на английский язык еще задолго до Уиклиффа. Заслуга Уиклиффа—в том, что он впервые перевел всю Библию и впервые стал ее популяризатором. До полутораста рукописей его перевода (целого или частей) дошло до нас, несмотря на репрессии весьма сурового характера. Почти весь перевод был сделан самим Уиклиффом: только начало Ветхого Завета было переведено учеником Уиклиффа, Николаем Hereferd'ом. Впоследствии весь перевод был пересмотрен Джоном Purvey, другом Уиклиффа и помощником его в Lutterworth'e, и это второе издание было окончено вскоре после смерти Уиклиффа. Перевод был сделан с латинской вульгаты: Уиклифф и его ученики не знали греческого языка.

В грубой шерстяной одежде, с английскою Библией в руках, пошли ученики и приверженцы Уиклиффа проповедывать Божий закон (Goddislawe) английскому народу на понятном для него языке. Это были разосланные Уиклиффом «бедные священники» (poor priests). Они должны были взять на себя то дело, о котором давным давно забыли многочисленные представители как белого, так и черного духовенства; единственно, что еще помнили эти последние, это получение с мирян десятин и разных приношений; на эту сторону они обратили исключительное внимание; живя в роскоши и богатстве, «нищенствующие» ордена, как и остальное духовенство, только стригли вверенное им стадо, так же мало заботясь о душах пасомых, как и о своих собственных. «Бедные священники», разосланные Уиклиффом для наставления народа в правде и истине Евангелия, собственно и не были священниками; они были просто проповедниками, которых отличало от мирян только знание Св. Писания, еще незнакомаго мирянам. Уиклифф уже не видал на священниках особенной духовной печати; он не усматривал в должности священника ничего ставящего его выше простых смертных, выше мирян, не признавал священника способным ежедневно творить чудеса, превращать хлеб и вино в истинное тело и кровь Христа: Уиклифф отрицал таинство пресуществления. По мнению Уиклиффа, хлеб остается хлебом и после освящения, подобно тому, как грешник, превращаясь в праведника, остается и после этого тем же человеком, что и перед этим, как Григорий или Иннокентий, делаясь после своего избрания в папы папой, остается тем же человеком, каким был и до избрания, как вода превращается в лед, совершенно не изменяя своей субстанции. Итак, материально хлеб остается и после освящения тем же, чем был и до освящения; превращение состоит не в чем ином, как в том, что через освящение хлеб становится истинным подобием пострадавшего Христа. Христос не присутствует в нем реально, своею телесною субстанцией, но фигурально или виртуально, не каким-либо иным способом, но переносно (*et Christus non est ibi realiter secundum suam substantiam corporalem, sed figurative vel virtualiter; ita quod non est ibi aliquo modo nisi tropice*). Подобно тому, как Иоанн Креститель был Илией только в переносном смысле (*tropice*), а не лично, не буквально, так этот хлеб на алтаре есть Христос только в переносном смысле (*tropice*) [Fasc. Zizan., p. 107—108].

Это была ересь. Она распространялась по университету, и канцлер университета Уильям Бэртон (William of Burton) не мог дольше терпеть ее. Он созвал двенадцать докторов богословия и права (половина их была из нищенствующих орденов) и представил на их рассмотрение учение Уиклиффа. Ученый трибунал единогласно признал еретическими мнения, «поддерживаемые некоторыми лицами, исполненными совета злого духа», осудил их и издал приказ, запрещающий распространять эти мнения как внутри, так и вне

школ. Когда Уиклиффу объявили о том, что его мнения осуждены, он заявил, что ни канцлер, ни кто другой из его единомышленников не может изменить его мнений, и апеллировал к королю (а не к папе, как это обыкновенно делали в подобных случаях). От Джона Гентского последовал Уиклиффу приказ не говорить больше об этих предметах. Неизвестно, что в данном случае руководило герцогом Ланкастерским: хотел ли он этим способом оградить Уиклиффа от бед, которые могли грозить ему, или же просто хотел показать всем, что не желает иметь ничего общего с опасным вольнодумцем. Как бы то ни было, Уиклиффа не остановил приказ герцога. Мало того: он выпустил в свет свою *Исповедь*, в которой подробно развивал и доказывал свои взгляды (см. Fasc. Zizan., pp. 115—132: Confessio Magistri Johannis Wyccliff). Против него появился целый ряд памфлетов.

Канцлер отправил копию с осуждения Уиклиффа архиепископу кентербэрийскому. Между тем в стенах университета ярко разгоралась вражда между представителями белого и представителями черного духовенства. Светское духовенство питало непримиримую ненависть к монашеским орденам, в особенности к нищенствующим. Представители светского духовенства не могли забыть оскорбления, нанесенного, благодаря монахам, гордости университета вмешательством английских иерархов во внутренние дела независимого университета, и в начавшемся втором походе против Уиклиффа видели источник новых унижений для университета. Университетские выборы показали, как относились профессора к Уиклиффу: новый канцлер Роберт Rygge и прокторы (proctors) были избраны из приверженцев Уиклиффа.

Гонение на уиклиффитов

В июне 1381-го года произошло возстание Уота Тайлера. Главный покровитель Уиклиффа герцог Ланкастерский, имя которого с особенною ненавистью и злобой неоднократно произносилось возставшими, навсегда утратил руководящую роль в правительстве и на время совсем удалился от двора. Архиепископский паллиум убитого на холме возле Тауэра Симона Сэдбери, вовсе не отличавшагося чрезмерною ревностью в делах веры, достался смертельному врагу герцога Ланкастерского и Уиклиффа, совершенно фанатически относившемуся к делам церкви, епископу лондонскому Уилльяму Кортнэю. Один из самых главных вожakov возстания, священник Джон Болл, заявил перед следственной комиссией в С.-Албансе, «что в течение двух лет он был учеником Уиклиффа и от него научился ересям, которым учил других» (Fasc. Zizan., pp. 273—4). Так, по крайней мере, говорили, и этого было достаточно, чтобы бросить тень на Уиклиффа и настроить против него напуганных возстанием людей, которые до возстания могли охотно прислушиваться к словам реформатора и готовы были поддакивать правде, в них заключавшейся. Момент был весьма благоприятный для врагов Уиклиффа и его дела...

17-го мая 1382 года в доминиканском монастыре (at the Blackfriars) в Лондоне собрался провинциальный синод, на который новый примас Англии позвал десятерых епископов и пятьдесят других особ. Первое заседание синода было прервано землетрясением, сделавшим этот синод известным в истории под названием Earthquake Council¹. Синод занялся рассмотрением мнений Уиклиффа и единодушно осудил его двадцать четыре conclusiones

1 Earthquake—землетрясение, council—совет, синод.

частью как еретическая (десять), частью как ошибочные (остальные 14)¹.

Имя Уиклиффа не было названо. Уиклиффа оставили в покое. Удары направили на его учеников. Архиепископ отправил в Оксфорд комиссара, некоего Петра Стокза (Stokes), кармелитского монаха, упорного оппонента Уиклиффа, с приказом запретить в университете проповедь неправильных доктрин; при этом имя проповедника не было названо. В поступке архиепископа университетская власть совершенно справедливо усмотрела покушение на древние привилегии университета. Канцлер Rygge только что перед этим назначил Николая Герфорда, преданного последователя Уиклиффа, говорить проповедь пред университетом в защиту своих взглядов, и он говорил 13-го мая. Теперь он дал такое же поручение не менее верному ученику Уиклиффа, Филиппу Репингдону (Rerungdon); он должен был говорить 5-го июня. Стокз прибыл в Оксфорд накануне (4-го июня). На другой день утром он должен был провозгласить осуждение мнениям Уиклиффа с кафедры церкви св. Frideswide'ы. Явившись в церковь, он увидел, что кафедра уже занята Репингдоном. В церкви присутствовал канцлер во всем параде с городским мэром и отрядом вооруженных людей; кроме того, здесь же находилось до двадцати человек с оружием, скрытым под платьем. Стокзу не улыбался мученический венец. Он сидел и дрожал, и когда канцлер и Репингдон вместе вышли из церкви, он незаметно скрылся. На следующий день Стокз явился к канцлеру, чтобы заверить свои полномочия, и получил уверение, что ему будет оказано всяческое содействие, если на то будет воля университета. Стокз не верил хорошим словам. Он обратился к архиепископу с слезною просьбой не допустить его до гибели. Через несколько дней (10 июня) он набрался храбрости и выступил против Репингдона; но и во время диспута ему мерещилась целая дюжина оппонентов со скрытым под платьем оружием, и он с минуты на минуту ждал смертного часа от руки убийц. К счастью для трусливого комиссара, в тот же день было получено письмо архиепископа, отзывавшее его обратно. Канцлер получил приказ явиться перед архиепископом в Лондон. Отказать в повиновении примасу Англии у Rygge не хватило смелости. Он явился и немедленно очистил себя от всяких обвинений в ереси. После этого опять собрался синод (в Blackfriars, 12 июня) для суда над еретиками, и Rygge безпрекословно занял в нем место среди судей.

С оксфордскими последователями Уиклиффа порешили очень быстро. Все они вообще и четверо из них в частности (Герфорд (Hereford), Репингдон (Rerungdon), Джон Астон (Aston) и Лоуренс Бидмэн (Lawrence Bedeman)) получили временную отставку и запрещение. Rygge вернулся в Оксфорд с письмом Кортнэя, повторявшим осуждение четырех названных лиц и прибавлявшим имя самого Уиклиффа. Rygge должен был опубликовать это осуждение, но он заявил, что не решается исполнить этот приказ, и понадобилась особая бумага от имени короля для того, чтобы принудить его к этому. Каково было истинное отношение канцлера к делу Уиклиффа, это видно из того, что вскоре после этого он подверг запрещению одного из видных противников Уиклиффа, который называл последователей Уиклиффа оскорбительным в то время словом «лолларды». Лондонский синод приступил к решительным мерам. Герфорд и Репингдон, тщетно искавшие поддержки у герцога Ланкастерского, были отлучены от церкви; Астон и Бидмэн были осуждены, как еретики. Все

1 Из десяти еретических conclusiones первые три относятся к евхаристии, остальные семь к церковному управлению и церковным имуществам; четырнадцать ошибочных conclusiones трактуют о праве прелатов отлучать от церкви, об обязанности проповедывать, о бесполезности специальных молитв и религиозных орденов. См. Fasc. Zizan., pp. 275—282.

они, за исключением Герфорда, отреклись от ереси и были восстановлены в своих правах и привилегиях. Герфорд бежал на континент и, говорят, был заключен в тюрьму по приказанию папы Урбана VI.

Но партия уиклиффитов не была уничтожена в Оксфордском университете. Для этого потребовались суровые меры архиепископа Арондела (Arundel) четверть века спустя. Этому архиепископу удалось вырвать с корнем уиклиффизм и вместе с ним умственную независимость университета. По словам одного из исследователей уиклиффизма, история Оксфордского университета более, чем столетие, представляла собою историю почти непрерывного упадка науки, нравственности и религии.

Конец Уиклиффа

Учение Уиклиффа было осуждено, но самого Уиклиффа и не пытались требовать к суду. Он пользовался полной безопасностью и свободой. Весьма вероятно, что после разгрома его партии в Оксфорде Блэкфрайарским синодом Уиклифф счел удобным удалиться навсегда в свой Лэттеруорзский приход. В Lutterworth'e реформатор работал неутомимо. Он писал в большом количестве трактаты на английском и латинском языках. В это же время он изложил свое учение в виде системы в одном из самых важных из своих сочинений, в «Триалог» (Trialogus).

В 1383 году папа Урбан VI объявил крестовый поход против своего соперника, антипапы Бенедикта. Епископ норичский, воинственный Генри Деспенсер, снарядил экспедицию во Фландрию. Экспедиция кончилась весьма позорно. Уиклифф написал по этому поводу один из самых сильных своих памфлетов: *The Crusade* (крестовый поход). В этом памфлете он с негодованием указывает на то, до какой степени извращена священная роль представителей церкви, ставящих целью своей деятельности войну, к тому же войну, организованную на средства, добытые путем продажи индульгенций, и начатую в расчете на жажду к грабежу и на застарелую ненависть англичан к Франции.

Популярность Уиклиффа все росла. Число последователей его особенно было велико в Лестерском графстве и в Лондоне. Не мало их было и в других местах. Это видно, между прочим, из следующего факта. В мае 1382 года лорды дали свое согласие на издание ордоннанса, направленного духовенством (рукой архиепископа кентербэрийского) против странствующих проповедников («бедных священников») Уиклиффа. Но осенью следующего года по петиции общин ордоннанс этот был отменен.

В 1384 г. папа Урбан позвал Уиклиффа к ответу в Рим. Призыв явился слишком поздно. Изуродованный параличом еще в 1382 и 1383 году, Уиклифф, не взирая на это, продолжал работать неустанно. 28-го декабря 1384 года, слушая мессу, он подвергся третьему удару, и накануне нового года реформатора не стало. Его похоронили в Lutterworth'e. 4-го мая 1415 года на Констанцском соборе было решено выбросить останки Уиклиффа из могилы, и через двенадцать с лишним лет постановление собора привел в исполнение епископ Флеминг.

—————

На предыдущих страницах рассказана жизнь Уиклиффа в связи с жизнью современного ему английского общества. Мы видели, что Уиклифф не был человеком, способным замкнуться в сфере чистого мышления, куда не доносится шум действительной жизни. Напро-

тив, это была натура, чрезвычайно живо воспринимавшая впечатления современности, чуткая ко всякой несправедливости общественной, неустрашимо выступавшая на защиту правого дела. Отзываясь на жизненные запросы, формулируя в виде определенных положений назревшие потребности общества, мысль Уиклиффа была вполне реальной мыслью, не взирая на все схоластически одеяния свои; слово Уиклиффа было его общественным делом.

Общественная деятельность Уиклиффа опиралась на определенные принципы, на определенную теорию человеческих отношений. Эта-то теория и сообщила деятельности Уиклиффа характер и значение, определившие место Уиклиффа не только в истории английского общества, но и в истории культурного развития всей Западной Европы. Мы уже познакомились с этой теорией в отдельных ее частях и в отдельных случаях ее применения. Теперь попытаемся свести эти части в одну систему и указать отношение ее к господствовавшему в эпоху Уиклиффа мировоззрению.

Основные положения Уиклиффа

В основе учения Уиклиффа лежит чисто феодальное понятие о *владении* (*dominium*) и соответствующей ему *службе* (*servitium*). Подобно тому, как полное право собственности на землю (*dominium eminens*) по теории феодализма принадлежит одному лишь королю, так и по учению Уиклиффа высшее право на владение всем существующим в мире принадлежит одному лишь Богу. Это высшее владение, потому что за него не следует никакой службы; ведь Бог—самое высшее существо, ни от кого не зависящее. Все люди—Его творения; жизнью и всем, чем они владеют, они обязаны Богу; Он им все пожаловал, и они, с своей стороны, обязаны Богу за это службой; служба эта—исполнение закона Божьего, заключающегося в Евангелии. Таким образом, все люди «держат» от Бога по феодальному договору, за известное обязательство. Мы видим здесь полное отражение феодальной теории, которая, как известно, всякий вид собственности, даже ровно ничего общего с феодализмом не имеющий, представляла держанием, пожалованными на условии службы.

Служба человека Богу, как обязательство исполнять закон Божий, соблюдать евангельскую правду, лежит на всех без исключения людях в одинаковой степени. В этом отношении держания всех людей равны, и нет никакого различия между богатым и бедным, между знатным лордом, даже королем, и простым villanом, между папой и простым мирянином. Все они равны, все «держат» *непосредственно* от Бога. Человек до тех пор сохраняет право на владение, пока исполняет свое обязательство перед Богом, пока несет свою службу, пока живет по правде евангельской.

Всякое владение (*dominium*) (в строгом смысле «держание») основано на милости Божией. Нарушая свое обязательство, впадая в смертный грех, человек тем самым лишается милости Божьей и вместе с тем, следовательно, лишается права на держание: его держание подлежит конфискации. «Тот, кто находится в милости,—говорит Уиклифф,—есть господин всего, а кто лишается милости, не исполняя своих обязанностей, лишается и права на вещь, которою владеет, и делает себя не имеющим права владеть дарами Божьими. Ведь в Писании сказано: «Праведный человек имеет в своей власти весь мир богатств, а неправедный не имеет и полушки». Св. Августин сказал: «Грех есть ничто, и люди, когда они грешат, становятся ничем». Если грешники ничто, заключает отсюда Уиклифф, очевидно, ничем и владеть они не могут. Если всякий праведный человек владеет всем миром, значит,

все блага мира находятся в общем владении у всех праведных людей.

Таковы исходные пункты учения Уиклиффа. В них нет ничего оригинального, принадлежащего лично Уиклиффу. Чисто феодальная теория отношения человека к Богу, теория владения (*dominium*) с соответствующей ему службой (*servitium*), была уже формулирована до Уиклиффа Ричардом Фиц-Ральфом (*Fitz-Ralph*), епископом Армагским (*Armagh*), бывшим одно время профессором Оксфордского университета, врагом нищенствующих орденов. Но если *Fitz-Ralph* перенес учение о владении на небо, то Уиклифф опять вернул это учение на землю, вывел из него все последствия для современного ему общества и государства, облек его в плоть и кровь современной ему действительности.

Если высшее *dominium* принадлежит одному Богу и все люди только «держат» непосредственно от Бога, все на равных правах, в таком случае никто не может заявлять притязания на роль наместника Христа на земле, как ее понимает католическая церковь. Папа находится в таких же отношениях с Богом, как и все люди, он «держит» от Него свою власть на равных правах со всеми христианами, и раз он впал в смертный грех, он лишается всяких прав на свое «держание». Не верно поэтому учение католической церкви, что папа—наместник Христа на земле и власть его выше всякой земной власти. Не истинно, следовательно, и учение католической церкви о двух мечях, духовном и светском, из которых один повелевает, другой исполняет его веления. Власть папы и власть короля в основе своей одного происхождения, и такого отношения между ними, на какое заявляет притязание папы, не существует. Если уж нужно кого-нибудь называть наместником Христа на земле, то этот титул в такой же степени приложим и к королю. Мало того: в случае столкновения властей духовной и светской уступать должна духовная власть. Это может случиться, когда церковь присваивает себе то, что принадлежит государству, когда она впутывается в денежные дела и заявляет притязания на территории. Светские дела всецело должны находиться в ведении светской власти, государства; сфера деятельности духовной власти—чисто и исключительно духовная. «Управлять светскими владениями, как это делается в гражданском обществе», говорит Уиклифф, «завоевывать королевства и требовать подати принадлежит земной власти, а не папе; так что, если папа оставляет без должного внимания свои обязанности духовного управления и вмешивается в другие отношения, его дело не только излишне, но и противно Св. Писанию». Конечно, больше всего впутывают представителя церкви в мирские дела и отвлекают от его прямых обязанностей имущественные отношения, богатство. Уиклифф считает поэтому несовместимым с положением духовного лица владение имуществом, дающим ему возможность вести роскошную жизнь. Примером должен служить Христос и Его апостолы, которые жили в добровольной бедности. Церковь тогда только была истинною церковью, когда ее представители следовали этому примеру; это была первоначальная церковь, и она уклонилась от прямого пути, когда папа Сильвестр принял дарение Константина; с тех пор христианство стало извращаться. Духовенство должно жить на добровольные приношения мирян, на десятину, которая давала бы ему материальную возможность исполнять свои обязанности. Между тем миряне сделали церковь страшно богатою. Это был грех. Они должны путем мудрых и постепенных мер отнять у церкви ее земельные имущества. Священник, не исполняющий как следует, своих обязанностей, лишается права на содержание по решению прихожан.

Между человеком и Богом существуют непосредственные отношения, непосредствен-

ный безмолвный договор. Лишь только человек нарушает этот договор, как он немедленно лишается права на «держание», на пользование властью и всеми благами жизни, отлучает себя от общества праведных. Отлучение церковное имеет смысл только как простое внешнее констатирование этого внутреннего факта, отлучение себя человеком путем греха; в тех случаях, когда этого внутреннего факта нет, когда человек продолжает исполнять свою «службу» Богу, жить по Его закону, в этих случаях отлучение не имеет силы, недействительно. Папа, заявлявший притязания на право распоряжаться ключами царствия небесного, на право вязать и решить, терпит, таким образом, сильный урон; право его не имеет силы в случае отлучения им человека за неисполнение его светских притязаний, за непризнание его светской власти, за невзнос податей, за отказ в десятине и т. п.

Раз папа не есть наместник Христа, а «держит» от Бога на тех же условиях, что и все остальные христиане, в таком случае римская курия не есть последняя инстанция—верховный трибунал остается на небе.

Права папы подверглись, таким образом, в теории Уиклиффа значительному сокращению. Уиклифф идет и дальше. Он приходит к заключению, что папа не есть необходимый элемент в строе христианской церкви. Но и на этом Уиклифф не остановился. Он еще последовательнее развил свои взгляды, исходя из факта непосредственного отношения между человеком и Богом. Между человеком и Богом отношения непосредственные. Исполняет человек свои обязательства перед Богом, он в милости у Бога и имеет все права; не исполняет, и он лишается всех прав. Посредников ему не нужно ни на небе, ни на земле. О своих обязательствах перед Богом, о своей «службе» он узнает из Св. Писания, читая его на родном языке. Священники напрасно считают себя посредниками: помимо того, что в них, как в посредниках, нет никакой надобности, они и никаких особых преимуществ перед мирянами не имеют; ничего сверхъестественного им творить не дано: таинства пресуществления в том виде, как его понимает католическая церковь, не существует. Уиклифф находит вполне возможным представить себе такой общественный строй, в котором церковь будет состоять из одних мирян, без всякой духовной иерархии, продукта позднейшего развития церкви в ложном направлении, когда церковь уклонилась от пути, указанного в Евангелии.

Таким образом, совести каждого человека дана полная свобода; человек сам, без посредников, устраивает свои отношения с Богом. Эта Уиклиффова идея *личного* спасения, без посредства церкви, занимает главное место в учении Гуса и немецких реформаторов.

Таков идеальный строй общества. Но во имя идеала Уиклифф вовсе не упраздняет современного ему общественного строя. В реальном мире владение, власть имеют и грешники. В реальном мире «Бог должен повиноваться диаволу» (*Deus debet oboedire diabolo*), —утверждает Уиклифф. В реальном мире господствует Богом терпимый компромисс, в силу которого христианин обязан повиноваться установленным властям, даже если представители власти заведомо несправедливые люди. Как Бог допустил в сотворенном Им мире существование зла, как Христос повиновался диаволу, соглашаясь подвергнуться от него искушениям,—так всякий христианин должен подчиниться неправедному должностному лицу или епископу. В реальном мире праведные люди очень часто терпят всякия угнетения и лишения, не теряя своих прав на «держание», на все блага мира.

Как видим, эта последняя часть учения Уиклиффа мало вяжется с предшествовавшими

утверждениями, являясь не логическим выводом из данных посылок, а скорее насильственной точкой, поставленной на том месте, где следовало стоять самому выводу.

Д. Петрушевский.

LXXIV. Чешский реформатор Иоанн Гус

Упадок папской власти

Реформационное движение, обнаружившееся во второй половине XIV в. в Англии и связанное с именем Уиклиффа, нашло себе сильный отголосок и на материке Европы, в наследственных землях императоров Люксембургов, в среде славянского чешского народа. События, сопровождавшие зарождение и развитие чешской реформации, выходят далеко за пределы Чехии, приобретают общеевропейское, всемирно-историческое значение: смелый зачинщик движения является в качестве подсудимаго перед лицом Констанцского собора, представляющего собою всю католическую церковь, осужден и сожжен как еретик; весть о его кончине вызывает целый ряд кровавых войн во имя веры и народности, пять крестовых походов предпринимаются для искоренения ереси, но тщетно, и победоносные гуситы навоят страх на всю Германию. Вопрос о церковной реформе занимает все передовые умы XV в. и уже не сходит со сцены до возникновения новой решительной борьбы против католицизма, вызванной появлением Лютера, Цвингли и Кальвина. Исторические обстоятельства достаточно выясняют, почему именно в конце XIV и начале XV в. с такою силой обнаружилось в недрах самой католической церкви стремление к преобразованию последней сверху до низу, «в главе и в членах» («an Haupt und Gliedern»). Ближайшею причиной этого стремления, носившего в себе зародыши будущей реформации, является материальный и нравственный упадок папской власти, сообщавшей духовное и отчасти политическое единство средневековому строю государственному и церковному, налагавшей на всю Западную Европу отпечаток теократии. С тех пор, как римский первосвященник стал пленником французского короля, и столица церкви на 70 лет перешла из Рима в Авиньон, рушилось навсегда всемирное господство папского престола: эпоха так называемого «вавилонского пленения» была для церкви временем унижения, и преемники Климента V, первого авиньонского папы, являются жалкими орудиями политики французских королей. Но и последовавшее в 1377 г. возвращение Григория XI в Рим, долженствовавшее повести за

Пособия: *Палацкий.* История, т. III. *Loserth.* Hus und Wiclif. *Lechler.* I. von Wiclif. *Бильбасов.* Чех Ян Гус. *Новиков.* Гус и Лютер.

собой восстановление папской независимости и авторитета, не только не улучшило положения дел, но, напротив, дало повод к небывалому расколу, к неслыханному соблазну для всего католического мира: коллегия кардиналов раздвоилась, и по смерти Григория XI (в 1378 г.) появились одновременно два преемника св. Петра, итальянец Урбан VI в Риме и француз Климент VII в Авиньоне. Это раздвоение не скоро удалось устранить: оно продолжалось и после, сопровождаясь обоюдными отлучениями и проклятиями. Понятно, что при таком положении вещей фактическая власть должна была перейти в руки кардиналов, избирателей папы, и личность последнего действительно отступает на задний план: единоличная форма управления делами церкви переходит на время в коллегияльную, открывается эпоха церковных соборов, от которых все верующие ждут возрождения церкви; выдвигается принцип подчинения власти папы власти церковного, вселенского собора. Пизанский собор 1409 г., сошедшийся по инициативе кардиналов двух враждующих пап, в качестве высшей инстанции объявил низложение обоих, — Григория XII и Бенедикта XIII, избрав на их место престарелого Александра V. Но единство церкви не было восстановлено этим актом ни при жизни вновь избранного папы, ни после его скоро последовавшей смерти (1411 г.), при его преемнике, безнравственном Иоанне XXIII, так как оба низложенные схизматика отказались подчиниться решению собора. Таким образом, 1410 г. явил миру невиданное до тех пор зрелище борьбы трех претендентов на папский престол. Только Констанцскому собору удалось восстановить внешнее единство церкви, достигнуть низложения Иоанна, добиться отречения Григория и, наконец, принудить к тому же упрямого Бенедикта не ранее 1417 г. Судьба устроила так, что одновременно с расколом в римской церкви произошел такой же раскол и в Священной Римской Империи: низложенный курфюрстами уже в 1400 г., Венцеслав, оставаясь по наследству королем Чехии, не отказывался и от императорской короны, перешедшей к Рупрехту Пфальцскому; по смерти последнего (1410) голоса избирателей разделились, вследствие чего избранными явились, с одной стороны, Сигизмунд, младший брат Венцеслава, король Венгрии, с другой — маркграф Иост Моравский, их двоюродный брат, правда, умерший уже в следующем 1411 году бездетным. Так начало XV века представляет эпоху одновременного упадка и разложения обеих властей: духовной и светской, папской и императорской, на взаимодействии которых должна была держаться вся политическая жизнь средних веков по мысли Карла Великого. Отношения, в какие становились в описываемое нами смутное время различные носители императорской короны к быстро сменявшим друг друга и появлявшимся одновременно римским первосвященникам, признание или непризнание того или другого папы в наследственных землях Люксембургской династии, оказывали самое осязательное влияние на весь ход церковной жизни, производя смуту в управлении церковью, подрывая авторитет духовенства, усиливая и без того уже громко раздававшаяся жалобы на упадок христианской нравственности в его среде, подготавливая таким образом почву для будущих реформаторов. В то время, как люди более умеренные надеялись достигнуть возрождения церкви при помощи самих ее представителей, путем соборов, не отступая от католических традиций, умы более крайнего направления должны были силой вещей дойти до отрицания этих традиций, убедившись в их несовместимости с действительными реформами, должны были вступить на путь протестантизма.

Церковные особенности Чехии

Но, если исторические условия начала XV в. в достаточной степени объясняют, почему вообще в это время вопрос о необходимости преобразований в церковной жизни стал на первую очередь, почему же, спрашивается, именно в Чехии этот вопрос оказался настолько жгучим, что повлек за собою с течением времени настоящую религиозную революцию? Существует мнение, видящее прямую связь между гуситизмом и сохранившимися будто бы в чешском народе в течение веков следами православного вероучения и греко-славянского обряда, которых не успело вполне заглушить римское влияние. Однако трудно указать на факты, которые подтверждали бы подобное предположение; даже там, где гуситизм действительно соприкасается с православием, как в требовании причащения для мирян обоими видами (*sub utraque*), трудно доказать знакомство Гуса и его последователей с греческим ритуалом: совпадение скорее является случайностью, тем более, что и в католической церкви по этому вопросу не сразу установилось единообразие, и только четвертый Латеранский собор 1215 г. решительно постановил причащение *sub utraque* только для клира в отличие от мирян. Хотя впоследствии чаша (*calix*) сделалась как бы символом всего гуситского движения, без различия партий, так что все гуситы получили наименование *утраквистов*, замечательно, что сам Гус не поднимал вопроса о форме причащения: еще несколько раньше в пользу утраквизма высказывался магистр Матвей из Янова, но затем отрекся от своего мнения по требованию церковной власти; собственно же в круг учения гуситов утраквизм ввел впервые и с успехом магистр Яков (по-чешски Якубек, по причине малого роста прозванный *Jacobellus*), и ввел в то время, когда Гус находился уже в Констанце, при чем он, узнав об этом нововведении, высказался в его пользу, хотя и не признал причащения *sub utraque* необходимым и обязательным, а только желательным. Точно так же Гус не касался вопроса о введении национального языка в богослужение. По этому поводу не мешает заметить, что уже в X в., при учреждении епископской кафедры в Праге, славянское богослужение было заменено латинским, хотя не скоро было им вполне вытеснено: еще в XI в. служба совершалась на славянском языке в основанном около того времени Сазаво-Эммаусском монастыре, но к концу века была запрещена.

Хотя и впоследствии монахи этого монастыря сохраняли некоторые особенности в чине богослужения, но подчинялись духовной власти Рима, и основатель монастыря, пр. Прокопий, был даже канонизован в 1204 г. Иннокентием III. Почти так же мало доказанной представляется связь гуситизма с влиянием ереси вальденцев, появившихся в XIII в. (около 1265 г.) в соседнем с Чехией Регенсбурге и потом в Австрии, откуда их учение могло проникнуть и к чехам; быть может, именно такого происхождения была та ересь, для подавления которой король Оттокар II в 1257 г. обратился к содействию папы Александра IV, который назначил двух монахов миноритов инквизиторами в Чехии. Но и это предположение остается только догадкой. Зато, как увидим ниже, вполне несомненны духовная близость Гуса к Уиклиффу и прямое влияние учений оксфордского доктора на образ мыслей пражского магистра.

Конрад Вальдгаузенский

Уже в начале XIV в. видим в Чехии первые признаки разладицы в церковной жизни, послужившей исходным пунктом для всего дальнейшего движения. Прежде всего начинаются столкновения между епископами и поставленными в непосредственную зависимость

от папского престола монашескими орденами францисканцев-миноритов, доминиканцев, кармелитов и августинцев-эремитов. Первоначально славившиеся своею богословскою ученостью и в особенности проповедническою деятельностью, эти монахи с течением времени стали навлекать на себя сильные порицания за уклонение от аскетического идеала, за гордость, жадность и погоню за влиянием на массы, заступившая место христианского смирения и добровольной бедности. Указанные столкновения сопровождались взаимными жалобами и обвинениями, интердиктами и заподозрением в ереси. Дело доходило даже до открытой борьбы. Так было при епископе Иоанне и его преемнике, первом пражском архиепископе, знаменитом Арнесте (Эрнсте) из Пардубица. Этот современник императора Карла IV, подобно последнему и заодно с ним, положил много труда, — и не без успеха, — на укрепление дисциплины и на поднятие нравственности и образованности среди духовенства своей епархии. Между прочими постановлениями, изданными на поместных соборах, руководимых Арнестом, стоит отметить одно, предписывающее священникам учить прихожан молитве Господней, заповедям и краткому апостольскому символу веры на народном языке. Ко времени того же архиепископа относится деятельность знаменитого проповедника августинского ордена, Конрада Вальдгаузенского, из Верхней Австрии, которого император Карл IV призвал в свою любимую родную страну. Это был проповедник христианской морали, бичевавший всенародно пороки как светского, так и духовного общества, — нравственную распущенность, высокомерие и лицемерие, жадность, страсть к роскоши и т. д. Успех проповеди был громадный: слушатели стекались толпами и под влиянием увлекательных речей Конрада действительно каялись и изменяли образ жизни, заменяя пышные наряды простым платьем и воздерживаясь от прежних грехов. Нападки Конрада на монахов за их испорченность вызывали со стороны последних обвинения против него, касавшаяся, впрочем, исключительно области дисциплинарно-нравственной, а не догматической, как и проповеди самого Конрада не касались этого элемента. Покровительство императора дозволило, однако, Конраду продолжать свою деятельность уже в качестве настоятеля крупного прихода в Праге до самой его смерти, случившейся в 1369 г., том самом, когда родился Иоанн Гус.

Милич

Одновременно с Конрадом и несколько лет после него проповедывал с таким же жаром и с еще большим успехом, но уже не на немецком, а на чешском языке, Милич из Кремжира (Кремзира, в Моравии), отказавшийся от сана архидиакона и соборного священника, равно как от звания императорского подканцлера, для того, чтобы в добровольной бедности и смирении последовать Христу и проповедывать покаяние и христианскую чистоту жизни. Действие его проповедей было настолько сильно, что притоны разврата, занимавшие в Праге целый квартал, опустели и были разрушены дотла Миличем, которому император Карл отдал все это место в собственность для устройства громадного приюта покаявшихся грешниц во имя Марии Магдалины. Проповедуя на народном языке, что было неслыханною новостью и что особенно привлекало толпы слушателей, Милич обращался и к немецкому языку, смотря по составу своей аудитории, как и к латинскому — перед учеными и студентами. Ведя строгую жизнь аскета, нося грубую власяницу и призывая современное ему общество к нравственному обновлению, Милич в то же время неустанно углублялся в Священное Писание и вынес оттуда убеждение, что наступили уже те страшные времена, пред-

сказанный Спасителем, когда «по причине умножения беззаконий во многих изсякнет любовь» и когда «на святом месте станет мерзость запустения». Это воззрение сообщило особый отпечаток мистически настроенной натуре Милича: свое мнение, изложенное в особом трактате (*Libellus de Antichristo*), Милич открыто заявил в самом Риме, куда прибыл нарочно с этой целью. Заарестованный римскою инквизицией, он был однако отпущен на свободу по приказанию Урбана V. Впоследствии он вторично должен был предстать перед судом папы Григория XI в Авиньоне по обвинению, изложенному в двенадцати пунктах; и на этот раз ему удалось оправдаться, после чего вскоре он захворал и умер в Авиньоне (1374 года). Карл IV и архиепископ пражский все время покровительствовали Миличу. Предвестники чешской реформации действуют еще в согласии с высшею властью, светскою и духовною, ждут еще от папы и собора искоренения плевел и возрождения церкви.

Матвей из Янова

Как видно из обвинительных пунктов, Милич, как и Конрад, не касался собственно области догматов, ограничиваясь чисто нравственною моралью. Достоинно замечания, что Милич горячо советовал своим слушателям как можно чаще, по возможности ежедневно, искать подкрепления и утешения в таинстве евхаристии, что также было поставлено ему в вину и что должно было со временем обратить особое внимание на вопрос о причащении. Ревностным учеником Милича является Матвей из Янова, получивший степень магистра в Париже, занимавший в течение более десяти лет, до самой смерти (в 1394 г.), место соборного настоятеля и исповедника; круг деятельности Матвея был более ограничен сравнительно с деятельностью его предшественников: он не выступал всенародно в роли пророка и апостола, довольствуясь исполнением обязанностей духовника и особенно усердными литературными занятиями. Свои многочисленные богословские трактаты Матвей впоследствии соединил в одно целое под заглавием: «*De regulis veteris et novi testamenti*» — объемистое, пятитомное сочинение, основная мысль которого заключается в противопоставлении истинного христианства ложному, церкви Христовой обществу злых, царству антихриста. Основные правила (*regulae*) истинно-христианской морали Матвей извлек из Библии в числе 12, 4 — из Ветхаго и 8 — из Новаго Завета. Церковь есть совокупность верующих, живущих в духе христианского учения, подражающих Христу в смирении и самоотречении, постоянно носящих в сердце образ Распятого. Подобно его предшественникам, Матвей также выдвигает на первый план не теорию, а практику христианства, не догматику, а христианские добродетели. До своих воззрений Матвей, по его словам, дошел путем внимательного наблюдения над современностью и ее сравнения с первобытным христианством и особенно путем чтения Библии, заключающей в себе достаточный материал для уяснения всех основных вопросов религии, в виду чего Матвей сравнительно мало черпал из творений отцов церкви и ученых богословов (*quapropter in his scriptis meis per totum usus sum maxime Biblia et modicum de dictis doctorum*). Это преимущественное пользование Библией, с которою Матвей, по его признанию, не разставался от юности до старости, ни дома, ни в пути, ни во время занятий, ни в часы отдыха, которая была для него светом и утешением, сближает Матвея с будущими протестантами, опирающимися на авторитет Библии в борьбе против средневековой католической схоластики. Матвей уже выделяет из состава христианства второстепенные частности, устанавливая основные, существенные его начала; он различает предписания Божии (*praescepta Dei*) и учения и предания человеческие (*mandata*

et traditiones hominum), называя последние даже изобретениями (adinventionos), и скорбит о том, что люди и даже само духовенство более придают значения таким изобретениям, чем праведности и любви к ближнему. Хотя эти «предания человеческие» и не указываются с достаточной точностью, но именно по этому пункту Матвей всего ближе подходит к протестантской точке зрения. Требуя от верующих истинно-христианского настроения и возста- вая против преобладания внешнего, обрядового благочестия, Матвей навлек на себя обви- нение со стороны своих врагов в непочитании икон и мощей и на церковном соборе 1389 г. принужден был отречься от своих заблуждений, признать спасительность почитания свя- тых и молитв к ним о заступничестве; обязался также не советовать мирянам причащаться ежедневно, но и впредь остался при своем мнении по этому вопросу, в котором он шел вполне по стопам Милича, считая спасительным для души возможно частое причащение, но так же точно не требуя, по крайней мере прямо, причащения под обоими видами для мирян. В числе магистров и докторов Пражского университета было немало единомышлен- ников Матвея по указанному пункту. Впрочем, Матвей отнюдь не думал выступать рефор- матором в смысле, враждебном существующему церковному строю: в своих сочинениях он постоянно заявлял, что никогда не имел и не имеет намерения противоречить в чем-либо учению святой католической церкви и потому заранее отрекается от всех заблуждений, ко- торые по неведению могут прокрасться в его писания; и не только на словах, но и на деле Матвей доказал эту готовность подчиниться приговору представителей церкви. Он умер в 1394 г., когда Гус уже проходил свою учено-богословскую карьеру.

II

Сношения с Англией

Мы видели уже, что интерес к религиозным вопросам, вызвавший появление проповед- ников христианского нравственного идеала, не становившихся однако в резкую оппозицию авторитету церкви, был в свою очередь вызван к жизни в Чехии причинами, которые мож- но назвать общими для всего тогдашнего христианского мира. Темные стороны церковной жизни, особенно ярко обнаружившиеся в эпоху великого раскола, невежество и суеверие масс, обрядовое благочестие при отсутствии духа христианской любви и чистоты, пороки высшего общества и самого клира, жадность к наживе, роскошь, гордость, жестокость и распущенность нравов,—все эти явления общего характера действовали с особою силой в Чехии, благодаря, как мы видели, стараниям Карла IV и пражских архиепископов, направ- ленных к водворению лучших порядков внутри церкви, стараниям, находившим живой от- голосок в умах лучших людей того времени, каковы были Конрад Вальдгаузенский, Милич, Матвей из Янова. В тесной связи с этим стремлением Карла к поднятию умственного и нравственного уровня его подданных стоит самое великое дело «отца Чехии»,—основание в 1348 году университета в Праге по образцу знаменитых разсадников просвещения в Пари- же и Болонье. Это было событие громадного общеевропейского значения: Пражский уни- верситет стал умственным средоточием всей центральной Европы, число его слушателей считалось тысячами; благодаря своему университету, Прага сделалась тем, что немцы назы- вают Weltstadt. Международный характер университета, персонал которого состоял из представителей четырех наций,—чешской, польской, саксонской и баварской,—вызывал

международное умственное общение; питомцы Пражского университета довершали свое образование и получали магистерские степени в Париже и Оксфорде.

Усиленная научная деятельность, хотя бы и схоластическая по общему характеру, выразившаяся в лекциях, диссертациях, публичных диспутах об отвлеченных вопросах права или религии, литературных трудах, будила мысль, приучала ее к самостоятельной работе и расширяла умственный кругозор общества. Обще-европейская научная связь, органом которой служил университет, выразилась особенно в том, что именно он является проводником идей Уиклиффа из Англии в Чехию. Предшественники Гуса остались свободны от влияния этих идей: это—новый элемент, благодаря которому Гус представляет собою уже второе звено в истории умственного движения в Чехии XIV—XV веках.

Помимо университетского общения между Прагою и Оксфордом, существовала еще другая связь между двумя далекими одна от другой странами, связь династическая, завязавшаяся в 1382 году, когда принцесса Анна, дочь Карла IV, стала супругой английского короля Ричарда II, и продолжавшаяся до смерти в 1394 г. «доброй королевы Анны», как ее звали в Англии. Это название указывает на популярность дочери Карла IV в ее новом отечестве, и весьма любопытно, что сам Уиклифф, переводя Библию на английский язык, в оправдание своего предприятия ссылаясь на пример королевы, у которой имелось Евангелие на трех языках,—латинском, немецком и чешском. Таким образом, родство двух королевских домов на первый раз как будто обнаруживает проявление влияния на Англию со стороны Чехии; но скоро устанавливается обратное отношение. Если трудно доказать проникновение уиклиффизма в Чехию при жизни Уиклиффа, то, несомненно, его учение проникло туда очень скоро по смерти английского реформатора. Один из крупнейших ученых и писателей чешской нации в описываемую эпоху, Фома Штитный, в одном из своих сочинений, писанных в самом конце XIV в., затрагивает вопрос, по его мнению, совершенно неразрешимый,—о том, остается ли по пресуществлении Св. Даров в хлебе его прежнее существо. Это—вопрос уже догматического характера (*de remanentia panis*), поднятый Уиклиффом и занимавший всех богословов последующего времени; влияние здесь очевидно. Пражские студенты, доучивавшиеся в Оксфорде, привозили на родину переписанные собственноручно философские трактаты Уиклиффа и затем излагали их содержание с кафедры и делали их предметом диспутов, благодаря университетскому уставу, позволявшему не только магистрам, но и бакалаврам чтение по тетрадам известных парижских и оксфордских профессоров. Вердикт лондонского собора 1382 г., объявившего 24 положения, извлеченные из сочинений Уиклиффа, ложными и даже еретическими и подвергнувшего их проклятию, не помешал их распространению на материке. Друг Гуса, известный Иероним Пражский, признал перед Констанцским собором, что он во время своей поездки в Англию (около 1396 г.) переписал некоторые из книг Уиклиффа (*Dialogue* и *Trialogus*) и привез в Прагу. Сам Гус в сочинении против англичанина Стокса, писанном в 1411 году, говорит, что он и его сотоварищи по университету имели в руках и читали книги Уиклиффа 20 лет и более тому назад: значит, первое знакомство Гуса с этими книгами относится к 1391 г. или даже и ранее того. Так же точно, позднее, в 1407 г., два пражских студента привезли из Оксфорда просмотренный список с книги Уиклиффа «*De veritate sanctae scripturae*». Сочинения Уиклиффа не только переписывались, но и переводились: сам Гус перевел его «Триалог» на чешский язык для маркграфа Иоста Моравского. Между пражскими магистрами

старшего поколения к числу приверженцев Уиклиффа принадлежали: Николай Лейтомышльский, Станислав Знаймский, Стефан Палечский (оба последние со временем отступились от прежних мнений и были непримиримыми врагами Гуса); из более молодых ученых примкнули к Уиклиффу Иоанн Гус и Иероним Пражский.

Биография Гуса

Иоанн Гус родился 6 июля 1369 года в местечке Гусинце, Прахинского округа, у подножия гор Шумавы (Богемского леса), близ Баварской границы и истоков Вльтавы (Moldau). Его родители были простые, но зажиточные люди.

Биография Гуса до 1403 г. не богата внешними фактами. Он учился в Пражском университете, в сентябре 1393 г. достиг степени бакалавра свободных искусств, в 1394 г. — бакалавра богословия, в январе 1396 г. — магистра свободных искусств. Дальше этой ученой степени Гус не пошел; повидимому, он не выдавался в это время заметно по способностям в ряду своих сотоварищей, так как при всех трех производствах его имя стоит лишь в середине списка удостоенных степени. Однако же, в 1398 г. он читает лекции в университете, и в том же году университетская корпорация избирает его в экзаминаторы от чешской нации для добывающихся бакалавриата. В следующем 1399 году Гус впервые выступает открытым защитником некоторых мнений Уиклиффа по случаю участия в одном диспуте. Затем он быстро прошел по порядку две важнейшие университетские должности: в 1401 г. он занял пост декана философского факультета, а в 1402 г. был избран ректором университета и, по тогдашнему обычаю, занимал эту должность в течение полугода, до конца апреля 1403 г.

Круг деятельности Гуса, благодаря его положению в университете, был очень обширен, в смысле воздействия на умы слушателей, и, кроме того, эта ученая деятельность была для него самой школой и способом дальнейшего самообразования, согласно принципу *docendo discimus*. Мы видели, что уже в эти годы Гус был знаком с философскими сочинениями Уиклиффа и вскоре ознакомился также с его богословскими трактатами. Есть предположение, весьма вероятное, что первые свои лекции в университете Гус читал именно по Уиклиффу: дело в том, что в 1398 году, как мы видели, он открыл чтение лекций, и как раз к этому же году относится переписанная им лично рукопись (находящаяся теперь в Стокгольме), содержащая пять философских сочинений Уиклиффа, весьма похожая по внешнему виду на академические тетради того времени. Очень может быть, что по этой рукописи Гус читал свой первый университетский курс.

В своей частной жизни Гус является человеком безукоризненно-строгой нравственности; и впоследствии сами враги его не могли ни в чем упрекнуть его с этой стороны. В письме к одному из своих любимых учеников, писанном в 1414 г., перед отъездом в Констанц, он кается, как в грехах молодости, в пристрастии к шахматной игре и нарядному платью. В годы студенчества он был безусловно преданным сыном католической церкви: в 1393 г., идя к исповеди в вышеградскую церковь св. Петра, он отдал духовнику последние три гроша и совершил все предписанные обрядности, чтобы удостоиться отпущения грехов. В этом проявлении благочестия он впоследствии раскаивался. Судя по всей жизни Гуса и по его смерти, мы можем сказать, что это был характер в одно и то же время мягкий, любящий и незлобный, внушавший любовь к себе в знавших его и, с другой стороны, се-

резный, строгий к себе, последовательный и правдивый; он не знал корыстных, личных мотивов, всегда был борцом за истину, как ее понимал, и никакая сила не могла заставить его отречься от раз выработавшихся убеждений, если только ошибочность их не была ему доказана. Он не был способен на сделки с совестью, ложь была противна его натуре, и там, где дело касалось идеи, принципа, он обнаруживал железную твердость. Это был человек, проникнутый насквозь религиозным духом, проповедник и мученик по призванию. Будучи носителем всемирного христианского идеала, он был в то же время чешским патриотом, сыном и деятелем своего народа, разделяя и его национальные антипатии и предрасудки, как увидим ниже.

Подобно Фоме Штитному, Гус являлся одним из создателей чешского литературного языка: он сам написал 15 сочинений на языке своего народа, постоянно ратовал за его правильность и чистоту, возставая против его порчи, против «двоения речи», т. е. обычного в то время, особенно у пражан, при их постоянных сношениях с немцами, смешения чешских слов и оборотов с немецкими; в этом смешении Гус видел двойственность в характере и образе мыслей. Он старался установить твердые грамматические правила для чешского языка и правописания; последнему вопросу он даже посвятил особый трактат (на латинском языке), и предложенная им система чешского правописания оказалась настолько простою, точною и последовательною, что вошла уже в XVI в. в общее употребление и остается господствующею до настоящего времени. В XIV в., еще до Гуса, какой-то неизвестный уже перевел на чешский язык всю Библию, — признак подъема и развития народного языка и вместе с тем событие громадной важности в истории движения религиозной мысли. Гус, как и впоследствии Лютер, не мог относиться безучастно к вопросу о том, будет ли народная масса иметь возможность слышать и читать Св. Писание на доступном для всех народном языке: он заново пересмотрел и исправил сделанный до него перевод Библии. Наконец, он испытывал себя и на поприще поэзии, писал церковные гимны (также подобно Лютеру) и дидактические стихи, пробовал (по примеру Штитного) усвоить чешскому языку гекзаметр, но без особенного успеха.

Иероним Пражский

С именем Гуса связывается имя его близкого друга и товарища по убеждениям, Иеронима Пражского, который был несколькими годами моложе Гуса и происходил из рыцарской, хотя и не первостепенной фамилии. Иероним от природы был не менее одарен умом и красноречием, чем его друг, но отличался от него большею живостью характера и, как оказалось впоследствии, уступал ему в твердости духа. В то время, как спокойный, сосредоточенный Гус до своей невольной поездки в Констанц не выезжал ни разу за пределы Чехии, Иероним объездил Запад и Восток для удовлетворения своей любознательности. Еще студентом он был, как мы видели, в Оксфорде, позднее, будучи бакалавром, посетил Кёльн, Гейдельберг, наконец, Париж, где и получил степень магистра. В 1403 г. он путешествовал по Палестине, был в Иерусалиме; в 1410 г. мы его встречаем в Венгрии и в Вене. Разъезжая повсюду в качестве рыцаря и ученого одновременно, Иероним не скрывал своей склонности к Уиклиффу и даже пропагандировал его учение, почему не раз ему приходилось терпеть неприятности, даже спасаться бегством, — чего, заметим, Гус не сделал бы, — и сидеть под арестом. Последнее путешествие Иероним совершил уже в 1413 г. в Польшу и Литву, ко двору короля Ягелла-Владислава и великого князя Витовта. При краковском

дворе он заинтересовал всех своею личностью и немало смутил духовенство и мирян своими речами; не меньший соблазн произвел он в Литве и западной Руси, когда заявил в Витебске к негодованию монахов-миноритов, что считает православных русских добрыми христианами, посещал русские церкви, прикладывался к православным святыням, вообще выказывал расположение к греко-русскому богослужению. То же повторилось в Пскове, несмотря на увещание епископа виленьского. Едва ли однако это отношение Иеронима к православию может служить даже косвенным подтверждением мнения о связи гуситизма с некогда существовавшим в Чехии православным обрядом: Иероним, как и сам Гус, будь он на его месте, мог сочувственно отнестись к таким отличительным чертам православия, каковы непризнание папской власти в католическом смысле, причащение под обоими видами, богослужение на народном языке, отсутствие безбрачия священников; но не видно, чтобы Иероним или Гус были основательно знакомы с православием или интересовались учением и обрядами греческой церкви. Вековое отчуждение Запада от Востока вполне сказалось в том факте, что для ученого магистра Парижского университета православный мир был *terra incognita*, и без поездки в Литву он, вероятно, не имел бы о нем даже и смутного представления.

Таковы были вожди нового религиозного движения в Чехии.

Вифлеемская часовня

Но, говоря о личности Гуса и его ученой карьере, мы пока еще ничего не сказали о той его деятельности, которая наиболее сближала его с массой народа, и которой он обязан наибольшею популярностью. В 1391 г. на пожертвования отдельных лиц, особенно рыцаря Иоанна фон-Мюльгейма, пражского гражданина, родом из Пардубица, королевского советника и любимца, возникла в Праге часовня под именем Вифлеема, специально предназначенная по мысли ее основателя для *проповеди* слова Божия, и притом на *чешском* языке, следовательно, для всей массы туземного населения,—опять факт, свидетельствующий о том, насколько сильно ощущалась в то время потребность в живом слове, в нравственно-религиозном воздействии на умы, и вместе с тем указывающий, какие успехи за немногие годы сделала идея чешской национальности с тех пор, как Милич впервые решился проповедывать на *простонародном* языке (*sermo vulgaris*), к удивлению и неудовольствию многих.

В 1402 г. учредитель Вифлеемской часовни по дарованному ему праву представил Гуса на пост проповедника при ней; утверждение со стороны архиепископа последовало, и Гус принял рукоположение в сан священника. Если при университетском преподавании он имел возможность влиять на массу учащейся молодежи, стекавшейся в Прагу из ближних и дальних мест, то, в качестве проповедника, Гус стоял лицом к лицу со всем населением Праги, и эта деятельность перед всенародною аудиторией сделала его своим человеком для всего чешского народа, вождем в деле веры, любимым народным героем.

Теперь мы подошли к тому историческому моменту, с которого начинается открытая борьба против распространения в Чехии уиклиффизма, борьба, в которую вступил и Гус, как защитник Уиклиффа. Но мы увидим, что в течение первых лет возникшей полемики он еще не покидает почвы своих предшественников, ожидает необходимых церковных улучшений по почину самой церкви и ее официальных представителей и поэтому живет и

действует в согласии с церковными властями; лишь впоследствии, когда надежда на преобразование не оправдалась, Гус становится в оппозицию к архиепископу и папе.

Осуждение Уиклиффа в Праге

В течение 1402 и большей части 1403 г., по смерти пражского архиепископа Вольфрама, кафедра оставалась пустою, пока к концу последнего года ее не занял архиепископ Сбынек. Это отсутствие высшей церковной власти в стране способствовало усиленному распространению идей Уиклиффа, тем более, что именно в это время Гус был ректором, а его единомышленники, Николай Лейтомышльский, вице-канцлером университета. Когда затем оба сдали по уставу свои должности другим лицам не-чешской национальности, обнаружилась реакция с примесью национального оттенка: было обращено внимание на акты лондонского собора 1382 г., осудившего Уиклиффа, и к 24 уже осужденным тезисам последнего магистр Гюбнер (из Силезии) присоединил еще 21, извлеченные из книг Уиклиффа, не менее предосудительные. Преемник Гуса в должности ректора, Вальтер Гаррассер (баварец), собрал университет в торжественное заседание на 28 мая 1403 г., и на этом собрании по решению большинства голосов состоялось первое запрещение в Праге всех 45 пунктов учения Уиклиффа: все члены университетской коллегии должны были обязаться клятвой не распространять и не защищать ни тайно, ни явно запрещенных положений. Разумеется, прежде чем дело дошло до решения, в заседании много и горячо спорили; но интересно, что из сторонников Уиклиффа один только Станислав Знаймский, впоследствии перешедший в консервативный лагерь, защищал тезисы английского ересиарха по существу и притом в такой резкой форме, что некоторые магистры, из более пожилых, в негодовании оставили залу заседания. Что касается до Николая Лейтомышльского и Гуса, то они, не защищая мнений Уиклиффа в том виде, как они излагались в 45 артикулах, старались подвергнуть сомнению подлинность последних: Николай обвинял Гюбнера в приписывании Уиклиффу вещей, которых тот никогда не говорил, а Гус даже поставил вопрос: не заслуживают ли люди, искажающие, подделывающие чужия мысли, большого наказания, чем те два обманщика, которые незадолго перед тем были осуждены на смерть и сожжены в Праге за подделку шафрана? Защищая таким образом Уиклиффа от ложных, по его мнению, обвинений, Гус пока еще не становился открыто в ряды последователей человека, признанного еретиком, с которым, кстати заметить, при всем уважении к нему, Гус никогда не был согласен по всем пунктам: правда, по свидетельству одного из летописцев-таборитов XV в., он сам не раз говорил, что чтение книг Уиклиффа открыло ему глаза; правда, он не отрицало взведенного на него впоследствии обвинения в том, что он,—по его собственным словам,—желает, чтобы его душа по смерти была там же, где душа Уиклиффа; однако одного из самых важных учений последнего,—о причащении,—Гус, повидимому, никогда не разделял: в этом вопросе он остался на почве церковного догмата о пресуществлении. В числе обвинительных статей, предъявленных Гусу в Констанце, стояло обвинение и по указанному пункту; но Гус торжественно отверг это обвинение, как ложное, и его сочинения действительно доказывают правоту его слов. Самые показания враждебных Гусу свидетелей, уличающих его в ереси по вопросу о пресуществлении, все относятся ко времени до 1403 г.; можно было бы думать, что он со временем оставил взгляд, который разделял вначале; но это мало вероятно в виду отсутствия прямых улик, тем более, что именно в период времени до 1403 г. ни разу никто не обвинял Гуса по данному вопросу, и даже обвинения,

поданныя против него позднее, в 1408—9 годах, касаются совсем других пунктов.

Лишь не ранее 1412 г. начинают раздаваться обвинения Гуса в непризнании пресуществления, основанные, вероятно, на неверном или неточном понимании, или на прямом искажении его слов, как сам он заявлял на соборе в свою защиту. Так же точно Гус не примкнул к Уиклиффу по другому вопросу, по которому также было предъявлено ложное обвинение,—по вопросу о том, может ли священник недостойный, совершивший смертный грех, совершать (*conficere*) таинство?

По мнению Гуса, вполне согласному с обще-церковным учением, таинство не теряет своей силы ни в каком случае и не зависит от личности совершающего; если последний оказывается недостойным, то совершение таинства ему лично служит к гибели. Были однако другие вопросы, по которым, как увидим, Гус был солидарен с Уиклиффом, и запрещение учения последнего, конечно, не помешало их распространению, а еще больше обратило на них общее внимание.

Заступничество за Уиклиффа не помешало пока Гусу пользоваться доверием и расположением архиепископа: последний возложил на него новую важную обязанность, назначив его синодальным проповедником. В этом звании Гус являлся своего рода цензором нравственности духовенства всей архиепископии, должен был лично или письменно доводить до сведения архиепископа о всех замеченных им беспорядках и злоупотреблениях и каждый раз при открытии провинциального синода (т. е. собора епархиального духовенства) проповедывать об обязанностях истинных пастырей церкви, при чем, конечно, приходилось постоянно указывать на отклонения от идеала, не только поучать и увещевать, но и обличать, громить недостойных за их поведение. Хотя бы при этих обличениях ничьи имена не были произносимы, такая цензорская, карательная деятельность не могла не создать многих врагов смелому обличителю.

Гус был также в числе тех трех магистров, которым архиепископ Сбынек поручил расследовать дело о чудесных исцелениях, будто бы совершавшихся в местечке Вильснаке (близ нижней Эльбы). В тамошней церкви сохранялись, по общему верованию, частицы крови Христовой, и массы народа даже из далеких стран, между прочим и из Чехии, стремились на поклонение этой святыне. Комиссия из трех магистров, расследовав дело, объявила все слухи о вильснакских исцелениях безусловно ложными, и результатом этого следствия было постановленное на синоде 1405 г. запрещение ходить на богомолье в Вильснак. Не довольствуясь изобличением обмана, Гус написал специальное богословское рассуждение на тему о том, может ли в настоящее время сохраняться кровь Спасителя иначе, как незримо и таинственно, в пресуществлении вина на евхаристии. Одна мысль в этом трактате характеризуем взгляды Гуса: по его мнению, истинный христианин не нуждается в чудесах и знамениях для утверждения в вере: для этого он должен только постоянно *углубляться в Писание*; требование чудес есть признак маловерия (*nullus verus Christianus Christi anus debet signa in fide sua quaerere, sed constanter quiescere in scriptura*); священники должны возвещать народу слова Христа, а не ложные чудеса. Священное Писание, как основа всей религии, решительно выдвигается на первый план: этот тезис, заявленный уже Матвеем из Янова, проходит красною нитью чрез все сочинения Гуса.

Ратуя против нравственной распущенности и против суеверий, основанных на обмане,

Гус иногда позволял себе высказывать резкие истины самому архиепископу и чрез это становился на скользкий путь оппозиции: трудно было не переступить той черты, за которой исполнение духовной обязанности принимало уже характер неповиновения, неуважения к высшему со стороны низшаго. Так, заступаясь (без успеха) за одного священника, обвиненного в ереси, тогда как вся вина этого человека, по объяснению Гуса, состояла в том, что он всего себя посвятил на проповедь Евангелия,—Гус открыто порицает архиепископа в своем письме к нему, говоря, что он преследует ревностнейших, достойнейших священников, оставляя в покое безнравственных. Не удивительно, что прежние отношения не могли долго удержаться при таких условиях и скоро обострились: Сбынек, вообще серьезно относившийся к своим пастырским обязанностям, охладел к Гусу. В 1408 г. духовенство столицы и всей пражской епархии подало архиепископу жалобу на Гуса, обвиняя его пока еще не в ереси, а в том, что он в своих проповедях в Вифлеемской часовне чернит духовенство и делает его ненавистным в глазах всего народа; особенно, по словам этой жалобы, Гус черезчур расширял понятие о симонии. Несмотря на оправдания Гуса, результатом жалобы было его увольнение от должности синодального проповедника. К концу того же 1408 г. дело дошло до того, что архиепископ официально объявил Гуса непокорным сыном церкви и запретил ему отправление священнических обязанностей в пределах своей епархии. Гус оправдывался в скромном, но твердом тоне, доказывая, что Сбынек поступил с ним несправедливо, благодаря излишней поспешности. Впрочем, и в этом случае дело касалось не церковного учения, а церковно-политического вопроса, которого мы должны коснуться ближе.

Все попытки к устранению папского раскола оказывались неудачными: раздвоение и связанная с ним путаница в церковных делах продолжались попрежнему. Еще в 1403 г. король Сигизмунд, у которого брат его Венцеслав находился в то время в плену, издал декрет своим наместникам в Чехии, запрещающий повиновение папе Бонифацию IX, а это распоряжение подлило масла в огонь: с одной стороны, церковные власти не торопились с обнародованием этого декрета; с другой, конечно, находились люди, сочувствовавшие ему. Тем временем Венцеслав освободился из плена и после удачной войны с своим братом занял вновь чешский престол: не довольствуясь своим наследственным королевством, он добивался также возвращения себе короны Римской империи. Так как новый папа, Григорий XII, стал на сторону его соперника, Рупрехта пфальцского, Венцеслав запретил пражскому архиепископу повиноваться и этому папе.

Давнишнее недовольство все усиливалось и принимало более определенные формы, переходя в открытую оппозицию против главы церкви, откуда недалеко было и до оппозиции против существующей церкви вообще. Во всяком случае такое ненормальное положение давало новую пищу религиозному вольномыслию и содействовало успеху идей Уиклиффа, распространение которых продолжалось вопреки запрету, положенному в 1403 г. Уже два года спустя, в 1405 г., Иннокентий VII вследствие дошедших до него из Чехии жалоб приказывал архиепископу отнюдь не ослабевать в деле выслеживания и преследования лжеучения Уиклиффа. Самому архиепископу было подано обвинение против профессора богословия Станислава Знаймского. На синоде 1406 г. состоялось постановление о тяжелых церковных карах за исповедание и распространение еретических мнений. На основании этого постановления несколько духовных и светских лиц подверглись привлечению к ар-

хиепископскому суду и допросу, но были отпущены, отрекшись от своих заблуждений. По-видимому, на такой мирный исход дела повлиял со своей стороны Гус, в то время еще пользовавшийся доверием Сбынека, а также покровительством королевского двора, в особенности набожной королевы Софии, супруги Венцеслава, избравшей Гуса своим духовником. Эта могущественная поддержка дала Гусу, — независимо от сочувствия народной массы, — возможность держаться и продолжать свою деятельность и после разрыва с архиепископом, тем более, что папские буллы при тогдашних отношениях между папой и правительством не имели силы.

В начале нашего очерка мы уже сказали об усилиях Пизанского собора (1409 г.) положить конец схизме; эти усилия не увенчались успехом, но зато самая идея, — подчинить все церковные спорные вопросы решению собора в качестве верховного судилища, — была принята всеми, и дело Пизанского собора было только вступлением к деятельности соборов Констанцского и Базельского. Теперь, когда и Григорий XII, и его противник были объявлены низложенными, решено было держаться нейтралитета по отношению к обоим, т. е. не признавать ни того, ни другого впредь до нового, правильного избрания. Пражский архиепископ Сбынек вначале не соглашался на требование Венцеслава, находя невозможным нарушить повиновение Григорию XII; университет, приглашенный высказаться по тому же поводу, не мог постановить решения в виду того, что представители только одной чешской нации, — и между ними в особенности Гус, — стояли за нейтралитет, тогда как три остальные нации были против него. Это поведение Гуса в вопросе о нейтралитете и было поводом к упомянутому выше публичному порицанию его и его единомышленников со стороны архиепископа. В конце концов, однако, после Пизанского собора Сбынек отступил от Григория XII и признал вновь избранного Александра V, и Гус с своей стороны отметил эту последовательность.

Борьба немцев и чехов в университете

Возникшее в недрах университета разногласие по вопросу чисто канонического характера обнаружило в ярком свете давнишнюю национальную вражду между чехами и немцами и повело за собой целый переворот в строе университетской жизни. Вражда была слишком старого происхождения и коренилась слишком глубоко, чтобы не отразиться и в области научной деятельности, которая, казалось бы, должна была содействовать примирению национальных страстей и дружной, совместной работе во имя просвещения. Уже в конце XIV в. чехи не без основания жаловались, что немцы в университете подавляют их своим большинством и обращают в свое исключительное пользование выборные университетские должности и доходные места в коллегиях имени Карла IV и Венцеслава (так назыв. коллегатуры). При международном характере и общеевропейском значении Пражского университета, привлекавшем в его стены массы слушателей из соседних стран, немецкие студенты, магистры и доктора составляли громадное большинство его персонала, разделенного по примеру Парижа на четыре нации; из последних две, — баварская и саксонская, — представляли в сущности одну, третья, — польская, — со времени учреждения Краковской академии состояла также большею частью из немецких или онемеченных обитателей Пруссии, Померании и Силезии. Голоса при избрании на должности и при решении всех вопросов подавались по нациям, и такое устройство университетского самоуправления фактически делало немцев господами положения, даже если бы на их стороне не было абсолютного боль-

шинства. Понятно, что такое преобладание немецкого элемента в университете, находящемся в столице чешского народа, казалось представителям последнего вопиюще несправедливостью, тем более, что это преобладание давало себя чувствовать весьма осязательно: нередко чешским магистрам приходилось искать частных учительских занятий вне Праги, так как «чужие» не допускали их до университета и коллегий. Теперь, когда старая вражда проявилась с новой силой, при чем одна чешская нация высказалась за исполнение королевской воли, именно это обстоятельство оказалось роковым для прочих трех наций: Венцеслав, раздраженный сопротивлением, 18-го января 1409 г. издал знаменитый декрет, представлявший во всех университетских делах чешской нации *три* голоса, а трем остальным—только *один*.

Эта коренная перемена была проведена по совету друга Гуса, влиятельного королевского сановника, Николая из Лобковиц, управлявшего горным делом в Чехии, а также по представлению французского посольства, прибывшего для переговоров о «папском нейтралитете», за который особенно ратовало французское правительство. Послы выяснили Венцеславу, что распределение голосов в университете основано не на законе, а лишь на установившемся обычае (хотя, повидимому, этот обычай имел силу с самого основания университета), и потому может быть изменено актом королевской воли; кроме того, было указано на то, что в Парижском университете, по образцу которого был создан Пражский, три голоса принадлежали одной французской нации. Последнее было верно фактически, но не формально: в Париже точно так же, как и в Праге, каждая нация в университете имела один голос, но из них три (французская в тесном смысле, нормандская и пикардийская) представляли собою туземное население страны в противоположность четвертой—английской, следовательно, отношение было как раз обратное Пражскому и более благоприятное для интересов «галльской» нации, взятой в целом.

Этот переворот повлек за собою последствия общеевропейской важности. В то время, как Гус открыто заявлял с кафедры благодарность королю и его советнику и прославлял любовь короля к его народу, между немцами обнаружилось сильное возбуждение; но сопротивление и угрозы не помогли делу, и попытки склонить короля к более любовной сделке, к видоизменению, если не отмене, его распоряжения—не удались; переговоры затянулись на несколько месяцев, в течение которых вся университетская жизнь пришла в разстройство, выборы новых ректора и декана не могли состояться. Когда же Венцеслав назначил обоим своею властью и Николай из Лобковиц в сопровождении членов пражского городского совета и вооруженной свиты явился в здание университета и от имени короля потребовал от прежнего ректора выдачи университетских ключей и печати и всех письменных актов, тогда целые тысячи немецких профессоров и студентов покинули Прагу навсегда и положили основание новому разсаднику наук в Лейпциге в том же 1409 г. Таким образом Пражский университет сделался из международного научного учреждения национальным, чешским; победа национальной партии была полная, но за эту победу пришлось дорого заплатить,—значительным опустением и упадком научного значения, благодаря отливу массы научных сил.

III

Булла Александра V

Торжество чешского элемента над немецким еще более усилило течение, враждебное существующим церковным порядкам, так как в стенах университета именно чешская нация представляла оппозиционный элемент в противоположность консервативному немецкому. Теперь сдерживавшая плотина была прорвана, и движение начало приобретать более резкий характер, попрежнему примыкая к Уиклиффу и его учению. Отношение правительства к этому движению страдало некоторою двойственностью; решая чешско-немецкую распрю в смысле, благоприятном для чехов, Венцеслав имел в виду только сломить сопротивление в вопросе о непризнании папы; ему, конечно, не приходило в голову, что совершенный им переворот придаст новую силу идеям, поддерживать которые вовсе не входило в виды короля. Венцеслав был очень раздражен молвой об ересь, распространяющихся в его королевстве, и резко выражал свое неудовольствие Гусу, Иерониму и их друзьям за то, что по их милости Чехия приобрела худую славу в глазах всех народов. Это однако не мешало Гусу вообще пользоваться личным расположением короля и особенно королевы. Слухи об ересь вообще старались выставить преувеличенными и мало основательными: уже в 1408 г. архиепископ Сбынек после принятых им мер против некоторых заподозренных личностей (при чем мы видели выше бесплодное заступничество Гуса за одного из таких подсудимых), согласно желанию короля, объявил на обычном провинциальном синоде, что пражская епархия очищена от ересей и что по тщательном разследовании в настоящее время во всей Чехии нет ни одного еретика или лжеучителя. В том же году состоялось вторичное запрещение тех же 45 артикулов Уиклиффа, о которых шла речь в 1403 г. На этот раз вопрос обсуждался в собрании одной лишь чешской нации университета, так как в среде ее одной только и были налицо приверженцы Уиклиффа. Прежний приговор был подтвержден, однако в виду протестов Гуса и других против огульного осуждения мнений, в числе которых есть и вовсе не неверные, если только их понимать, как следует,—решение было сформулировано в таких выражениях, которые разрушали силу всего приговора, именно: запрещалось распространять артикулы Уиклиффа, *поскольку* они оказываются еретическими, ошибочными или соблазнительными (*in sensibus eorum haeticis aut erroneis aut scandalosis*), что было весьма неопределенно и растяжимо. Зато последовало важное ограничение прежней свободы преподавания: отныне ни один бакалавр не смел избирать предметом своих лекций трактаты Уиклиффа (*Dialogus, Trialogus* и *De eucharistia*), и никто не имел права делать книги или тезисы Уиклиффа предметом публичного диспута. В октябре 1409 г., после удаления немцев из Праги, Гус вновь занял пост ректора университета, и в том же году над ним разразилась новая гроза. Венцеслав после долгих препирательств и даже принудительных мероприятий заставил наконец, как мы упомянули выше, архиепископа и вместе с ним весь клир признать нового папу Александра V вместо Григория XII. Как только это дело уладилось, пражское духовенство возобновило свои прошлогодние жалобы против Гуса, которому происходившая перед тем борьба между королем и архиепископом предоставляла значительную свободу действий. К прежним обвинениям, повторенным в жалобе, были на этот раз присоединены новые, более серьезные: впервые явно выставлялась на вид приверженность Гуса к Уиклиффу, его склонность к ереси. Гус, —говорилось в этом документе,—возбуждает народ против духовенства, чехов против нем-

цев, проповедует неуважение к церкви и ее карательной власти, называет Рим столицей антихриста, объявляет еретиком всякого священника, требующего платы за совершение таинства; он же открыто похвалит еретика Уиклиффа и выражает желание, чтобы его душа попала туда же, где находится душа последнего. Архиепископ поручил своему инквизитору рассмотрение всех этих жалоб и вместе с тем расследование вопроса о том, в силу каких полномочий в Вифлеемской часовне говорят проповеди и совершается торжественное богослужение с пением. Гус дал письменный ответ на все обвинительные статьи, но уже пять лет спустя, отправляясь в Констанц; об исходе же следствия неизвестно ничего. С своей стороны он и его друзья, уиклиффисты, как их называли, обжаловали обвинение архиепископа перед папскою курией, и вследствие этой апелляции Сбынек был приглашен в Рим для оправдания. Однако он сумел придать делу иной оборот: он лично обратился к авторитету папы, и его послы представили Александру V, что необходимо как можно скорее принять энергичные меры для искоренения ересей Уиклиффа, заражающих души множества верующих в Чехии и Моравии. В числе мер для достижения этой цели особенно рекомендовалось запрещение проповедей повсюду, кроме соборных, приходских и монастырских церквей (что и было приказано в последовавшей булле). Папа, примирившись с подчинившимся его власти архиепископом, кассировал все обвинения против последнего, похвалил его за ревность в борьбе за правую веру и уполномочил при содействии четырех докторов богословия и двух докторов церковного права действовать далее в том же направлении: последователей Уиклиффа повелено было принуждать к отречению от ереси и отлучать от церкви, самые же книги Уиклиффа отобрать у всех, у кого они будут найдены.

Эта булла вызвала сильное волнение в Праге. Знатные и влиятельные сторонники Гуса вступились за его дело, как за свое собственное, тем более, что ходили слухи, утверждавшие, будто булла добыта нечисто, путем подкупа. Перед королем архиепископ выставлялся в невыгодном свете, как распространитель клевет на свою страну, исходящих от немцев; требовали, чтобы он доказал свои обвинения и прямо назвал тех, кого он считает еретиками. Сам Гус апеллировал, как тогда выражались, к папе, худо осведомленному, для лучшего осведомления (*pro meliori informatione*). Все это ни к чему не повело, так как в папской булле все апелляции заранее объявлялись недействительными, и архиепископ немедленно приступил к исполнению папского приказа. Вследствие его эдикта, связанного с угрозой отлучения, Гус сам первый принес имевшиеся у него сочинения Уиклиффа с просьбой указать ему заключающиеся в них ереси, после чего он будет готов оспаривать их и предостерегать от них свою паству. Примеру Гуса последовали и другие, за исключением четырех магистров и студентов; всего было передано в руки архиепископа более 200 томов. На синоде 1410 г. был прочитан приговор комиссии из 6 докторов, присуждавший все эти книги к публичному сожжению. Тут же было объявлено запрещение, касающееся проповедей, в смысле папского повеления. Последовавшая около того времени кончина Александра V затянула дело: университет заявил единогласный протест против сожжения книг всех без разбора, даже таких, которые трактуют не о предметах веры, а о вопросах морали, логики, философии, математики, естествоведения и пр., тем более, что при краткости времени между выдачей книг и состоявшимся приговором не было возможности рассмотреть их, как следует; сверх того, это распоряжение нарушало установленные папскою и императорскою властью привилегии университета, изъятого из подсудности архиепископу. Наконец, объ-

являлось, что смертью папы уничтожается и сила его распоряжения. В том же смысле составили Гус и его друзья протест на имя нового папы Иоанна XXIII по вопросу о сожжении книг и запрещении проповедей.

По представлению университета король уговорил архиепископа повременить с исполнением приговора до прибытия в Прагу маркграфа Иоста, мнение которого в данном деле считалось заслуживающим внимания, так как он слыл любителем и знатоком книг: сам Гус, как мы видели, перевел для него *Triologus* Уиклиффа, и вообще сочинения последнего не могли быть неизвестны Иосту. Но приезд маркграфа замедлился, и, несмотря на новые публичные заявления университета и новую апелляцию Гуса к папе, Сбынек 16 июля 1410 г. в присутствии прелатов и всего клира, на своем дворе предал все осужденные книги сожжению при пении «*Te Deum laudamus*» и звоне колоколов всех пражских церквей. Через два дня архиепископ торжественно подверг Гуса и его друзей церковному проклятию, которое велел провозгласить по всем церквям своей епархии.

Но Сбынек ошибся, считая дело конченным. Напротив, борьба только еще начиналась, и с этого момента положение становится более и более критическим: враждебные партии резко выступают друг против друга. Решительные меры архиепископа вызвали против него ряд публичных демонстраций: над ним насмеялись, говоря, что он сжег далеко не все книги Уиклиффа; на улицах открыто пелись ругательные песни, раздавались глумления. Скоро дело дошло до серьезных столкновений: один священник подвергся нападению в церкви и едва не был убит; сам архиепископ должен был спастись от возбужденной толпы, когда хотел торжественно повторить отлучение Гуса. С другой стороны, гуситам приходилось терпеть от раздраженного фанатизма противной партии. В виду такого обострения отношений король счел нужным принять строгие меры против беспорядков и объявил смертную казнь за всякия подстрекательства к волнениям и за пение возмутительных песен, но в то же время приказал архиепископу вознаградить владельцев сожженных книг за понесенный ущерб и, когда это требование не было исполнено, повелел заарестовать доходы архиепископа и прочих духовных лиц, принимавших участие в сожжении. Между тем Гус продолжал, не смущаясь карами архиепископа, свою проповедническую деятельность в Вифлеемской часовне, и тон его речей становился все более смелым и вызывающим: попрежнему не желая отделяться от церкви и с негодованием отвергая такое утверждение, он однако, — может быть, сам не вполне то сознавая, — много содействовал своею оппозицией подрыву авторитета церковной власти: он прямо выставлял несколько рискованный принцип, что в делах веры надлежит повиноваться Богу более, чем людям; он спрашивал с кафедры многочисленную толпу своих слушателей, готовы ли они следовать за ним, на что в ответ раздавалось единодушное, одушевленное подтверждение. В те же самые дни Гус и его друзья, вопреки всем запрещением, читали в университете лекции, посвященные трактатам Уиклиффа и защищавшие их от упрека в ереси.

Движение приобретало все более революционный характер; сам Гус однажды воскликнул, что следовало бы по примеру Моисея препоясаться мечом на защиту Божественного закона.

В том же 1410 г. в Прагу прибыли два нунция от папы с письмами на имя короля и университета, в которых Иоанн XXIII официально возвещал о своем восшествии на пап-

ский престол. Король вручил нунциям собственноручное письмо к папе с жалобами на его предшественника и с ходатайством об отмене буллы Александра V. В том же смысле писала папе королева, горячо вступившаяся за права своей любимой Вифлеемской часовни; также многие сановники и бароны, наконец, представители пражского магистрата, — все просили о том же, в особенности об отмене ограничений для проповеди слова Божия. Но и архиепископ действовал: он также отправил послов к папе в Болонью для разъяснения дела с своей точки зрения. Папа поручил пересмотр всего процесса кардиналу Колонна (будущему Мартину V), и последний, несмотря на то, что Болонский университет высказался против известного нам сожжения книг, решил дело согласно желанию архиепископа, действия которого были вполне одобрены; мало того: самому Гусу предложено было в назначенный срок явиться лично для ответа перед папскою курией.

Но и эти меры остались без результата. Друзья Гуса не хотели и слышать о его поездке в Рим; сами король и королева решительно возстали против этого. Венцеслав, видевший во всех папских притязаниях посягательство на честь и достоинство своей короны, отправил к папе своего уполномоченного с новым письмом, где в резких выражениях требовал прекращения всего процесса о мнимых ересь в Чехии, восстановления прав Вифлеемской часовни и отмены распоряжения насчет Гуса, который может быть допрошен, — если это нужно, — и в Праге. Обещая не поднимать более вопроса о книгах, король требовал, чтобы обоим враждующим сторонам было предписано молчание. Он писал также кардиналу Колонна, приглашал его лично приехать в Прагу, чтобы ознакомиться на месте с положением дела. Гус также отправил одного из своих друзей к папе для защиты своих интересов. Уступая отчасти настояниям короля, Иоанн передал дело, уже рассмотренное кардиналом Колонна, на вторичное рассмотрение комиссии из четырех других кардиналов, вследствие чего дело еще более затянулось, и первый приговор не был ни утвержден, ни отменен: рассказывали, будто послы архиепископа не пожалели подарков, чтобы не допустить последнего. 15 марта 1411 г. Гус был еще раз подвергнут отлучению во всех пражских церквях, за исключением двух, священники которых оказались непослушными; в виду того, что доходы, отнятые у архиепископа и духовенства по королевскому приказу пражским магистратом, не были возвращены последним, вопреки всем требованиям, отлучение было произнесено и на представителей города, и, наконец, на самый город, в котором архиепископ велел прекратить богослужение.

Таким образом, Сбынек пустил в ход все крайние меры, находившиеся в его распоряжении, но все эти меры только обнаруживали его бессилие и неоспоримо доказывали полный упадок авторитета церковной власти в Чехии. Никто и не думал подчиняться воле архиепископа: Гус продолжал свои проповеди, как будто ничего не случилось: во многих церквях Праги продолжали совершаться обедни; некоторые священники, соблюдавшие интердикт, должны были покинуть город, другие поплатились материально. Сам король, крайне раздраженный, лично приказал перевезти в крепость Карлштейн соборные сокровища. Такая открытая война с правительством и народом оказалась архиепископу не по силам, и он пошел на уступки: не видя помощи от папы и желая примириться с королем, он согласился подчиниться его третьей инстанции; сторонники Гуса также приняли это посредничество, и 3-го июля 1411 г. соглашение состоялось на следующих условиях: архиепископ должен смириться перед королем и написать папе, что никаких ересей в Чехии не су-

ществует и что он примирился с Гусом и университетом, почему все начатые процессы подлежат прекращению; король, с своей стороны, и все советники, духовные и светские, обязываются препятствовать появлению ложных учений и преследовать их; все прежние раздоры предаются забвению, церковные доходы возвращаются церкви, лишенные свободы отпускаются; клир, университет и бароны остаются при своих правах и привилегиях. Архиепископ согласился на все, но отложил посылку обещанного письма к папе впредь до исполнения прочих статей договора. Кроме сознания своего безсилия, Сбынек имел и другие поводы к такому соглашению: дело в том, что по смерти антиимператора Рупрехта (1410), как мы знаем, явились разом три императора; по смерти Иоста (1411) состоялось, наконец, примирение между двумя братьями-врагами, Венцеславом и Сигизмундом, при чем последний получал шансы на единогласное признание в будущем, и архиепископ надеялся при посредстве Венцеслава установить добрые отношения и с Сигизмундом, который все еще продолжал держаться папы Григория XII.

1-го сентября 1411 г. Гус в многочисленном собрании в здании университета прочел нечто в роде публичного исповедания своей веры и в то же время обратился к папе с просьбой освободить его от личного появления в Риме. В этом письме он точно воспроизвел свое исповедание и в особенности утверждал, что ему приписывают многое, чему он никогда не учил, и обвиняют в поступках, которых он не совершал; в заключение он заявлял свою готовность повиноваться апостольскому престолу.

Примирение архиепископа с королем и Гусом оказалось очень непрочным: скоро Сбынек возобновил свои жалобы на явное пристрастие короля к его врагам и на свою беспомощность, указывал на злостные выдумки и новые памфлеты, направленные против его личности, на невозможность наказывать духовных лиц, позволяющих себе открытые лжеучения и хулы на церковь, даже на прямое, вооруженное сопротивление со стороны народа его приказанием. При таких обстоятельствах архиепископ заявил, что он по совести не может отправить к папе обещанного письма, и, видя несоблюдение договора, находит себя вынужденным искать покровительства у брата короля, Сигизмунда. Сбынек действительно поехал в Венгрию, но по дороге захворал и умер (28 сентября 1411 г.). Его прах был перевезен в Прагу и торжественно погребен при большем участии, чем можно было бы ожидать: смерть примирила пражан с их архиепископом. Самые враги Сбынека безусловно признавали безупречность его личной жизни и его добрые намерения; Гус уважало его лично и только сожалел о недостаточной образованности архиепископа и его зависимости от дурных советников.

Едва только новый архиепископ Альбик занял свой пост, как разразилась новая буря, имевшая уже решительное влияние на исход судьбы Гуса и начатого им движения. Папа Иоанн XXIII объявил всему христианскому миру крестовый поход против короля неаполитанского, признававшего Григория XII и стремившегося к господству над Италией. Отлучив его от церкви, папа объявлял в своих бумагах отпущение грехов всем участникам в крестовом походе, равно всем, оказывающим посильную поддержку святому делу.

Гус против индульгенций

В мае 1412 г. приехал в Прагу папский комиссар для обнародования булл и для собирания пожертвований; с разрешения короля и архиепископа в трех местах города были вы-

ставлены ящики для сбора подаяний, и верующие приглашались покупать деньгами отпущение грехов. Это событие, как и сто лет спустя, во дни Лютера, послужило толчком к реформационному движению, вызвав сильнейшее негодование во всех кругах народа. В то время, как профессора богословского факультета, в том числе Стефан Палечский, старались доказать законность папских распоряжений, Гус и его приверженцы принялись открыто громить с кафедры поведение папы, как нехристианское, и самого папу, как воплощенного антихриста.

Это означало уже несомненный разрыв с католическою церковью, что, повидимому, хорошо понимал противник Гуса, Стефан, утверждая, что чада церкви не имеют права судить папу. Гус называл отпущения обманом и объявил на 7 июня публичный диспут в университете для защиты своего мнения. Несмотря на сопротивление богословского факультета, диспут все-таки состоялся при стечении множества профессоров, докторов богословия, магистров и студентов, под председательством ректора университета. Прения вышли весьма бурными, чему особенно содействовал пламенный Иероним, явившийся на помощь своему другу: он пожал главные лавры в этом ораторском состязании, и студенты с триумфом проводили его до самого жилища. Более сдержанный и спокойный Гус, развивая свои положения, прежде всего заявил, что он отнюдь не сторонник ни неаполитанского короля, ни низложенного Григория XII, а также, что он ратует не против *власти, данной папе от Бога*, а только против ее *злоупотреблений*, и, подвергая критике папския буллы, доказывал, что оне не имеют силы, как *противныя Священному Писанию*; он утверждал, что проповедывать крестовый поход против единоверцев, виновных только в послушании своему королю, противно духу Христова учения, и ссылаясь на пример Христа, запретившаго действовать оружием даже для защиты Его Самого. Противники Гуса, стоя на церковной точке зрения, доказывали, что церковныя традиции не теряют силы, хотя бы и не основывались прямо на букве Писания. Словом, мы видим в этом споре уже прямое проявление протестантского духа, объявляющего Писание единственным источником в делах веры и не признающего силы преданий. В своем трактате против индульгенций, написанном вскоре после этого спора, Гус доказывает, что каждый священник и епископ, и сам папа в силу данной им власти имеют право разрешать от грехов, но не иначе, как под условием истинного раскаяния грешника, никогда безусловно и всего менее за деньги, ибо это—симония. Мнение, будто папа непогрешим, в глазах Гуса не только ложно, но и богохульно, потому что это значит равнять папу с Христом. Непогрешим один Бог. Истинный ученик Христов должен *испытывать, не противоречат ли* папския буллы *Писанию*. Большинство не всегда бывает право: один пророк Илия был правее перед Богом, чем четыреста жрецов Ваала. Это именно тот принцип, который должен был привести Гуса к непризнанию авторитета не только папы, но и собора: предоставляя каждому верующему судить о согласии церковных уставов со словами и духом Писания, Гус и его друзья становились настоящими протестантами, предшественниками Лютера, отвергали авторитет и заменяли его личным убеждением.

Возбуждение умов в Праге все усиливалось: один из королевских любимцев в виде пародии на сожжение книг Уиклиффа устроил даже церемонию сожжения папских булл при стечении народной толпы, громко заявлявшей свое сочувствие такому акту,—и остался по-прежнему в милости короля. Гус продолжал проповедывать, и сама королева все еще часто приходила его слушать. Однако король запретил под страхом смертной казни всякия де-

монстрации и сопротивление буллам и приказал городским властям поддерживать тишину и порядок. Но это оказалось делом нелегким: трое молодых людей из простолюдинья решились в самой церкви громко противоречить проповеднику и называть индульгенцию обманом. Они были схвачены и, так как их не могли принудить к отречению, приговорены к смерти. Гус энергично ходатайствовал за осужденных, брал их вину на себя, но напрасно: казнь была совершена очень поспешно и со многими предосторожностями в виду настроения народа. Когда после казни было громко объявлено, что так будет всякому, кто осмелится на подобный же поступок, тотчас же несколько людей добровольно дали себя арестовать, говоря, что они готовы сделать то же и так же пострадать. Одна женщина дала куски белого полотна, чтобы завернуть тела казненных; толпа студентов понесла их с пением гимна «*Isti sunt sancti*» торжественно в Вифлеемскую часовню, где Гус совершил пышное отпевание, после чего его противники прозвали в насмешку его часовню «часовней трех святых». В виду такого энтузиазма городской магистрат воздержался от дальнейших казней, и добровольно набивавшиеся на мученичество были против их воли отпущены на свободу. Зато богословский факультет, стоявший в открытой оппозиции к остальному составу университета, еще раз подверг проклятию 45 артикулов Уиклиффа, присоединив к ним еще 6 новых, и просил короля о безусловном запрещении распространять их, а также о запрещении проповедывать всем виновникам церковного раздора. Король исполнил первую часть просьбы, но отверг вторую. Но и это, уже третье, запрещение не помешало Гусу защищать с университетской кафедры учение Уиклиффа. На обвинение, что он не представляет своих лекций в рукописи декану богословского факультета, Гус отвечал, что он учит явно, и его мнения — не тайна ни для кого; впрочем, он готов дать на письма исповедание своей веры, но под условием, чтобы его враги, обвиняющие его в ереси, доказали его ересь или же сами согласились подвергнуться сожжению как еретики, притом все, — в доказательство своей солидарности. На такое предложение враги Гуса не пошли. Зато они всеми силами возбуждали против него папу, особенно указывая на то, что Гус уже два года как отлучен от церкви и тем не менее продолжает заражать свою ересью не только Чехию и Моравию, но и Венгрию и Польшу. К числу врагов Гуса теперь окончательно примкнули и его бывшие союзники, более умеренные поборники реформы, как Станислав Знаймский или Стефан Палечский, названные Гусом в насмешку «раками» (*cancrisantes*).

Иоанн XXIII, узнав о пражских событиях, немедленно дал быстрый ход делу Гуса. Проклятие теперь вошло в силу, и его велено было объявить уже от имени папы во всех церквях Праги и торжественно повторять во все воскресные и праздничные дни, если Гус будет упорствовать в ереси; в месте его пребывания запрещалось всякое богослужение; никто не должен был давать ему ни крова, ни питья, ни пищи; всем верующим приказывалось схватить Гуса и выдать в руки церковной власти, Вифлеемскую же часовню сравнять с землей. Венцеслав на этот раз не сопротивлялся папской булле, и это ободрило врагов Гуса, главным образом немцев, которые и сделали было попытку нападения на Вифлеемскую часовню, когда Гус там проповедывал, но верные ему чехи отбили напавших, что дало повод Гусу резко осудить «немецкую смелость». Религиозная рознь перепутывалась со старою национальною враждой. Между тем отлучение было провозглашено, богослужение прекратилось почти во всех церквях; священники отказывались причащать и отпевать покойников, пока Гус останется в городе. Положение стало настолько невыноси-

мым, что король, наконец, предложил Гусу на время покинуть Прагу, обещая постараться о его скорейшем возвращении и примирении с церковью. Гус, только что перед тем заявивший апелляцию от папы ко Христу, истинному главе церкви, в то время как один из его друзей доказывал недействительность отлучения, — дал уговорить себя и уехал из Праги (в декабре 1412 г.). В то же время слабый архиепископ Альбик добровольно покинул свою кафедру.

Король действительно попытался еще раз уладить дело миром; для этой цели в феврале 1413 г. был созван в Праге провинциальный синод, на котором представители обеих враждующих партий подали свои записки с изложением мнений о способах к примирению; от имени Гуса и его партии особенно свободно говорил на синоде магистр Jacobellus. Взгляды оказались слишком различными для того, чтобы обе стороны могли столкнуться; Гус продолжал требовать, чтобы его ересь была доказана, и синод кончился ничем. Тогда король назначил для той же цели особо уполномоченную комиссию, приговору которой обе партии должны были подчиниться заранее, под страхом чувствительных кар. Но и эта попытка разбилась о сопротивление Станислава и Стефана, не признававших себя и своих сторонников партиями.

Разгневанный король изгнал из своего государства четырех профессоров богословия, в том числе обоих названных. Ослабив католическую партию в университете, король ослабил ее и в пражском городском совете, постановив, что последний должен состоять из чехов и немцев поровну, тогда как до тех пор немцы имели в совете численный перевес.

Спокойствие в Праге на время возстановилось, благодаря удалению главных противников. Между тем Гус проживал в местечке Kozi hradek (Козий городок), на том самом месте, где впоследствии возникла твердыня его крайних последователей, — таборитов (Thabor — Фавор). Пользуясь досугом, Гус всецело отдался литературным трудам и переписке со своими друзьями, между тем как его любимый ученик, Гавлик, занял его место в Вифлеемской часовне. В это время Гус написал большую часть своих наиболее крупных сочинений, богословских и полемических, на латинском и чешском языках (*Tractatus de ecclesia, o swatokupectwi*, т. е. о симонии, и др.). Он также проповедывал народу, толпами сходящему к нему, и таким образом удаление из Праги содействовало еще большему распространению гуситизма; явился новый центр нового учения, — будущий Табор.

В начале 1413 г. папа еще раз подверг в Риме проклятию артикулы Уиклиффа. В конце того же года император Сигизмунд уговорился с папскими уполномоченными о созвании на 1 ноября 1414 г. всеобщего церковного собора в Констанце для окончательного улажения всех накопившихся затруднений и недоразумений. При личном свидании с Сигизмундом колеблющийся Иоанн дал свое согласие на собор, и император, желая, наконец, провести в жизнь требуемую всеми реформу церкви в главе и в членах, разослал от своего имени приглашения на собор ко всему христианскому миру, между прочим и к Гусу, дело которого должно было решиться теперь окончательно.

Сигизмунд обещал Гусу дать грамоту, гарантирующую его неприкосновенность (*freies Geleit*), и вообще содействовать благоприятному исходу его дела. Гус немедленно согласился предстать перед собором и отправился в путь, последний в его жизни, приведший его на костер.

IV

Вызов Гуса на собор

Собираясь ехать в Констанц, Гус прежде всего желал выяснить, поедет ли он туда в качестве официально признанного еретика, или нет. Он прибыл в Прагу, куда архиепископ созвал духовенство на синод, и заявил намерение явиться перед последним для выслушания и готовности понести наказание, если будет обличен в ереси; он письменно вызвал всех желающих выступить против него на законном основании. Однако на заседание синода Гус не был допущен. Зато папский инквизитор, назначенный в Чехию, засвидетельствовал в присутствии многих лиц, что он знает Гуса и не находит в нем никакой ереси, в чем готов выдать даже письменное удостоверение. На вопрос, обращенный несколькими баронами к архиепископу Конраду, обвиняет ли он Гуса в ереси, архиепископ ответил отрицательно, объяснив, что Гус имеет дело не с ним, но с папой. Все эти заявления были записаны, и Гус уведомил обо всем императора Сигизмунда; в своем письме, благодаря за оказанную ему милость, он просил лишь о том, чтобы в Констанце его не судили тайно, а позволили в публичной аудиенции изложить свое исповедание мирно и безпрепятственно; зная, что ему предстоят тяжкие испытания от его врагов, он заявлял готовность пострадать до смерти за истину.

Во время этого своего последнего пребывания в Праге Гус не проповедывал ни разу, хотя Венцеслав и его супруга были к нему расположены не менее прежнего. Оба брата, король чешский и король венгерский, — он же император, — поручили охрану Гуса на соборе трем вельможам, между которыми первое место занимал Иоанн Хлумский, по прозванию Кепка. Расходы на путешествие Гус должен был оплачивать из собственных средств; но его друзья оказали ему обильную поддержку на этот предмет.

Враги Гуса, собираясь ехать на собор, также не бездействовали: духовенство в Чехии и Моравии устроило особый собор на покрытие расходов, связанных с поездкой, все имевшие какое-либо свидетельство против Гуса, были допрошены под присягой, и их показания занесены в протокол. Этот документ (*Depositiones testium*) должен был служить обвинительным актом перед лицом собора. Гус успел достать копию с этого протокола и снабдил ее собственноручными примечаниями и возражениями. Перед самым отъездом он обратился с задушевным прощальным посланием ко всем чехам; отправляясь к своим врагам и не надеясь вновь увидеть своих друзей, Гус просит последних молиться за него, чтобы Бог дал ему крепость духа для перенесения смерти, если она неизбежна, чтобы он устоял в истине и мог в случае благополучного возвращения продолжать борьбу с антихристом. Своему любимейшему ученику Мартину Гус вручил для хранения запечатанное письмо, содержащее его завещание, с тем, чтобы оно было вскрыто лишь по получении верного известия об его кончине.

11 октября 1414 г. Гус двинулся в путь в сопровождении назначенных охранителей и некоторых других лиц, не получив еще обещанного Сигизмундом охранного письма, полагаясь на слово императора, на приставленных к нему защитников и на безопасность, обещанную в пригласительном послании на собор от имени императора и папы всем, имеющим приехать в Констанц. Как видно, и сам Гус, и его друзья, опасавшиеся за него, считали немцев его злейшими врагами; однако на пути через Германию эти опасения не оправ-

дались: Гуса повсюду встречали если не дружелюбно, то во всяком случае мирно и весьма интересовались личностью человека, имя которого так часто повторялось в последнее время и за пределами его родины; предостережения духовенства скорее усиливали любопытство народа, сходявшагося толпами, чтобы посмотреть на Гуса и поговорить с ним. Он вел немало бесед во время дороги с духовными и мирянами, учеными и неучеными, и пришел к заключению, что злейшие его враги находятся между его земляками. Толпа любопытных вышла Гусу навстречу при его въезде в Констанц 3 ноября и провожала до самой квартиры, которую он занял в доме одной вдовы, по имени Фиды. 5 ноября, наконец, была получена охранная грамота, подписанная еще 18 октября, в которой Сигизмунд заявлял, что принимает магистра Гуса под защиту свою и Священной Римской империи и повелевает всем подданным обращаться с ним дружественной без стеснений.

Между тем Констанц наполнился знатными гостями, духовными и светскими. Уже 28-го октября торжественно въехал в город папа Иоанн, сопровождаемый кардиналами, многими архиепископами, епископами и всем своим двором. Папа предчувствовал, что собор будет иметь для него самого роковое значение, и хотел было перенести его из Констанца куда-нибудь поближе, в Италию, но кардиналы воспрепятствовали этому. Пока еще, впрочем, Иоанн не терял надежды удержаться на своем престоле: видя в Констанцском соборе продолжение Пизанского, он полагал, что все дело может быть сведено к окончательному устранению раскола, т. е. к окончательному низложению обоих его упорствующих противников, Григория и Бенедикта; церковная же реформа, по его мнению, должна была заключаться в осуждении и подавлении уиклиффизма и гуситизма. Собор должен был открыться 1-го ноября, но его открытие оттягивалось сперва до 3-го, потом до 5-го, повидимому, в ожидании приезда Гуса, дело которого папа хотел поставить на первую очередь.

Немедленно по прибытии Гуса его охранители явились к папе возвестить о его приезде, при чем просили папу о покровительстве Гусу. Иоанн обещал полную справедливость, однако не нашел возможным снять наложенное им на Гуса отлучение. Узнав об охранной грамоте императора, папа решил отложить рассмотрение дела Гуса, боясь раздражить Сигизмунда излишнею поспешностью. 9-го ноября Гусу было объявлено, что, склоняясь на неоднократные просьбы, папа велел временно снять с него отлучение, вследствие чего ему дозволяется посещение города и церквей под условием не присутствовать при совершении литургии во избежание соблазна. Буква отлучения, впрочем, и не соблюдалась: иначе во время пребывания Гуса в Констанце вообще не могло бы совершаться никакое богослужение. Гус не воспользовался данным ему позволением и все время сидел дома, готовя свои ответы перед собором.

Арест Гуса

Более деятельности проявили враги Гуса,—знакомый уже нам Стефан Палечский, священник Михаил из Немецкого Брода, получивший от папы важную должность прокуратора *de causis fidei*, почему его и называли *Michael de causis*, Венцеслав Тим, привезший в 1412 г. в Прагу знаменитые папские буллы, и другие. Они нашли доступ к влиятельным членам собора, кардиналам и прелатам, и неутомимо добивались ареста Гуса, открыто объявляя его неисправимым, уже отлученным еретиком, наговаривая на него, распространяя даже про него ложные слухи, напр., будто Гус намерен проповедывать в Констанце или что он будто пытался тайно бежать оттуда. Они достигли своей цели тем легче, что Гус, как

узнали, у себя в доме служил обедни и говорил со всяким желающим о своих религиозных воззрениях. 28-го ноября в квартиру Гуса явились епископы аугсбургский и триентский в сопровождении констанцского бургомистра и объявили, что папа и кардиналы приказали привести Гуса к себе для выслушания, о чем он сам просил так часто. Бывшей тут же Иоанн Хлумский, угадав, к чему клонится дело, протестовал самым энергичным образом, ссылаясь на охранную грамоту императора и на свою ответственность за судьбу Гуса, особенно на прямо выраженную волю императора, чтобы до его прибытия дело Гуса не разбиралось. Посланные утверждали, что они присланы без всяких тайных целей для мирного решения дела. Во время этих пререканий Гус вышел и отдался в руки пришедших за ним, хотя, по его словам, он явился в Констанц для ответа перед целым собором, а не только перед папой и кардиналами; но он готов предстать и перед ними и надеется, что никакое насилие не принудит его отречься от дознанной истины. Благословив плачущую хозяйку дома, Гус вышел из него и был доставлен в помещение папы. Иоанн Хлумский сопровождал его. Приведенный к кардиналам, в ответ на обращение председательствующего Гус заявил, что он готов скорее умереть, чем считать за истину и распространять хотя бы одну ересь, и что он ожидает от собора наставления в истине и немедленно принесет покаяние, если будет изобличен во лжеучении. Эти слова были приняты с одобрением, и кардиналы удалились из залы для совещания о дальнейшем образе действий, оставив Гуса, его защитника и стражу в ожидании решения. Благодаря усилиям врагов Гуса, это решение состоялось к вечеру того же дня: Иоанну Хлумскому было предложено удалиться, а Гусу остаться. Возмущенный таким вероломством, Иоанн бросился к самому папе и резко укорял его в нарушении слова, грозя карами тому, кто осмеливается идти наперекор воле императора. Папа, сваливая с себя личную ответственность за происшедшее, призывал в этом в свидетели всех присутствующих и, отведя Иоанна в сторону, сказал ему: «Вам известно, в каких я отношениях к кардиналам: они мне навязали этого пленника, и я принужден был принять его». Гус в ту же ночь был отвезен в дом одного констанцкого каноника, где восемь дней содержался под стражей; затем его перевезли в доминиканский монастырь на Боденском озере и заточили в мрачный каземат, помещавшейся рядом с клоакой, где Гус заболел, вероятно, от дурного воздуха.

Предварительное следствие

Иоанн Хлумский продолжал громко протестовать против заточения Гуса, обращался ко всем находившимся в Констанце влиятельным особам, предъявлял императорскую грамоту и все понапрасну. Он немедленно написал о случившемся самому императору, бывшему тогда на пути в Констанц. Сигизмунд пришел в негодование и тотчас же прислал приказ освободить Гуса, в противном случае грозил силой отворить двери его темницы. Однако, так как исполнение этой угрозы не последовало, она осталась без результата. Наконец, в ночь на Рождество, 25 декабря 1414 г., император торжественно въехал в город, присутствовал при обедне, которую совершали сам папа в соборном храме, и приняли от последнего освященный меч на защиту церкви. После этого величественного приема начались весьма недружелюбные объяснения императора по поводу Гуса с папой и особенно с кардиналами, которым папа попрежнему приписывал инициативу всего дела. Праву императора защищать своего подданного отцы собора противопоставляли свое право судить по существующим церковным законами человека, заподозренного в ереси. Раздражение Сигиз-

мунда дошло до того, что он даже выразили намерение предоставить собор его судьбе и покинул Констанц; вслед за ним послали депутацию с объяснением, что в таком случае собор должен будет разойтись без результата. Взять на себя ответственность за такой исход дела ради Гуса Сигизмунд не решился: собор был созван по его мысли и желанию, и его распадение обмануло бы надежды всего христианского мира на восстановление церковного единства и на проведение требуемых всеми реформ. В виду этого император покинул Гуса на произвол судьбы, успокоивая свою совесть внушенным ему соображением, что никто не обязан держать слова, данного еретику, так как по Божескими и человеческими законам никакое обещание не имеет силы, если оно направлено ко вреду истинной католической веры. Этими отступничеством Сигизмунда судьба Гуса была решена. Папа уже ранее назначил трех комиссаров для ведения его процесса с соблюдением всех законных формальностей, уполномочив их принять все меры, необходимые для выяснения истины в деле Гуса. Только окончательное решение не было предоставлено комиссарам-следователям. В виду тяжелой болезни Гуса папа признал нужными послать к нему своих лейб-медиков и перевести его в более здоровое помещение в том же здании (8 января 1415 г.). Согласно юридическим правилам, свидетели, показывавшие против Гуса, между ними и Стефан Палечский, были приведены к присяге в его присутствии, но защитника ему не дали на том основании, что закон не позволяет защищать подозреваемого в ереси. Когда Гус оправился от болезни, комиссары представили ему 44 обвинительных пункта, извлеченные главным образом из его трактата «De ecclesia», с приглашением дать письменный ответ по всем статьям. Некоторые из этих обвинений Гус устранил, доказав, что его выражениям, неточно переданным и поставленным вне логической связи, придан совсем иной смысл, чем какой они имеют на самом деле; однако за всем тем осталось немало обвинительных статей, которые выражали действительные взгляды Гуса и имели важное значение; таково в особенности самое понятие о церкви, изложенное в названном трактате: в противность положению католических богословов, видевших в папе главу, а в коллегии кардиналов члены тела церкви, след., отождествлявших церковь с высшим духовенством, Гус понимает под церковью всю совокупность верующих, избранных и предназначенных к блаженству (по учению Августина о предъизбрании или предопределении); можно по имени принадлежать к церкви, но в действительности не быть ее членом; всякий, живущий не по закону Христа, есть слуга антихриста; в силу этого папа не только не есть глава церкви, но может не быть даже ее членом, если живет не по-христиански, также и кардиналы. Единый, истинный глава церкви есть Христос, который в день суда отделит пшеницу от плевел. Отрицая главенство папы над церковью, Гус не признает и законности его первенства над прочими епископами, доказывая из истории апостольской и церковной, что такое первенство развилось постепенно в течение веков, и считая желательным возвращение к первоначальному строю христианской церкви, к равенству епископов. Это составляет, в глазах Гуса, главную задачу собора. Мы уже видели выше, что Гус выше всех традиций ставил авторитет Писания; однако, оправдывая свои мнения, он ссылается также на отцов церкви, — Августина, Григория Великого, и на ученых богословов, Бернарда Клервоского, Гростета и других.

В то время, как Гус давал свои объяснения в Констанце, на его родине начатое им движение продолжало усиливаться и развиваться: магистр Jacobellus стал проповедывать необходимость причащения под обоими видами, и мы уже упоминали выше о том, как от-

несся Гус к этому новому вопросу. Таким образом, к прежним обвинениям прибавилось еще одноотячающее обстоятельство. Но еще прежде, чем решилась судьба Гуса, катастрофа постигла самого папу Иоанна XXIII. Собор пришел к заключению, что для восстановления полного единства церкви необходимо принудить к отречению всех трех анти-пап и прежде всех именно Иоанна, который напрасно надеялся спасти себя своею уступчивостью требованиям кардиналов. Он сперва изъявил согласие на отречение, но затем с помощью герцога Фридриха Австрийского бежал переодетый из Констанца. Его бегство вызвало общее смятение и чуть не разстроило всего собора, но император своим энергичным вмешательством в дело, для которого он наиболее потрудился, успел всех успокоить; герцог Фридрих подвергся опале, и только обязательство его привести папу обратно вернуло ему милость императора. Бывший папа предстал в качестве подсудимаго перед собором и был окончательно низложен 29 мая 1415 г. Это событие повлияло и на судьбу Гуса, хотя и не в том смысле, как того желали и надеялись его друзья. Папские слуги оставили город вместе с Иоанном, и ключи от темницы Гуса достались в руки Сигизмунда; теперь, казалось, ничто не мешало ему освободить узника и хоть поздно сдержать свое слово, тем более, что еще за несколько недель перед тем чины Чехии и Моравии ходатайствовали перед императором письменно (на чешском языке) об освобождении Гуса, как об исправлении вопиющей несправедливости. Однако Сигизмунд, более всего добивавшийся прекращения церковного раскола, был теперь менее, чем когда-либо, расположен ссориться с отцами собора: посоветовавшись с ними, он передал Гуса в распоряжение епископа Констанцского, который приказал перевести заключенного в замок Готлибен. Здесь положение Гуса еще ухудшилось: в монастыре, где он сидел прежде, его стражи успели привыкнуть к нему, и он успел расположить их к себе настолько, что ему позволялось писать, что и кому угодно, а также принимать посещения друзей; в новой же своей тюрьме Гус был вполне отрезан от всего мира: его заперли в высокую башню, заковали его ноги в цепи, а на ночь приковывали к стене даже руки. Заботясь о своих друзьях, Гус, пока еще мог сообщаться с ними, всячески предостерегал тех из них, которые еще были дома, от поездки в Констанц, особенно Иеронима, но последнего удержать было трудно. Он тайно приехал в место заключения своего друга, которого однако ему видеть уже не пришлось; несмотря на увещания, он заявил на трех языках о цели своего приезда и просил императора и собор о выдаче охранной грамоты. Собор дал ему удостоверение, что с ним будет поступлено без насилия, но по праву, и прислал ему приглашение явиться на следующий же день, при чем было прибавлено, что его неявка не помешает законному ходу его процесса. Но тут мужество изменило пылкому Иерониму, и он бежал обратно в Чехию; на дороге его узнали, схватили и привезли уже в цепях в Констанц, где и предали во власть собора.

Между тем предварительное следствие по делу Гуса продолжалось; место прежних комиссаров, назначенных еще Иоанном XXIII, заняли новые, между ними знаменитый архиепископ камбрэйский, Петр д'Альи. Но следствие попрежнему производилось тайно, и это усиливало жалобы на несправедливость и жестокость собора по отношению к Гусу со стороны его друзей. Чешские и моравские бароны составляли коллективные представления на имя императора, как наследника королевства Чехии: они требовали, чтобы Гус был, по крайней мере, освобожден из своего тяжкаго заточения и допрошен явно перед собором; такие же ходатайства писались и на имя представителей чешской нации, находившихся в

Констанце.

Последние сделали все, что могли: Иоанн Хлумский и другие чешско-моравские вельможи, а также послы Владислава-Ягелло, короля польского, обращались к собору с требованием правосудия для Гуса во имя чести Римской империи и самого собора; в этом же требовании указывалось на позорные для чести чешской нации клеветы, распространяемые ее врагами,—будто, напр., в Чехии простые сапожники позволяют себе исповедывать и причащать людей, будто вино, претворенное в кровь Христову, разливается по простым бутылкам и т. п. Эту часть жалобы принял на свой счет епископ Лейтомышльский и заявил, что готов подтвердить свои слова ссылкой на достоверных свидетелей, от чего однако уклонился, удовольствовавшись заверением, что честь его отечества и народа ему более дорога, чем нововодителям, позорящим свою родину. Переговоры тянулись несколько дней, но ни к чему не привели; собор заявил, что Гус заточен не без предварительного следования, так как он уже раньше призывался в Рим, за неприбытие подвергнут отлучению и далее не просил о снятии с него последнего, следовательно, его должно считать упорным архиеретиком. К тому же, он будто бы позволял себе проповедывать даже в самом Констанце, а императорская охранная грамота будто бы получена уже 15 дней спустя после его заточения. И то и другое было явная неправда, и защитники Гуса горячо доказывали ложность обоих утверждений, ссылаясь по первому пункту на то, что Гус с тех пор, как прибыл в Констанц, и до ареста ни разу даже не переступил за порог дома, где жил. Чем далее шел спор, тем более он принимал раздражительный и личный характер; наконец, на предложение представить какие угодно поруки за Гуса, если только его отпустят на свободу, от имени собора было объявлено, что Гус не будет освобожден ни за тысячу порук, но что выслушан он будет в заседании собора, назначенном на 5-е июня. Еще за месяц до этого срока состоялось торжественное проклятие на соборе архиепископа Уиклиффа и его знаменитых 45 артикулов; его сочинения присуждено было сжечь, а его кости, если окажется возможным, вырыть из могилы и выбросить с кладбища, как прах нераскаянного врага церкви, умершего будто бы под отлучением. Это постановление было дурным предзнаменованием для Гуса, признававшегося всеми за последователя Уиклиффа.

Допросы перед собором

Когда приблизился срок допроса, Гус еще раз был переведен из Готлибена в монастырь францисканцев,—последнее место его пребывания, прежнее же его помещение занял другой узнику Балтазар Косса,—бывший папа Иоанн XXIII. 5-го июня открылось полное заседание собора, и прежде привода подсудимаго было приступлено к чтению отчета о следствии по его делу. Одному из чехов удалось усмотреть между прочими актами, предназначенными для прочтения, заранее заготовленный обвинительный приговор Гусу; немедленно об этом открытии узнали все находившиеся на лицо чехи, Иоанн Хлумский и другие, и тотчас же дали знать обо всем императору, заклиная его не допускать до прочтения приговора, основанного на неверных обвинениях; так как главные обвинительные пункты были взяты из трактата Гуса о церкви и из других его сочинений, императору тут же были вручены подлинники последних, писанные самим Гусом, для сличения и проверки. Сигизмунд прислал собору приказ не торопиться, терпеливо выслушать подсудимаго и сообщить ему, императору, о решении собора; автографы Гуса также были представлены собору для просмотра, но под условием обратной отдачи.

Наконец, ввели Гуса; наконец, он стоял перед собором, и мог открыто объясниться, чего так горячо желал. Ему показали его рукописи и спросили, признает ли он их за свои? Осмотрев рукописи, Гус ответил утвердительно и заявил, что он готов отречься от заблуждений, если ему их укажут и докажут на основании Св. Писания и отцов церкви; именно в смысле доказательства понимал он поучение со стороны собора. Но последний вовсе не был расположен снисходить к такому требованию и хотел безусловного признания своего авторитета, как окончательной инстанции в делах веры, не могущей ошибаться, постановлениям которой должно верить на слово. Здесь, как впоследствии в истории Лютера, столкнулись два противоположные принципа—подчинение непогрешимому большинству и личное убеждение одного человека. Примирение было невозможно, что сказалось при первом же допросе, принявшем весьма шумный характер. Гус просил о позволении прочесть сперва свое исповедание веры в связном целом, но ему в этом отказали и велели только отвечать на вопрос; когда он защищался, все кричали на него; когда он ссыался на отцов церкви, со всех сторон раздавалось: «это к делу не относится!» Когда же он доказывал, что его слова неверно поняты и изложены, все с шумом требовали, чтобы он оставил свою софистику и отвечал прямо *да* или *нет*. Даже молчание ставилось ему в вину, как знак согласия, признания в ереси. Наконец, Гус высказал, что он ожидал от собора большего благочестия, приличия и порядка. На это председательствующий кардинал сказал ему: «сидя в замке, ты говорил не таким языком», на что получил ответ: «да, потому что там никто не кричал на меня, а здесь вы кричите все». Заседание было отложено на 7 июня, и хотя Гус был доволен, что ему удалось устранить два обвинения, и надеялся на дальнейшие успехи своей защиты, подобное начало не обещало ничего хорошего.

Второе заседание собора, посвященное допросу Гуса, происходило в присутствии самого императора и отличалось большим спокойствием; было объявлено, что всякий нарушитель порядка будет удален из собрания. Главным противником Гуса в этот день выступил кардинал д'Альи, один из главных борцов за реформу церкви, но не сочувствовавший тем способам, к которым прибегал Гус для этой цели. Кардинал свел прения на почву догматов, особенно догмата о пресуществлении, и старался, однако неудачно, опровергнуть уверение Гуса, что в этом вопросе он несогласен с Уиклиффом и всегда твердо держался учения церкви. Через это речь свелась вообще на отношение Гуса к Уиклиффу, при чем Гус признал, что некоторые положения последнего он считает верными, что он вообще всегда уважал Уиклиффа и выразил однажды желание быть по смерти в одном месте с ним. Объявляя некоторые обвинения прямо ложными и вымышленными по злобе, он сослался на Бога и на свою совесть, что было встречено презрительными смехом; такая ссылка не могла перевесить в глазах собора свидетельских показаний. Тут же кстати д'Альи укорил Гуса в хвастовстве, так как он еще при первом допросе сказал, что, если бы он по приехал в Констанц добровольно, никто не мог бы его принудить к этой поездке. Гус подтвердил эти слова вторично, к крайнему негодованию кардинала; тут вмешался Иоанн Хлумский и заявил, что это вполне верно, что многие бароны в Чехии,—и он в том числе,—готовы были бы не только дать Гусу у себя приют, но и защищать его хотя бы против войск всей империи. Под конец сам Сигизмунд, коснувшись вопроса о своей охранной грамоте и о времени ее написания, обратился к Гусу с увещанием и вместе угрозой, говоря, что его теперь спокойно выслушивают,—значит, он, император, сдержал свое слово; теперь остается одно—не упор-

ствовать, а смиренно отдаться на волю собора, и чем скорее, тем лучше: иначе отцы собора будут знать, что с ним делать, а император не намерен защищать упорного еретика, напротив, сам готов будет вести его на костер. Гус отвечал благодарностью императору за оказанную ему охрану с уверением, что он охотно примет наставление в истине. Его увели. На следующий день, 8 июня, состоялся третий и последний допрос Гуса, решивший его судьбу. Опять читались пункты, извлеченные из его сочинений; опять Гус защищал и доказывал некоторые из этих пунктов, отрицал другие, как неверно излагающие его мнения. В особенности подвергалось критике учение Гуса о церкви,—центральный пункт всех его учений,—и отцы собора пришли в ужас от теории Гуса, по которой папа и кардиналы оказывались вовсе не необходимыми для церкви,—обходилась же без них апостольская церковь,—и папская власть являлась созданием светской власти. Вопрос о том, может ли папа, епископ или священник, совершивший смертный грех, считаться истинным папой и так далее, придал такое направление спору, что на него поспешили обратить внимание императора, занятого в то время разговором: оказалось, что учение Гуса опасно и вредно и с государственной точки зрения, так как в силу его, например, и король, подпавший смертельному греху, не есть истинный король. По поводу учения Гуса о церкви англичанин Стокз прямо сказал, что это учение Уиклиффа. Под конец заседания кардинал д'Альи еще раз советовал Гусу склониться перед авторитетом собора; Гус ответил, что он попрежнему рад принять поучение и, в виду раздавшихся против него криков, прибавил:—решение собора. Это заявление было принято за выражение покорности, и д'Альи объявил Гусу, что уполномоченная собором комиссия из приблизительно 60 докторов постановляет следующее: Гус должен признать свои заблуждения, клятвенно навсегда от них отказаться, произнести публичное отречение и обязаться впредь признавать, утверждать и возвещать противоположное тому, что говорил прежде. В ответ на это Гус умолял о позволении обстоятельнее изложить свои тезисы, а также о том, чтобы его не принуждали лгать перед Богом и людьми,—отречься от того, чему он никогда не учил. Если ему докажут его заблуждение, он сейчас же готов отречься; произнести же отречение в предлагаемой форме ему запрещают совесть и убеждение. Несмотря на увещания самого императора, несмотря на то, что было предложено составить формулу отречения в выражениях, возможно умеренных, Гус остался при своем и был уведен опять в свою тюрьму. После его ухода, когда заседание закрылось и зал стал пустеть, Сигизмунд обратился к оставшимся кардиналам с речью, в которой вполне выдавал Гуса в руки собора: высказав, что из обвинений, направленных против него, каждое в отдельности заслуживает смертного приговора, император прямо рекомендовал сжечь еретика, достаточно доказавшего свое упорство и зловедность, и заодно с ним также и его ученика и друга, Иеронима; при этом Сигизмунд советовал не медлить и не давать веры Гусу, если бы он даже принес отречение. Эти слова императора стали скоро известны чехам, и за них ему пришлось поплатиться потерей своего наследственного королевства.

Но и после того, как решение собора было уже в сущности принято, Гусу дали прожить еще четыре недели. Ходатайства в его пользу все еще продолжались: 12 июля было прочитано послание в этом смысле с приложенными к нему 250 печатями чешских и моравских дворян. Но было уже поздно. 15 июля собор формально запретил причащение *sub utraque* для мирян, объявив упорство по этому вопросу равносильным ереси,—постановление, важное для дальнейшей истории гуситского движения. Еще дважды (18 и 23 июля) собор за-

нимался сочинениями Гуса и все их осудил на сожжение, но самого его счел излишним выслушивать четвертый раз. Формула отречения была ему предложена, и должно признать, что члены собора употребили много усилий, чтобы побудить Гуса к повиновению не только строгостью и угрозами, но и уговорами: к нему не раз приходили с этой целью депутаты от собора и даже знатнейшие кардиналы—д'Альи и Цабаролла; также его бывший друг Стефан Палечский имел с ним трогательное свидание, при котором оба плакали и просили друг у друга прощения, не касаясь жгучаго вопроса; сам Иоанн Хлумский уговаривал его не упорствовать, если только его удерживает не совесть, а ложный стыд; последняя попытка убедить Гуса к отречению была сделана накануне его смерти, 5 июля,—и безуспешно: он со слезами уверял, что не может отречься, так как ошибочность его убеждений *не доказана* ему никакими *писаниями*, тогда как он только этого одного и желает, чтобы тотчас же покаяться в заблуждениях. В эти последние дни религиозное настроение Гуса усилилось до высшей степени и изливалось в горячих молитвах к Богу и *святим* (в этом вопросе Гус не расходился с церковью) о ниспослании ему крепости для предстоящей смертной минуты: помня, что плоть немощна, он не решается сказать самоуверенно, что никогда не соблазнится о Христе, а надеется исключительно на помощь свыше. В то же время его не покидала надежда на то, что его дело не погибнет с ним и что, напротив, от деятельности осудившего его собора скоро останется одно воспоминание.

Казнь Гуса

6-го июля 1415 года состоялось 15-е заседание собора в Констанцском кафедральном храме в присутствии императора, окруженного всеми знаками его власти, и всех кардиналов. Посреди церкви возвышался помост и на нем столб, обвешанный священническим облачением. Во время торжественной литургии Гус в сопровождении вооруженной стражи стоял у церковных дверей; затем его ввели во время проповеди на тему о необходимости искоренять ереси. По прочтении и повторительном проклятии тезисов, извлеченных из книг Уиклиффа, читались также артикулы из сочинений Гуса, показания против него и изложение всего хода дела. Гус хотел было оправдываться, но ему велено было замолчать; он упал на колени и молился про себя, подняв глаза к небу. Но он не выдержал, когда стали читать вновь не только прежние обвинения, которые он считал уже устраненными, но еще и новые, о которых не было и речи: так, например, утверждалось, что он выдавал себя за четвертое лицо Св. Троицы! Гус громко протестовал против этой нелепости и еще раз повторил, что добровольно приехал на собор в сознании своей невинности и полагаясь на грамоту императора; при этом он обратил глаза на Сигизмунда, и краска стыда покрыла щеки последнего при встрече со взглядом Гуса. Затем последовало чтение приговора: сочинения Гуса предавались огню, сам же он, как нераскаянный, неисправимый еретик, присуждался к лишению сана и передаче в руки светской власти. Его взвели на помост, надели на него полное облачение, дали в руки чашу и еще раз предложили отречение. Ответ Гуса был прежний: он не мог и не хотел насиловать свою совесть, лгать перед Богом и вводить людей в соблазн. Тогда начался обряд разстрижения: у него взяли чашу, сняли поочередно все священнические одежды и уничтожили тонзуру на голове, произнося при этом установленные проклятия. Гус в это время молился за своих врагов, ложно свидетельствовавших на него, и выражал готовность претерпеть все поношения ради Христа. По окончании описанной тяжелой церемонии на голову Гуса надели высокий остроконечный бумажный колпак

с изображением трех чертей, терзающих грешную душу, и с надписью: «Nec est haeresiarcha». Эта шапка дала Гусу случай вспомнить про терновый венец Спасителя. Епископы обратились к нему с последними словами: «Церковь более не имеет с тобою дела: она предаст твое тело светской власти, а твою душу дьяволу». Сложив руки и подняв взор к небу, Гус ответил: «А я предаю ее святому Господу Иисусу Христу». По приказу императора пфальцграф Людвиг передал осужденного констанцскому магистрату для немедленного сожжения.

Исполнение приговора последовало, пока еще собор продолжал заседать, перешедши к другим делам. Место казни находилось за городом; сюда повели Гуса в сопровождении около 1.000 человек вооруженной стражи и несметной толпы праздного народа, падкаго до всяческих зрелищ. Гус шел твердо на смерть, не обнаруживая ни страха, ни раскаяния, с молитвой и пением; выходя из церкви, он улыбнулся при виде своих книг, пылающих на дворе. По временам он пытался говорить к народу. Увидев уже сложенный костер, он с ясным лицом подошел к столбу, бросился на колени и начал громко молиться; бумажный колпак упал с его головы и вызвал у него новую улыбку. На вопрос, не хочет ли он исповедаться, Гус отвечал утвердительно; но когда пришедший священник поставил условием отпущения грехов отречение от ереси, он отказался от исповеди. Пфальцграф не позволил Гусу обратиться со словами к народу: он мог только проститься со своими тюремными стражами и поблагодарить их за обращение с ним. Затем его раздели, прикрепили веревками и цепями к столбу и повернули лицом к западу; два воза дров, смешанных с соломой, были положены вокруг него, закрыв его по самую шею. В последнюю минуту прибыл императорский посланец и еще раз предложил Гусу спасти жизнь и душу отречением; тот ответил, что сознает себя невинным и радостно принимает смерть за истину. Посланный и пфальцграф удалились, палач зажег костер. Страшная борьба со смертью продолжалась недолго: охваченный пламенем Гус смотрел на небо и пел молитвы, пока порывом ветра пламя отнесло ему прямо в лицо, и он задохся почти в одно мгновение. Когда костер сгорел, велено было тщательно собрать всю золу, даже выкопать землю из-под костра на значительную глубину и бросить в Рейн, а одежды Гуса также бросить в огонь, чтобы почитатели казненного не могли взять ничего на память о нем.

Вскоре решила также судьба Иеронима Пражского. После казни Гуса его старались подвигнуть к отречению, и это удалось: истомленный трехмесячным заключением, лишениями и болезнью, равно как страхом смерти, Иероним не выдержал и 11-го сентября произнес безусловное отречение. Но когда от него потребовали, чтобы он написал о своем отречении королю Венцеславу и его супруге, пражскому университету и всему чешскому народу, Иероним, повидимому, раскаялся в своем малодушии и отказался от всяких дальнейших шагов. Тогда процесс против него открылся во всей силе, и теперь уже все попытки вторично обратить Иеронима не имели успеха; отказавшись от произнесенного уже отречения, он успокоился в своей совести и устоял до конца твердо и мужественно, с веселым лицом и бодрым духом. 30-го мая 1416 г. он был приговорен на костер, как обратно впавший в ересь, и разделил участь своего друга, при чем с неменьшим достоинством встретил смертный час.

Значение Гуса

Констанцский собор сделал свое дело. Но пламя, задушившее Гуса и его друга, не толь-

ко не задушило гуситского движения, а, напротив, только разожгло его. Мученическая кончина двух духовных вождей народа подала сигнал к настоящей революции, страшной войне за веру, ход и последствия которой выходят уже за пределы нашей статьи. Для нас было особенно важно дать возможно краткий и вместе с тем полный очерк жизни и деятельности чешского реформатора в связи с историей умственного движения в Европе XIV—XV веков. Мы видели несомненную связь учения Гуса с учением его предшественника, англичанина Уиклиффа, связь доказанную, признанную самим Гусом; в свою очередь, чех Гус не остался без влияния на Лютера, который открыто высказал в 1519 г., что, по его мнению, Констанцкий собор осудил вполне правильные и евангельские учения Гуса. На преемственную связь между Гусом и Лютером указывает и легенда о пророчестве Гуса, будто бы предсказавшего, что через сто лет после него явится *лебедь*, которого не так легко будет зажарить, как домашнюю птицу—гуся. Гус, однако, не так далеко расходился с осудившею его церковью, как это казалось его судьям: он еще не дошел до отрицания таинств, непочитания святых, иконоборства; его проповедь более касалась области христианской практики, чем догматики. Правда, мы видели его понятие о церкви и папской власти, о значении Писания: в этих пунктах Гус близко подходит к протестантизму, хотя, разумеется, даже и католическая церковь не может отрицать, что верховный глава церкви есть не папа и даже не апостол Петр, а сам Христос, или что Св. Писание есть главная основа всего вероучения. Нетерпимость и злоба не дали Гусу высказать свои мнения перед собором: при более хладнокровном отношении к делу могло бы получиться впечатление не столь резкой противоположности между Гусом и римскою церковью. О точках соприкосновения гуситизма с православием мы уже говорили и отметили их случайный характер: на догматическую почву, напр., на учение об исхождении св. Духа, они не простираются. Но особенно важною является в наших глазах одна характерная черта, не раз нами отмеченная, сближающая Гуса со всеми позднейшими носителями протестантских идей: это противопоставление началу авторитета начала личного, свободного (в границах Писания) исследования; Гус готов подчиниться всему, если только ему докажут, что он неправ. Личное убеждение, субъективный взгляд не позволяют ему действовать против совести и ставят в невольную оппозицию всему организму церкви. Авторитетом непогрешимости такое личное убеждение не может обладать, и результатом преобладания этого личного начала является неизбежное дробление, разногласие; зато человеку, выработавшему самостоятельно свои воззрения, наиболее свойственно то одушевление, доходящее до фанатизма, которое доводит до мученичества за идею с веселым лицом. Эту несокрушимую силу духа мы видели в Иоанне Гусе, и именно это качество,—убежденность,—и делало невозможным его соглашение с отцами Констанцкого собора, не хотевшими действовать путем доказательств и убеждений.

Н. Аммон.

LXXV. Базельский собор

(1431 — 1449)

Умственный уровень духовенства в конце средних веков

Католическая церковь конца XIV и начала XV в. представляет собою уже далеко не то, чем она была в начале средних веков. *Там*—она воплощает в себе высшие начала духовной жизни; *здесь*—она представляет собою картину глубокого нравственного упадка и умственного огрубения. Единственная носительница цивилизации среди варварского общества начала средних веков, к концу средних веков она сама впадает в варварство. Первоначальное призвание церкви—«пастырство душ» и установление «царства Божия» на земле—все более и более заслоняется чисто мирскими целями и материальными интересами. Духовенство считает исполненным свой пастырский долг чисто внешним отправлением положенных по служебнику богослужений. Если где раздается с церковной кафедры голос проповедника, то это—редкое исключение, да и то едва ли счастливое. В самом деле, что это за проповедь? Это обыкновенно какое-нибудь схоластическое рассуждение на тему о том, что означает каждая из пяти букв имени *Мария*, и какой сокровенный смысл заключается в числе пять и т. п. Но для того, чтобы и такую проповедь сказать, необходимо было все-таки некоторое образование (схоластическое); только и последнее было редкостью. Зато далеко не была редкостью малограмотность, приближавшаяся часто к полной безграмотности, в особенности среди низшего духовенства. Если священник с трудом разбирал латинский текст богослужебных книг, то еще чаще случалось, что он совершенно не понимал смысла того, что читал. При таком положении дела и эта, сделавшаяся почти единственной, религиозная функция духовенства, отправление богослужения, превращалась сплошь да рядом в бессмысленное лицедейство, в котором слушатели и зрители понимали еще менее, чем священнослужители. Естественное в данном случае стремление со стороны последних—сделать бессмысленное и непонятное лицедейство понятным и осмысленным—привело к таким явлениям в области церковного богослужения, как *праздник дураков*, *праздник осла* и т. п. Последний праздновался ежегодно 14 января в воспоминание бегства Св. Девы из Египта с

Младенцем Иисусом. Мы имеем подробное описание, как совершался этот праздник во французском городке Бовэ. Красивейшая из местных девиц изображала собою Св. Деву. Она садилась на украшенного богатою сбруей осла, с ребенком в руках, и в таком виде шествовала во главе процессии, в сопровождении местного епископа и всего духовенства. Процессия направлялась от собора к церкви св. Стефана. Войдя в церковь, девица, изображавшая св. Деву, садилась у алтаря, возле Евангелия. Начиналась обедня. Особенностью богослужения в этом случае было то, что каждый возглас священнослужители оканчивали подражанием бляению осла. В конце обедни, вместо обычного возгласа: *ite missa est*, священнослужитель возглашал трижды, подражая ослиному голосу: *hin-han! hin-han! hin-han!* Во время обедни пелись священные стихи, представлявшие дикую смесь варварской латыни с не менее варварским французским языком, в роде следующих:

Orientis partibus
Adventavit asinus
Pulcher et fortissimus,
Sarcinis aptissimus.
Hez, sire asne, chantez,
Belle bouche rechignez,
Vous aurez du foin assez,
Et de l'avoine a plantes.

Еще более странную картину представлял *праздник дураков*, во время которого «священнодействие», совершавшееся ряжеными священнослужителями, священниками и даже епископами, обращало церковь в сцену самого грубого кощунства и дикой разнузданности, выражавшихся как в словах, которых лучше не воспроизводить, так и в действиях, которых лучше не описывать.

Факты эти тем более характерны, что они не представляют собою единичных явлений или случайных эпизодов. Праздники *осла* и *дураков* имели в конце средних веков почти повсеместное распространение в католическом мире, и подробности их празднования известны нам не только со слов современных летописцев, но также и из дошедших до нас современных служебников, содержащих в себе, на ряду с прочими праздниками католической церкви, «чин богослужения» и таких праздников, как два вышеупомянутые.

Подобныя явления красноречивее всяких слов характеризуют тот умственный уровень, до которого опустилась католическая церковь в лице своих представителей к концу средних веков. На какой низкой ступени умственного развития нужно было стоять, чтобы видеть в подобной чудовищной профанации религии—одно из отправлений богослужебного чина и, следовательно, одно из средств удовлетворения религиозного чувства!

Нравственный упадок духовенства

Не выше умственного уровня стоял и нравственный уровень духовенства в рассматриваемую эпоху. Нет сомнения, что последний в значительной степени обуславливался первым. Но к этому присоединялось и еще одно особое обстоятельство. Когда папа Григорий VII ввел безбрачие духовенства, как общее и обязательное правило, он имел при этом в виду поднять духовное значение и влияние духовенства, поставив его вне мирских связей, создаваемых семейными узами, и сообщив ему обаяние монашеского аскетизма. Такова была цель этой реформы; но проведение ее в действительную жизнь привело к последстви-

ям, прямо противоположным этой цели. Внебрачные связи в среде духовенства, бывшие редким исключением до введения обязательного безбрачия (целибата—*coelibatus*), сделались теперь общим правилом. К концу средних веков распутство духовенства вошло в поговорку даже среди общества, далеко не отличавшагося особенною чистотой нравов. Так как устранить вполне нарушение безбрачия со стороны духовенства оказалось на деле невозможным, то старались, по крайней мере, хотя несколько упорядочить внебрачные связи духовных лиц путем вступления последних в незаконные браки (конкубинаты); и это делалось мало-по-малу обычным правилом. Духовные жили вполне открыто в незаконных браках, и само общество смотрело довольно благодушно на такие связи. Из рассказов современников нам известны случаи, когда духовное лицо приглашает на крестины своего незаконнорожденного сына своих сослуживцев и прихожан, которые являются к нему с женами и детьми, как на семейный праздник. Сами прихожане нередко хлопотали о том, чтобы их священник имел незаконную жену: в этом они видели единственное средство обезопасить неприкосновенность своего собственного семейного очага. Еще характернее то, что само духовное начальство смотрело сквозь пальцы на конкубинат. Епископы давали обыкновенно формальные разрешения своим священникам на вступление в незаконный брак, частью из того же убеждения, которое разделялось и большинством светского общества, что это—меньшее из двух неизбежных зол, частью же просто из корыстолюбия, так как епископы давали такие разрешения или, как их называли, *диспенсы*, не иначе, как за известную, обыкновенно довольно высокую плату. О степени распространения этого обычая можно судить по тому, что иному епископу случалось раздать, за время своего служения, до десяти тысяч диспенсов и более.

Таким образом, всеобщее обязательное безбрачие свелось на практике к распространению конкубината среди духовенства и сделалось источником постоянного, непрекращающегося соблазна, который, разумеется, столь же мало мог служить к усилению религиозного авторитета духовенства, как и к возвышению его нравственного уровня.

При общем низком умственном и нравственном уровне, грубость нравов и низменность интересов представляет, за редкими исключениями, общую черту католического духовенства в конце средних веков. Вот в каких словах рисует нам современное католическое духовенство один из умнейших и лучших его представителей, живший в первой половине XV-го века (Лоренцо Джустиньяни); «Крайне мало порядочных людей среди духовенства; еще меньше таких, которые были бы в состоянии доставить духовную пищу своему духовному стаду. Большинство священников и церковников прозябают в скотстве и низменных удовольствиях. День-деньской толкуются они по площадям, слоняются там и сям, не пропуская ни одного театрального представления, ни одного публичного зрелища; развлекаются пустословием и сквернословием, щеголяют своими нарядами и т. д.». Перебранка и даже драка между духовными, собравшимися для совещания в «консисторию» (обыкновенно в церкви), были довольно обычным явлением. Местами вошло в обычай, что духовные, отправляясь в консисторию, надевали панцырь под верхнее платье и брали за пазуху кинжал или другое подобное оружие. Аугсбургский летописец начала XV в. рассказывает, как в его родном городе, в консистории дело дошло раз до кровавого побоища между духовными. В минуты досуга—а в таких минутах у священника не было недостатка—он забирал свой охотничий лук, садился на коня и по целым часам рыскал по лесам и полям, находя гораз-

до более удовольствия в травле зайцев и лисиц, чем в пасении своих духовных овец. На коне, со своею охотничьею сворой, иной священник чувствовал себя гораздо более в своей сфере, чем на церковном амвоне или кафедре. Вполне понятно, что приход, в глазах такого священника, являлся не столько поприщем для просветительной, нравственно-религиозной деятельности, для которой у него не было ни призвания, ни способности, сколько доходной статьей, дававшей ему средства для осуществления своих материальных интересов и удовлетворения низменных вкусов своей грубой натуры.

Представители церковной власти

Но зло не ограничивалось одним низшим духовенством. От указанных нравственных недочетов далеко не были свободны и высшие слои духовенства, представители церковной власти, высшие чины церковного чиновничества, вплоть до самых вершин католической иерархии, с «главой церкви» — папою включительно. Очевидно, здесь мы имеем дело не с каким-либо местным недугом, но с общею болезнью всего организма католической церкви — «с головы до ног», *in capite et membris*, по выражению самих современников.

Духовная власть явилась в христианской церкви, как выражение духовного начала в противоположность началу материальному, мирскому, находящему свое выражение в светской власти. А так как духовное начало осуществляется в аскетизме, т. е. в отречении от мира, то духовная власть вначале была соединена нераздельно с аскетическим отречением от мира. Такова была идея церковной власти, и эта идея легла в основание церковной иерархии. Это был идеал, который никогда не воплощался в действительности вполне, но временами действительность приближалась более или менее к этому идеалу; так было, например, не говоря о первых веках христианства, и в лучшую пору средневекового католицизма, когда высшие носители церковной власти, епископы и папы, часто являлись вместе с тем и лучшими выразителями аскетического начала.

К концу средних веков церковная власть совершенно сходит с своего первоначального основания и вследствие этого совершенно искажается. Церковная власть перестает быть властью духовною, она превращается в особый вид светской власти, принимая ту форму последней, которую выработало политическое развитие средних веков — форму феодализма. Епископ-аскет уступает место епископу-феодалу. Епископская епархия получает характер феодальной сеньории, которою епископ владеет на правах феодального владельца: в своей епархии он то же, что граф в своем графстве, герцог в своем герцогстве. Подобно светскому феодалу, епископ смотрел на свой «бенефиций», прежде всего, как на доходную статью (подобно старинным русским «кормлениям»), и главную свою задачу видел в увеличении ее доходности. Иной епископ вовсе и не жил в своей епархии, а случалось — и совсем не заглядывал в нее, довольствуясь получением доходов, а отправление епископских обязанностей поручал «викарию». К концу средних веков состав епископата пополнялся большею частью людьми, вышедшими из среды феодальной аристократии; многия высшие церковные должности превратились как бы в наследственные уделы известных знатных фамилий, так что родители, бывало, заранее прочили своего новорожденного сына на ту или другую епископскую кафедру. До какой степени искажения дошла церковная власть, можно судить по многочисленным в рассматриваемую эпоху случаям посвящения в епископы несовершеннолетних юношей и даже мальчиков. Бывало, что один и тот же человек «владел» несколькими церковными бенефициями одновременно (в силу особого папского разрешения, *дис-*

пенса).

Выше уже было упомянуто вскользь о том, как епископы умели обращать в доходную статью даже слабости своего подчиненного духовенства, торгуя разрешениями (диспенсами) на конкубинат.

Та же хозяйственная точка зрения применялась епископами и при раздаче подведомственных им «бенефициев». Никакую должность, например—приходского священника, нельзя было получить, не заплатив известной суммы епископу. Эта продажа церковных должностей, известная под именем *симонии*, несмотря на многократные запрещения, настолько вошла в церковные нравы, что сделалась как бы одною из норм церковной практики на ряду с конкубинатом.

Материальное направление папства

Все эти уродливые явления, наблюдаемые в католической иерархии конца средних веков, не были, очевидно, явлениями единичными и случайными, связанными с отдельными личностями; они свидетельствовали об извращении самых оснований церковного строя; и это как нельзя лучше подтверждается наблюдениями над главою католической церкви. Папская власть разделяла судьбу всей церковной иерархии. Подобно тому, как представители последней превратились мало-по-малу из духовных иерархов в феодальных владетелей, так и папа постепенно утрачивает истинный характер духовного главы христианства и превращается в светского государя. К началу XV в. «наместник Христа» превращается в действительности в одного из итальянских владетельных князей; общие интересы церкви отступают при этом нередко на второй план пред интересами его маленького итальянского государства; глава «церкви» часто более занят округлением своих итальянских владений, усмирением непокорных вассалов, заботами о доставлении ленов своим племянникам и незаконным сыновьям (*непотизм*), чем церковными делами.

На свою собственно церковную власть папа смотрит как на придаток к своей светской короне, важный главным образом по сопряженным с ним материальным выгодам. Церковь представляет для папы как бы один большой бенефиций, подобно тому как епархия была бенефицием епископа, приход—бенефицием священника. Вся католическая иерархия превращается в обширную систему «кормлений», и «престол св. Петра» является лишь самым большим и доходным из них.

В качестве главы церкви папа получает десятину со всего католического мира; в качестве главы церкви он раздает епископства и другие высшие церковные бенефиции, и это право папы является одною из главных доходных статей папского хозяйства, так как эти бенефиции раздавались отнюдь не даром: «в Риме ничего нельзя получить иначе, как за наличные деньги», говорит один из современников рассматриваемой эпохи. «Когда бы», говорит другой писатель первой половины XV в., «кто из святых сошел с неба и стал просить себе какой-либо епископской кафедры, его бы и слушать не стали в римской курии, если бы он не порядился предварительно и не уплатил вперед сполна». По словам Геммерлина, современника папы Мартина V (1415—1431), продажа церковных должностей в его время совершалась в Риме «столь же открыто, как продажа свиней на рынке».

Папская симония отличалась от епископской лишь большею высотой таксы и более обширным кругом действия. Папы продавали не только вакантные бенефиции, но даже бене-

фиции, еще не освободившиеся (так называемые *expectationes, provisiones*), а с вакантных бенефициев доход брали в свою пользу (*reservations*). Папы присвоили себе право *разрешать* (*dispensare*), то есть освобождать от исполнения известного закона, правила, обязательства, присяги и т. п. Эти папские *диспенсы*, дававшиеся, подобно упомянутым выше епископским диспенсам, всегда за особую плату, были в сущности одним из многочисленных видоизменений симонии. Особый вид диспенсов представляли так наз. *индульгенции*, то есть отпущения грехов; введенные впервые Бонифацием VIII (1294—1303), оне развились вскоре в особую и постоянную отрасль папской торговли благодатью, так как индульгенции продавались за деньги. Кроме того, в пользу св. престола было установлено множество разных поборов. Главными из этих источников, наполнявших «сокровищницу св. Петра», были *десятина*—со всего католического мира, и *аннаты*—с папских бенефиций¹.

Все указанные темные стороны церковной жизни с особенною резкостью выступают в конце XIV и в первой половине XV в., в смутное время «великого раскола» в католической церкви (1378—1449), который могущественным образом повлиял на усиление церковного нестроения. При том глубоком и всеобъемлющем значении, каким пользовалась католическая церковь в жизни средневекового общества, это усилившееся церковное нестроение давало себя знать всем слоям общества. Каждый по-своему чувствовал и сознавал его; а чувствуя и сознавая это, естественно желал изменения к лучшему существующего порядка вещей.

Так зародилась и быстро созрела в обществе мысль о необходимости преобразований в католической церкви. К началу XV века мысль эта сделалась, можно сказать, общим достоянием; потребность церковной реформы сознавалась всюду и всеми, не исключая и самого духовенства, по крайней мере, лучших людей из его среды.

Соборная реформа

Насколько глубока и всепроникающа была порча церкви, настолько же глубокая и всеобъемлющая требовалась реформа. И вот, отовсюду раздаются голоса, и в обществе, и в литературе, и с церковной кафедры,—голоса, требующие «преобразования церкви с головы до ног», *reformatio ecclesiae in capite et membris*. Но такая постановка вопроса о церковной реформе сделала римскую курию с самого начала непримиримым врагом реформы. Реформа, имевшая в виду не одни «члены», но и самую «главу» церкви, неизбежно угрожала самым жизненным интересам папства; она грозила и стеснением папского абсолютизма, и ограничением светской власти папы, и, наконец, сокращением фискальных прав св. престола, в роде аннат, резерваций и разных видов симонии. Так как, вследствие этого, римская курия упорно уклонялась от всякого серьезного шага в направлении церковной реформы, то людям, желавшим последней, оставался один путь,—этот путь заключался во вселенском соборе. Вот почему *созвание вселенского собора* сделалось в начале XV в. общим девизом людей, желавших церковной реформы на почве церкви. Таково было происхождение того замечательного общественного движения, которое в первой половине XV века ознаменовалось целым рядом «вселенских» (с католической точки зрения) соборов, имевших главной своею задачей «преобразование церкви с головы до ног».

1 Получивший от папы известный «бенефиций» должен был внести в папскую казну сумму годового дохода своего бенефиция; такой взнос и носил наименование *аннаты* (от *annus*—год).

Мы остановимся подробнее на последнем из этих реформаторских соборов, — Базельском, деятельность которого имела наиболее решительное влияние на судьбу церковной реформы; что касается предшествовавших ему «великих соборов», то деятельность их была слишком поглощена вопросами, не имевшими прямого отношения к делу реформы. Пизанский собор (1409 г.) был занят почти исключительно вопросом об устранении «папской схизмы», да и в разрешении этого вопроса потерпел полную неудачу, так как вместо «двухглавой схизмы» в результате явилась «схизма трехглавая». Гораздо серьезнее принялся за дело реформы Констанцкий собор (1414—1418 г.); но и ему пришлось потратить слишком много сил на разрешение других вопросов (дело Гуса). Партии реформы удалось, однако, провести на этом соборе два постановления, которые, казалось, обещали сделаться в высшей степени плодотворными для дела реформы. Первым из этих постановлений устанавливался принцип превосходства «вселенского» собора над папой; в силу второго постановления «вселенские» соборы должны были собираться — ближайший через пять лет, следующий — еще семь лет спустя, а потом — через каждые десять лет. Таким образом, одним из этих постановлений вселенский собор из чрезвычайного, в исключительных случаях созываемого собрания, обращался в постоянное, периодически действующее учреждение; другое постановление наносило решительный удар папскому абсолютизму, бывшему главным препятствием реформ.

Вместе взятые, эти два постановления открывали виды на проведение церковной реформы посредством соборов. Но видам этим суждено было значительно омрачиться, когда первый же, созванный в силу Констанцкого постановления собор в Павии (1423), перенесенный вскоре, по случаю эпидемии, в Сиену, разошелся, не сделав ничего существенного. Дело реформы снова потерпело неудачу на соборе. Но это нимало не охладило рвения приверженцев реформы, и они с нетерпением ожидали нового «вселенского» собора, который, в силу Констанцкого постановления, имел быть созван в 1431 г. Папа Мартин V (1415—1431) был не прочь отложить в долгий ящик дело, от которого римской курии нельзя было ожидать ничего приятного. Но из среды общества и самого духовенства раздавались слишком многочисленные и громкие голоса, требовавшие церковной реформы, и голоса эти находили могучую поддержку со стороны светских государей, сочувствовавших делу реформы. Последние через своих уполномоченных давали понять св. отцу, что «терпение народов, ожидающих столь давно обещанных коренных преобразований церкви, начинает истощаться, и можно опасаться глубокого потрясения церкви в случае, если ожидаемый вселенский собор не состоится, и справедливые ожидания будут обмануты», Навстречу этим представлениям раздавались громкие голоса из среды самого духовенства. Один из английских прелатов в речи, произнесенной перед Мартином V, в присутствии кардиналов сказал между прочим: «Необходимы быстрые и решительные меры; в противном случае можно опасаться, что светские власти сами примутся за реформу церкви». В этих глубокознаменательных словах умного наблюдателя, обнаруживающего глубокое понимание современного положения церкви, можно прочесть уже смутное предчувствие событий, имевших наступить сто лет спустя, в «эпоху реформации».

Создание Базельского собора

Уступая со всех сторон раздававшимся голосам, настойчиво требовавшим созыва вселенского собора, Мартин V решился, наконец, скрепя сердце, на тяжелый для папы шаг и

издал буллу, созывавшую «вселенский собор» на 23 июня 1431 года в имперский город Базель¹. Сам Мартин V не дожил до открытия собора, он умер еще 20 февраля. Его преемник, Евгений IV, слывший за человека благочестиваго и нравственно-безупречнаго, сам разделял общее убеждение в необходимости церковной реформы; но реформу эту он понимал исключительно в смысле улучшения нравов духовенства и восстановления расшатанной церковной дисциплины; он был далек от мысли о коренных переменах в иерархическом строе церкви, покоившемся на папском абсолютизме. Напротив, именно в папской власти он видел то орудие, посредством которого должна была осуществиться церковная реформа: не собору, а папе, главе церкви, должен принадлежать почин церковной реформы. Вот почему новый папа, при всей своей склонности к реформе, вполне разделял отрицательное отношение своего предшественника к идее вселенскаго собора, как органа церковной реформы. Первым шагом новаго папы было помешать осуществлению объявленнаго его предшественником собора. И вот, в папской курии идет лихорадочная работа; пишутся грамота за грамотой от лица папы к отдельным архиепископам, епископам, аббатам; в этих грамотах папа *убеждает* и увещевает своих адресатов не приезжать на собор и не посылать депутатов, а если последние уже отправились в Базель, то отозвать их обратно. Но глухи остались к *увещаниям* папы те, кому он не решался приказать: архиепископы, епископы, аббаты, священники со всех сторон спешили в Базель с одушевлением к реформе церкви *in capite et membris* и с затаенною досадою на св. отца, успевшаго уже заявить себя врагом еще не открывшагося собора и его будущаго дела. Евгений IV увидел себя в необходимости уступить и поспешил примириться с совершившимся фактом; он отправил в Базель своего легата открыть собор, который, чего добраго, мог объявить себя открытым и без папскаго легата. Таким образом, столь горячо и единодушно желаемый собор был совершившимся фактом—наперекор папе.

Такое начало не обещало ничего добраго для дела реформы. Оба носителя высшей власти в церкви, папа и собор, столкнулись враждебно друг с другом, прежде чем был сделан шаг на пути к реформе. Если до начала своей деятельности собор успел уже столкнуться с папой, то можно было ожидать еще большаго обострения их взаимных отношений в ближайшем будущем, когда собор займется неприятным для римской курии делом реформы; а в этом случае можно было опасаться, что борьба с папой сделается главным пунктом деятельности собора и отодвинет на второй план вопрос о реформе. В действительности случилось именно то, чего всего более боялись люди, искренно преданные делу реформы.

Борьба собора с Евгением IV

В первом же заседании собор торжественно объявил главною своею задачею реформу церкви *in capite et membris*. *Caput*, «глава церкви», папа, был таким образом объявлен подлежащим «реформе». Ясно было, что собор понимал реформу как раз в том смысле, в каком Евгений IV всего менее был расположен признать ее. Последний пожалел о своей прежней нерешительности и решил разом положить конец опасному для св. престола обороту дел: он издал буллу о распусшении только что собравшагося собора. Папа высказывал намерение созвать новый собор, под своим председательством, в итальянском городе Болонье; предлогом выставлялось желание облегчить сношения с собором грекам, которые тогда вели переговоры с Римом о соединении церквей. Трудно было ожидать, чтобы «отцы», со-

1 Города, непосредственно зависевшие от императора, назывались имперскими.

бравшиеся в Базеле, вопреки «увещаниям» папы, разошлись по первому его слову, отказавшись от только что заявленной торжественно, перед лицом всего католического мира, своей реформаторской миссии. Приказание Евгения IV было встречено единодушным отпором со стороны Базельского собора. В ответ на папскую буллу собор принял *единогласно* постановление (15-го февраля 1432 года), которым объявлялось, что вселенский собор стоит выше папы и, следовательно, не может быть распущен папой; напротив, папа должен повиноваться постановлениям собора. Снова всплывал, таким образом, этот столько же страшный для св. престола, сколько пагубный для дела реформы вопрос, поставленный еще на Пизанском соборе и снова выдвинутый на Констанцском; на последнем вопрос этот был не столько решен, сколько замят благодаря усилиям римской курии. Вызванный Евгением IV на борьбу, Базельский собор ухватился за этот вопрос с тем, чтобы раз навсегда покончить с папским абсолютизмом. Обстоятельства благоприятствовали собору. Общественное мнение, насколько оно могло выражаться в ту пору, было решительно на стороне собора, дело которого считалось делом реформы. Парижский университет, вышедший богословский авторитет в это время, высказался решительно в пользу собора. Галликанская церковь, в лице французских прелатов, съехавшихся в Бурже, также объявила себя на стороне Базельского собора. Светские государи, и особенно император Сигизмунд, сам горячо хлопотавший о церковной реформе, высказались в пользу собора.

Ободренные всеобщим сочувствием, «отцы собора» приняли еще более решительный образ действий. В третьем заседании своем, 23-го апреля 1432 г., собор принял постановление — «именем Христа умолять, просить, убеждать блаженнейшего государя папу Евгения IV, чтобы он отменил изданную им буллу о распущении собора», и чтобы «в течение трех месяцев лично явился на собор». «В случае же, если его святейшество пренебрежет исполнить это, святой синод сам позаботится об устройении церковных дел, согласно справедливости и внушению св. Духа». В почтительной пока форме, но уже довольно решительно спешил собор дать практическое осуществление принципу, провозглашенному на предыдущем заседании, — принципу превосходства вселенского собора над папой.

Между тем назначенный собором трехмесячный срок истекал, а Евгений не только не являлся в Базель, но и не выказывал ни малейшего намерения внимать почтительнейшим «увещаниям» распущенного им собора. Базельские отцы возобновили постановление 23 апреля, дав папе новую отсрочку в шестьдесят дней. Когда и после этого со стороны последнего не последовало никакого шага в смысле соборного постановления, «св. синод решил принять более суровые меры против названного государя Евгения IV, поелику меры кротости оказались недействительными». Несмотря на «явную неисправимость» папы, «вносящего своим поведением соблазн в церковь», собор постановил «дать еще третью отсрочку названному государю Евгению IV, чтобы там дать ему возможность, если захочет, избежать наказания (*poenam evitare*)».

Столь решительный образ действий Базельского собора и отсутствие деятельного отпора со стороны папы объясняется, помимо упомянутых уже благоприятных для собора обстоятельств, крайне стесненным положением Евгения IV в это время. Последний терпел поражение за поражением не только как глава церкви, но и как светский государь. Король наваррский занял в это время Церковную область с юга, а герцог миланский вторгся в нее с севера. Выгнанный из Рима своими мятежными подданными и из своих владений чуже-

земным неприятелем, скитался Евгений IV по Италии, покинутый даже своими кардиналами. Все эти обстоятельства сломили, наконец, упорство Евгения IV: 15 декабря 1433 г. он издал буллу, в которой торжественно признавал законным распущенный им ранее Базельский собор, а свою прежнюю буллу о распущении собора объявлял «не имеющею никакого значения» — *irrita et inanis*. С своей стороны, собор постановил допустить папских легатов к председательству на соборе.

Так окончилась угрожавшая католическому единству новая «схизма». Мир внутри церкви, казалось, был вполне восстановлен, тем более, что около этого же времени на Базельском соборе состоялось воссоединение чешских *утраквистов* (умеренная партия среди гуситов) с католическою церковью, на почве обоюдных уступок, которые были закреплены особым договором, так называемыми «Пражскими компактатами» (1433 г.).

Приверженцы церковной реформы надеялись, что, с восстановлением мира внутри церкви, наступит немедленно золотое время для церковной реформы. Действительность не оправдала этих надежд. Примирие между папой и собором не было прочным, так как основывалось не на обоюдном соглашении, а на вынужденном временными обстоятельствами подчинении папы собору; такое примирие и не могло сослужить никакой серьезной службы делу реформы. Напротив, именно преобразовательные попытки собора послужили поводом к новому, еще более решительному разрыву между собором и папой. Пока реформаторские попытки собора не задевали прямых интересов римской курии, Евгений IV смотрел на них благосклонным оком, тем более, что некоторые из этих реформ вполне отвечали его собственным взглядам; таковы были постановления собора против конкубината духовенства, против разных уродливых явлений в области церковного богослужения, в роде «праздника дураков», и т. п. Но когда собор постановил отменить *аннаты*, бывшие одним из главных источников папских доходов, а также ограничить некоторые другие права папы, связанные с доходами, Евгений IV горячо протестовал против подобных «попыток умалить авторитет и значение наместника Христова» и никак не соглашался стать на ту точку зрения, которую рекомендовали ему базельские отцы, выражавшие желание, «чтобы апостольский престол был более богат добродетелями и заслугами, чем земными благами». Евгений IV решился на новую попытку покончить с Базельским собором: 18 сентября 1437 г. он издал буллу о перенесении собора из Базеля в итальянский город Феррару под тем же предлогом переговоров с греками об унии.

Вслед затем папские легаты оставили Базель; за ними последовали некоторые из более умеренных членов собора, не желавшие заводить новую «схизму». Но более решительное большинство «отцов» отказалось повиноваться папской булле и решилось продолжать собор в Базеле, вопреки папскому повелению.

Так начался новый раскол между собором и папой, и дело реформы снова отступило на второй план перед новою междоусобною борьбою внутри церкви. Борьба была на этот раз еще более ожесточенною и решительною, благодаря тому, что более умеренные члены собора удалились из Базеля, повинуясь папскому повелению, и собор состоял теперь почти исключительно из приверженцев крайних мер и решительных противников папской власти. В ответ на папскую буллу «св. синод» объявил перенесение собора незаконным (10 октября 1437 г.), а в одном из следующих заседаний (24 января 1438 г.) объявил Феррарский собор

«схизматическим сборищем» и постановил «временно отрешить от исправления папской должности названного Евгения IV, как отъявленного упряма (*manifestum contumacem*), упорного бунтовщика и неисправимаго сеятеля соблазна в церкви Божией (*incorribiliter Ecclesiam Dei scandalizantem*)». Это заседание было последним, в котором были приняты еще некоторые реформаторские постановления; с этой минуты вся деятельность Базельского собора всецело поглощена борьбой с папой,—о церковной реформе не было более и речи. Не было речи о ней и на новом «папском» соборе, открывшем свои заседания, в силу упомянутой выше буллы, в Ферраре 8 января 1438 г. и перенесенном в следующем году во Флоренцию; этот собор, бывший послушным орудием папы, был занят почти исключительно вопросом о соединении церквей, который и был решен здесь в положительном смысле; но так называемая Флорентийская уния (1439 г.) не получила, как известно, практического осуществления. Дело реформы погибло в борьбе между папой и собором, превратившейся в новый раскол, в новую «схизму», которая еще более усложнилась и запуталась со времени созвания нового «вселенского» собора; теперь было два «вселенских» собора, из которых каждый считал себя единственно законным и предавал анафеме своего соперника.

Увлеченные борьбой, «базельцы» решились на крайний шаг: в заседании 26 июня 1439 года было принято следующее постановление: «Св. синод объявляет Евгения IV явным упрямом и ослушником предписаниям вселенской церкви, упорным бунтовщиком и закоснелым нарушителем святых соборных правил, отъявленным сеятелем смуты и соблазна в церкви Божией, духопродавцем (*simoniacum*), клятвопреступником, схизматиком, нераскаянным еретиком. В виду этого св. синод объявляет его отрешенным от папского сана». Ответом на это постановление была булла, в которой св. отец выражался таким образом о Базельском соборе: «дьяволы всей вселенной собрались в разбойничьем вертепе в Базеле...» Между тем, сделав первый шаг, «базельцы» должны были волей-неволей сделать и второй: по низложению «еретика» Евгения IV, нужно было выбрать на его место «законного» папу; 5 ноября они выбрали из своей среды нового папу, который принял имя Феликса V (1439-1449).

Церковные преобразования в отдельных государствах

Теперь «схизма» внутри католической церкви достигла своей высшей точки. Дело началось с раздора между папой и собором; раздор этот превратился в раскол, когда наряду с Базельским собором явился другой «вселенский» собор; раскол еще более обострился, когда, с избранием нового папы, в католической церкви оказалось два вселенских собора и двое пап. Каждая из враждующих сторон изрыгала хулу на сторону противную; отцы обоих соборов обзывали друг друга, перед лицом всего католического мира, схизматиками, еретиками, дьяволами, бесноватыми, дикими зверьми, олухами; а оба «наместника Христовы» честили друг друга именами антихриста, молоха, Магомета (*sic*), цербера, волка в овечьей шкуре и т. п.

Церковная иерархия, от которой католический мир ожидал реформы церкви *in capita et membris*, представляла печальную картину вопиющего скандала, хаоса и анархии. Вопрос о реформе окончательно стушевался пред другою, более настоятельною и неотложною потребностью минуты: церковь нуждалась теперь прежде всего в восстановлении внутреннего мира, в устранении схизмы. Схизму же устранить не могла, очевидно, церковная власть, которая сама была жертвою схизмы; вот почему с этой минуты начинается самое решитель-

ное вмешательство светской власти в дела церкви. Вмешиваясь в дела церкви во имя интересов католической церкви—с одной стороны, с другой—во имя «привилегий и вольностей» местных, национальных церквей, светские государи и правительства находят деятельную поддержку не только со стороны светского общества, но также и со стороны местного духовенства. В то время, как центральное правительство католической церкви распалось в лице раздвоившихся папы и собора, на сцену выступают местные католические миры, отдельные государи и правительства созывают местные церковные соборы, и здесь, в тесном союзе с своим духовенством, принимаются за устроение церковных дел. Работая над восстановлением мира в церкви, нарушенного временным расколом, они не упускают при этом из вида и вопроса о восстановлении церковного благочиния, нарушенного длительными и укоренившимися злоупотреблениями; думая о схизме, которую нужно было устранить, они не забывают и о реформе, которую следовало осуществить. Первая из этих двух задач была выполнена путем постепенного признания законным папой—Евгения IV и законным вселенским собором—Флорентийского собора со стороны отдельных правительств и местных церквей. Вторая задача была осуществлена таким образом, что некоторые из выработанных Базельским собором преобразований, касавшихся всей католической церкви, были усвоены отдельными национальными церквами, с помощью местных церковных соборов и при деятельном содействии светских правительств, и закреплены за этими национальными церквами путем особых договоров с св. престолом, в качестве «привилегий и вольностей» каждой из местных, национальных церквей. Французский король Карл VII созвал французских епископов на собор в Бурже (в мае 1438 г.) Здесь были подвергнуты пересмотру базельские преобразовательные постановления, и некоторые из них были одобрены собором и приняты от имени галликанской церкви. Характерно для настроения современного французского духовенства то обстоятельство, что принятыми оказались именно те из постановлений Базельского собора, которые носили на себе отпечаток борьбы против папского абсолютизма; это были постановления, ограничивавшие влияние римской курии на замещение высших церковных должностей,—стеснявшие страшное в руках папы право интердикта, и т. п. Постановления Буржского собора (т. е. базельские постановления, принятые Буржским собором), утвержденные королем и, скрипя сердце, признанные папой, известны под именем *Буржской прагматической санкции*; последняя положила начало так называемым «вольностям галликанской церкви», сущность которых заключалась в ограничении влияния римской курии на дела французской церкви. Подобным же образом поспешило обеспечить за германской церковью те или другие из Базельских реформ и правительство германской империи. Светские и духовные князья империи, вместе с императором съехавшиеся в том же году в Майнце, приняли постановление, так называемое *instrumentum acceptionis*, которым обеспечивались за германской церковью важнейшие из преобразовательных постановлений Базельского собора. Постановления эти, ставившие германскую церковь, подобно французской, в более независимое, сравнительно с прежним, положение по отношению к римской курии, были, с некоторыми ограничениями, признаны со стороны последней лишь несколько лет спустя, в особом договоре, заключенном между св. престолом, в лице преемника Евгения IV, папы Николая V (1447—1455), и германской империей, и известном под именем *Венского конкордата* (1448 г.). Подобные же договоры или «конкордаты» были заключены и многими другими светскими государами с римской курией; в основании всех их лежали те из преобразовательных постановлений Базельского

собора, которые имели в виду ограничить влияние папы на дела местных церквей. Это были вынужденные силою обстоятельств уступки со стороны римской курии в пользу местных церковных соборов и светских правительств, которые имели самое решительное влияние на местные соборы; часть папской власти перешла, таким образом, в руки местных соборов и светских правительств. Некоторые из светских государей получили, в силу «конкордатов», до такой степени сильное влияние на дела местных церквей, что их называли в шутку маленькими папами («герцог Клевский—папа в своих землях»). Таким образом, результаты преобразовательной деятельности Базельского собора закреплялись за отдельными национальными церквами уже помимо самого собора, доживавшего свои последние дни. Венский конкордат стер последние следы схизмы, положив конец существованию всеми оставленного «вселенского собора». По заключении конкордата, император Фридрих III выгнал из Базеля—имперского города—последних «отцов собора», которые бежали в Лозанну, к своему папе Феликсу V. Оставленные всеми, они склонили последнего добровольно отречься от престола (1449), а сами «избрали» папой Николая V-го, занимавшего папский престол с 1447 г. в качестве преемника Евгения IV (ум. в феврале 1447 г.). Так окончил Базельский собор свое почти восемнадцатилетнее существование.

Соборное движение первой половины XV в. было вызвано, видели мы, вполне назревшей настоятельной потребностью в реформе католической церкви. Из всех «вселенских соборов» этой эпохи Базельский был наиболее глубоко проникнут сознанием этой потребности; глубже всех своих предшественников сознавал и отчетливо формулировал он свою задачу—*reformatio ecclesiae in capite et membris*. Какие же были результаты столь продолжительной и шумной деятельности собора, первые шаги которого были встречены общим энтузиазмом и радужными надеждами приверженцев реформы? И, прежде всего, выполнил ли он главный параграф своей программы—разрешил ли вопрос о церковной реформе?

Реформы собора

В первый период своей деятельности, до возникновения двусоборной схизмы, Базельский собор, несмотря на почти непрерывную борьбу с папой, поглощавшую почти всю деятельность собора, успел принять несколько постановлений, имевших в виду устранить те или другие злоупотребления и неисправности в церковной жизни; таковы были постановления, направленные против конкубината духовенства, против разных злоупотреблений в церковной практике, против фискальных притязаний римской курии (аннаты, резервации и др.) и папского абсолютизма (ограничение права интердикта). Однако, от этих отдельных отрывочных мер и частичных преобразований было далеко до той общей и всеобъемлющей реформы церкви—*reformatio ecclesiae in capite et membris*,—которую в первом своем заседании Базельский собор поставил во главе своей программы. Собор, правда, сделал смелую попытку коренной перестройки самых оснований церковного правительства. Своим постановлением о превосходстве вселенского собора над папой он, казалось, одним ударом уничтожил весь исторически сложившийся иерархический строй католической церкви, покоившийся на папском абсолютизме. «Глава церкви» низводился на степень подчиненного органа вселенского собора, послушного исполнителя соборных постановлений; папа уступал свое первенствующее положение собору, который становился на место его во главе всей церковной иерархии. Таков был смысл этой смелой реформы; но дело в том, что эта реформа имела в действительности лишь значение *попытки*, не признанное римскою курией,

не нашедшее себе места ни в одном из конкордатов, которыми в конце концов разрешилась вся преобразовательная деятельность Базельского собора, постановление это так и осталось мертвой буквой. Прочия же реформы Базельского собора, получившие в той или другой степени практическое осуществление путем конкордатов, имели все характер паллиативных средств, которые борются против последствий болезни, а не против ее корня. Корень болезни крылся, несомненно, в общем, исторически сложившемся, строе католической церкви: этот строй остался в целости и после Базельского собора,—попытка преобразовать его на новых началах потерпела неудачу.

Затем, обязательное безбрачие (целибат) духовенства было, несомненно, одною из главных причин понижения нравственного уровня католического духовенства; целибат остался нетронутым, удовольствовались тем, что его неизбежное последствие—конкубинат—подвергли еще раз запрещению, которое, разумеется, не могло рассчитывать на больший успех, чем каждое из безчисленных прежних «запрещений» того же рода.

Наконец, невежество духовенства, бывшее главною причиной крайней грубости нравов в его среде, представляло собою, вместе с тем, несомненно, существенное препятствие к подъему нравственного уровня духовенства; между тем мы не видим никаких мер со стороны Базельского собора к поднятию умственного уровня духовенства, к его просвещению.

Вот почему в итоге преобразовательной деятельности собора получился ряд отдельных преобразовательных постановлений и частичных реформ, но общей «реформы церкви с головы до ног» не получилось.

Из того, что успел выработать Базельский собор для дела церковной реформы, получило практическое осуществление лишь то, что было принято и подтверждено упомянутыми «конкордатами», в которых базельские преобразования подверглись различным более или менее существенным урезкам и ограничениям. Базельские постановления, воспроизведенные конкордатами, были, таким образом, единственным непосредственным результатом реформаторской деятельности Базельского собора. Очевидно, что этот результат далеко не был ответом на тот вопрос, которым, главным образом, и был вызван к жизни Базельский собор. Вопрос шел о такой реформе, которая должна была состоять в приведении церковной действительности в возможное соответствие с ее идеальными основами. Базельский собор и принялся было за проведение реформы в этом смысле, но остановился на полдороге и принужден был сойти со сцены, на которую выступают конкордаты, имеющие в виду совсем другое. В вопросе о церковной реформе Базельский собор не дошел до искомого решения, конкордаты обошли это решение. В основании конкордатов лежали менее идеи, чем интересы. По существу своему конкордаты были компромиссами, сделками противоположных интересов, с одной стороны—римской курии, с другой—отдельных наций, отдельных католических миров.

Значение Базельского собора

Далее, вопрос шел о реформе обще-церковной, о реформе церкви на всем протяжении католического мира. Проектированная великая обще-католическая реформа разбилась в конкордатах на целый ряд отдельных *местных* реформ, выговоренных у римской курии отдельными национальными церквами, в качестве их специальных «привилегий и вольностей».

Таков был непосредственный результата Базельского собора, результата крайне ничтожный по своему содержанию, но чрезвычайно важный по своим косвенным последствиям. *Базельский собор представляет собою последнюю попытку решения вопроса о церковной реформе на почве католической церкви.* Неудача этой попытки, встреченной вначале с таким одушевлением и стоившей стольких усилий, нанесла решительный удар общераспространенному убеждению в возможности церковной реформы посредством самой церкви. От римской курии и ранее никогда не ожидали серьезной реформы: печальный исход «вселенских соборов», и особенно Базельского, наглядно показал, как мало можно было рассчитывать и на соборы в деле реформы; и действительно, с этих пор мы не видим более «вселенских соборов» в католической церкви вплоть до эпохи реформации.

Если, с одной стороны, соборы не разрешили вопроса о реформе, то унаследовавшая последний от соборов политика конкордатов в корне подрывала самую надежду на возможность этого решения: внося начало разъединения в католический мир, политика эта отнимала самую почву у обще-католической реформы, которая была невозможна без существования полного церковного единства католического мира.

Не решив вопроса об обще-католической церковной реформе, Базельский собор оставлял попрежнему широкое поле для личного почина в этом деле: отсюда—дальнейшее развитие внецерковных вероисповедных учений и сектантских общин.

С другой стороны, политика конкордатов передавала дело реформы из рук «вселенской церкви» в руки отдельных национальных церквей. Величайшая опасность предстояла католичеству в случае возможного соединения обоих этих реформационных течений—течения внецерковного, сектантского, с церковно-национальным. *Великое реформационное движение XVI в., образовавшееся из соединения этих двух реформационных течений, может быть названо, поэтому, величайшим из косвенных последствий неудачного исхода реформационных соборов первой половины XV в. и Базельского собора.*

Эти же «великие соборы XV в.» подготовили в значительной степени и почву в умах для реформационного движения XVI в. Шумная и глубокозахватывающая деятельность соборов была полна борьбою самых разнообразных и противоположных интересов и идей; борьба эта велась и на почве права и материальной силы, но еще более на почве мысли.

Деятельность соборов вызвала небывалое умственное оживление, которое создало целую литературу; в последней наиболее видное место принадлежало полемике против папского абсолютизма, рядом с самою беспощадною критикой темных сторон средневекового католицизма; здесь были впервые высказаны и отчетливо сформулированы многие из тех идей, которые получили свое окончательное развитие, а частью и практическое осуществление в реформационном движении XVI в.

Но и помимо того или другого характера идей, это умственное движение имело важное историческое значение в том отношении, что оно способствовало пробуждению и оживлению умственных интересов в средневековом обществе, особенно в Германии. В эпоху Базельского собора гуманизм впервые перешагнул через Альпы и вышел из пределов своей родины—Италии; в числе деятелей Базельского собора мы встречаем выдающихся итальянских гуманистов, и принесенное ими семя нового, «гуманного», образования нашло себе благодатную почву в Германии.

Оба великия умственные и общественные движения первой половины XVI в.—*реформация* и *гуманизм*—связаны неразрывными нитями с великим соборным движением конца XV и начала XVI в. Если, таким образом, последнее и не достигло своей непосредственной цели, то оно далеко не осталось, тем не менее, бесплодно для исторического развития Европы.

Павел Ардашев.

LXXVI. Гуситы и Чешские братья

Национальная подкладка гуситства

Попытка Гуса имела для него роковые последствия: 6 июля 1415 года он был сожжен в Костнице (Констанце). Но начатое Гусом дело с его смертью не кончилось, а, наоборот, повело к большим еще смутам не только в церкви, но и в обществе. Причина этого лежит не только в том, что после смерти Гуса продолжали существовать те же нестроения в церкви, что и прежде, что так же, как и прежде, являлись лица, требовавшие реформ: уже в деятельности Гуса, помимо чисто богословской стороны, ясно проглядывает, как и у моралиста-писателя Фомы Штитного (род. 1325, ум. ок. 1400 г.), народная чешская подкладка, стремления патриота-чеха; такой характер носит уже борьба «национальностей» в университете, в которой деятельное участие принимал Гус, эта же черта проходит полосой в «ви-флеемской» проповеди Гуса. Таким образом, казнь Гуса, явно несправедливая, грубая расправа сильного с слабым, оскорбляла не только сторонников реформы, как ее представлял себе Гус, но и всех чехов, сознававших более или менее свою национальность и видевших в этом поступке с Гусом насилие не только католического духовенства над людьми, требовавшими реформ, но и насилие немецкого большинства (в правящих сферах) над чешским меньшинством—чехами. Таким образом, с религиозным вопросом соединился вопрос национальный. И эта характерная черта движения проходит яркой полосой чрез историю всего последующего времени гуситских войн: борющаяся с гуситами власть всегда является представительницей столько же католицизма, сколько и национальных немецких стремлений; раз начинается борьба против светской власти и состоявшего в постоянном союзе с нею духовенства католического, все партии гуситов соединяются воедино, как это было, например, в 1436 году во время выработки так называемых компактатов, т. е. условий со-

Пособия: *Anton Gindely*, Geschichte der bohmischen Bruder. 2 B. Prag 1857—58; *Anton Gindely*, Geschichte des bohmischen Aufstandes von J. 1618. 3 B. Prag 1869—78; *Клеванов*, Очерк истории чешского вероисповедного движения. М. 1876; *И. Пальмов*, Вопрос о чаше в гуситском движении. СПб. 1881; *Анненков*, Сочинения Петра Хельчицкого (Сеть веры и Реплика против Бискупца). СПб. 1893; *Karasek, Petr Chelcicky* (Mensi spisy). Изд. Comenium'a; *Pamatky reformace ceske* II, III, Praha, 1891—92; *I. Goll*, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der bohmischen Bruder, II, Prag. 1882.

глашения между католиками и гуситами; эта попытка к соглашению была понята как попытка примирить не только церковь и раскольников, но и две враждующие друг с другом национальности.

Поставивши, таким образом, в тесную связь вероисповедание с народностью, чехи и во все последующее время не изменили этим взглядам. И только, благодаря этому пониманию своих задач, чехи, сравнительно слабые, могли противостоять военному натиску со стороны католицизма и немцев: охраняя свое вероисповедание, они охраняли и свою национальность, доказали своей стойкостью в исповедании то, что они имеют право на существование, как особая народность. Как только правительство и духовенство убедились в этом, борьба получает новое направление: уже больше они не стремятся поработить чехов силой оружия, а, оставляя им их национальность, стремятся—правительство сохранить их в составе империи, духовенство—привлечь к мирному присоединению. Но эти попытки были далеко не одинаково успешны: имперскому правительству удалось сохранить за собой Чехию, но не без жертв: император в качестве чешского короля должен был дать кое-какие права чехам, как религиозной отдельной единице; правительство, как власть, хотя и подчиненная в духовном отношении Риму, уже не преследовало гуситов, не возбраняло открыто им отправлять свое богослужение, управляться по своим принципам в общинах, хотя никак не хотело дать формального признания их вероисповедания. Уступки, сделанные правительством, отзывались, однако, большими затруднениями для духовенства католической церкви; оно лишилось весьма важного с его точки зрения вспомогательного средства для борьбы с отделившимися чехами. В его руках оставалось только одно, правда могучее, средство для обращения отпавших—проповедь и пропаганда католицизма среди чехов; в качестве вспомогательного средства была призвана дипломатия. В этом духе католическое духовенство и ведет свою деятельность. Наконец, последним обстоятельством, значительно затруднившим успехи католицизма, было культурное состояние Чехии: несмотря на погромы войн, навсегда погубивших блеск культуры в Чехии времен Карла IV, она еще не была безсильна и в этом отношении перед католицизмом. Так в общих чертах тянется дело до 3-й четверти XVI века, когда реформатское движение в Германии дает новый толчок и гуситам, которые выражают явно свое предпочтение северным протестантам перед государственной католической религией. Это заставляет правительство еще более снисходительно относиться к гуситам из боязни их политического отторжения.

Все эти обстоятельства: характер учения Гуса, неудачные стремления власти и духовенства, высокое культурное состояние Чехии в предшествующее время и, наконец, возникновение реформации в Германии,—все это дает объяснение, почему гуситство просуществовало так долго и в видоизмененной форме отчасти существует и поныне: чешские реформаты, к половине XVIII в. принявшие организацию и, с государственной точки зрения, соединенные с протестантами, сохранили до сих пор особенности в богослужении и в обычаях внутри общин.

С другой стороны, конечно, с течением времени число гуситов, в момент их отделения от католиков обнимавшее большую половину населения Чехии и Моравии, быстро уменьшалось. Объяснение этого явления находим в истории самого гуситства.

Партии среди гуситов

После 15-летней почти непрерывной войны против гуситов императору и духовенству не удалось подавить силой сепаратистские стремления чехов: чем сильнее был напор врагов, чем значительнее была победа противников, тем глубже проникало в народ сознание своей правоты, тем энергичнее шла гуситская пропаганда. Убедясь в этом, Сигизмунд решил достичь успокоения края другим путем: он предложил решить спор и выработать почву для соглашения отцам Базельского собора, продолжавшего еще свои заседания. Чехи приняли предложение, приславши на собор лучших своих людей, между прочими Прокопа Большого и магистра Рокицану, которому суждено было играть большую роль в истории гуситов. Но соглашение этим путем достигнуто не было, хотя в 1436 году в Иглаве (Иглау) было торжественно отпраздновано воссоединение чехов в присутствии Сигизмунда, делегатов собора и чешских представителей: были утверждены, хотя и с ограничениями, так называемые компактаты Базельского собора, предоставлявшие некоторые права гуситам, удовлетворявшие отчасти их требования.

Но эти благия начинания разбиты были поведением самих католиков: они и не подумали исполнять тех обязательств по отношению к чехам, которые они дали в компактатах; папа отказался признать главного руководителя гуситов, влиятельного Рокицану, архиепископом пражским, что ему было обещано императором и было одним из условий соглашения: соглашение осталось только на бумаге. Но, несмотря на неудачу, компактаты имели важное значение для истории гуситства: благодаря им, произошел крупный раскол в среде самих гуситов. Тяжелое положение их, одиноких, окруженных врагами, принудило их искать опоры, выработать какие-нибудь сносные отношения к католикам; поэтому в среде их сразу стала выделяться партия умеренных гуситов—утраквистов, желавших стать в более близкую связь с католиками. Более крайние, табориты, наоборот, отказывались от каких бы то ни было уступок. Таким образом, вся Чехия разбилась на три партии: чехов-католиков, оставшихся верными католицизму и стоявших поэтому на стороне правительства, утраквистов, желавших соединения и готовых на уступки, и таборитов, вовсе отказавшихся от всяких сношений с католиками; понятно, что умеренная партия утраквистов более близка была к католикам и к императору и силилась сломить таборитов, что было тем естественнее, что главная сила таборитов—вооруженная сила—уже не имела места для решения вопроса. И, действительно, утраквисты усердно хлопочут о соединении с Римом [особенно наиболее близкая к католикам партия Прибрама (Пршибрама)], привлекают на свою сторону Рокицану. Но римская курия и папа (Евгений IV) требуют полного подчинения и не признают соглашения. Это охладило и утраквистов в их стремлении к воссоединению.

Таким образом, одиночество чешских протестантов продолжалось и заставило их решиться на неожиданный шаг: искать сближения с греческою церковью: это должно было облегчить им одиночество, а также должно было произвести давление на католицизм (в виду известных отношений между восточною и западною церквами, не пришедшими, как известно, к соглашению во Флоренции в 1439 г.). Переговоры велись в 1447 году, тянулись до 1452 г., но не привели к успеху: жалкое положение Царьграда и последовавшее в 1453 г. завоевание его турками положили конец этой затее. Переговоры же с Римом опять оживились, тем более, что Рокицана, игравший такую роль в прежних переговорах, не особенно соблазнялся перспективой соединения с греками, а наоборот, надеялся еще достичь согла-

шения с Римом, где Евгения IV уже заменил новый папа Николай V.

Но и этот оказался не более уступчивым, нежели его предшественник. Неудача Рокицаны заставила его искать опоры для себя в короле: он чрез утраквистов сближается с Юрием Подебрадским, помогает ему сломить таборитов и опять стоит во главе национальной церкви в Чехии, хотя и непризнанный и отвергнутый Римом. Между тем здесь, в Риме, зорко следили за событиями в Чехии. Возвышение Юрия Подебрада, сосредоточение в его руках власти указало Риму новый путь к достижению цели. Папа решается действовать на Юрия и воспользоваться его влиянием, чтобы подчинить чехов. Поэтому отправляется легатом для Германии, с тайным предписанием действовать и в Чехии, высокообразованный, гуманный кардинал Николай Куза, за ним следует знаменитый писатель, дипломат и канцлер Фридриха IV Эней Сильвий Пикколомини (впоследствии папа Пий II), который должен был убедить Юрия Подебрада отступить от Рокицаны, которого-де Рим никогда не признает, не настаивать на компактатах (хотя им и обязан был Юрий своею популярностью в Чехии). Дипломату папы, однако, многого сделать не удалось, он добился только того, что Юрий согласился в пределах своего государства разрешить проповедь Иоанна Капистрана, знаменитого проповедника, посланного перед тем папой и уже успевшего достичь громадной популярности в Моравии (в Брне) и проникшего уже в Крумлов, Хеб (Эгер), Мост (Брюкс) и появившегося даже в Праге. Но здесь Капистрап, увлеченный своим успехом, забыл осторожность, порицая «чешских еретиков». Это было роковою для Капистрана ошибкой: он забыл, что гуситство не есть только религиозное явление, но также и глубоко национальное; громя еретиков и при том чешских еретиков, он глубоко оскорблял не только своих противников религиозных, но и весь чешский народ. Поэтому Юрий Подебрадский, хотя и принял проповедь Капистрана, однако, как представитель прежде всего чешского народа, не мог отказать Рокицане, сразу почуввавшему опасного соперника, в позволении действовать против знаменитого проповедника: соединяя идею гуситства с национальной идеей, Рокицана энергично дает отпор Капистрану, пользуясь сочувствием всего чешского народа, оскорбленного в своих национальных чувствах Капистраном. В конце концов Капистран без всяких результатов вернулся в Регенсбург к Николаю Кузе. Рокицана же остался руководителем утраквистской партии, убедившись, наконец, в бесполезности искать соглашения с Римом. Отделившись от Рима, он задался теперь целью добиться объединения в утраквизме всех гуситских сект; опираясь на Юрия Подебрадского, он положил конец существованию таборитов (1452 г.), принудив их ввести утраквистское богослужение. Но этим он не достиг единения, табориты рассеялись и умножили число сект в среде чешских отступников от господствующей церкви. С этого времени и приходится считать начало образования отдельных сект в Чехии, и между ними наиболее важной секты—Чешских братьев (jednota).

Лукаш

Итак, наиболее крупная из этих сект «Братство» получила свою первоначальную организацию именно в это время. Эта секта принадлежала к наиболее умеренным утраквистским сектам, но в то же время она твердо и непоколебимо стояла за свою независимость от Рима и остальных утраквистов и была наиболее характерным выражением идей, которые руководили религиозным и общественным движением Чехии XV в. Главнейшими деятелями в области развития и устроения братства были наиболее талантливые из последователей

Гуса: брат Лука (Лукаш) и Петр из Хельчиц (иначе Хельчицкий). Рокицане братство обязано не своим устройством, а энергической защитой принципов гуситства: он сохранил, отстоял чешских реформаторов в борьбе с католицизмом во вторую эпоху борьбы, парализуя католическую пропаганду и приобретая новые силы для гуситства в соединении его с партией правительства (в лице Юрия Подебрадского). Внутреннее же развитие идей братства, его устройства, обрядности выразилось в богатой литературе братства, виднейшими представителями которой и были упомянутый Лукаш и Петр Хельчицкий, прозванный далее «крестным отцом» братства.

Первому из них, Лукашу (ум. ок. 1528 г.), братство обязано было главным образом своею организацией. Ученый бакалавр и богослов Пражского университета, Лукаш вступил в братство в 1480 году; здесь он нашел большую пестроту и ряд недоумений в практике общины братской: хотя всех соединяло одно стремление, — создать жизнь по принципам первых веков христианства, — но и эти, как и современные обычаи общин, понимались различно, различно оценивались их важность и значение для членов братства. Лукаш пишет по этому поводу целый ряд сочинений, трактатов, писем, памфлетов, путешествует на восток, чтобы ознакомиться с бытом тамошних христиан, которые, как тогда думали многие из братчиков, сохранили чистоту христианства в первобытном виде. Таким образом, главная деятельность Лукаша заключалась в устроении обрядовой и административной стороны братства. Этого рода деятельность заставила его обратить внимание и на отношения общины Чешских братьев к другим подобным же общинам, к остальной части населения Чехии и привела его к необходимости коснуться и основных принципов братства, насколько эти последние стояли в связи с администрацией и условиями существования братства. Так, ему принадлежит идея епископства у братьев (он сам и был епископом), как высшей административной единицы, смягчение строгих правил общины по отношению к имуществу, частной собственности и гражданской светской власти. Эта уступка общественному строю сделана Лукашем в виду того, что многие дворяне и служилые люди желали вступить в братство, но не могли отказаться от своих преимуществ в обществе, — находя это даже полезным для целей братства. Но уступка эта, если и ослабляла основной принцип братства — равенство, общность имущества, — имела последствием значительное усиление братства притоком более или менее влиятельного дворянства, что не мало способствовало сохранению и безопасности общины в католической стране.

Хельчицкий

Принципы же и идеи братства созданы и развиты были в учении Хельчицкого: с него ведут они свое начало в том виде, как они выразились в жизни братства. Хельчицкий (род. ок. 1390 г., ум. ок. 1460 г.) принадлежит к выдающимся мыслителям не только в среде братства, но и в Европе. По происхождению своему скорее всего мелкий шляхтич, он стоял близко к Пражскому университету времен, ближайших ко времени Гуса, образования систематического не получил, хотя его и нельзя назвать недоучкой. В нем мы видим прежде всего светского проповедника, который своим влиянием обязан прежде всего своему уму, своим сочинениям. Особенно характерной чертой его сочинений, писанных простым, подчас шероховатым языком, составляют необыкновенная острота анализа, логичность, несмотря на фантастичные идеи, которые у Хельчицкого общи с другими людьми его времени; в нем постоянно видно одно руководящее начало: это — стремление поставить идею на

практическую, осуществимую почву; отсюда у него такая чуткость ко всем ненормальностям и увлечениям, на какие ему приходилось наталкиваться в учениях отдельных писателей секты: он сразу замечал несоответствие между поставленным принципом и его проведением. Поэтому, например, он яростно полемизирует против крайних увлечений братских священников, дошедших до приравнения таинства евхаристии к идолопоклонству, до кощунства над хлебом и вином, как символами этого таинства. В своих положительных взглядах он следует тем идеалам, которые рисовались уже самому Гусу и его лучшему последователю, магистру Якубку, которые, по выражению Хельчицкого, лучше многих чехов разумели учение Уиклифа, сочинения которого оказали косвенное влияние и на Хельчицкого. Основным принципом его было подражание Христу, проведение начал евангельских в действительной жизни. Таким образом, источником всей христианской морали у него являлось только Евангелие. Наиболее же близкое осуществление этого идеала находил он, подобно большинству не только чешских, но и вообще западных идеалистов-реформаторов, в быте первоначального христианства. Отсюда у него следует требование полной свободы совести, свободы действий, потому что человек, руководящийся принципами Евангелия, будет добровольно уклоняться от зла и стремиться к добру; далее следует естественный переход к отрицанию внешнего принуждения, то-есть излишество светских законов и светской власти: светский закон и охранители его не нужны, ибо весь закон—в душе человека, в Евангелии. Из этого положения уже само собою вытекает полное равенство, основанное на братской взаимной любви, излишество духовной иерархии в смысле власти, равно как и светской власти. Поэтому понятно, почему он так отрицательно отнесся к существующим порядкам, которые, по его мнению, внесли только искажение в христианство; виновною в этом он считает ошибку, сделанную Константином Великим, объявившим христианство государственною религией: когда Сильвестр, крестивший Константина, получил власть и богатство и за это внес в самую церковь обычаи и права государства, с этих пор христианство пало. На основании этих принципов Хельчицкий, разумеется, не мог одобрить поведения тех, которые силой хотели вернуть отпавших чехов к католицизму; но не мог он одобрить и поведения гуситов и особенно таборитов, с мечем в руках защищавших свою веру: насилие против насилия противно евангельскому закону. Таковы принципы Хельчицкого, изложенные им в его двух главнейших сочинениях «Сети веры» и «Постилле».

Чешское братство

Эти принципы были положены в основу устройства кружка сперва ближайших последователей Хельчицкого, так называемых «Братьев Хельчицких», но затем распространились и далее. Главным деятелем и проводником идей Хельчицкого явился Григорий, приближенный, кажется, даже племянник Рокицаны, объединившей кружки, сочувствовавшие идеям Хельчицкого; он и считается основателем общины Чешских братьев, устроившим в Кунвальде небольшое общество, которое руководилось этими идеями (1457 г.). Это кунвальдское общество строго относилось к основным принципам, им принятым: полное отсутствие частной собственности, уклонение от всякой светской власти, высокая нравственность, обязательство жить личным трудом, уклонение от насилия и сопротивления внешней власти—были обязательными для членов кунвальдского братства. Несмотря на яростные нападения противников, отождествлявших их с Вальденцами, Адамитам и т. п. крайними сектами, братство кунвальденцев росло и ширилось преимущественно в сельском

и низшем классах общества, так что в 1467 г. потребовалась правильная, широкая организация для братчиков Чехии и Моравии: в этом году были выбраны первые три епископа; с этих пор кунвальдское братство стало известно под именем Чешского братства (*jednota bratrská* или *jednota bratří českých*). В таком виде братство просуществовало до 1480 года, когда в него вступил упомянутый уже Лукаш, внесший раскол своими попытками смягчить условия вступления в братство. До 1496 г. ревнители строгости устава имели перевес, но в этом году на собрании в Хлумке (*Chlumeck*) им пришлось уступить большинству; но при этом все-таки часть братчиков под главенством Амоса из Штекна (*Amos ze Stekna*) отделилась и образовала так называемую «меньшую сторону» (*«mensí stranka»*), которая, просуществовав самостоятельно до 1542 г., слилась опять с братством. Большинство же на собрании 1496 г. выработало окончательно организацию, которая заключалась в следующем: во главе братства стоит высший совет (*uzší rada*), состоящий из трех епископов и выборных от общин; община управляется священниками, которым и принадлежит непосредственное наблюдение за исполнением устава членами братства; имущество личное допускается только в том случае, если владелец его пользуется им согласно с основными принципами общины, не употребляя его во зло ближнему.

Община сначала (при Юрии Подебрадском) терпела гонения и преследования со стороны как католиков, так и уtrakвистов; но потом по мере того, как и враги убеждались в высокой нравственности и миролюбивости братчиков, жизнь этих последних становилась покойнее и безопаснее, отчасти благодаря тому, что в их среде числилось не мало шляхты, имевшей влияние и в правительственных сферах. Даже начались в XVI в. попытки достичь общественного признания и равноправия в государстве, но эти попытки, если и не принесли вреда братству, однако были безуспешны; такую судьбу имело представленное ими исповедание веры в 1535 г.; Фердинанд I покровительствовал братчикам, благодаря влиянию знатных панов, числившихся в рядах членов братства, но признать за ними право открытого богослужения не решился. Тогда начались попытки братчиков присоединиться к протестантам Германии, в них искать опоры и признания. Но это имело для них печальные последствия: за свои симпатии к саксонскому курфюрсту во время шмалькальденской войны (1546 г.) они подверглись преследованиям, получили формальное запрещение совершать богослужение и т. д. Последствием этого было выселение братчиков в Польшу и Германию, где зародились новые общины. Особенно пострадали чешские братчики; на Мораве же, которая не принимала такого участия в последней войне, жилось им легче. Со вступлением на престол Максимилиана II и в Чехии положение братства стало настолько лучше, что в 1575 году братья решились опять домогаться признания (т. наз. *Vyznání české léta 1575*), но и на этот раз безуспешно; только политические события 1608 года, когда Рудольф мог сохранить за собою только Чехию, которая осталась ему верна, помогли им: 9 июня 1609 г. он подписал Исповедание 1575 г., которым братчикам и уtrakвистам предоставлено право совершать богослужение наравне с католиками. Но и это разрешение не принесло большой пользы братству: оно, ослабленное численно выселившимися после 1546 г. общинами (они поселились, кроме Польши и Пруссии, в Силезии, Лужицах и Венгрии), терпело и от уtrakвистов, и от католиков, так что с 1620 г. после несчастной битвы на Белой горе принуждены были братчики выселяться вновь. Колонисты двинулись опять в Польшу, где нашли своих предшественников по выселению уже значительно слившимися с поляками. Но это

все-таки дало на время новыя силы братчикам: польская ветвь, особенно около Познани, приняв организацию кальвинистов и лютеран, осталась до наших дней. В самой же Чехии слабые остатки братства окончательно или почти безследно растворились в среде или католиков, или протестантов аугсбургскаго исповедания.

М. Сперанский.

LXXVII. Данте

Любовь Данте

Мы можем проследить род Данте до половины XII века. Один из предков его, Каччягвида, получил рыцарское достоинство от императора Конрада III во время крестового похода в Святую землю (1147). Правнук Каччягвиды, Алагвиери, был женат на Белле, из неизвестной нам семьи: это были родители величайшего поэта Италии, Данте Алигвиери. Он родился во Флоренции в 1265 г. О первых годах детства его мы ничего не знаем. Они не оставили следа и в памяти самого Данте, пробудившегося к сознательной жизни лишь с первым лучом любви, запавшим в его детское сердце. Любовь эта наполняет его жизнь до 25-летнего возраста и пробуждает в нем поэтическое творчество. Мы не знаем имени девушки, заронившей в душу Данте искру любви и поэзии, он сам называет ее символическим именем Beatrice, т. е. дарующей блаженство. Данте было девять лет от роду, когда впервые представилась его взорам восьмилетняя Беатриче. Душа его содрогнулась, как бы чувствуя присутствие будущей своей властительницы, и ему послышался внутренний голос: *Esse deus fortior me, qui dominabitur mihi; apparuit iam beatitudo nostra*. Это была мимолетная встреча, но образ девочки, одетой в платье скромного, красного цвета, опоясанной и украшенной, как подобало ее детскому возрасту, глубоко запечатлелся в памяти девятилетнего Данте. С этого времени он стал искать встречи с нею. Прошло еще девять лет, и он снова увидел ее на улице в сопровождении двух пожилых женщин. Она обратила взоры свои в ту сторону, где он стоял, охваченный трепетом, и скромно приветствовала его. Неизъяснимое блаженство наполнило сердце юноши; словно опьяненный, бежал он из толпы людской в свою уединенную комнату, чтобы там предаться мыслям о возлюбленной. Сладкий сон незаметно овладел им. Во сне внезапно представился ему Амур, державший одною рукой

Пособия: *Gaspary*. Geschichte der Italienischen Literatur. Band. I; *Scartazzini*. Dante-Handbuch; *Hettinger*. Dante's Geistesgang; *Hettinger*. Die Gottliche Komodie des Dante-Alighieri; *Perrens*. Histoire de Florence. T. III; *Berele*. Дант Алигвиери, его жизнь и сочинения. Пер. Весоловского; Всеобщая история литературы, под ред. В. Ф. Корша и А. И. Кирпичникова, том II; *Гаспарри*. История итальянской литературы. Перев. К. Бальмонта. Том I. *Симондс*. Данте, его время, его произведения, его гений. Пер. М. Корш.

спящую Беатриче, в другой—его собственное пылающее сердце. Амур разбудил девушку и дал ей отведать пылавшего сердца. Проснувшись, Данте пишет сонет, в котором рассказывает свое видение. Это было первое поэтическое произведение, вызванное любовью его к Беатриче. Чувство любви разгорается с такою силой в душе Данте под влиянием приветствия Беатриче, что он не в состоянии скрыть его от друзей; но он ревниво охраняет тайну имени своей возлюбленной и обманывает любопытных, представляясь, что любит другую женщину. Злые языки распространяют о нем дурные слухи, и Беатриче, встретившись с ним однажды, отказывает ему в приветствии, в котором заключалось все его блаженство. Эта холодность так огорчает Данте, что он удаляется от людей и в уединении проливает горькие слезы. Новое горе постигает поэта. Он встречается случайно на свадебном пиру с Беатриче и теряет сознание при виде ее; она же безжалостно насмехается над его слабостью вместе с другими женщинами. Чувствуя себя отверженным, Данте переживает тяжелую борьбу. Любовь причиняет ему только страдания, и разум требует, чтобы он подавил в себе страсть к Беатриче. Но у него не хватает сил на это. Мысли путаются в его голове. Он колеблется между надеждой и отчаянием, не знает, что делать. Он хочет высказать все своей возлюбленной и не находит слов. Наконец, Данте решает избегать Беатриче, но ее образ возстает в его памяти, он забывает о пережитых страданиях и спешит взглянуть на нее, надеясь исцелиться от своих мучений. Напрасная надежда! Трепет охватывает его душу, когда он поднимает взор на возлюбленную, и сознание снова покидает его. Лишенный своего единственного блаженства, благосклонного приветия Беатриче, Данте находит утешение в том, что прославляет возлюбленную в стихах. Но и этим призрачным счастьем недолго суждено ему было наслаждаться. Смерть похищает отца Беатриче. Мысль о бренности человеческой жизни глубоко западает в сознание Данте и преследует его в горячечном бреду: ему представляется, что Беатриче умерла, и он видит, как душа ее возносится на небо. Скоро должны были оправдаться мрачные предчувствия Данте. Еще раз луч блаженства озаряет его жизнь: он видит Беатриче. Вслед затем смерть навсегда похищает ее (1290 г.).—Такова простая и трогательная история любви Данте и Беатриче. Она не богата разнообразием фактов, яркими и сильными страстями. Но под этою скромною оболочкой скрывается возвышенное, идеальное чувство. Любовь Данте обращается в восторженно-религиозный аффект. Женщина принимает в его поэзии образ ангела, она ведет человека к добродетели, к познанию Бога и к вечному спасению. Беатриче представляется Данте небесным созданием. Она не создана для земного мира, и небеса тоскуют по ней. Ангелы и святые молят Творца, чтобы он взял ее на небо, и сам вечный Владыка горит желанием призвать ее к себе. Всеми христианскими добродетелями обладает Беатриче. Она является противницей порока, царицей добродетели, владычицей блаженства. Любовь, пробуждаемая ее взглядом, улыбкой, приветствием, облагораживает человека и ведет его к познанию Бога и к вечному спасению. Когда Беатриче проходит по улице, ее взор поражает холодом и страхом сердца порочных людей. Ее приветствие заставляет трепетать сердце и немать язык. Всякий при виде ее опускает лицо и бледнеет, не решается поднять глаза и вздыхает о своих грехах. Гнев и гордость бегут от нея, смирение нисходит на каждого при ее приближении. «Когда являлась предо мною Беатриче,—пишет Данте,—у меня, в надежде на ее приветствие, не оставалось ни одного врага; меня охватывало пламя христианской любви, которая заставляла меня прощать каждому, кто меня обидел, и если бы в ту минуту кто-нибудь обратился ко мне с вопросом, то мой ответ заключался бы лишь в слове «любовь», произнесенном с

смирненным видом». Такой любви, какой была любовь Данте к Беатриче, чужда всякая мысль об ответном чувстве, всякая мысль об обладании возлюбленной. Любовь Данте—высшенно идеальное, неуловимо-тонкое чувство, разрешающееся вздохом, идущим от глубины души. Беатриче для него святыня. Его стремления ограничиваются желанием видеть ее, слышать ее голос. Ея приветствие наполняет его душу невыразимым блаженством, которого он почти не в силах вынести. Земное, смертное существо становится для Данте символом сверхчувственного вечного мира, красота Беатриче представляется ему отражением добродетели, на ней покоится отблеск милосердия Божия, любовь к ней порождает любовь к Богу, она сама является ее символом.

Любовь к Беатриче составляет содержание душевной жизни Данте до 25-летнего возраста. Ею определяется первый период его внутреннего развития и поэтического творчества, выразившегося в любовной лирике. Эта эпоха отразилась в юношеском произведении Данте *Vita Nuova* («Новая Жизнь»). По смерти Беатриче Данте собрал лучшее из своих сонетов и канцон и связал их прозаическим повествованием о своей любви. Кроме того, каждое стихотворение сопровождается толкованием, состоящим в логическом расчленении его с целью выяснения хода мысли. Таким образом возникла «Новая Жизнь», написанная, вероятно, в 1292 или 1293 году.

Занятия философией

Смерть Беатриче знаменует поворотный пункт в жизни Данте. Юноша, всецело отдававшийся доселе любви, ясным детским взором смотревший на мир, в котором он, в силу непосредственного чувства, видел отражение величия и милосердия Божия, перерождается в зрелого мужа и посвящает себя упорному научному труду, стараясь проникнуть в тайны бытия. Смерть возлюбленной была тяжелым ударом для Данте. Целый год провел он, неутошенно скорбя по ней. В день годовщины ее смерти он сидит в уединении и рисует на табличках ангела, вспоминает о том, что Беатриче теперь на небе. Но молодость на время одерживает верх над скорбью юноши. Однажды, погруженный в воспоминания о прошлом, он поднимает случайно свой взор и замечает, что какая-то прекрасная женщина смотрит на него из окна с невыразимым состраданием. Сочувствие ее трогает Данте. Истерзанный горем, он ищет утешения в созерцании сострадательной незнакомки, *donna pietosa*, как он ее называет. Незаметно любовь овладевает душой Данте. Луч надежды озаряет его мрачную жизнь. Может быть, говорит ему голос сердца, найдешь ты успокоение в любви этой женщины. Но воспоминание о Беатриче рассеивает мечты о новом счастье, Данте упрекает себя в измене памяти усопшей. Во сне является ему Беатриче, так, как он ее видел в первый раз, облеченная в одежду красного цвета. Видение это заставляет Данте подавить в себе любовь к *donna pietosa*, и он снова предается скорби по умершей возлюбленной. Еще при жизни Беатриче все его счастье заключалось в том, чтобы прославлять ее в стихах: и теперь, после ее смерти, это должно составлять его единственное утешение. Но Данте не считает себя достаточно подготовленным к тому, чтобы достойно восхвалять Беатриче. «Однажды,—пишет он,—явилось мне чудесное видение, которое заставило меня решиться не говорить более о благословенной до тех пор, пока я не буду в состоянии поведать о ней более достойным образом. И чтобы достигнуть этого, я работаю, сколько могу, как она, во истину, знает». Любовь к умершей Беатриче была таким образом стимулом, заставившим Данте обратиться к научным занятиям. Они должны были дать ему тот запас знаний, кото-

рый он считал необходимым для достойного прославления Беатриче. С другой стороны, Данте искал в умственном труде забвения своих страданий. Он принялся за чтение книги Боэция *De consolazione philosophiae* и трактата Цицерона *De amicitia*, в котором автор обращается с словами утешения к Лелию, потерявшему своего друга Сципиона. Сначала не-легко было Данте проникнуть в смысл этих сочинений, но он преодолел все трудности и на-шел в своих занятиях больше, чем искал. «Подобно тому, как,—говорит Данте,—человек, искавший серебра, находит иногда случайно золото, так и я нашел в научных занятиях не только средство от своих слез, но и названия авторов, наук и книг, изучение которых при-вело меня к убеждению, что философия, составляющая душу этих наук, книг и авторов,—великая вещь. И я начал ходить туда, где она являлась в своем истинном виде, в монастыр-ские школы и на диспуты философов, и в короткое время, приблизительно в 30 месяцев, так проникся ее сладостью, что любовь к ней прогнала и уничтожила всякую другую мысль».

Философия, представшая Данте в своем «истинном виде» в монастырских школах, но-сит название схоластики. Она стоит в тесной связи с богословием. Философия, по выраже-нию Дамиана,—*ancilla theologiae*. Средние века не знали свободы мысли. Человеческому разуму была поставлена в Божественном Откровении грань, которую он не смел пересту-пить. Истины религии, как оне изложены в Священном Писании, являлись в средние века главным предметом спекуляции и представляли то неопровержимое и не подлежащее со-мнению основание, на котором покоилось здание богословской науки. Истины эти недо-ступны простому разсудку, оне могут быть постигнуты только при помощи благодати, исхо-дящей от Бога, только вера может дать человеку понимание вечных тайн Божества. Прав-да, богословы прибегают к философии, но она является лишь в качестве вспомогательной науки. Самостоятельная научная конструкция системы религиозных верований на основа-нии постулатов и выводов чистого разума признается не только невозможною, но и нару-шающею святость религии. Философия может разрешать лишь те вопросы, которые не вы-ходят из сферы, доступной человеческому разуму, и представляют как бы преддверие к бо-гословию (*praeambula fidei*); она должна раскрыть аналогию между догматами веры и вы-водами разума; наконец, она является в руках богослова необходимым орудием для опро-вержения доводов, приводимых противниками религии. Как скоро философия исходит из принципов, несогласных с смыслом Св. Писания, или принимает только те догматы, кото-рые не противоречат человеческому разуму, она признается лжеучением. Философская, спекуляция должна неизменно покоиться на незыблемом основании религиозной истины: человеческий разсудок слишком слаб для того, чтобы самостоятельно, без помощи веры, постигнуть великия тайны мироздания. Высшая цель земной мудрости, философии, заклю-чается в том, чтобы указать путь к мудрости небесной, божественной, служить опорой бого-словию. которое представляет единственно-истинную науку. Исходя из подобного взгляда на отношение философа к богословию, средневековые схоластики ставили на первом месте авторитет церкви. Из учений древних философов они извлекали только те положения, ко-торые не противоречили истинам христианской религии, все остальное или отвергалось, или перерабатывалось с христианской точки зрения. Платоновская философия с ее высо-ким идеализмом преимущественно соответствовала направлению средневековой мысли; но решительное влияние на развитие схоластики оказало знакомство с Аристотелем при по-

средстве латинских переводов и арабских комментаторов. В произведениях Аристотеля средневековые философы-схоласты нашли богатую сокровищницу знаний классической древности, его сочинения дали им образец той мощной диалектики, которая должна была явиться в их руках орудием, направленным на защиту догматов христианской религии; научный метод великого греческого философа указал им путь к приведению в стройную и последовательную систему того богословского материала, который заключал в себе творения отцов церкви и первых схоластов, начиная с Ансельма Кентерберийского. Эта работа систематизации была завершена в половине XIII века свв. Фомой Аквинским и Бонавентурой. В их лице схоластик достигла высшей степени своего развития.

Таковою была, в общих чертах, средневековая философия. Данте, как мы уже выше заметили, находился под ее влиянием. В его представлении не существует разлада между философией и богословием. Философия имеет своим источником Бога, в котором заключается высшая премудрость, она является «прекраснейшею и достойнейшею уважения дочерью Владыки вселенной и ведет человека к познанию Всевышнего». Объясняя многое, что кажется непостижимым недисциплинированному разуму, философия заставляет нас прийти к тому выводу, что всякое чудо имеет своим основанием высший разум и, следовательно, может существовать. Из этого убеждения берет начало наша вера, порождающая в свою очередь надежду на будущую жизнь и христианскую любовь. При помощи этих трех добродетелей человек возвышается до «философии небесных Афин (богословия), в которой стоики и перипатетики и эпикурейцы сходятся в одном согласном стремлении (к познанию Бога), озаренные светом вечной истины». Приняв взгляд схоластов на значение философии и на отношение ее к богословию, Данте всецело усвоил себе и их доктрины. Мы напрасно стали бы искать оригинальности в его философии. Он излагает лишь теорию Фомы Аквинского и Бонавентуры, видоизменяя их в незначительной степени. Аристотель, великий авторитет схоластической философии, является и для Данте главным источником светской науки. Он называет его славным (*glorioso*) философом, перед которым природа преимущественно раскрыла свои тайны, наставником человеческого разума, *maestro di color che sanno*.

Философская поэзия Данте

Философия представляла для Данте не исключительно теоретически интерес. Он отдался ей изучению всею своею пылкою и поэтическою душой. Его занятия философией принимают характер душевного аффекта. Научное стремление и любовь отождествляются в его представлении, философия для него не простая спекуляция, а «любовное общение с мудростью». Она явилась ему не мертвою наукой, но утешительницей в том горе, которым его поразила смерть Беатриче. Этот элемент личного чувства, внесенный Данте в научные занятия, является источником вдохновения во второй период его поэтического творчества. Философия принимает в фантазии Данте образ женщины, обращается в возлюбленную, которая приносит ему утешение по смерти Беатриче. Этот поэтический образ сливается с реальною личностью *donna pietosa*, которая озарила на время лучем новой надежды и любви жизнь Данте после того, как была похищена у него первая радость его души, Беатриче. Комбинация чувства земной любви и отвлеченной любви к философии, принявшей в фантазии поэта форму общечеловеческого аффекта, порождает философскую лирику Данте. В ней отразились два фазиса душевной жизни поэта по смерти Беатриче: его отношения к

donna pietosa и история его занятий философией. Соединив в одном образе «сострадательную даму» и олицетворенную философию, Данте изображает в двух канцонах, как любовь к умершей Беатриче сменяется новою любовью, рисует борьбу, происходящую в его душе; между чувством верности по отношению к усопшей и вновь охватившей его страстью. Последняя одерживает победу, и борьба разрешается восторженными гимном, восхваляющим новую возлюбленную, которая представляет аллегорическое соединение «сострадательной дамы» и философии. Современного читателя, воспитанного исключительно на поэзии нового времени, поразит на первый взгляд искусственность философских канцон Данте. Ему представится несообразным соединение в одном поэтическом образе реальной женщины и олицетворенной философии. Средние века иначе смотрели на поэзию, и в данном отношении Данте, как и всюду, является сыном своего времени. Поэтические творения представляют, по его теории, двоякий смысл: буквальный и аллегорический. Под буквальными Данте понимает смысл, заключающийся в фабуле самой по себе, под аллегорическим — тот, «который скрыт под покровом фабулы и представляет истину, облеченную в форму прекрасного вымысла». Тот и другой смысл, соединенные в одном поэтическом произведении, не исключают друг друга. Данте поясняет это на примере библейского стиха: с исходом Израиля из Египта Иудея стала святою и свободною. «Хотя, — говорит он, — этот факт, понимаемый в буквальном смысле, представляет историческую истину, тем не менее справедливо и то, что аллегорически понимается под ним: именно, что душа, освободившись от греха, становится святою и свободною». Подобно тому, и в канцонах Данте «сострадательная дама» и олицетворенная философия имеют, каждая, самостоятельное значение и не исключают друг друга, несмотря на то, что оне соединены в одном аллегорическом образе. Помимо двух упомянутых стихотворений, представляющих автобиографический интерес, Данте написал еще 12 канцон философского содержания, в которых он касается вопросов справедливости, благородства, скупости, щедрости и т. п. Одне из этих канцон облечены, как и первые две, посвященные прославлению философии, в аллегорическую форму, другие, именно канцоны нравоучительные, какова, например, канцона о благородстве, написаны в форме сухих схоластических рассуждений.

Пир

Философская лирика Данте обращалась не столько к чувству, сколько к уму читателя. Вместе с тем аллегорические канцоны должны были остаться непонятными человеку, не посвященному в замыслы автора. Это побудило Данте составить к своим канцонам ученый комментарий. Но ему удалось исполнить лишь отчасти свой первоначальный план: из 14 философских стихотворений он комментировал только три. Комментарий, носящий название *Convivio* (Пир), должен был прежде всего раскрыть смысл философско-аллегорических канцон, которые на первый взгляд могли представиться читателю не более, как произведениями любовной лирики в роде сонетов *Vita Nuova*. Но наряду с этим Данте преследовал другую, более возвышенную цель. Он был проникнут убеждением, что человек, обладающий знанием, обязан сообщать его другим. Руководствуясь этим принципом, Данте изложил в *Convivio* те научные и философские сведения, которые он приобрел в течение долгих лет, начиная с того времени, когда он впервые стал посещать по смерти Беатриче монастырские школы и диспуты философов. Таким образом комментарий к философским канцонам разросся под пером Данте в обширную научную энциклопедию. Вопросы бого-

словеские, метафизические, политические, нравственные, естественно-исторические подвергаются здесь всестороннему обсуждению. Всецело владея аппаратом схоластической учености, Данте трактует о Боге, о Христе, о дарах св. Духа, об ангелах, о созерцательной жизни и о вечном блаженстве; он излагает мнения философов древности и средних веков о душе, о разуме, о назначении человека и о земном счастье; перед нами развивается теория императорской власти, которая впоследствии облечется в законченную систему в трактате *De Monarchia*; нравственные вопросы об истинном благородстве, скупости и т. п. чередуются с рассуждениями о природе и с изысканиями в области астрономии и физики. Вся эта масса научного материала не приведена в систематическую связь. Данте произвольно переходит от одного вопроса к другому, руководствуясь лишь последовательностью стихов и отдельных слов комментируемых канцон. Стоило бы только привести в систему разрозненный материал, заключающийся в *Convivio*, и мы имели бы в нем энциклопедию средневекового знания, подобную тем, которыми был так богат XIII век. Но *Convivio* Данте существенным образом отличается от аналогичных произведений его предшественников в этой области. Энциклопедии Викения Бовэскаго и других были написаны на латинском языке и являлись доступными лишь немногим ученым. Данте пишет *Convivio* на итальянском языке и выводит таким образом средневековую науку и философию из тесной монастырской ограды и стен университетов, делая их достоянием широкого круга читателей. «Я пишу,—говорит Данте,—не для ученых, а для тех, которые обладают благородством души, для князей, баронов, рыцарей и многих других благородных людей и притом не только для мужчин, но и для женщин». Данте ясно сознавал великое культурное значение популяризации науки и ту важную роль, которую в ней играет народный язык. Он заключает первый трактат *Convivio* следующими пророческими словами: «Мой комментарий (написанный на итальянском языке) будет тем ячменным хлебом, которым насытятся тысячи людей, а у меня все-таки останутся полные корзины. Он будет новым светом, новым солнцем, которое взойдет, когда закатится старое, и принесет свет тем, которые погружены в мрак вследствие того, что им не светит старое солнце».

Политическая жизнь Флоренции

Данте было более сорока лет от роду, когда он прервал свою работу над *Convivio* (прибл. в 1308 г.). За ним лежала жизнь, полная тревог и разнообразных событий. Поглощенный литературными и научными занятиями, он не оставался чуждым миру действительности и принимал деятельное участие в политической жизни своего родного города. В ранней молодости он участвовал в походах, предпринятых флорентинцами против города Ареццо, стоявшего на стороне гибеллинской партии. В битве при Кампалдино (1289 г.), в которой ареццы потерпели решительное поражение, Данте сражался на коне в первых рядах флорентинского войска. В том же году он совершил поход против пизанской крепости Капроны и был очевидцем ее сдачи. Послужив в юности отечеству на поле битвы, Данте, с достижением законного возраста, выступает на поприще политической деятельности. В 1296 г. он впервые принимает участие в управлении городом в качестве члена Совета Ста. Четыре года спустя он заседает в коллегии 6 приоров, высшем правительственном учреждении Флоренции. Приорат Данте, продолжавшейся от 15 декабря 1300 г. до 15 февраля 1301 г., совпадает с одною из самых бурных эпох в истории Флоренции. Италия в конце XIII и в начале XIV века представляла зрелище непрерывной и ожесточенной борьбы политических

партий, в развитии которой можно проследить несколько фазисов. В XII веке великая борьба между германскими императорами и папами разделила Италию на два враждебных лагеря: гибеллинов и гвельфов. С возникновением и развитием городских общин (коммун) руководящие принципы этих партий попрежнему определяют политические комбинации на Аппенинском полуострове, но вместе с тем в недрах городов нарождается новое могучее течение, знаменующее в муниципальном развитии решительный поворот от средних веков к новому времени. На ряду с феодальным рыцарством, переселившимся в города из своих укрепленных замков, становятся промышленные городские классы, которые стремятся вырвать власть из рук аристократии. Возникающая на этой почве политическая и социально-экономическая борьба ведет к образованию в средней Италии демократических республик. Перед новым историческим движением старые партии гибеллинов и гвельфов отступают на задний план; но, в силу традиции, к их именам приурочиваются стремления аристократии и буржуазии. Таковы были главные элементы брожения, охватившего итальянские коммун. Если присоединить сюда борьбу династических, фамильных и личных интересов, то мы будем иметь полную картину того политического хаоса, в который были погружены города Италии в эпоху Данте. Флоренция пережила все фазисы борьбы, раздиравшей Италию в продолжение нескольких веков и обратившей ее «из владычицы провинций» в «жалкую рабу». В 1267 году народная гвельфская партия одержала решительную победу над гибеллинской аристократией. Сплотившаяся буржуазия рядом последовательных мер дала прочную организацию демократическому строю города. Правление было основано на представительстве городских цехов в лице 6 приоров, избиравшихся на два месяца и составлявших высшую законодательную и правительственную коллегия, которая носила название синьории. На ряду с синьорией стояли многочисленные народные собрания, через которые должны были проходить предложения приоров для того, чтобы получить законодательную силу. Демократический строй Флоренции получил завершение в реформе Джигано делла Белла, в так называемых *Ordinamenti della giustizia* (1294 г.), в силу которых представители аристократии лишились права занимать правительственные должности. Несмотря, однако, на все эти постановления, гибеллинская аристократия не была сломлена. Она продолжала бороться за свое существование. С другой стороны, в гвельфской народной партии произошел раскол. Исходным пунктом послужили частные раздоры двух могущественных флорентийских фамилий, Донати и Черки. Но вскоре семейная вражда разрослась в политическую борьбу, которая приобрела новую силу, когда в 1300 г. Флоренция была вовлечена в раздоры города Пистойи, где боролись между собою две ветви фамилии Канчеллиери, принявшие имена «белых» и «черных». Борьба этих партий перешла во Флоренцию. Донати примкнули к черным, Черки к белым, и весь город распался на два враждебных лагеря. Неминуемо угрожала Флоренции междоусобная война. В виду этой опасности синьория решилась обратиться с просьбой о посредничестве к папе Бонифацию VIII. Бонифаций давно уже обращал свои алчные взоры на Тоскану и Флоренцию и поспешил поэтому воспользоваться представившимся ему случаем вмешаться в флорентинские дела. В июне 1300 года он отправил во Флоренцию в качестве посредника кардинала Маттео д'Акваспарта. Миссия его, однако, не имела успеха. Синьория белых, державших в то время власть в своих руках, отказалась, из боязни захватов со стороны папы, предоставить Акваспарте полномочия, которых он требовал, и кардинал принужден был удалиться из города, ничего не сделав для его умиротворения. Долго сдерживаемые политические страсти разразились, наконец,

уличным столкновением белых и черных, в декабре 1300 г. Черные, потерпев поражение и боясь решительного превозобладания партии белых, собрались на тайное совещание в церкви св. Троицы и отправили послов к Бонифацию с просьбой прислать им на помощь брата Филиппа Прекрасного, Карла Валуа, с которым папа уже несколько времени находился в дипломатических сношениях. Это решение противной партии не осталось тайной для белых, и синьория, в числе членов которой находился в то время Данте, постановила пресечь решительными мерами сношения черных с папой и предупредить вмешательство французского принца в дела города. Глава черных Корсо Донати был осужден на смерть, остальные выдающиеся представители партии были изгнаны из города. Но все меры предосторожности оказались напрасными. Черным удалось снестись с Бонифацием, и 1 ноября 1301 г. Карл Валуа вошел с торжеством во Флоренцию, в качестве уполномоченного папой «умиротворителя».

Несколько дней спустя Карл потребовал, чтобы ему была предоставлена власть над городом и охрана его. Общее собрание всех органов правления, созванное в церкви Santa Maria Novella, согласилось на требование французского принца, положившись на его обещание соблюдать мир. Но Карл не замедлил нарушить свое слово. Он вооружил своих людей, и в тот же день осужденный на смерть Корсо Донати вторгся во Флоренцию с толпой приверженцев. Город и окрестности были преданы разграблению, синьория белых свержена и все правительственные должности замещены черными. Партия белых понесла, таким образом, решительное поражение, и представители ее подверглись беспощадному преследованию. В течение 1302 г. около 600 человек было осуждено отчасти на смерть, отчасти на изгнание. В числе осужденных находился и Данте. Черные, действовавшие в союзе с Бонифацием, не могли простить ему его антипапской политики. Было выставлено на вид сопротивление Данте призыванию Карла Валуа в декабре 1300 г. и изгнание черных; припомнили, что он несколько раз в течение своей политической деятельности высказывался против дарования денежных субсидий неаполитанскому королю Карлу Анжуйскому, припомнили, что он 19 июня 1301 года в Совете Ста подал голос против предложения предоставить Бонифацию вспомогательный отряд в 100 человек.

Изгнание Данте

Соппротивление папе, Карлу Анжуйскому и нарушение мира города были главными пунктами обвинительного акта 27 января 1302 года, которым Данте осуждался на изгнание. Изгнанные из Флоренции, белые вступили в союз с тосканскими гибеллинами. К ним примкнул и Данте. Союзники несколько раз пытались с помощью вооруженной силы возвратиться в родной город и вернуть потерянную власть. Но все попытки окончились неудачей. Еще за несколько времени до решительного поражения белых и гибеллинов, в июле 1304 года, Данте, вследствие возникших разногласий, разстался с своими товарищами по изгнанию и «образовал партию—сам для себя». Для него настала тяжелая жизнь непрерывных скитаний, полная бедствий и унижений. Ему пришлось испытать, «как горек чужой хлеб и как тяжело всходить по лестницам чужих домов». «С тех пор как,—пишет Данте,—угодно было гражданам прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, Флоренции, изгнать меня из своего лона, в коем я родился и жил до зрелых лет и в коем я желаю от всего сердца отдохнуть усталою душой и окончить дни, которые мне дано прожить, с тех пор я, скитаясь и почти нищенствуя, обошел почти все страны, где звучит итальянский язык. Воистину

я был челном без паруса и руля, который ветер заносил в различные гавани и бухты и прибывал к различным берегам».

Отделившись от белых в конце 1302 или в начале 1303 года, Данте направляется в Верону. Здесь он нашел «первое убежище и приют» у «великого ломбардца» Бартоломео делла Скала, до смерти которого он оставался в Вероне (1304 г.). Затем мы находим его в университетских городах Болонье (1304—1306) и Падуе (лето 1306 г.) и в области Луниджianne, при дворе маркиза Маласпины (осень 1306 г.). Судьба занесла Данте в его скитаниях и за пределы, «до которых простирается итальянский язык». Между 1307 и 1310 годами он находился в Париже. Здесь застала его весть о походе, предпринятом в Италию новым германским императором Генрихом VII Люксембургским. Снова пробудилась в Данте утраченная после поражения белых и гибеллинов надежда на возвращение из изгнания во Флоренцию. Личные расчеты соединились с восторженным поклонением императору, как представителю великой политической идеи.

Мы уже имели случай указать на антипапский образ мыслей Данте, выразившийся в его политической деятельности. По семейным традициям и первоначальным своим убеждениям Данте принадлежал к гвельфской партии, но с течением времени, под влиянием занятий историей и наблюдений над современным ему положением дел в Италии, он изменил свои политические воззрения. Об этом свидетельствуют его действия в 1300 и 1301 году. Не порывая с гвельфскою партией белых, Данте начинает склоняться на сторону гибеллинов. Он открыто присоединяется к ним после своего изгнания из Флоренции, и в *Convivio*, законченном незадолго до похода Генриха VII, мы находим уже теоретическую формулировку воззрений Данте на императорскую власть. Универсальная монархия, как ее понимали средние века, представляется Данте единственным исходом из того хаоса внутренних смут и раздоров, в который была погружена Италия. Римский император—помазанник и избранник Бога, призванный водворить мир, необходимый для благоденствия человечества. Исходя из этих воззрений, Данте смотрел на Генриха, как на избавителя Италии. Он спешит из Парижа, чтобы лично приветствовать императора и прильнуть устами к его ногам. «Душа моя возликовала,—пишет он,—и я сказал самому себе: *Ecce Agnus Dei, ecco qui abstulit peccata mundi*». Полный надежд и восторга, Данте обращается с посланием ко всем царям, вождям и народами Италии, возвещая им, что занялась заря мира. Восходит солнце, лучи которого воскресят справедливость. Господь послал нового Моисея, который спасет народ свой из плена Египетского и поведет его в страну, где течет млеко и мед. Пусть все покорятся императору, ибо противящийся его власти противится Богу. Воззвание Данте осталось гласом вопиющего в пустыне, политические идеалы его разбились об историческую действительность. Итальянские города были далеки от того, чтобы прекратить свои раздоры и покорно сложить оружие при появлении императора. В Ломбардии Генрих на первых же шагах встретил жестокое сопротивление. Флоренция готовилась дать решительный отпор; отсюда исходила, главным образом, агитация против Генриха. Возмущенный положением, которое заняли его сограждане, Данте обратился с грозным посланием к «преступным флорентинцам» (31 марта 1311 г.). В нем он снова указывает на божественное происхождение власти римского императора, на его призвание установить мир и истинную свободу и предрекает флорентинцам, что им не помогут их стены, когда налетит царственный орел. Поздно тогда будет раскаиваться, и вместо прощения они получат достой-

ное возмездие. Между тем Генрих медлил в Ломбардии, стараясь сломить сопротивление непокорных городов. Данте видел в этом крупную ошибку. Он был убежден, что все усилия императора останутся тщетными, пока он не смирит Флоренцию. Одушевленный рвением к священному делу империи, Данте решился раскрыть Генриху глаза. В письме, обращенном к нему (18 апреля 1311 г.), он напоминает Генриху о его высоком призвании и упрекает в медлительности. «Ты делаешь крупную ошибку,—пишет Данте,—теряя время в северной Италии. Напрасный труд обрубать головы гидры. Возстание, усмиренное в Кремоне, вспыхнет снова в других городах. Необходимо уничтожить зло в корне. Неужели ты не видишь с своей высоты, где спряталась вонючая лиса, в безопасности от охотников? Не из стремительного Падуса пьет она, преступная, не из твоего Тибра, но волны реки Сарна оскверняет до сих пор ее морда, и Флоренцией называется (неужели ты этого не знаешь?) сия ужасная язва. Порази новаго Голиафа, и страх объемлет тогда лагерь филистимлян (враждебные Генриху города Италии), обратятся в бегство филистимляне, освобожден будет Израиль (Италия), и желанный мир возвратится». Целый год прошел, пока, наконец, не суждено было исполниться желаниям Данте. Приняв императорскую корону в Риме (июнь 1312 г.), Генрих осадил Флоренцию. Но он потерпел полную неудачу и должен был удалиться в Пизу. Во время приготовлений к походу против Роберта Неаполитанского смерть похитила императора в Буонконvento, 24 августа 1314 года. Со смертью Генриха рушились все личные надежды Данте. Он не мог более и думать о возвращении в родной город. Его письма возбудили негодование сограждан, и постановлением синьории 2 сентября 1311 г. был возобновлен приговор, осуждавший его на изгнание. Но жизненные неудачи не сломили политических убеждений Данте. Несмотря на все поражения, понесенные Генрихом, он не отрекся от идеала универсальной монархии. Всецело поглощенный своею политической теорией, Данте не понимал исторической действительности. В течение XIII века произошло обособление национальностей, и идея вселенской монархии должна была пасть сама собою. Политические идеалы средних веков отошли уже в вечность, но Данте верил в их абсолютную истину и надеялся, что священная римская империя воскреснет рано или поздно во всем своем блеске. С появлением Генриха в Италии все его надежды сосредоточились на нем, и когда император погиб безвременною смертью, не достигнув своей цели, Данте утешал себя тою мыслью, что не настало еще время политического искупления человечества, что Генрих пришел слишком рано.

Трактат о монархии

Мы видели, как Данте во время похода Генриха старался своими посланиями повлиять на ход событий. Вместе с тем в этих политических письмах он высказывал свои воззрения на монархию; но они являлись здесь разбросанными, и Данте счел нужным привести их в строгую научную систему, в назидание человечеству. Таким образом возник трактат *De Monarchia*, представляющий теоретическую конструкцию того политического строя, который Данте считал единственно закономерным и соответствующим Божественной воле. Три положения лежат в основании политической теории Данте: монархия необходима для благоденствия человечества, римский народ по праву является носителем монархического принципа, авторитет монархии исходит непосредственно от Бога, а не от папы. Только в монархии могут найти осуществление мир, свобода и справедливость, составляющие основание человеческого благоденствия. Но универсальная власть императора не исключает

самостоятельности отдельных народов и государств. Данте признает национальные различия. Дела какой-нибудь маленькой общины не могут быть решаемы непосредственно императором. Его власть должна проявляться лишь в установлении общего, верховного закона, объединяющего человечество. «Если бросить взгляд,—заключает Данте,—на положение людей со времени грехопадения прародителей наших, то мы найдем, что мир пользовался спокойствием и счастьем только при Августе, когда существовала совершенная монархия. Носителем ее, по праву, является римский народ. Это избранный народ Божий. Целым рядом чудес Всевышний содействовал росту римского государства, предотвращая грозившие ему опасности. Войны, которые римляне вели за обладание миром, представляют суд Божий (*duellum*), победы, одержанные ими над врагами, являются выражением Божественной воли. Наконец, Христос подтвердил правомерность мирового владычества Рима. Он родился в тот год, когда Август постановил переписать весь род человеческий, и этим санкционировал власть римского императора над вселенною». Далее Данте переходит к коренному вопросу своей политической теории, к вопросу об отношении светской и духовной власти. Он выставляет принцип независимости монархии от римской курии. В своей борьбе с германскими императорами за первенство власти римские первосвященники приводили библейские и евангельские изречения и факты истории в подтверждение правомерности папского супремата. Еще в XI веке Григорий VII, в своих письмах, ссылаясь на повествование книги Бытия о сотворении Богом солнца и луны. Небесные светила представляют, по его толкованию, духовную и светскую власть, и, подобно луне, заимствующей свет от солнца, императорская власть получает свой авторитет от папской. Данте опровергает этот аргумент, указывая на то, что луна имеет собственный блеск: солнце дает ей лишь избыток своего сияния. Так и власть императора получает от папы не свою силу, а только папское благословение. В подтверждение своего права на светскую власть папы указывали на так называемый дар Константина. Данте, подобно своим современникам, не сомневается в истине этого факта, но доказывает, что император не имел права отказаться в пользу папы от части своих владений, так как он нарушил таким образом целостность империи, которую призван был блюсти. С другой стороны, и папа не должен был принять предлагаемый ему дар, ибо Христос запрещает церкви владеть земными сокровищами. Опровергнув все аргументы противников, Данте приводит положительные доказательства в пользу независимости императорской власти от папской. Римская империя, говорит он, существовала, как закономерный политический строй, подтвержденный Христом, до основания церкви. Светская власть церкви противоречит ее сущности. Назначение церкви—подражание жизни Христа, Христос же перед лицом Пилата отклонил от себя земную власть словами: Царствие Мое не от мира сего. На основании всех вышеприведенных рассуждений Данте считает доказанным, что авторитет монархии не зависит от папы. Из этого следует, что императорская власть имеет своим источником Бога. Император так же, как и папа, является самостоятельным фактором в мировом строе, необходимым для осуществления предопределений Бога. Человеку, соответственно двойственности его природы, поставлена двоякая цель: земное и вечное блаженство. Первое заключается в добродетельной жизни, второе—в созерцании Божества. Страсти (*cupiditas*) заставили бы человека забыть поставленные ему цели, если бы его не удерживало на истинном пути руководство папы и императора. Первый ведет род человеческий, согласно Откровению, к вечной жизни; второй, согласно философским доктринам,—к земному блаженству. Он заботится об установлении мира,

необходима для достижения этой цели. Но так как земля создана по образу неба, то император для того, чтобы он был в состоянии исполнить возложенную на него задачу, должен быть назначаем создателем неба, Богом, который и направляет его действия. Установив независимость императорской власти от папской, Данте, однако, оговаривается, что это положение не должно понимать в том смысле, что римский император ни в каком отношении не стоит ниже римского первосвященника. Небесное блаженство превосходит земное, и поэтому Кесарь должен относиться к Петру с почительностью сына.

Идея Божественной Комедии

Трактат *De Monarchia* был написан в последние годы жизни Данте, когда он работал над третьей частью Божественной Комедии. Основная идея этой поэмы еще в молодости зародилась в Данте. Читатель помнит повествование «Новой Жизни» о том чудесном видении, которое заставило Данте решиться ничего более не говорить о своей умершей возлюбленной до тех пор, пока он не будет в состоянии прославить ее более достойным образом. Данте исполнил данный им обет: Божественная Комедия представляет апофеоз Беатриче. Мы видели, как в канцонах *Convivio* философия приняла образ «сострадательной дамы», принесшей поэту утешение по смерти первой возлюбленной: подобно тому, и Беатриче обращается в символ Божественной благодати и богословия. Этот символический образ составляет, так сказать, душу Божественной Комедии, представляющей конечный результат духовного развития Данте и плод научного труда всей его жизни. Философию, изучению которой он предался по смерти Беатриче, сменило богословие. Оно составляло краеугольный камень науки того времени, его духом было проникнуто все средневековое мирозерцание. Изучением богословия завершился таким образом круг духовного развития Данте. Он воспринял все культурные элементы своей эпохи. Божественная Комедия явилась ее совершеннейшим отражением.

Данте сам дал нам ключ к пониманию своей поэмы в письме, в котором он посвящает третью часть Божественной Комедии правителю Вероны, Кан Гранде делла Скала. Согласно этому письму, в основании поэмы лежит религиозно-нравственная идея о возмездии, которое получит человек по смерти сообразно своим добрым или дурным делам. Данте хочет показать людям, каким образом они могут выйти из состояния греховности и достигнуть вечного блаженства. С этой целью он изображает в своей поэме внутренний процесс нравственного очищения и перерождения человека, в форме аллегорического странствия своего по загробному миру, в сопровождении Вергилия и Беатриче.

Содержание Божественной Комедии

Божественная Комедия начинается рассказом о том, как Данте на полпути человеческой жизни, при переходе из юношеских лет в зрелый возраст, заблудился в темном лесу. Он не может припомнить, каким образом он туда попал, так как сон овладел им в ту минуту, когда он сбился с истинного пути. При выходе из лесистой долины взорам его представляется холм, освещенный лучами солнца, и страх, охвативший его душу, несколько ослабевает. Данте начинает подниматься в гору, как вдруг три диких зверя преграждают ему дорогу. Выбегает легкая и проворная пантера. Данте несколько раз хочет повернуть назад, но раннее утро и весенняя погода ободряют его, и он продолжает свой путь. Новый ужас наводят на него лев и волчица. Он теряет надежду взойти на холм и возвращается в лес. Оттуда

выходит ему навстречу Virgiliy. Данте обращается к нему с просьбой защитить его от волчицы. Virgiliy отвечает, что он должен изменить свой путь, если хочет выйти из лесу. Волчица никого не пропускает живым. Она совокупляется со многими зверями, и велики бедствия, ею причиняемые. Она будет производить опустошения до тех пор, пока не придет борзой пес, который прогонит ее в ад, откуда выслал ее первый завистник. Чтобы достигнуть спасения, Данте должен последовать за ним. «Я поведу тебя, говорит Virgiliy, по вечной обители (ад), где ты услышишь крики отчаяния, увидишь муки, претерпеваемые душами грешников, из которых каждый с воплем прокликает их. Ты увидишь затем тех, которые довольны в огне (чистилища), так как они надеются, когда бы то ни было, вознестись к блаженным (в рай). Если ты пожелаешь подняться к ним, то явится душа более достойная, чем я (Беатриче), чтобы помочь тебе в этом. С нею я тебя оставлю и удалюсь. Ибо Владыка, который правит на небе, не хочет, чтобы с моею помощью люди приходили в Его царствие, так как я не подчинялся Его закону». Данте следует за Virgiliem и совершает с ним странствие по загробному миру. Они спускаются в ад, до центра земли, проникают через узкую расселину на западное полушарие и поднимаются затем на вершину горы чистилища, где расположен земной рай. Здесь Virgiliy покидает своего спутника, и его сменяет Беатриче. С нею Данте возносится от одной небесной сферы к другой, пока, наконец, не достигает эмпирея, где он погружается в созерцание Бога.

Символика Божественной Комедии

Таково содержание Божественной Комедии, понимаемое в буквальном смысле. Но по теории Данте, как мы с нею познакомились в *Convivio*, поэтические произведения имеют двоякий смысл: в поэзии скрыта истина под покровом прекрасного вымысла. Фигура Данте является в поэме символом человеческой души. Человек, на полпути своей жизни, достигнув зрелых лет, приходит к сознанию, что он заблудился в мрачном лесу порока и грехов. Он не может припомнить, как он попал в этот лес. Юные годы прошли для него, как сон, в котором он не различал добра и зла. Страх поражает его, и он пытается выйти из ужасного состояния, в котором находится. Его влечет к себе идеал земного блаженства, подобно тому, как путника, вышедшего из темного леса, манит к себе холм, освещенный солнцем. Но три диких зверя преграждают дорогу путнику—три порока не дают человеку достигнуть желанной цели. Его удерживают в греховной жизни пантера—чувственность, лев—гордость и волчица—алчность. Чувственность, как прощительный порок молодости, не лишает еще человека надежды на спасение. Но пороки зрелого возраста, гордость и алчность, безвозвратно обрекают его на нравственную гибель. Как волчица совокупляется со многими зверями, так и алчность, по теории Данте, соединяется со всевозможными пороками, является источником всего зла на земле. Несмотря на стремление к спасению, человек, душой которого овладели гордость и алчность, не в состоянии отрешиться от греховной жизни, если ему не придут на помощь разум и философия, представленные в поэме в образе Virgiliya. Virgiliy сводит Данте в ад и показывает ему людские пороки и грехи в их истинном виде и с их ужасными последствиями. В нестихающем адском вихре несутся перед глазами Данте грешники, которые в земной жизни были подвержены пороку чувственности; совершавшие насилия стоят погруженные в кровь по горло. До центра земли проникает Данте с своим проводником; здесь в последнем кругу ада наказуется ужаснейший из всех пороков, порок алчности. Люцифер держит в одной из своих трех пастей Иуду, предавшего Христа за 30

серебрянников. Подобно Виргилию, показывающему Данте в аду людские грехи, философия раскрывает пред духовными очами человека адскую бездну грехов и пороков. Сознание порочности пробуждает раскаяние и стремление освободиться от грехов. И тут снова приходит на помощь философия: в ней человек находит руководительницу на пути добродетели, сначала тернистом, но потом все более и более легком. Путь этот ведет к земному блаженству. Процесс нравственного совершенствования человека изображен в восхождении Данте на гору чистилища. У подошвы горы он является кающимся грешником, отягченным еще всеми семью смертными грехами. Ангел, стоящий у врат чистилища, острием меча высекает на челе Данте семь раз букву Р (*peccatum mortale*), знак грехов, лежащих на душе кающегося. При переходе из одного круга в другой ангел каждый раз стирает крылами одно Р, в ознаменование того, что один из грехов искуплен. Путь становится все легче, и Данте достигает, наконец, вершины горы, где расположен земной рай, символ земного блаженства, заключающегося в добродетельной жизни. Здесь исчезает Виргилий и его место занимает Беатриче. Данте кается ей в своих прежних грехах и затем, по ее приказанию, погружается в воды Леты и Эйноэ¹. Он выходит из них обновленный и готовый вознестись к звездам. Задача философии исполнена: она привела человека к добродетельной жизни, составляющей земное блаженство. Более она ничего не может дать и отступает на задний план. После окончательного покаяния человек забывает свою прошлую греховную жизнь и возрождается к добродетели. Но земное блаженство составляет только первую предварительную цель, которая поставлена Богом человеку: душа стремится к блаженству вечной жизни. Только свет небесной благодати, Божественное Откровение и богословие могут привести нас к вечному блаженству, состоящему в созерцании Бога. Божественная благодать и богословие олицетворяются в образе Беатриче, сменяющей Виргилия. С нею Данте возносится к небу. Он видит здесь в различных сферах души блаженных и узнает, чем они приобрели венец вечной жизни; Беатриче посвящает его в таинства богословской науки. Наконец, они достигают эмпирея, и Данте погружается в созерцание триединого Бога. Высшая цель человека достигнута им.

Церковно-политические воззрения

Таким образом отразилась в Божественной Комедии средневековая религиозно-философская идея земного и вечного блаженства, как цели человеческой жизни. Здесь изображен в аллегорической форме тот внутренний нравственный и интеллектуальный процесс, путем которого человек освобождается от греховной жизни и приходит к земному, а потом вечному блаженству. Но этим не исчерпывается глубокий аллегорический смысл великой поэмы. Религиозно-нравственное миросозерцание Данте тесно связано с его церковно-политическими воззрениями. В трактате «О монархии» он приводит достижение человеком поставленной ему двоякой цели в непосредственную зависимость от господствующего политического и церковного строя. Императорская и папская власть, независимая друг от друга, удерживают человечество на истинном пути и дают ему возможность вести на земле нравственную и добродетельную жизнь, а по смерти достигнуть вечного блаженства. Ту же доктрину находим мы и в Божественной Комедии. Рим, говорит Данте, имел некогда два солнца, которые освещали путь земной и путь к Богу; но с тех пор как светский меч и па-

1 Погружаясь в Лету, кающийся грешник забывает о своих грехах, погружение же в волны Эйноэ обновляет в нем память о добрых деяниях.

стырский посох соединились в одних руках, настало всеобщее смятение. Соответственно этой теории, Божественная Комедия на ряду с нравственно-религиозной аллегорией включает в себе аллгорию церковно-политическую. Темный лес, в котором заблудился Данте, обозначает анархическое состояние мира вообще и Италии в частности. Виргилий, выводящий Данте из лесу, представляет, в качестве певца Энеиды и Римской империи, идею универсальной власти императора, который устанавливает всеобщий мир, как необходимое условие добродетельной жизни, и ведет таким образом человечество к земному блаженству. Данте предвещает приход политического мессии. Борзой пес прогонит обратно в ад волчицу: иными словами, появлением императора будет нанесен окончательно удар пороку алчности, который является источником всякого зла в мире, как нравственного, так и политического. Задача императорской власти исчерпывается доставлением человечеству земного блаженства: Виргилий приводит Данте в земной рай, на вершину горы чистилища, и здесь покидает его. Его сменяет Беатриче, олицетворяющая авторитет папской власти, которая, согласно Откровению, ведет людей к блаженству вечной жизни: Данте возносится с Беатриче к небу и здесь погружается в созерцание Бога. В своей поэме Данте произносит строгий суд над противниками предопределенного Богом церковно-политического строя. Папы Бонифаций VIII и Климент V обречены поэтом на муки в аду среди симонистов. В последнем кругу ада Люцифер вместе с Иудой держит в своих пастьх Брута и Кассия. Они подвергаются этой каре за убийство Цезаря, который, согласно представлению средних веков, был первым римским императором. С другой стороны, уготовано в раю место среди блаженных Генриху VII, который пришел в Италию с целью спасти мир, объединив его под своею властью.

Широкий горизонт Божественной Комедии не исключает однако присутствия в ней личного элемента. Мы имеем в этой поэме отражение внутренней, духовной жизни Данте. Он был еще юношей, когда умерла Беатриче, и, лишившись ее облагораживающего влияния, не мог устоять перед соблазнами света. В «Чистилище» Данте сам сознается в своих чувственных увлечениях. Занятия философией дали ему нравственную силу избавиться от юношеских заблуждений и, наконец, в богословии, в надежде на будущую жизнь и веру нашел он душевный мир и спокойствие.

Философская и богословская эрудиция Данте нашла полное применение в Божественной Комедии. Она представляет не только поэтическое отражение средневекового мирозерцания, но и богатую сокровищницу средневековой науки. Мы имеем в Божественной Комедии облеченную в поэтическую форму научную энциклопедию средних веков. Здесь подвергаются всестороннему обсуждению все те естественно-исторические, астрономические, нравственные, политические, философские и богословские вопросы, которые составляют содержание *Convivio*. Все культурные элементы средних веков, религия, политика, философия и наука соединяются в Божественной Комедии. Она представляет совершеннейшее отражение эпохи Данте, и остальные его произведения: Новая Жизнь, Пир, нравственно-философские канцоны, Монархия—являются как бы подготовительной работой к великой поэме, в которой соединились в грандиозном синтезе рассеянные в них мысли.

С завершением Божественной Комедии исполнен был подвиг земной жизни великого итальянского поэта. Данте закончил свою поэму на закате своих дней, в Равенне, где он нашел последнее убежище при дворе Гвидо Новелло да-Полента. Окруженный почестью, он

не мог, однако, забыть родного города, который осудил его на вечное изгнание. До конца жизни Данте лелеял заветную мечту возвратиться на родину. Он надеялся, что его возрастающая слава откроет ему ворота Флоренции. «Если случится когда-нибудь,—пишет он в 25-ой песне «Рая»,—что священная поэма, к коей приложили руку Земля и Небо, победит жестокость, изгнавшую меня из прекрасной овчарни, где я покоился ягненком, я возвращусь поэтом, с другим голосом, с другими власами, и приму венец у купели, в которой меня крестили». Но мечтам поэта не суждено было исполниться. Он смежил очи вдали от горячо любимой родины. 14-го сентября 1321 года не стало Данте. Его прах покоится в Равенне, в часовне францисканской церкви San Pier Maggiore,

Е. Браун.

LXXVIII. Боккаччио и Чосер, как предшественники возрождения

I. Средние века накануне возрождения

Постепенный рост возрождения

В истории нет скачков; нет резких переходов от одной эпохи к другой; напротив, здесь все развивается с логическою постепенностью: в то время как человечество переживает один фазис своей истории, отмеченный теми или другими особенностями мысли и чувства, — тихо и для первого взгляда незаметно зреют семена следующего за ним фазиса и ярким цветом выступают иной раз на поверхности событий. Так было и с тем движением, которое начинает собою новую историю и называется возрождением: его корни уходят глубоко в средние века. Напрасно через все средневековые стали бы мы искать такого момента, когда бы все молились и бичевались; рядом с крайностями аскетизма и мистицизма, естественно, стремится завоевать себе право на существование чувственная сторона человеческой природы, и все громче и громче раздаются голоса в защиту всестороннего — духовного и телесного — развития человеческой личности против одностороннего аскетического идеала средних веков, приносившего тело в жертву духу.

Божественная Комедия и Декамерон

Согретые знойным солнцем юга и унаследовавшие от своих предков, древних римлян, классическую трезвость настроения, итальянцы XIV века сообщили особенно резкие формы этой борьбы аскетизма и сенсуализма: здесь рядом с Божественною Комедией Данте (около 1321 года), в которой человек всем существом своим прилепляется к средними векам, мы находим Декамерон Боккаччио (около 1348 года), в котором самые заветные

Пособия: А. А. Итальянская новелла и Декамерон. «Вестн. Евр.» 1880 г. *Ф. Шау.* Чосер. Библ. для чтен. 1843.

стремления средних веков подвергаются беспощадному осмеянию; два произведения, совершенно противоположные по своему содержанию, являются, следовательно, почти одновременно; это обстоятельство было бы совсем непонятно для нас, если бы история не показывала, что процесс, подготовивший Боккаччио, столь же продолжителен, как и процесс, подготовивший Данте.

Оформившись в Италии, эти новые отразившиеся в Декамероне веяния распространяются по Европе, сливаются с родственными элементами там, где их встречают, и, под воздействием иной среды, до известной степени преобразуются. Так, в Англии того же XIV-го века, под сильным давлением со стороны Боккаччио, сложилась личность первого великого поэта этой страны, Чосера, который тоже, подобно Боккаччио, является предшественником нового времени,—каждый в своем роде.

Подойдем ближе к этим личностям. Знакомство с ними осветит нам переходный момент между средними веками и новыми временем, а вместе с тем мы узнаем, как на первых порах формировалась личность нового человека на юге и как на севере, как среди романской нации и как среди германской, как в первоисточнике движения, в Италии, и как в стране, находившейся под влиянием Италии, в Англии...

Боккаччио и Чосер

Боккаччио и Чосер... Нет двух поэтов, которые были бы так же похожи друг на друга и вместе с тем отмечены были бы такими же характерными отличиями друг от друга, как они. Сын купца, Боккаччио с ранних лет погрузился в водоворот коммерческой жизни и таким образом имел время приглядеться к низшим слоям общества; уже отсюда поднялся он в его высший слой, явился при дворе Роберта Неаполитанского. Тот же самый путь, только с другого конца, прошел и Чосер. Человек рыцарского происхождения, он не был однако настолько обеспечен, чтобы в тиши кабинета спокойно поглотить средневековую ученость; он принужден был не мало времени и сил потратить на свои обязанности контролера пошлин в лондонской гавани; и это, конечно, было лучшею школой для нашего поэта. Если присоединить к этому еще то обстоятельство, что как Боккаччио, так и Чосеру приходилось не раз отправлять дипломатические миссии, выводившие их далеко за пределы отечества, то мы поймем ту силу, которая должна была вознести их на недостижимую высоту сравнительно с каким-нибудь кабинетным поэтом или ученым средних веков: вместо того, чтобы рыться в пыльных фолиантах и анализировать различные абстракции, лишённые всякой реальной почвы, Боккаччио и Чосер наблюдали живого человека и следили за причудливыми явлениями жизненной драмы. Но не скоро дошли они до сознания того, в чем заключается их призвание,—и они начали свою поэтическую деятельность в традиционных формах, в средневековом духе. Каковы же, спрашивается, типические признаки этой традиционной, средневековой поэзии?

Монашеская и рыцарская поэзия

«Христианский спиритуализм¹,—справедливо замечает один писатель,—оказал благотворное влияние на здоровые народы северо-западной Европы. Когда слишком

1 Слова спиритуализм (от лат. spiritus—дух) и сенсуализм (от лат. sensus—чувство) в истории культуры часто противопоставляются друг другу, и спиритуалистическим называют такое направление умов, когда о душе заботятся более, нежели о теле, а сенсуалистическим, когда о теле заботятся столько же, сколько о душе, и даже более.

полнокровные варвары одухотворились христианством, тогда началась европейская цивилизация. Католическая церковь, благодаря своему гениальному устройству, сумела укротить животность завоевателей и овладеть грубой материей». Итак, история средневековой Европы началась с того, что христианский спиритуализм сделал попытку подавить варварский материализм, и невежественные варвары бросились из одной крайности в другую: они, полулюди-полузвери, преданные самым низким страстям и наслаждениям, в роде пьянства и объядения, стремились превратиться в худых и бледных аскетов, учились считать грехом удовлетворение всякой естественной потребности человеческого организма и старались видеть добродетель в том, чтобы действовать наперекор этим потребностям; они стремились окончательно порвать с землей, унести к небу и оставляли без внимания окружающую их действительность.

Лишенное, таким образом, реальной основы, воображение лучших людей средневекового общества, т. е. людей, наиболее приближавшихся к идеалам времени, развивалось до невероятных размеров и совершенно парализовало их разсудочные способности. Оно не останавливалось перед созданием самых чудовищных вымыслов и превращало в какую-то фантазию скудные сведения средневекового человека о реальном мире. Легенда религиозная и героическая, излюбленное чтение людей того времени, дает много материала для характеристики этой склонности средневекового человека к чудесному; едва ли меньше, чем в легенде, было фантастического элемента в средневековой истории, главнейшим представителем которой была хроника. Одним словом, какую бы область знания, доступного средним векам, мы ни взяли, какую бы средневековую энциклопедию мы ни раскрыли, всюду воображение искажает реальный мир, всюду проходит перед нами ряд видений, не изображавших действительность, но только смутно напоминавших о ней.

Средневековый человек, следовательно, не изучал мира действительности, не присматривался к нему, — да и зачем? Все это временно, все это минует; а сверх того, при постоянном вмешательстве чудесного в жизнь человека, полезно ли изучать действительность? Ведь стоит только дунуть какому-нибудь святому — и все ее законы, по которым она совершает свои отправления, моментально разлетаются прахом...

Если средневековый человек и задумывался иной раз над теми или другими явлениями внешнего мира, то лишь потому, что этот видимый мир был для него прообразом невидимого мира, мысль о котором ни на минуту не покидала его головы: на что бы ни глядел средневековый человек в действительной жизни, у него сейчас — переложение: а что бы это значило? как истолковать эту загадку, эту аллегорю? Отсюда — повсеместное господство символизма и морализации в средневековом мышлении; для средневекового человека реальный мир — это великая книга символического характера, в которой аскет и мистик читает то, что начертал в ней Бог для его назидания. Таким образом, если в средневековом мышлении и являются по временам проблески интереса к реальному миру, то не ради этого реального мира, а ради извлекаемой из его содержания морали.

Изгнав плоть отовсюду и пытаясь предоставить везде преимущество духу, средневековье стремилось изгнать действительность и оттуда, откуда ее всего меньше возможно изгнать, — из области любви, и поставить на ее место платоническое обожание дамы сердца, — фантазия, которую блистательно разработала провансальская лирика.

Резюмируя сказанное о средневековой литературе, мы видим, что в общем ей недостава-ло реализма и в содержании и в манере его обработки. Эти легковверные энтузиасты или на-ивно фантазировали, или смотрели на действительность через пелену аллегории и морали, но не изучали ее спокойно и безпристрастно...

Ранние произведения Боккаччио и Чосера

Было бы очень любопытно подвергнуть хотя беглому обзору ранние, написанные в средневековом духе произведения Боккаччио и Чосера: перед нами прошли бы опять, толь-ко воплотившись в те или другие факты, все типические особенности средневековой поэ-зии: и аллегорические видения, и аскетическая морализация, и героическая легенда, и про-вансальский сентиментализм... Но мы пропустим этот обзор и выгадаем место для обсужде-ния еще одного важного вопроса, в котором средневековая поэзия так расходится с новою: это—вопрос о цельности художественного произведения, для разьяснения которого возьмем «Дом Славы» Чосера, одно из весьма замечательных созданий средневекового поэтического творчества.

«Дом Славы» Чосера

Произведение это распадается на три песни. I песнь.—Поэт видит во сне стеклянный храм, украшенный безчисленным множеством золотых статуй. Внутри на стенах представ-лены картины из Энеиды Виргилия с дополнениями по Овидию. Из 503 стихов I песни «Дома Славы» этот пересказ латинской поэмы обнимает ровно 330 стихов! Оставив храм, поэт замечает орла, парящего на золотых крыльях около солнца.

II песнь.—Птица спускается, схватывает поэта в свои когти и уносит к храму Славы. Многочисленные отступления, образующие эту песнь (582 стиха) и описывающие воздуш-ное путешествие нашего героя, весьма характерны для стремлений средневекового человека в таинственные надзвездные края: носимый царственною птицей над знаками зодиака, поэт созерцает чудеса мироздания и, пораженный его величием, восклицает: О, Бог, сотворив-ший Адама, велика твоя мощь и благость! Из этих отступлений особенно типично для сред-невековой поэзии одно самое длинное, около 150 стихов; оно трактует—о чем бы вы дума-ли?—о природе звука и о законах его распространения! Это такая холодная, неприкрашен-ная проза, что в сравнение с нею даже Послание Ломоносова к Шувалову о пользе стекла кажется прочувствованною поэзией! Но мы подле храма Славы.

III песнь.—Это дивное здание, изобразить которое отказывается перо Чосера, выстроено на ледяной скале (символ ломкости и непрочности). Вся южная сторона скалы покрыта именами знаменитых людей, которые постоянно тают от солнечных лучей. (Это выскочки, которые сделались знаменитыми потому только, что им посчастливилось). Северная сторо-на скалы так же покрыта именами, но, защищенная здесь от солнечного жара, надписи не исчезают. (Это люди, действительно трудившиеся на пользу человечества). Поэт двигается вперед: он кое-как взбирается на гору, к преддверию храма, входит внутрь его и останавли-вается перед троном богини Славы, постоянно сохраняя аллегорическую манеру повество-вания. Мы оставим в стороне эту чисто-восточную тонкость образного мышления, прикрывающего конкретными формами те или другие философские абстракции,—для всего этого пришлось бы слишком удалиться от предмета речи,—и приведем из поэмы только то место, где Чосер изображает богиню Славы.

«Высоко на троне, на царском седалище из великолепного рубина, увидел я женщину, какой никогда не создавала природа. Она показалась мне сначала столь маленькою, что была, повидимому, не более локтя, но вдруг ее образ сделался поразительно велик: ее ноги стояли на земле, между тем ее голова терялась в небесной дали у семи звезд. Но мое удивление возросло, когда я обратил внимание на ее глаза: глаз ее, поистине, я не мог бы считать—их было больше, чем перьев у птицы! Как жар блестели ее золотые кудри, а ушей и языков у ней было больше, чем волос на звере; из ног ее росли большие крылья куropатки. Но как блистало драгоценными камнями роскошное седалище богини! какая небесная мелодия летала вокруг ее трона под сводами залы! Могучая муза, Каллиопа, одна с своими миловидными сестрами, могла бы так сладко петь, как звучала та песнь: «О, великая богиня, честь тебе и поклонение!»

Предоставляем читателю по желанию истолковать себе эту аллегория, —и спешим закончить пересказ поэмы Чосера. «Вокруг этого кумира,—продолжает он,—теснились толпы людей всех наций и состояний; они входили в залу, преклоняли колена перед богиней и восклицали: Прекрасная царица, удостой нас твоих милостей! И одним она исполняла просьбу, а другим давала как раз противоположное тому, что они просили, третьих же резко отсылала назад ни с чем. Однако, по каким причинам она поступала так или иначе в каждом случае, я не могу сказать; ибо без труда я назову вам людей, которые были достойны, конечно, доброй славы, а получили худую,—точь-в-точь как обыкновенно поступает ее сестра, Фортуна». В виду всего этого поэт отказывается просить себе милостей у богини; он уходит из храма, делает затем еще несколько поучительных для себя наблюдений в Лабиринте Молвы (где ему становится ясно, что Слава—это огромная сплетня, хитрая путаница истины и лжи) и, наконец, просыпается... видение исчезает.

Нам, людям нового времени, едва ли может доставить наслаждение такое своевольное поэтическое создание. Когда мы приступаем к чтению того или другого художественного произведения, мы требуем, чтобы оно пробуждало в нас ту или другую мысль, то или другое настроение,—мысль и настроение ясные и определенные,—и не терпим ничего лишнего или недосказанного, ничего разрушающего эту ясность и определенность; другими словами, для того, чтобы производить гармоническое впечатление на душу, художественное произведение должно представлять из себя единое целое.

Но, скажите, какое ясное и определенное впечатление может оставить по себе в душе нашей поэма, которую начинают пересказом Энеиды (хрустальный дворец), продолжают теорией распространения звука (заоблачные сферы) и кончаюсь аллегорическою картиной, иллюстрирующею капризы Фортуны (ледяная гора)?.. Средневековые, однако, наслаждались подобным чтением: очевидно, вкусы с течением времени изменились, как изменились с течением времени и люди. Средневековые люди—это аскеты, мистики и фантазеры, и преобладающая стихия в их психической жизни—воображение, большое воображение. Таковы были тогда читатели, таковы же были и писатели, и они оставались довольны друг другом.

Поэт наталкивается на известную мысль... Чосер, этот блестящий литератор, дипломат и воин, в силу тех или других обстоятельств, вдруг оказывается прикованным к счетоводным книгам в лондонской гавани; жизнь уединенная и однообразная, работа скорее физическая,

чем умственная..., и такое положение послала судьба ему, несмотря на все его богатые способности: как, стало быть, своенравна Фортуна или Слава, и как слепо, как несправедливо распределяет она между людьми свои милости! Вот мысль Чосера; он стремится теперь облечь ее в художественную форму, и—начинается фантазирование. Воображение вступает в свои права и чуть не на каждом шагу увлекает поэта туда, куда ему и не следовало бы идти: получается ряд эффектных картин, хрустальные замки, песчаные пустыни, золотые храмы, ледяные горы, всякие аллегорические фигуры и проч. Все это пестро и красно, мечется в глаза, и читатель доволен.

Но мало—потешить фантазию; у средневекового поэта есть еще одна слабость: это—его начитанность и ученость. Поэзия в то время еще не была отделена от науки, между ними еще не было проведено пограничной черты, и поэзия забегала в науку, а наука в поэзию. Таков и Чосер: он не может удержаться от искушения познакомить своих читателей с Энеидой Вергилия и с Посланиями Овидия или поделиться с ними своими размышлениями о различных любопытных явлениях, относящихся к области физики, в роде, напр., законов распространения звука. За Энеиду читатель благодарит Чосера, с удовольствием прочитывает и его, быть может, оригинальные заметки о звуке, а концепция целого опять страдает, и художественное, стройное впечатление всей поэмы оказывается уже невозможным. Наконец, через все эти дебри отступлений поэт добирается до заинтересовавшей его мысли о своенравии Фортуны, и пред нами вырисовывается аллегорическая группа во вкусе заключительного акта большой оперы.

Итак, фантазия руководит творчеством средневекового поэта, и вследствие этого у него много внешнего блеска, но мало внутреннего содержания, много ярких деталей, но нет гармонического целого, слишком сильны отдельные впечатления, и слишком слабо объединяющее их настроение.

Если бы Боккаччио и Чосер остались на этой дороге, по которой они пошли в ранних своих произведениях, они были бы давно забыты и сделались бы безраздельным достоянием истории литературы и культуры. Но реализм восторжествовал над романтизмом: чем зрелее становились с годами оба поэта, тем сильнее начинали они понимать всю прелесть осязательной сущности, данной реальности, которую они узнали так хорошо благодаря своей жизни, событиями чреватой,—и, наконец, поднялись до той высоты эстетического развития, когда душу человека начинает улаживать простое, свободное от всяких мишурных блесков изображение действительности. Они оставляют тогда дантовскую схему поэтического творчества с неизменным участием энтузиазма, фантазии, аллегии и мифологии, примером которой может служить разобранный сейчас «Дом Славы» Чосера, и обращаются к иным заветам, начинают прислушиваться к тем голосам, которые, как было сказано в самом начале, протестовали против одностороннего аскетического идеала средних веков.

Поэзия буржуа и крестьян

Мы ознакомились выше с различными родами средневековой литературы, которые культивировало по преимуществу духовенство и рыцарство (легенда, хроника, энциклопедия, провансальская лирика и проч.),—два сословия, в совокупности своей представлявшая высший, руководящий, цивилизованный класс средневекового общества. Но рядом с

этим классом стоит класс низший, — горожане и крестьяне, — класс руководимый, нецивилизованный и... не испортивший себе в такой степени, как духовенство и рыцарство, здоровой крови и вкусов различными противоестественными стремлениями: он сохранил более симпатии к реальной жизни и стал высказываться против тех извращений человеческой природы, которым она подвергалась в руководящем классе.

Два замечательные факта вырисовываются в поэзии горожан и крестьян: во-первых, реальный человек, со всеми присущими ему потребностями, с душой и телом, и во-вторых, протест этого человека против одностороннего развития личности, против принесения плоти в жертву духу. Это — относительно содержания интересующего нас течения средневековой поэзии; что же касается формы, то здесь прежде всего бросается в глаза его народный язык, живая уличная речь, к которой не без презрения относились руководители общества, особенно духовенство, в угоду мертвой, книжной и кабинетной латыни, сделавшейся языком науки и пытавшейся сделаться языком поэзии; кроме того, не менее важно отметить и еще одно обстоятельство: здесь впервые вырабатывается та форма небольшого, совершенно простого и безыскусственного рассказа, которая является прототипом современной нам повести и называется во французской литературе словом *фаблио*, а в итальянской — *новеллой*. Эти *фаблио* и *новеллы* и оказываются главными выразителями буржуазного направления в средневековой литературе: их содержание вращается преимущественно среди разнообразных до бесконечности мелочей будничной жизни.

Таким образом, рядом с основным течением средневековой литературы — литературы монахов и рыцарей — намечается другое течение; ничтожно оно было вначале сравнительно с первым, но ему предстояла великая будущность; это были люди, чувствовавшие или, точнее, предчувствовавшие красоту и законность реального мира в той форме, как он был создан Богом, — с его душой и телом; они с усмешкой смотрели на мистиков и фантазеров и проповедовали простое и ясное созерцание действительности. Прогресс в развитии личности определялся тем, к какому из этих течений она примыкала: если она шла по широкому пути энтузиазма, фантазии, аллегории и морализации, то она приходила к мистицизму, самоуничтожению, отрицанию культуры; если же она шла по узкой тропинке более разумного, здравого и непосредственного отношения к окружающему, то начинала понимать красоту действительного мира Божия, изучать его, ставить ему те или другие запросы и таким образом прогрессировать.

Зрелые произведения Боккаччио и Чосера

С особым сочувствием и останавливаются теперь Боккаччио и Чосер на этих проблесках реализма в традиционной литературе, к которым уже давно толкала каждого из них его практическая, а не созерцательная жизнь; они берут теперь скромную форму *фаблио*, форму *новеллы*, маленькой повести, тот род средневековой литературы, который был выработан возникающей буржуазией и сделался специальным органом ее здорового духа. Как этому буржуазному духу суждено было своими притоками укрепить средневековое общество, дряхлевшее в лице монашества и рыцарства, так точно эти же самые элементы, под пером Боккаччио и Чосера, оживили и средневековую литературу, сообщив ей характер новой, современной нам литературы, характер реализма и натурализма. Сюжет, взятый из реальной жизни и обработанный в чисто-реальном духе, без всяких фантастических прицепов и не идущих к делу вставок, — вот что делают теперь своим призванием Боккаччио и

Чосер, и создают бессмертные произведения: Боккаччио—Декамерон, а Чосер—Кентерберийские рассказы. Раскроем первое из них, Декамерон Боккаччио.

II. Декамерон Боккаччио

Вступление Декамерона

«Со времени благотворного вочеловечения Сына Божия,—так начинается эта веселая книжка,—минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертная чума, которая, под влиянием ли небесных светил или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их безчисленного количества жителей, безостановочно двигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевным образом, и до запада.

Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти: здесь в начале болезни у мужчин и женщин являлись в паху или под мышками какия-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одне больше, другия менее; в короткое время эта смертоносная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другия, а затем признак указанного недуга изменялся в черныя и багровыя пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большия и редкия, у других мелкия и частыя. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковыми были и пятна, у кого они показывались; только немногие выздоравливали, и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, и большинство без лихорадочных или других явлений.

Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, чрез общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносили на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрогивавшемуся: лохмотья бедняка, умершаго от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их из стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвыя на злополучныя тряпки.

Такия происшествия и многия другия, им подобныя и более ужасныя, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной жестокой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, думали сохранить себе здоровье.

Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают противодействовать злу; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных, а им самим было удобнее; употреб-

ляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне—о смерти или о больных,—они проводили время среди музыки и удовольствий, какия только могли себе доставить.

Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять по возможности всякому желанию, смеяться и издеваться над всеми, что приключается,—вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы знали по слуху, что там все будет по ним и в их удовольствие. Делать это им было легко, ибо все предоставили себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался им так же, как пользовался хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда по возможности избегали больных. При таком бедственном и удрученном состоянии нашего города почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого народа, что они не могли отправлять никакой обязанности, почему всякому было позволено делать все, что заблагоразсудится.

Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Не станем говорить, что один гражданин избегал другого, что сосед почти не заботился о другом, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто это были не их дети.

От всего этого и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. При этом не оказывали почета ни слезам, ни связям, ни сочувствиям; наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так как для большого количества тел, которых каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особенно, если бы, по старому обычаю, каждому захотели отводить особое место, то не на кладбищах при церквях, ибо там все было переполнено, вырывали громадные ямы, туда сотнями клали приносимые трупы, нагромождали их рядами, как товар на корабле, и засыпали немного землей, пока не доходили до краев могилы.

Если для города година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и подгородней области. В разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги, по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью, безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как и у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды

от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат».

Реализм произведений Боккаччио

Прошло почти 600 лет с тех пор, как это великое общественное несчастье разразилось над Европой,—благодатный прогресс просвещения вообще и положительных наук в особенности постепенно освобождает человечество от этих «бичей Божиих», которые так часто терзали средневековой мир и бросали какой-то мрачный свет на всю его оригинальную культуру...—прошло с тех пор почти 600 лет, а Черная смерть, со всеми своими физическими и моральными феноменами, повергающими в содрогание нашу душу, как бы воочию казнит перед нами бедное человечество в описании Боккаччио, и тяжело нам читать эти страницы Декамерона!.. Вот великое достоинство реального воспроизведения жизни, и с этой стороны описание Черной смерти блистательно открывает собою ту сотню новелл, которая следует за ним и проникнута тем же реализмом и по содержанию и по манере его художественного воплощения.

О реализме новелл, т. е. о полном соответствии их и изображенной в них действительности, о совершенном устранении из них тех элементов, которые бы прикрашивали и искажали последнюю, один немецкий биограф Боккаччио выразился следующим образом: «Эти новеллы представляют богатый и достоверный культурно-исторический материал: по ним можно изучать итальянские и специально флорентийские древности». И это вполне справедливое замечание,—его справедливость выяснится из следующих ниже новелл Декамерона,—следует лишь расширить указанием на то, что высокая художественность Декамерона дает возможность проникнуть глубже внешнего быта тогдашних флорентийцев,—она раскрывает перед нами их внутреннюю жизнь, изображенную без всяких прикрас, в ее повседневных, будничных очертаниях.

Так в Декамероне, под пером Боккаччио, вступила в свои права та манера реалистического творчества, которая до сего момента скромно ютилась в отверженных памятниках средневековой литературы и которой суждено было вытеснить с течением времени обычную в этой литературе манеру творчества романтического, или фантастического. Боккаччио говорит в Декамероне о своих новеллах: «Оне написаны мною не только народным флорентийским языком и прозой, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем»,—краткая, но выразительная характеристика одного из крупнейших достоинств великого итальянского произведения!

Попытаемся же уяснить себе, как при этом простом и светлом созерцании действительности знаменитый творец Декамерона смотрел на различные стороны средневековой культуры, но предварительно—два-три слова о том, как связаны между собою Черная смерть, описанная во введении к Декамерону, и самый Декамерон.

Рамка Декамерона. Новеллы

Связь эта очень простая и естественная. Семь благородных девиц и трое юношей встречаются в одной флорентийской церкви и уговариваются, в целях самосохранения от заразы, удалиться на дачу. Здесь они коротают досуги в изящных удовольствиях: играют, поют,

танцуют, а на время жары усаживаются в каком-нибудь тенистом уголке, и каждый рассказывает одну новеллу; когда очередь обойдет всех, общество подымается и предается иным развлечениям; в течение десяти дней (*δεκα ημεραι*) этими десятью лицами и были рассказаны сто новелл Декамерона.

Обращаемся к вопросу об отношениях Боккаччио к различным явлениям средневековой культуры.

Защита любви против аскетов

Мы видели, что идеальные люди средних веков задавались аскетическими стремлениями, т. е. стремлениями отрешиться от всего земного и всецело сосредоточиться на мысли о небесном,—и, по мере сил, осуществляли эти стремления: по представлению времени, тот был наиболее достоин почтения, кому удавалось окончательно умертвить свою плоть. Должно презирать мир,—учили эти передовые люди средних веков,—ибо любящие земные блага начинают пренебрегать небесными; забывают легкомысленные, что все земное—суета сует, что все эти блага пройдут, и останется от них только прах да черви. Нет, кому дорого спасение, тот пусть оставит мир и уединится в монастыре! О, как блаженны те, кого Бог сподобил отрясти с ног прах мирского тления: принимая монахов в Свой ковчег, Он спасает их от мира, как пастырь спасает несколько ягнят из пасти хищного зверя! Так думали в средние века лучшие люди: для них идеальная жизнь—монашеская жизнь, и с точки зрения монашеского идеала осуждаются ими все радости мира, всякое удовлетворение присущих человеческой природе потребностей—заботы о здоровье, стремление к независимости, желание материальной обеспеченности, любовь, брак, семейная жизнь... Особенно враждебно относились аскеты к любви (самая неистребимая потребность нашей природы!) и женщине: «Женщина,—пишет один из них,—причина зла, корень ошибки, вместилище греха, она соблазнила человека в раю, она соблазняет его еще и на земле, и она же увлечет его в пропасть ада». Посмотрим, каких взглядов держится на этот предмет Боккаччио.

Во вступлении к четвертому дню Декамерона мы читаем следующее: «Нашлись, разумные мои дамы, люди, которые, читая эти новеллы, говорили, что вы мне слишком нравитесь, и не прилично мне находить столько удовольствия в том, чтобы угождать вам и утешать вас (Боккаччио посвятил свой Декамерон влюбленным и скучающим женщинам); а другие сказали еще худшее за то, что я так вас восхваляю»... Защищаясь против подобных обвинений в чрезмерной любви к женщинам и в излишнем стремлении им нравиться, Боккаччио продолжает: «Никто не может иметь основание сказать иное, как только то, что как другие, так и я, любя вас, поступаем согласно с природой. А чтобы противиться ей законам, для этого нужны слишком большие силы, и те, которые пытаются делать это, часто трудятся не только понапрасну, но даже с страшнейшим вредом для себя. Я признаюсь, что таких сил у меня нет, а если бы оне у меня были, то я скорее предоставил бы их кому-нибудь другому, чем приложил бы к самому себе. Поэтому пусть молчат мои хулители, и если они не могут согреться, то пусть живут с своим холодом, с своими наслаждениями или даже с своими извращенными стремлениями, и пусть оставят мне мои радости, предоставленные нам в этой короткой жизни». Как видим, любовь, симпатия к женщине, по мнению Боккаччио, есть великая сила, потому что она вложена в человека самой природой, и вооружаться против нея значит вооружаться против природы, осуждать ее значит осуждать природу...

Этот смелый и решительный протест против аскетизма и служит самым характерным признаком времени. За естественною наклонностью личности, которая считалась грехом в средние века, теперь не только признано право на существование, но и борьба с нею представляется делом, по меньшей мере бесполезным и даже вредным.

Да и против чего боретесь вы?—говорит Боккаччио своим хулителям.—Вы проповедуете, что любовь есть причина зла, корень ошибки, вместилище греха: нет, это не так!» Вот новелла, из которой можно понять, «сколь святы, могучи и каким благом исполнены силы любви, которую вы поносите и осуждаете крайне несправедливо, сами не зная, что говорите».

День V, новелла 1: У одного знатного и богатого кипрянина был сын, превосходивший ростом и красотой телесною всех других юношей, но почти придурковатый—и безнадежно. Тщетны были все попытки хотя сколько-нибудь облагородить его скотскую душу: он был поэтому сослан в деревню, где и жил вместе с крестьянами-работниками. Как-то раз в майский день забрел он в одну тенистую рощицу и здесь увидел прекрасную девушку, заснувшую на лужайке вместе с своими служанками. «С величайшим восхищением принялся Чимоне (так звали молодого человека) смотреть на нее. И он почувствовал, что в его грубой душе, куда не входило до тех пор, несмотря на тысячи наставлений, никакое впечатление облагороженных ощущений, просыпается мысль, подсказывающая его грубому и материальному уму, что то—прекраснейшее создание, которое когда-либо видел смертный. И вот он начал созерцать ее, хваля ее волосы, которые почитал золотыми, ее лоб, нос и рот, шею и руки и внезапно стал из пахаря судьей красоты». Точно преображенный, расстался Чимоне с этим чудным видением и явился к отцу. «Во-первых, он попросил отца дать ему такие платья и убранства, в каких ходили и его братья, что тот сделал с удовольствием. Затем, вращаясь среди достойных юношей и услышав о нравах, которые подобает иметь благородным и особливо влюбленным,—к величайшему изумлению всех,—он в короткое время не только обучился грамоте, но и стал достойнейшим среди философствующих. Затем, и все по причине любви, не только изменил свой грубый деревенский голос в изящный и приятный горожанину, но и стал знатоком пения и музыки, опытейшим и отважным в верховой езде и в военном деле—как морском, так и сухопутном. Чтобы не размазывать подробно о всех его доблестях, в короткое время, когда не прошел еще четвертый год со дня его первого увлечения, он сделался самым приятным юношей, обладавшим лучшими нравами и более выдающимися достоинствами, чем кто-либо другой на Кипре. Итак, великия доблести, ниспосланные небом в достойную душу, были связаны и заключены завистливою судьбой в крохотной части его сердца крепчайшими узами, которых любовь разбила и разорвала, как более сильная, чем судьба, и, будучи возбудительницей дремотствующих умов, силою своей подняла эти доблести, объятая безжалостным мраком, к ясному свету, открыто проявляя, из какого положения она извлекает дух, ей подвластный, и к какому его ведет, освещая его своими лучами».

Из этой цитаты видно, что мысль о нравственном перерождении человека вследствие искренней симпатии его к женщине,—мысль, столь часто встречающаяся в новой литературе,—и в лице Боккаччио нашла себе красноречивого сторонника: любовь, говорит он, производит благотворныя потрясения во всем нашем организме, будит все свойственные человеческой природе силы и выставляет ее в таком привлекательном виде. Боккаччио,

следовательно, резко противоречит аскетам в их взглядах на любовь: он благословляет любовь, а не проклинает ее, это не злая, а святая стихия. Именно из такого антиаскетического настроения поэта и развиваются его своеобразные отношения к различным явлениям средневековой культуры.

Духовенство

Как представители отживающего аскетизма, духовные должны были прежде всего обновить на себе внимание автора Декамерона, и он, как сенсуалист, охотно изображает нарушение монахами и монашенками обета воздержания и постничества и не осуждает их за то (природа!). В начале 1-й новеллы III дня он пишет: «Прелестнейшие дамы, много есть неразумных мужчин и женщин, вполне уверенных, что лишь только на голову девушки возложат белую повязку, а на нее черную рясу, ничто мирское более не увлекает ее, точно, став монахиней, она превращается в камень, и когда они случайно услышат нечто, противное этой их уверенности, они так смущаются, как будто совершилось что-нибудь неестественное. Насколько все так думающие заблуждаются, это я желаю разъяснить небольшою новеллой» и проч. Если, таким образом, в одних местах Декамерона Боккаччио, как сенсуалист, легко относится к распущенности современного ему духовенства, то в других новеллах, напротив, он, опять-таки как сенсуалист, гораздо язвительнее критикуете монахов, чем это сделал бы свой же брат монах, и неустанно изобличает все их недостатки, особенно лицемерие.

Нравственная распущенность и лицемерие

В этом смысле замечательную энергию дышат некоторые строки в III, 7, где мы читаем следующее: «Были некогда весьма святые и достойные монахи, но у тех, которые ныне называют себя монахами и желают, чтобы их принимали за таковых, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, потому что, в то время как основатели монашества наказали делать рясы узкие, простые, из грубой материи, во свидетельство, что их дух презирает все мирское, коли они облачают тело в столь презренную одежду, — нынешние монахи делают себе рясы просторные, двойные, блестящие, из тонкой материи, придав им красивый архипастырский вид, и не стыдятся красоваться ими в церквях и на площадях, как миряне своими платьями... Тогда как древние монахи желали спасения людей, нынешние ищут наслаждения и богатств... И когда их порицают за грязные дела, они отвечают: поступайте так, как мы говорим, а не так, как делаем, полагая, что это достаточное облегчение всякой греховной тяжести, как будто овцам легче быть непреклонными и твердыми, чем пастырями... Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, что они говорят, т. е. чтобы вы наполняли их кошельки деньгами, поверяли им свои тайны, сохраняли целомудрие, были бы терпеливы, прощали обиды, остерегались злословия; все это очень хорошие вещи, честные, святые; но для чего они говорят вам о всем этом? Для того, чтобы они сами могли делать, чего не могли бы, если бы то стали делать миряне... Почему не остаются они дома у себя, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни воздержными? А если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следуют святому слову Евангелия: Христос начал творить и поучать? Пусть и они сперва делают, а уже затем поучают других...»

Это исполненное негодования место, по временам напоминающее, как увидим, Чосера, — не единственное в Декамероне Боккаччио, и его главные мысли: щегольство монахов и

погоня за чувственными наслаждениями, с одной стороны, а с другой—лицемерие, могут быть хорошо освещены цитатами из разбираемого произведения. Вот две небольшие выдержки, самые сильные после вышеприведенной цитаты: 1) из VII, 3: «О, позор нашего испорченного света! Они не стыдятся являться тучными, с цветущим лицом, изнеженные в платьях и во всем остальном; выступают не как голуби, а гордо, как петухи, подняв гребень и выпятив грудь; не станем говорить о том, что их кельи полны баночек с разными мазями и притираниями, коробок с разными сладостями, склянок и пузырьков с пахучими водами и маслами, кувшинов, переполненных мальвазией, греческими и другими дорогими винами; так что, глядя, кажется, что это не монашеские кельи, а москательные и парфюмерные лавки... Не так жили св. Доминик и св. Франциск: они не имели по четыре рясы на человека и одевались не в цветные и тонкие сукна, а в рясы из грубой шерсти и естественного цвета, чтобы укрываться от холода, а не красоваться». 2) из IV, 2: «Это дает мне обильное содержание, чтобы доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в иностранных одеждах, с искусственно-бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, заявляют себя не людьми, имеющими, подобно нам, заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно с завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место»...

Потребность реформации

Все сказанное до сих пор, можно надеяться, достаточно обрисовывает личность Боккаччио, как предшественника реформации: в основе своей отрицательное отношение Боккаччио к современному ему духовенству носит чисто итальянский, гуманистический, светский характер; это протест против аскетизма во имя жизнерадостного настроения, во имя свободного удовлетворения всех естественных потребностей человеческой природы, но этот чисто гуманистический протест Боккаччио по временам осложняется иным элементом, протестом против нравственной распущенности средневекового духовенства во имя суровых уставов св. Франциска и Доминика, с которыми не имел ничего общего автор Декамерона; таким путем поэт становится в некоторое противоречие с самим собою, требуя восстановления того, что, как он доказывал выше, несогласно с человеческою природой...

Впрочем, до какой степени мало была развита в Боккаччио эта потребность реформации, как ее понимали англичане или немцы, видно из того, что мы не находим в его новеллах ни одного положительного типа из духовных, более или менее детально обрисованного; в этих случаях он всегда ограничивается двумя-тремя словами, напр.: «старик святой, примерной жизни, великий знаток св. писания, человек очень почтенный, к которому все горожане питали особое, великое уважение» (I, 1)—и отправляется дальше. Между тем его северный двойник, англичанин Чосер, проникнут тем же религиозным энтузиазмом, каким дышали и великие реформаторы—Уиклифф и Лютер; и потому не удивительно, что, отнюдь не уступая Боккаччио в резкости обличения, он в то же время начертал тип сельского священника, едва ли не симпатичнейшую личность среди всех его героев.

Рыцарство

Проследим теперь взгляды Боккаччио на другое своеобразное явление средневековой жизни, отходившее при нем в область истории,—на рыцарство.

Если в отношениях итальянского поэта к духовенству отрицательные чувства преобладают над положительными, то в отношениях его к рыцарству, наоборот, положительные чувства преобладают над отрицательными. Обстоятельство это понять не трудно. Что такое рыцарство в сущности своей? Это—такая же цепь, как и католический аскетизм,—цепь, стремившаяся сдерживать губительные порывы необузданных страстей средневекового человека и приспособить его к общежитию. Это, следовательно, тот же спиритуализм, который в лице католицизма вступил в ожесточенную борьбу с излишнею материальностью средневековых варваров, и вся разница между ними в том, что, тогда как аскетизм совершенно отвергал всю земную жизнь во имя будущего спасения, рыцарство только стремилось облагородить эту земную жизнь. Правда, в сфере любви и рыцарство хватило через край в своих стремлениях просветлять и одухотворять все грубое и материальное и усиливалось представить идеалом этих отношений провансальский сентиментализм, не смеявший мечтать даже о холодном поцелуе. Но, погрешая в одном направлении, то же рыцарство располагает нас в свою пользу другими тенденциями: оно внушает человеку обходительность, щедрость, гостеприимство,—словом, ту куртуазию, то душевное благородство, которого так мало было среди людей изучаемой нами эпохи.

Благородство души

С точки зрения своего здравого мирозерцания, Боккаччио почти не интересуется провансальскою чувствительностью и не имеет ни малейшего желания рисовать любовные томления; он равнодушен также и к военной славе рыцарства, но автор Декамерона преклоняется пред ним, как пред традиционной формой облагороженной общественности, и если рыцарство забывает об этом своем идеале, о душевном благородстве человека, и превращается в аристократическую касту, исполненную всяких предрассудков по отношению к низшим классам и их презирающую,—он возстает против знатности, столь превратно понимаемой, напоминая своим читателям, что рыцарство—душевное благородство, и что раз человек благороден, он—рыцарь, независимо от своего происхождения, и должен быть принят как свой в кружке родовой аристократии.

Гисмонда в 1-й новелле IV дня отвечает отцу, упрекавшему ее за любовь к Гвискардо, человеку низкого происхождения: «Взгляни немного на сущность вещей: ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним Творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше, и они в ней были деятельней, были названы благородными, а остальные остались неблагородными. И хотя противоположный обычай прикрыл впоследствии этот закон, он еще не уничтожен и не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов; потому, кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благородным, и если называют его иначе, то виновен в этом не названный, а тот, кто называет. Оглянись среди всех твоих дворян, разбери их качества, нравы и обращение, а с другой стороны, обрати внимание на все это у Гвискардо: если ты захочешь обсудить без раздражения, то ты его назовешь благороднейшим, а своих дворян—худородными...» Этот намок на измельчание родовой аристократии можно было бы пояснить еще несколькими цитатами из Декамерона, но, удовлетворяясь приведенным, перейдем к тем новеллам, в которых Боккаччио является проповедником рыцарских идеалов—душевного благородства.

Грубость нравов

С точки зрения культурно-исторической эти новеллы интересны во многих отношениях. Они интересны прежде всего тем, что иной раз видят верх совершенства в таком образе действия, который в наше время приличен не герою, а всякому просто порядочному человеку; пять веков прогресса, отделяющие наше время от времени Бокаччио, прошли, стало быть, недаром для нравственного просветления человеческой личности. Так, напр., в X, 6 поэт не умеет достойно восхвалять «доблестного» короля Карла Анжуйского за то, что он, «уже близкий к старости», побывав в гостях у некоего мессера Нери и увлекшись его двумя красавицами-дочками, не похитил их, как думал сделать сначала, а победил свое увлечение доводами совести и выдал обеих девушек замуж, подарив им великолепное приданое. Особенно любопытно заключение новеллы: «Явятся, быть может, такие, — замечает рассказчик, — которые скажут, что для короля было делом маловажным выдать замуж двух девушек, и с этим я соглашусь, но я назову великим и высочайшим делом, что так поступил влюбленный король, мужественно победивший самого себя». Так же горячо рекомендует нам Бокаччио подобное великодушие и в других рыцарях: поистине, была то смутная пора: дикие, эгоистические страсти деспотически овладевали всем существом человека, и если он одолевал их, то считал себя чуть не Геркулесом, умертвившим лернейскую гидру.

Та же варварская общественность рисуется и в других рыцарских новеллах Декамерона. Такова, например, 10-я новелла X дня; вот заглавие этой знаменитой заключительной повести Декамерона, коротко излагающее вся ее содержание: «Маркиз Салуцкий, вынужденный просьбами своих людей жениться, дабы избрать жену по своему желанию, берет за себя дочь одного крестьянина, Гризельду, и, прижив с ней двух детей, уверяет ее, что убил их. Затем, показывая вид, что она ему надоела, и он женился на другой, он велит вернуться своей собственной дочери, будто это его жена, а ту прогнать в одной рубашке. Видя, что она все терпеливо переносит, он возвращает ее в свой дом, любимую более, чем когда-либо, представляет ей уже взрослых детей и почитает ее и велит почитать, как маркизу». В лице Гризельды Бокаччио хотел начертить образ примерной жены, и он достиг своей цели: его Гризельда с нечеловеческою кротостью исполняет все возмутительные приказания своего мужа, но — скажите, кто, кроме дикаря, способен подвергнуть дорогое существо подобному варварскому искусу, от которого вчуже разрывается сердце? Только то общество, которое стоит на первых ступенях умственного и нравственного развития и может потребовать от женщины такого безусловного, противоестественного самоотречения и покорности чужой воле! Не делает маркизу чести его начинание, и хвала Бокаччио, что в начале новеллы он догадался назвать это начинание «безумною глупостью».

Остается отметить еще одну черту, характерную для рыцарских новелл Декамерона, группирующихся главным образом в X дне его. Так как поэт изображает здесь не столько то, что было в действительности, сколько то, что ему желательно было бы привить к ней, то не удивительно, что все здесь выходит преувеличенным и потому неестественным, т. е. исчезает главная прелесть Декамерона, его глубоко-правдивый реализм. Такова, напр., щедрость Натана в новелле X, 3, простирающаяся до того, что он готов отдать жизнь свою тому, кто покусился на нее, лишь бы ни в чем не отказать просящему; таково же и гостеприимство рыцаря Торелло в новелле X, 9, который, встретив трех решительно неизвестных ему путников, приглашает их к себе и, «не по состоянию своему», в течение двух дней чествует

их всевозможными угощениями и подарками, созвав к себе знатнейших представителей города.

Куртуазия

Из всех новелл, рисующих рыцарские идеалы Боккаччио, наиболее удалась ему новелла V, 9, где изображена действительно благородная личность и просветленная ее любовь к женщине. Выписываем заглавие этой изящной повести Декамерона: «Федериги дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживанье все свое имущество, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым». Центральный эпизод новеллы поэт рассказывает в таких исполненных жизни словах:

«Так как Федериги тратился для дамы свыше своих средств, ничего не выгадывая, то вышло, как тому легко случиться, что богатство изсякло, он очутился бедняком, и у него не осталось ничего, кроме маленького поместья, доходом с которого он едва жил, да еще сокола, но сокола из лучших в мире. Вот почему, влюбленный более, чем когда-либо, видя, что не может существовать в городе так, как бы хотел, он отправился в Камни, где находилась его усадьба, в очень близком соседстве от дамы; здесь, когда представлялась возможность, он охотился на птиц и, не прибегая к помощи других, терпеливо переносил свою бедность...

Однажды утром донна Джованна, в сопровождении одной женщины, как бы гуляя, направилась к маленькому домику Федериги и велела вызвать его. Так как время тогда не благоприятствовало охоте, да он не ходил на нее и в прошлые дни, он был в своем огороде, занимаясь кое-какой работой...

Несмотря на то, что бедность Федериги была крайняя, он никогда не сознавал, как бы то следовало, что без всякой меры расточил свои богатства; но в это время, не находя ничего, чем бы мог учествовать навестившую его даму, из-за любви к которой он прежде чествовал безконечное множество людей, он пришел к сознанию; безмерно тревожась, проклиная судьбу, вне себя, он метался туда и сюда, не находя ни денег, ни вещей, которых можно было бы заложить, но так как час был поздний, и велико желание чем-нибудь угостить благородную даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому, но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его дорогой сокол, которого он увидал в своей комнате, сидящим на насести; вследствие чего, недолго думая, он взял его и, найдя его жирным, счел его достойным кушаньем для такой дамы. Итак, не раздумывая более, он свернул ему шею и велел своей служанке посадить его тотчас же, ощипанного и приготовленного, на вертел и старательно изжарить; накрыв стол самыми белыми скатертями, которых у него еще осталось несколько, он с веселым лицом вернулся к даме в сад и сказал, что обед, какой только он был в состоянии устроить для нея, готов. Та, встав с своею спутницей, пошла к столу; не зная, что они едят, она вместе с Федериги, который радушно угощал их, съели прекрасного сокола».

Федериги зарезал для дамы единственного своего сокола, который был его кормильцем и утешителем в бедности и подобного которому было нельзя найти в целом мире,—и сделал это наедине; никто этого не видал и не слышал, и никто бы о том не узнал, если бы он сам не рассказал своей даме о соколе в силу необходимости... Это поступок знаменательный.

Его турниры и праздники, которые он давал в честь дамы и на которые растратил свое имущество, вы могли бы счесть за обычное в рыцарском быту явление: так обыкновенно ухаживают влюбленные рыцари! Но эпизод с соколом блистательно доказывает, что это не прошлое и подчас малоискреннее ухаживанье, а самая теплая и сердечная куртуазия!

Обобщая взгляды Боккаччио на рыцарство, мы можем сказать, что у автора Декамерона рыцарь—джентльмен, благородный человек, не столько по происхождению, сколько по душе, настроенный одинаково хорошо и на великолепном турнире, и в скромном огороде, и в королевском одеянии, и в крестьянском платье, не выставяющий напоказ своих похвальных помыслов, а без крика и громких фраз чувствующий глубоко и искренно.

Свободные профессии

Мы ознакомились с отношениями Боккаччио к двум отживающим сословиям средневекового общества,—к духовенству и рыцарству, к представителям молитвы и битвы,—теперь уясним себе взгляды его на два нарождающиеся сословия нового времени,—на представителей труда умственного и физического, куда принадлежат свободные профессии, купечество, ремесленники, крестьянство.

Клерк Риньери.

Что касается свободных профессий, то на первом плане стоит здесь студент, или клерк, действующий в новелле VIII, 7. Пространная повесть хорошо освещает сочувственное отношение гуманиста-автора к этому молодому представителю научных стремлений того времени. «То был молодой человек, по имени Риньери,—говорить о нем Боккаччио,—из родовитых людей нашего города, долго учившийся в Париже не для того, чтобы продавать потом свою науку по мелочам, как то делают многие, но дабы знать основание и причины сущаго, что очень пристало благородному человеку; он вернулся из Парижа во Флоренцию, где и устроился на житье, будучи очень уважаем как за свое богатство, так и за свои знания». И действительно, клерк Боккаччио—сила внушительных размеров, и с нею нужно быть осторожным: «Если бы у меня не было ни одного пути (чтоб отмстить тебе),—поучает он одну красавицу, сыгравшую с ним недобрую шутку,—у меня все-таки оставалось бы перо, которым я написал бы о тебе такое и так, что если бы ты узнала о том,—а ты узнала бы наверное,—тысячу раз в день пожелала бы не родиться на свет. Могущество пера гораздо больше, чем полагают те, которые не познали его на опыте. Клянусь тебе, я написал бы о тебе такое, что, устыдившись не только других, но и самой себя, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза...» Ловкий при самозащите, клерк чувствует в себе достаточно способностей сделать что-нибудь и для людей: «Из-за тебя,—гордо заявляет он той же особе,—едва не умер порядочный человек, как ты недавно прозвала меня, чья жизнь в один день может принести свету больше пользы, чем жизнь ста тысяч тебе подобных, пока будет стоять свет!» Не удивительно поэтому, что, сравнивая себя с красивыми кавалерами, умевшими блистать только на танцах да на турнирах, студент справедливо отдает себе преимущество: «Вы увлекаетесь молодыми людьми, ибо видите, что при организации более живой и более черных бородах они выступают самодовольно, пляшут и бьются на турнирах; все это проделывали и люди несколько более зрелые, знающие и то, чему тем еще надо поучиться». Вообще от всей фигуры Риньери веет жизнью и самосознанием: видно, что не в его вкусах даваться в обиду, и он надеется со временем извлечь для людей известную пользу из своего

знания «оснований и причин сущаго». Это практическое направление ума итальянского клерка, идущее, конечно, от самого Боккаччио, коммерческого флорентийца, выгодно отличает его от Чосерова студента, которому мы готовы пожелать, чтобы он поменьше изнывал над книгами и побольше заботился о собственной личности.

Отрицательные типы ученых

Боккаччио выводит еще несколько почтенных представителей умственного труда, но, по самому существу новеллы, имевшей главной целью забавлять и смешить читателей, ему нужнее были иные, отрицательные типы. Здесь на первом месте красуются те ученые головы, которые на старости лет решают обзавестись семьей, вводят в свой дом молодых жен и, разумеется, не могут устроить семейного счастья: их старая кость просится на покой, а молодой жене хочется погулять, повеселиться и потешиться (новеллы II, 10; IV, 10)...

Из других отрицательных типов особенно выдается Симоне да Вилла, доктор медицины, ученый простец (новелла VIII, 9): «Как-то мы видим ежедневно,—замечает о нем автор Декамерона,—наши граждане возвращаются к нам из Болоньи кто судьей, кто врачом, кто нотариусом, в длинных и просторных платьях, в пурпуре и беличьих мехах и в другой великолепной видимости, а как отвечает тому дело, и это мы наблюдаем каждый день. Из их числа был некий маэстро Симоне да Вилла, более богатый отцовским достоянием, чем наукой, одетый в пурпур и с большим капюшоном, доктор медицины, как он сам о себе говорил, он недавно вернулся к нам...» и т. д. Над ним проделывают очень забавные (по тому времени) штуки неунывающие флорентийцы, живописцы Бруно и Буффальмакко; между прочим, они вваливают его, «одетаго в пурпур и с большим капюшоном», в помойную яму, но об этих забавных штуках—ниже.

Каландрино и художники

Группу представителей свободных профессий мы закончим характеристикой вольного флорентийского художника, Каландрино.

Каландрино—излюбленный герой итальянской или, точнее, флорентийской новеллы; у Боккаччио он выступает 4 раза (новеллы VIII, 3 и 6; IX, 3 и 5), «так как все, что о нем рассказывается,—замечено по этому поводу в IX, 3,—не может не увеличить веселья», до которого, прибавим мы от себя, были так жадны флорентийцы. Каландрино—типическое воплощение тех сторон человеческого духа, который были антиподом, прямою противоположностью флорентийскому гению и потому казались ему особенно забавными; на такой личности, как Каландрино, флорентиец всего лучше мог проявить характерные свойства своей жизнерадостной природы, и понятно, что всевозможные флорентийские остряки, шутники и потешники, особенно из вольных художников, которые у Боккаччио и являются почти главными представителями свободных профессий,—как мухи к сахару, льнули к Каландрино и уживались подле него. В новелле VIII, 3 поэт так описывает этого любопытного своего героя: «В нашем городе, где всегда были в изобилии и различные обычаи и странные люди, жил еще недавно живописец, по имени Каландрино, человек недалекий и необычных нравов, водившейся большую часть времени с двумя другими живописцами, из которых одного звали Бруно, другого—Буффальмакко, большими потешниками, впрочем, людьми рассудительными и умными, обращавшимися с Каландрино потому, что его обычаи и придурковатость часто доставляли им великую забаву».

Для того, чтобы понять эту любовь флорентийцев к «новому» человеку, в роде Каландрино («новый» человек по-итальянски значит—оригинальный, странный человек, подобно тому, как «новелла» значит необыкновенный, веселый случай),—для того, чтобы—говорим—понять эту любовь, которой не могли задавить аскетические средние века и которая оказывается одними из предвестий эпохи возрождения, необходимо принять в расчет некоторые особенные условия, имевшие места в истории Италии и в частности в истории Флоренции: «Народ предприимчивый, торговый, флорентийцы раньше других усилили свою городскую общину, выработали себе политическую самостоятельность, а демократическая свобода, уравнивая все сословия, рано породила у них и независимый дух критики. Немудрено, что из их среды выходили и придворные шуты и хитроумные дипломаты. Ставя тонкость ума выше всех других способностей, флорентийцы научились рано ловкую интригу, проведенную во всех мельчайших подробностях, требующую глубокого знания людей и обстоятельств, ценить выше всех законов нравственности... Да и откуда им было выработать нравственный идеал? Церковь, с папой во главе, как они видели, была вместилищем великого разврата. Политического объединения тоже не существовало... В Италии развилась, таким образом, сила личности и индивидуализма, в то время как в остальной Европе господствует еще масса, корпорация, целое общество».

Развитие личности, индивидуализм—вот источник той сильной склонности итальянских горожан ко всякого рода остроумным штукам в слове или деле, подчас не совсем нравственным, которою наделил Боккаччио весьма многих из своих героев, и особенно двух, Бруно и Буффальмакко.—Чтобы дать хотя смутное представление о какой-нибудь из этих штук, приводим содержание новеллы VIII, 6. Бруно и Буффальмакко, украв у Каландрино свинью, побуждают его сделать опыт найти ее при помощи сладких пилюль: они де заговорят пилюли, и для того, кто украл свинью, сладкое окажется горче полыни; когда наступает минута испытания, шутники подсовывают Каландрино пилюли, наполненные горчайшим веществом. Выходит так, что похититель он сам, и они заставляют его откупиться, если не желает, чтобы они рассказали о том его жене. Прочитайте эту или подобную ей новеллу,—и вы согласитесь, что людям, разыгрывавшим такие шутки с Каландрино или Симоне да Вилла, не скоро могла прийти в голову мысль насладиться чтением какой-нибудь нравоучительной легенды.

Сущность отношений Боккаччио к свободным профессиям можно формулировать в следующих выражениях: как гуманист, автор Декамерона с сочувствием отзываясь о научных стремлениях людей—«познать основания и причины всего сущаго»—и ждет от этих стремлений великих благ для человечества; но, при своем трезвом образе мыслей и чувствований, он и здесь отмечает темные пятна и ядовито подсмеивается над людьми, которые остаются пустыми, несмотря на свой «пурпур, беличьи меха и другую великолепную видимость», присущую парадному костюму тогдашнего ученаго; кроме того,—чего мы не встретим у Чосера,—Боккаччио, как итальянский гуманист, выводит, на ряду с мыслителями, и несколько художников (с Каландрино во главе), отразивших в своей личности антиаскетическое настроение среды, таких же, как и сам он, веселых реалистов, из которых один, именно Бруно, удачно изобразил «баталию мышей и кошек» на жилище доктора Симоне...

Буржуазия

Посмотрим теперь, какую роль играет буржуазия,—торговцы и ремесленники,—в сто-

актной комедии Боккаччио, именуемой Декамероном.

В общем очерке средневекового поэтического творчества было указано на то, что здесь, рядом с идеализмом монахов и рыцарей, дает себя чувствовать реально-комическое отношение буржуазных и вообще народных классов к жизни; в заметке о Каландрино было также указано и на то, почему это реально-комическое отношение к жизни особенно привилось в Италии или, точнее, во Флоренции; наконец, нам известно из предыдущего, что Боккаччио, сын флорентийского купца, человек весьма подвижного, живого и горячего темперамента, естественно, должен был сочувственно отозваться на это реально-комическое изображение жизни. Отсюда и возник Декамерон. Таким образом, буржуазным и вообще низшим слоям средневекового общества Боккаччио обязан тем жизнерадостным настроением, которое иронически смотрело на аскетические и сентиментальные порывы духовенства и рыцарства и послужило точкой отправления для зачинавшегося гуманизма и возрождения. Этому настроению Боккаччио сочувствует и затем остается совершенно безпристрастным судьей буржуазных классов, каким он был в отношении других явлений средневековой культуры, и с одинаковою верностью отражает в своем Декамероне как положительные, так и отрицательные качества этих классов.

Простоватость Лоттеринги

Для образца последних, т. е. отрицательных, качеств—вот характеристика Джьянни Лоттеринги из новеллы VII, 1: «Жил когда-то во Флоренции, в улице св. Бранкацио, один прядильщик, по имени Джьянни Лоттеринги, человек более искусный в своем деле, чем разумный в других, ибо он был недалекий; часто выбирали его старшиной духовного братства Санта Мария Новелла, упражнениями которого он должен был руководить, и много подобных местечек он нередко занимал, что заставляло его возомнить о себе; а доставлялись они ему потому, что, как человек состоятельный, он часто задавал монахам хорошие угощения. А за то, что один у него выманивал порою носки, этот капюшон, тот наплечник, они научали его хорошим молитвам, дарили ему «Отче наш» на итальянском языке, стих о св. Алексее, плач св. Бернарда, похвалу донне Матильде и другие подобные вещи, которые он все старательно хранил...»

Если в этом отрывке за буржуа ухаживает духовенство,—в новелле VI, 2 мы видим почтенного представителя буржуазии в столь же знаменательном столкновении со знатью. Новелла эта носит заглавие: «Хлебник Чисти вразумляет одним словом мессера Джери Спина, обратившегося к нему с нескромною просьбой». Она открывается очень любопытным вступлением: «Прекрасным дамы,—начинает рассказчица,—я сама по себе не умею решить, кто более погрешает, природа ли, уговоряя благородной душе презренное тело, или судьба, доставляя телу, одаренному благородною душой, низменное ремесло, как то мы могли видеть на Чисти, нашем согражданине, и еще на многих других. Этого Чисти, обладавшего высоким духом, судьба сделала хлебником. И я, наверно, прокляла бы одинаково и природу и судьбу, если бы не знала, что природа мудра, а у фортуны тысяча глаз, хотя глупцы и изображают ее слепой. Я полагаю, что, будучи многомудрыми, оне поступают, как часто делают смертные люди, которые, при неизвестности будущего, хоронят для своих надобностей самый дорогая свои вещи в самых невидных местах своего дома, как менее возбуждающих подозрения, но извлекают их оттуда в случае большой нужды; ибо невидное место сохранит их вернее, чем сделала бы то прекрасная комната. Так и обе прислужницы

света скрывают свои наиболее дорогие предметы под сенью ремесл, почитаемых самыми низкими, дабы тем ярче проявился их блеск, когда оне извлекут их оттуда, когда нужно».

Сам по себе анекдот этой новеллы не представляет интереса, но интересна та бытовая рамка, в которую он вставлен и которую мы извлечем из новеллы: «У хлебника Чисти была своя пекарня и он сам занимался своим ремеслом. Хотя судьба уделила ему ремесло очень низменное, тем не менее так ему в нем благоприятствовала, что он стал богачом, но, ни за что не желая переменить его на какое-нибудь другое, жил очень роскошно, держа, в числе прочих хороших вещей, лучшие белые и красные вина, какие только находились во Флоренции или в окрестности. Видя, что мессер Джери и папские послы всякое утро проходят мимо его двери, а жар стоял большой, он подумал, что было бы очень радушно с его стороны дать им напиться его белого вина; но, сравнивая свое положение с положением мессера Джери, полагал, что будет неприлично, если он отважится пригласить его, и он приискал способ, который бы побудил мессера Джери попроситься самому. В белоснежной куртке, всегда в чисто выстиранном переднике, дававшем ему вид скорее мельника, чем пекаря, каждое утро, в час, когда, по его соображениям, должен был проходить мессер Джери с посланниками, он приказывал ставить перед дверью новенькое луженое ведро с холодной водой, небольшой болонский кувшин своего хорошего белого вина и два стакана, казавшиеся серебряными: так они блестели; усевшись, когда они проходили, и сплюнув раз или два, он принимался пить свое вино, да так вкусно, что у мертвых возбудил бы к нему охоту. Увидев это раз и два утром, мессер Джери спросил на третье: «Ну, каково оно, Чисти, хорошо ли?» Чисти, тотчас же встав, ответил: «Да, мессере, но насколько, этого я не могу дать вам понять, если вы сами не отведаете». У мессера Джери, от погоды ли, или от того, что он устал более обыкновенного, либо заманило его, как пил Чисти, явилась жажда; обратившись к посланниками, он сказали, улыбаясь: «Господа, хорошо бы нам отведать вина у этого почтенного человека; может быть, оно такое, что мы не раскаемся». И он вместе с ними направился к Чисти; тот велел вытащить из пекарни хорошую лавку и попросил их сесть, а их слугам, подошедшим выполоскать стаканы, сказал: «Ступайте себе, братцы, дайте сделать это мне, потому что наливать я умею не хуже, чем ставить хлебы; и не думайте, чтобы вам удалось отведать хоть капельку». Так сказав, он сам выполоскал четыре хороших новых стакана, велел принести небольшой кувшинчик своего доброго вина и стал прилежно наливать мессеру Джери с товарищами. Вино показалось им таким, что лучше его они давно не пивали, потому что очень расхвалили его, и пока оставались там посланники, почти каждый день мессер Джери ходил с ними пить.

Когда они покончили свои дела и готовились к отъезду, мессер Джери устроил великолепный пир, на который, приглашая нескольких из наиболее именитых граждан, велел позвать и Чисти, который ни под каким условием не захотел пойти,—но в ответ на эту любезность—прислал в дом мессера Джери целый боченок понравившегося ему вина.

Мессер Джери очень охотно принял подарок Чисти, воздал ему благодарность, какая ему показалась приличной, и с тех пор всегда считал его человеком достойным и своим приятелем.

«Разсказец этот,—замечает один критик Декамерона,—как прекрасная жанровая картинка из быта средневековой общины, проливает яркий свет на общественные отношения

того времени: мы видим тут и богатство ея горожан, не боящихся труда, и их отношение к властям, к высшему сословию,—хлебник не отваживается предложить вина благородным людям, а знатный дворянин не может не видеть усиливающегося значения буржуазии и приглашает ремесленников на обед в честь высоких посланников. В этом анекдоте живо чувствуется сила того общества, которое поднимает могущество своих ремесленных и купеческих фамилий так высоко, что пройдет несколько времени, и эти фамилии сделаются банкирами и будут, как Медичи, держать в своих руках судьбы европейской политики... Нельзя не сознаться, что рассказчик был и великий поэт, если в его незатейливом анекдоте так живо возникает физиономия города, так рельефно выделяется характеристическая фигура зажиточного ремесленника,—хлебник себе на уме, знает, как поддеть великих мира сего, знает, как думать и об их прислуге, понимает себе цену, но видит и свое место в лестнице общественной иерархии».

Из приведенных фактов видно, что отношения поэта к буржуазии столь же просты, как и отношения его к рыцарству: никакое низкое ремесло не скроет от него благородства души человеческой, точно так же, как никакое знатное происхождение не заменит для него этого благородства, если его не будет у рыцаря.

Остается сказать о Декамероне еще несколько слов, резюмирующих все сказанное о нем.

Заключение о Боккаччио

Подчиняясь влечениям собственной природы и окружавшей его среды, Боккаччио примкнул к тому течению средневековой мысли, которое шло от буржуазных и вообще низших слоев тогдашнего общества и своим светским, реально-комическим характером составляло противовес религиозному, идеально-энтузиастическому настроению эпохи. Это настроение, полагавшее конечною целью всякой деятельности распространение правой веры с мечом в руке и воспитавшее сословия монахов и рыцарей с их мистицизмом, символикой и аллегорией,—не трогало Боккаччио, и он не чувствовал желания приносить свою личность в жертву общим принципам. Это был червь земли, не сын небес, по самой природе своей,—и притом червь земли итальянской и в частности флорентийской, умевшей ценить житейские удобства; понятно, что, в противоположность средним векам, презиравшим плоть, он представляет себе человека только как гармонию души и тела и требует, чтобы душа была благородна, а тело здорово, т. е. чтобы душа не культивировалась на счет тела, а тело—на счет души. И выше этой гармонии, этой общей всем нам основы человеческого типа, Боккаччио ничего не знает; только к ней он стремится сам и только ее проповедует другим; читая его Декамерон, мы можем сказать о нем, что это человек, т. е. существо, одаренное известными умственными и физическими потребностями и не чувствующее симпатии развелись к односторонним представителям аскетизма, а в остальном автор Декамерона стоит выше всяких сословных интересов и симпатий и с одинаковым безпристрастием отмечает как сильные, так и слабые стороны различных классов средневекового общества. Он смеется над монахами, если они нравственно распускаются и стараются прикрыть свою распущенность маской лицемерия; он смеется над рыцарством, если оно обращается в аристократическую касту, предпочитающую знатное происхождение душевному благородству; он смеется над учеными медиками и юристами, если они поглотили ученость, не жевавши ея, и остались такими же простецами, какими были бы и без учености; он смеется над разбога-

тевшими буржуа, если они, несмотря на счастливое обогащение свое, представляют из себя глупый кошель, в который может запустить руку первый наткнувшийся на него прохожий; но тот же Боккаччио способен глубоко уважать истинных пастырей церкви, поучающих паству делом, а не словами: способен тепло обрисовать рыцарскую куртуазию, как форму облагороженной общественности; способен оценить достойных представителей научных стремлений и дать почувствовать их нравственную силу; способен за низким ремеслом булочника открыть высокую душу... Словом, всюду веет в Декамероне здравый смысл человека, тот смысл, который людям XIV и XV столетий не позволил удовлетвориться порядками, существовавшими в средние века, а заставил их и самого Боккаччио прежде всех искать иных путей и—направил к античному миру: веселых реалистов превратил в ученых гуманистов.

III. Кентерберийские рассказы Чосера

Сравнение Кентерберийских рассказов с Декамероном

Переходим к Чосеру. Несомненно, что его Кентерберийские рассказы (около 1393 года) возникли под влиянием Декамерона Боккаччио. Сравнивая между собою эти два поэтические произведения, мы замечаем прежде всего, что в общем великое английское произведение сохранило ту же здравость и широту мирозерцания, которую мы наблюдали у Боккаччио и которая так свойственна литературе фавлю; однако в частности, более или менее крупных, оказываются перемены, и главная из них та, что гуманистическая оппозиция итальянского поэта против современного ему духовенства решительно сменяется оппозицией протестантской: оппозиция во имя свободного удовлетворения всех естественных потребностей человека сменяется оппозицией во имя чистоты первоначальной христианской общины. Северная нация, и притом германская, не то, что нация южная, и притом романская; северянин—не жизнерадостный художник, подобно южанину, а строгий моралист. Это относительно содержания; что же касается формы, приемов поэтического творчества, то реализм Чосера выше, свободнее и глубже реализма Боккаччио: здесь мы впервые встречаемся с тем широким и вольным изображением характеров, с тем умением создавать живых людей, которое является также типическою особенностью поэзии англичан и в области которого недостижимое мастерство обнаружил бессмертный Шекспир. После этого общего замечания о тех видоизменениях, которые должен был претерпеть Декамерон, переходя на английскую почву, приступим к подробному анализу Кентерберийских рассказов.

Общий пролог рассказов

Свои размышления о Декамероне Боккаччио мы начали с указания на реальное изображение Черной смерти на первых страницах его. Таким же реализмом, но только в несравненно большей степени, веет и от первых страниц Кентерберийских рассказов. Здесь мы находим так называемый Общий пролог, в котором поэт знакомит нас с действующими лицами своих рассказов: это—тридцать человек, собравшихся в апреле месяце в гостинице под вывеской Гарольдова плаща, или, по-английски, Табарда, в предместье Лондона, Сутверке,—собравшихся с тем, чтобы отправиться на богомолье в Кентерберийский собор, где покоились мощи св. муч. Фомы Бекета.

Положительно не знаешь, чему здесь более удивляться,—глубокому ли Чосерову знанию людей или той ловкости, с которою поэт передает нам эти знания наглядно. Характеристики Общего пролога разрешают одну из труднейших задач искусства: оне индивидуальны и типичны в то же время; с одной стороны, каждая из них производит на нас впечатление конкретной, живой личности, а с другой, представляет целый класс лиц, и так как оне связывают изображение внешнего явления с такими особенностями человеческого духа, которые остаются неизменными во все времена, хоть и под другими формами, то мы невольно переносимся в ту среду, обрисовка которой составляет ближайшую задачу поэта. Мы сразу понимаем дух этой среды и понимаем лучше, чем при посредстве длинных исторических исследований. Мы чувствуем себя в обществе рыцаря и настоятельницы, нищенствующего монаха и продавца индульгенций, как в обществе своих старых знакомых, как будто мы видим их ежедневно, как будто видели их только вчера.

Но манерой реалистического творчества не исчерпывается вся ценность Общего пролога; помимо того, в прологе сам поэт рисуется могучею личностью, вполне развившеюся индивидуальностью, которая сумела подняться над окружавшей ее средой и обозреть всю картину, так сказать, с высоты птичьего полета. Чосер говорит о средних веках так же объективно, как может говорить о них только человек, удаленный на целые столетия от этой эпохи. Он подмечает все важнейшие течения средневековой жизни и спокойно анализирует их, как анатом тот или другой организм: очевидно он господствует над этими явлениями. Присмотримся к ним и мы.

Феодальные отношения. Рыцарь.

Чосер начинает с рыцаря, главного представителя феодальных отношений.

В числе богомольцев был рыцарь, достойный человек,
 Который с того времени, как впервые начал
 Выезжать на бой, полюбил рыцарство,
 Правду и честь, свободу и великодушие (courtoisie);
 Доблестен он был в войске своего сюзерена,
 И никто не ездal далее его
 Как в христианских, так и в языческих землях,
 И все его уважали за его достоинства.
 Он был под Александрией, когда ее брали,
 Весьма часто занимал он на банкетах почетное место
 Перед рыцарями всех наций в Пруссии.
 Он воевал в Литве и России
 Чаше, чем кто-либо из крещеных людей его достоинства.
 Он был также в Гренаде, при осаде
 Альджезира, и сражался в Бельмарине.
 Он находился под Лейпсом и Сатталией,
 При взятии их; и на Великом море
 Он бывал во многих знаменитых опасностях.
 Он участвовал в пятидесяти кровопролитных сражениях
 И бился за нашу веру при Трамедине
 Трижды на поединке и убил своего противника;
 Этот действительно достойный рыцарь ходил также
 Некогда с владельцем Полатии
 Против другого язычника в Турции;
 И всегда он считался первым.

Сколько он был храбр, столько же и благоразумен;
И в своем обхождении был кроток, как девица.
Он даже никогда во всю свою жизнь
Ни одному человеку не сказал бранного слова.
Он был совершенно благородный рыцарь.
Что же касается его экипировки,
То конь его был добрый, но не нарядный,
А бумазейный костюм был совсем истерт латами,
Потому что рыцарь незадолго перед тем возвратился из похода
И отправился на богомолье. (Стихи 42—78).

Не легко исчерпать все содержание этой характеристики, образцовой по полноте своей и законченности: потребовался бы обширный культурно-исторический комментарий для того, чтобы раскрыть все богатое содержание этих стихов и приобщиться к той жизни, которую веет от них. Отметим лишь существенное. Характеристика распадается на три части, из коих первая рисует браннолюбивый дух рыцаря, вторая—его джентльменство, куртуазию, и третья—его скромную внешность. Трудно найти более сжатый и более полный рассказ о рыцарских доблестях, чем написанный Чосером в первых стихах приведенной цитаты: нельзя не чувствовать, что написать его можно было лишь в ту эпоху, в которую жили Черный Принц, сэр Вальтер Манни и тысячи других паладинов, отличившихся при Креси и Пуатье,—в ту эпоху, когда крестовые походы, можно сказать, не прерывались в Европе, Азии и Африке, где только христиане приходили в соприкосновение с магометанами. В следующих стихах Чосер рисует джентльменство своего героя: это—не грубый воитель, старающийся обогатиться на чужой счет, но благородный энтузиаст, поднимающий меч во имя господствующего принципа эпохи и носящий в груди своей глубокия и горячия чувства. Характеристика заключается изображением скромной внешности рыцаря, которая так правдиво гармонирует с его внутренним настроением: он едет на своем боевом коне не в роскошном, фантастическом одеянии, которое тогда носили в мирное время, но в простом военном платье из грубой материи со следами трения и ржавчины от кирасы. Два последние стиха, как итог всей характеристики, положительно безподобны: степенный, глубоко-набожный, как все люди, которые, по образу своей жизни, постоянно подвергаются опасности, рыцарь посвящает первый минуты по возвращении в Англию—благодарности Промыслу за спасение свое на войне.

Оруженосец

Боккаччио показал нам своего рыцаря, Федерико дельи Альбериги, в момент его служения даме; рыцарь Чосера уже пережил этот период: он—супруг и отец, едет на богомолье в сопровождении своего двадцатилетнего сына, и от всей фигуры его веет почти монашеской религиозностью. Служение даме Чосер сдал другому представителю феодальной культуры, — молодому сыну нашего рыцаря и его же воспитаннику в бранном деле,—оруженосцу, как называли тогда юношу, помогавшагося рыцарского достоинства. Характеристика этого оруженосца оказывается понятной при самом легком знакомстве с средними веками, бросая яркие лучи света на ту сферу, от которой она сама получает освещение, и мы приводим ее всю, подобно предыдущей: атлетическая сила и ловкость юноши того времени, его блестящий наряд, его поэтическое настроение и совершенство в искусствах, особенно в музыке и пении, все это живьем вырисовывается пред нами в стихах Чосера, и в общем получается молодой, кипящий физической мощью человек, которого еще не коснулось серьезное ум-

ственное развитие.

С рыцарем был его сын, молодой оруженосец,
Влюбленный и веселый юноша,
С вьющимися локонами, словно они вышли из-под прессы.
Ему было 20 лет, я полагаю.
Он был довольно высокого роста,
Удивительно ловок и весьма силен.
Он уже несколько раз побывал в походах
Во Фландрии, Артуа и Пикардии,
И отличился в столь короткое время,
В надежде заслужить благосклонность своей дамы.
Платье его было вышито, словно луг,
Полный свежих цветов, белых и алых.
Он целый день пел и играл на флейте,
И был свеж, как месяц май.
Платье на нем было короткое, с широкими и длинными рукавами.
Он сидел на лошади молодцом и ловко правил,
Умел складывать песни и сказывать сказки,
Сражаться на турнире, плясать и хорошо рисовать и писать.
Он так горячо любил, что в ночное время
Спал не более, чем спал соловей.
Он был вежлив, почтителен и услужлив,
И за столом разрезывал жаркое перед своим отцом. (Ст. 79—100).

Йомен

Не останавливаясь на разъяснении мелких штрихов этого портрета, перейдем к третьему представителю феодальных отношений у Чосера: это следующий за рыцарем в качестве слуги «йомен, лично свободный хлебопашец, или мелкопоместный владетель, который обрабатывал свою собственную маленькую пашню и обязан был по феодальному праву, на основании которого он владел землей, отправлять в хозяйстве своего сюзерена различные должности второстепенного характера и сопровождать его на войну,—сословие людей, принадлежавшее только Англии и не имевшее ничего себе подобного ни во Франции, ни в Италии, ни во Фландрии, ни в Германии. Из этого именно мужественного и сильного сословия свободных йоменов выходили те храбрые стрелки, которые, хотя подчинялись феодальному закону настолько, чтобы следовать за знаменем своего сюзерена, однако, пользовались гораздо большею политической свободой, нежели несчастная чернь, которую выгоняли копьями, чтобы, не прибавляя действительной силы, увеличить численность блестящего французского войска; присутствием этих храбрых стрелков в войсках Эдуарда III и Генриха V и следует объяснять почти баснословные победы, в которых часто английское войско, несравненно меньшее числом, разбивало в прах цвет французского рыцарства».

Рыцарь имел при себе йомена, и не было при нем другого слуги
На ту пору, потому что ему так заблагорассудилось выехать.
Йомен был одет в зеленый кафтан с капюшоном,
Он бережно нес за своим кушаком
Связку блестящих и острых стрел с павлиньими перьями.
Он чисто по-йоменски обходился с своим оружием:
На стрелах его перья никогда не обвисали;
В руках же он нес могучий лук.
Голова его была словно орех, а лицо загорелое.

Он хорошо знал все обычаи лесной охоты.
На руке он имел нарядный щиток,
При бедре с одной стороны—меч и щит,
А с другой—нарядный кинжал,
Хорошо содержимый и острый, как конец копья;
Серебряный Христофор блеснул на груди его.
Он имел рог на зеленой перевязи
И был, как я думаю, превосходный охотник. (Ст. 100—118.)

В Чосеровской критике мы находим прекрасный комментарий к главнейшему стиху этой цитаты? «В руках же он нес могучий лук»... Каждое слово этого стиха не только поражает своею живописностью, но и с исторической точки зрения любопытно и знаменательно. «Лук, бывший в употреблении у англичан и собственно называвшийся длинным луком, был совершенно иной и несравненно страшнее, чем лук генуэзцев и испанцев, самых знаменитых стрелков в средние века на материке Европы, хотя значительно уступавших в этом отношении англичанам: испанский и итальянский лук в сравнении с знаменитым длинным луком английских йоменов походит на детскую игрушку... Английский лук делали соразмерно росту стрелка, для которого он назначался, но всегда, по крайней мере, на один фут выше; вследствие чего лук этот нельзя было носить иначе, как в руке. Он приготовлялся английскими мастерами из ивы, самого крепкого и упругого дерева, лучший сорт которого привозили из Испании, и это составляло предмет весьма значительной торговли. Употреблять с пользою этот лук, имевший крепость и упругость, пропорциональную длине, мог только человек, с раннего детства развивший и укрепивший постоянными упражнениями свою природную силу. Этим объясняется происхождение бесчисленных законов и королевских повелений, предписывавших жителям городов и сел постоянное употребление лука и стрельбу в цель, каждое воскресенье и каждый праздник, после богослужения, во всех приходах Англии. И столь поразительно было следствие постоянного занятия стрельбою в цель, что, по словам одного старинного летописца, нельзя было не отличить стрелка от другого человека, на самом далеком расстоянии, по чрезмерному развитию мускулов правой руки и плеча. Величина стрелы необходимо была пропорциональна длине лука и равнялась трем футам. Что действие этого страшного орудия соответствовало его длине и силе, разумеется само собою. Фруассар, напр., рассказывает, что видел французского рыцаря в полном вооружении из лучшей закаленной стали совершенно простреленного английскою стрелою, которая поэтому должна была пробить двойные латы,—вероятно, и кольчугу,—и, сверх того, сразить туловище человека»...

Франклин

Живая группа, состоящая из рыцаря, его сына—оруженосца и их слуги, йомена, и введенная Чосером в первых 120 стихах Общего пролога, характеризует военную, публичную, показную сторону средневековой аристократии, но от всеобъемлющего взгляда великого художника не ускользнула и другая ее сторона,—мирная, домашняя, обыденная жизнь этой аристократии,—и он находит среди богомольцев, собравшихся в гостинице Табарда,—франклина, богатого поземельного собственника, имения которого были свободны от налогов и военной службы, лежавших на землях, владеемых по феодальному праву.

В этой компании был помещик.
Борода его была белая, как маргаритка;

Он был сангвинического темперамента.
Он очень любил по утрам сухари в вине.
Все его желание заключалось в том, чтобы жить весело,
Ибо он был родной сын Эпикура,
Который утверждал, что наслаждения
Составляют действительно высочайшее благо.
Он был хлебосол и даже большой,
Можно сказать, св. Юлиан своей страны;
У него хлеб и эль были всегда наготове;
И нигде не было человека с лучшими запасами вина.
Его дом никогда не оставался без пирога
Из мяса или рыбы, и все было в таком обилии,
Что в его доме было разливное море питой и кушаний
И всех лакомств, какие только можно себе представить.
По временам года он изменял свой обед и ужин.
Его птичники были наполнены жирными куропатками,
А садки многими карпами и щуками.
Горе было его повару, если соус не был
Пикантен и вкусен, и если что-нибудь не было готово.
Большой стол в его зале всегда
Был накрыт в течение целого дня.
В местных собраниях он господствовал.
Весьма часто он был избираем депутатом в Нижнюю палату от своего графства.
Охотничий нож и весь шелковый патронташ,
Белый, как парное молоко, висели у него на поясе.
Он был шерифом и казначеем.
Нигде не было столь славного помещика. (Ст. 333—362.)

Какая прелестная бытовая картинка! Мы живо чувствуем здесь деятельного, подвижного, неутомимого англичанина: в нем кровь кипит, и он не видит греха в том, чтобы хорошо самому поесть и попить, да и других угостить; зато он на славу поработает в палате депутатов или в зале суда. Нужно понять глубокую противоположность между этим эпикурейски настроенным гражданским деятелем и набожным воином, рыцарем начальных стихов пролога! И однако оба эти явления оказались доступны художнической думе Чосера,—и он с одинаковою любовью принял их на страницы своей бессмертной поэмы. Кто прочитал гениальное произведение английского поэта, тот уже достаточно гарантирован против односторонних взглядов на средние века.

Духовенство

Это чисто-художническое отношение Чосера к жизни, эта способность его наслаждаться простым и спокойным созерцанием действительности (способность, знаменующая собой важный прогресс в эстетическом и умственном развитии западно-европейского человека) еще более проявляется в тех местах Общего пролога, где у него заходит речь о духовенстве; он не только рисует здесь отрицательные типы, увлекаясь реформационной сатирой, но и просто—как художник—подходит к явлению и отражает его, предоставляя ему быть так, как оно есть в серенькой действительности. Вследствие этого и характеристика духовенства у Чосера оставляет по себе ту же полноту впечатления, которую мы испытали, знакомясь с его рыцарством и которой мы тщетно стали бы искать у новеллиста Боккаччио, имеющего предвзятую точку зрения на окружающее. Остановимся сначала на таком именно зауряд-

ном явлении, изображение которого не возбуждает в душе нашей никаких страстей, а лишь преисполняет ее высокого эстетического наслаждения. Это—игуменья, настоятельница монастыря, мать Эглантина.

Настоятельница монастыря

С нами была также монахиня, игуменья,
Улыбка которой была полна простоты и робости;
Величайшая ее божба была: «клянусь св. Элоа!»
Ее звали госпожой Эглантиной.
Отлично она пела божественную службу
Весьма приятным носовым тоном;
По-французски она говорила весьма правильно и изысканно,
Как обучали в Стратфорде при Луке;
Парижское же наречие было ей неизвестно.
За обедом высказывалось ее хорошее воспитание:
Она не роняла кусков изо рта
И не слишком пачкала пальцев своих в соусе;
Ловко умела подносить ко рту куски и весьма остерегалась,
Чтобы ни одна капля не упала ей на грудь.
Она находила величайшее удовольствие в хороших манерах:
Так часто вытирала свои губы,
Что на ее кубке не оставалось и в четверть пении
Жира, когда она переставали пить;
С приличием брала себе кушанье
И подлинно держала себя с большим достоинством;
Она была весьма приятна и любезна в обращении
И старалась подражать приемам
Придворных, сохранять важность в движениях
И обращать на себя внимание.
Что же касается ее характера,
То она была так сердобольна и жалостлива,
Что заплакала бы, увидав мышь,
Попавшую в ловушку, мертвую или раненою.
Она держала маленьких собачек, которых кормила
Жареным, молоком и белым хлебом,
И горько плакала, когда одна из них околевала,
Или когда кто-нибудь ударяла их палкою.
Во всем проглядывало совестливое и нежное сердце.
Очень мило было сплоснуто ее покрывало;
Нос у ней был прямой, глаза серые, как стекло;
Рот весьма маленький и к тому же с мягкими и алыми губами;
А лоб, подлинно прекрасный,
Был, я думаю, почти в две ладони;
Вообще она была красиво сложена.
Сколько я заметил, ее плащ был очень изящен.
На руке у нея висели из мелкого коралла
Четки, украшенный зеленою эмалью;
К ним был приделан золотой, блестящей фермуар,
На котором было вырезано: вверху А под короной,
А внизу: Amor vincit omnia. (Ст. 118—162.)

Поистине замечательны творческие способности Чосера, его умение из малого создать столь многое. Какие-нибудь 40—50 стихов,—и перед нами живая личность, очерченная с

головы до ног, и с внешней стороны, и с внутренней; и все это так просто, так незамысловато и безхитростно. Кто не понимает, прочитавши эти стихи Чосера, что мать Эглантина старается совместить в себе большую барыню и монахиню? Ея характер и наружность представляют смешение утонченного светского и модного жеманства со степенною монастырскою простотою, мастерское соединение чопорных, аристократических претензий с полутрогательною, полусмешною чувствительностью старой девы и монахини. Таково целое, и столько же самого высокого реализма в деталях его: эта мягкость речи и манеры игуменьи, преобладание носовых нот в ея пении, ея испорченный французский язык, ея чувствительность, которая, за отсутствием действительных забот жизни, создает себе мелочные предлоги, все это дышит неподражаемым реализмом. А ея внешность!.. Прямой нос, серые глаза, маленький рот, мягкие и алые губы, широкий лоб... Нужно быть совершенно лишенным воображения, чтобы, читая подобное описание, не воскликнуть: да я ее вижу живую!

В обстоятельных комментариях к Чосеру мы встретили любопытную заметку о стихах: «за обедом выказывалось ея хорошее воспитание» и пр. Для правильного представления о средневековой культуре эта заметка может оказаться не лишнею, и мы закончим ею характеристику матери Эглантины. «В ту эпоху, когда изобретения вилок приходилось ждать еще несколько веков, и пальцы были единственным орудием для препровождения неуклюжих кусков в рот пирующего, когда кухонное искусство находилось в примитивном состоянии, когда подавали огромные миски с жирным супом и громадные блюда жареной говядины или даже целых кабанов обносили вокруг стола на вертеле, с которого каждый сам мог отрезать себе ножом или кинжалом любую часть, в такую эпоху, очевидно, ничем так не мог отличаться образованный гость от невежды, как относительно чистоплотностью и утонченностью своих приемов за столом». Мы видели, каковы были эти приемы у госпожи Эглантины.

Как ни снисходительно смотрит Чосер на монахиню,—с точки зрения аскетического идеала, она стоит на ложном пути: в ней так много мирского и даже двусмысленного (*Amor vincit omnia!*); но это—безобидная личность, и Чосер хорошо сделал, что поберег свое негодование для фактов более значительных; и в таких у него не было недостатка. Уже из Декамерона Боккаччио нам известно, что к концу средних веков монахи постепенно забыли суровые заветы своих учителей и, пренебрегая душою, стали расточать на земные наслаждения те богатства, которые скопились у них в руках за время их долгаго воздержания. В результате получилась полная нравственная распущенность... И Чосер оказал немаловажные услуги делу западноевропейской реформации, подобно Боккаччио и другим, смело преследуя своей сатирой различные злоупотребления служителей церкви и обостряя в обществе потребность реформы, и без того острую. Когда читаешь его Кентерберийские рассказы, становится понятным появление Уиклиффа.

Бенедиктинец

Об отношениях Чосера к знаменитому оксфордскому протестанту будет сказано ниже, а теперь займемся двумя наименее отрицательными представителями современного Чосеру духовенства:

Тут был монах, настоящий молодчина,
Ездок и любитель охоты,
Такой здоровый, что годился в аббаты.

Много щегольских лошадей стояло у него в конюшне.
И когда он выезжал, то раздавалось бренчанье его узды,
При дуновении ветра, так звонко
И так громко, как колокол часовни
Того монастыря, в котором этот лорд имел келью.
Так как устав св. Мавра и св. Бенедикта
Устарел и был слишком строг,
То этот бравый монах оставлял в покое старину
И шел по следам новейшего света.
Он не ценил более ощипанной курицы тот текст,
Где сказано, что охотники—не святые люди
И что монах вне келии
Уподоблялся рыбе вне воды.
Этот текст, по его мнению, не стоит устрицы.
И я говорю, что он был прав.
Для чего стал бы он ломать себе голову,
Впиваясь постоянно в своей кельи в книгу,
Или работать руками и трудиться,
Как предписывал Августин? Кто заботился бы о мирском?
Пусть Августин себе трудится...
Поэтому наш монах и был настоящим наездником.
У него были борзые, быстрые, как птица на лету:
В охоте и травле зайца
Поставлял он все свое удовольствие, для которого не щадил издержек.
Я видел его рукава, по краям опущенные
Белкой, и притом самой лучшей в целом крае.
Чтобы застегивать капюшон у подбородка,
Он употреблял золотую, искусной работы, булавку.
Головка которой изображала обнявшуюся парочку.
Голова его была выбрита и блестела, как стекло;
Также блестело лицо его, словно чем вымазанное.
Это был барин толстый и жирный.
Глаза его заплыли и быстро бегали в его голове,
Дымящейся, будто печь для плавления свинца.
Его сапоги были гибкие, его лошадь в хорошем теле,
Подлинно был он великолепный прелат.
Он не был бледен и истощен, как привиденье.
Из всех жарких он предпочитал жирного лебедя.
Его лошадь была темнокарая. (Ст. 165—207).

Это место Общего пролога не может быть лучше пояснено, как ссылкой на те цитаты из Декамерона, которые были приведены выше: на разных полюсах земного шара глас лучших людей XIV века свидетельствовал о том, что монашеский идеал перестал осуществляться даже в монастырях, и что на месте его водворилась мерзость запустения. Бенедиктинец Чосера погряз в тех же чувственных наслаждениях, на которые указывал и Боккаччио. Ни умственный, ни физический труд не пленяют его, и он не живет в своей келии, а только «имеет» ее, по остроумному выражению поэта: ему нечего там думать, его удовольствия вовсе не келейного характера: его удовольствия—грубы, как средние века (чревоугодие), его развлечения—жестоки, как средние века (охота). Наружность бенедиктинца должна быть наглядным обличием его образа жизни, и Чосер действительно умеет изобразить ее: если даровитый поэт удивляет нас так часто глубиной своего психологического анализа, которому положительно нет места в XIV столетии, то о достоинстве его изображе-

ний внешности предметов говорить не приходится.

Нищенствующий монах

Средневековая церковь, неистощимая в изобретении средств пропаганды своего влияния, создала ордена нищенствующих монахов... В 1224 году небольшая кучка францисканцев высадилась на берег Англии в Дувре и направилась к столице. Различаясь между собой по национальности, эти итальянцы, французы, англичане во всем остальном были подобны друг другу: никто из них не имел иной собственности, кроме клобука, рясы из толстой серой материи, которою они прикрывали свою наготу, да веревки, которая опоясывала чресла их. Самое большее—они носили при себе еще молитвенник и письменные принадлежности. В буквальном смысле слова нищие, приступили они к тому делу, которое было на них возложено. О низших классах городского населения духовенство до сих пор, можно сказать, совсем не заботилось. Монастыри ютились на сельской территории подле замков и поместий, а городские церкви стояли всего ближе к зажиточной буржуазии. На поддержку бедных горожан и пролетариев, количество которых особенно быстро возрастало в торговых и приморских городах, и выступила нищенствующая братия. В узких, грязных, нездоровых улицах этих городов население непрерывно страдало от голода, нечистот, повальных болезней, всевозможных пороков и преступлений. Со всеми этими врагами человеческого рода хотели смело вступить в бой францисканцы, старались путем отречения от всех земных благ поставить себя на один уровень с бедным городским людом, внушить ему доверие к себе и делить с ним все превратности его безрадостной жизни. Так было в начале XIII века; теперь посмотрим, как было в конце XIV века.

Там был другой монах, нищенствующий, весельчак и остряк,
Впрочем (где нужно) вполне степенный муж.
Во всех 4 орденах не оказывалось никого, кто бы мог
Говорить так прекрасно и забавно;
Для всего ордена он был большою поддержкой.
Он был любим и дружески принят
У помещиков целой страны
И достопочтенных городских женщин;
Ибо имел большее право исповедывать,
Так сам говорил, чем приходский священник,
Потому что в своем ордене был лицензиатом.
Полный снисхождения, он выслушивать исповедь
И с приятностью разрешал от грехов.
Он легко слагал эпитимию
Тем, от кого ожидал хорошего подаяния;
Милостыня бедному ордену
Означала уже, что человек хорошо раскаялся:
Многие люди имеют столь жестокое сердце,
Что не могут плакать, хотя бы и сильно были тронуты;
Следовательно, вместо того, чтобы плакать и молиться,
Они могут давать деньги бедной братии.
Его капюшон всегда был наполнен ножичками
И булавками, которые он дарил своим почитательницам.
Голос у него был подлинно приятный,
Он отлично пел и играл на роте.
В высоких нотах ему принадлежало бесспорное первенство.
Шея его была бела, как лилия;

Притом он был сильный боец.
 Ему лучше были известны в каждом городе таверны,
 Каждый трактирщик и каждый веселый буфетчик,
 Чем убогий в лазарете или нищий,
 Ибо для такого достопочтенного человека, как он,
 Неприлично было бы, по его положению,
 Водить знакомство с больными бедняками.
 Было бы нечестно, не могло бы быть выгодно
 Иметь дело с таким подлым народом.
 Он всегда предпочитал богатых купцов;
 И везде, где только можно было получить прибыль,
 Он был учтив и готов на услуги.
 Нигде не было столь добродетельного человека.
 Он был лучший в целом монастыре сборщик милостыни,
 И будь у вдовы хоть один только башмак
 (Так приятно было его *In principio*), —
 Он получал грош прежде, нежели уходил.
 Его короткая ряса была из двойного гаруса,
 Только что из-под пресса и круглая, как колокол.
 Он несколько шепелявил из притворства,
 Дабы английский язык был нежен в его устах;
 И когда он играл на арфе, между пением,
 Его глаза сверкали,
 Как звезды в морозную ночь.
 Этот почтенный монах назывался Губертом. (Ст. 208—271).

Итак, вот что было в конце XIV века, по словам Чосера. В XIII веке нищенствующий монах шел в *Stinking lane*, в вонючий квартал города, к таким же нищим, как он сам; в XIV веке нищенствующий монах старался уйти из города к какому-нибудь гостеприимному помещику; а если и оставался в городе, то водился все с людьми хлебными, в роде трактирщиков, буфетчиков, представителей купечества и пр. В XIII веке нищенствующий монах ничего не имел и ничего не хотел иметь; в XIV—он готов на все, лишь бы что-нибудь приобрести; в XIII веке нищенствующий монах был аскетом—человеком простым, но строгим к самому себе и другим; в XIV веке он превращается в сластолюбиваго, пронырливаго и лицемернаго краснбая, обладающего в высокой степени искусством мягкаго и приятнаго обращения с грешниками—богатыми, разумеется. В XIII веке... но метаморфоза и так получается полная, и стремления лучших людей к церковной реформе едва ли могли быть названы преждевременными для XIV века.

Сельский священник

Между тем как Боккаччио, благочестивый по традиции и чуждый искренняго религиознаго энтузиазма, охотно изображает упадок нравственности в современном ему духовенстве и не идет далее этой неприглядной действительности, Чосер, продукт той же почвы, что и Уиклифф, превосходя Боккаччио резкостью своей сатиры на духовенство, в то же время рисует нам идеальное духовное лицо,—сельскаго священника.

Там был также добрый священник,
 Который имел бедный приход в селе,
 Но был богат святыми мыслями и делами;
 Притом он был ученый человек, клерк,
 И учил верно, по Святому Писанию.

Он наставлял благочестию своих прихожан,
Был добродушен и удивительно прилежен,
А в несчастии очень терпелив.
И это он доказал много раз.
Очень неохотно предавал он проклятию за неплатежи десятины,
И, без сомнения, скорее был готов сам уделить
Своим соседям, неимущим прихожанам,
Из получаемых им приношений и своего собственного добра.
Он умел довольствоваться малым.
Его приход был велик, и жилища в нем находились далеко друг от друга,
Но он не отказывался ни в дождь, ни в бурю
Посещать больных и скорбящих
В самых отдаленных местах прихода, богатых и бедных,
Пешком и с посохом в руке.
Он подавал своей пастве христианский пример,
Сначала делая сам то, чему впоследствии наставлял других.
Он заимствовал эти слова из Евангелия
И прибавлял к ним следующее уподобление:
Если золото ржавеет, то чего же ожидать от железа?
Ибо если священник не чист, которому мы вверяемся,
То не удивительно, что простой человек ржавеет.
И будет срам, как скоро заметят о священнике,
Что пастырь в грязи, а овцы чисты.
Ведь священник должен подавать пример
Своею чистотою, как следует жить овцам.
Он не отдавал внаймы своего прихода
И не оставлял своих овец погрязнуть в болоте,
Чтобы самому убежать в Лондон, в собор св. Павла,
И искать себе капеллу для служения вечных панихид,
Или затвориться в монастырскую обитель, —
Но жил дома и хорошо стерег свою паству,
Дабы волк не расхитил ея.
Он был добрый пастырь, а не наемник,
И хотя был благодетелен и непорочен,
Не был жесток с грешниками,
Но давал умное и благое наставление,
Указывал людям дорогу на небо добрым советом.
И примером было его дело.
Но когда человек встречался очень упрямый,
То все равно, принадлежал ли он к высшему или низшему званию,
Он делал ему беспощадно строгое наставление.
Лучшего священника, я думаю, нигде не было.
Он не гнался ни за пышностью ни за почестями,
И в делах совести не допускал тонкостей,
Закону Христа и его двенадцати апостолов
Он учил, но сначала следовал ему сам (Ст. 479—530.)

Эти важные в историческом отношении стихи из поэмы Чосера невольно заставляют вспомнить об его старшем современнике, Уиклиffe: до такой степени идеалы их в данном случае оказываются тождественными. Вот как изображает реформатор личность достойного служителя церкви: «Если ты священник, то возвысь над другими людьми святостью своих желаний, своих молитв, своих помыслов, равно как своих слов, советов и наставлений. Да будут твои деяния открытою книгой, по которой бы миряне учились служить Богу

и хранить Его заповеди. Святая жизнь, всем известная и постоянно соблюдаемая, окажет более впечатления, чем красноречивая проповедь. Не трать своего имущества на празднества с богатыми людьми; не бери из приношений, которые ты получаешь и которые суть наследие нищих, не бери более нужного для того, чтобы питаться умеренно, одеваться скромно, и посвяти остаток своего дохода облегчению положения неимущих, которых болезнь или слабость делают неспособными к работе. Тогда ты будешь истинным пастырем пред Богом и пред людьми». Спрашивается, какой же вывод мы можем сделать из этой параллели между взглядами Чосера и Уиклиффа на обязанности истинного пастыря стада Христова? Вывод может быть лишь тот, что и Уиклифф и Чосер—дети одного общего движения умов, при чем первый отражает это движение вполне и, как религиозный мыслитель, углубляет его, а второй, как образованный человек своего времени, только схватывает верхи, только констатирует факт упадка нравственности в современном ему духовенстве и искренно желает ей подъема. Но предполагать какие-либо личные отношения и влияния между Уиклиффом и Чосером и, напр., превращать поэта в ученика реформатора—мы не имеем оснований. Ибо, с одной стороны, у Чосера нет специально-уиклиффского элемента,—известных новшеств Уиклиффа, касающихся догматической и политической основы западного католицизма; а с другой стороны, у Боккаччио, в его цитате из новеллы III, 7, на которую уже было обращено внимание читателя,—разве нет в зародыше того же идеального священника, портрет которого с таким мастерством набросал английский поэт? Вся разница между Боккаччио и Чосером сводится лишь к тому, что предшественник гуманизма ограничивается двумя-тремя отвлеченными фразами там, где предшественник пуританизма находит наслаждение в обстоятельном конкретном творчестве.

Свободные профессии

Обращаемся к свободным профессиям у Чосера. И здесь мы наблюдаем то же широкое и вольное изображение общей картины, сказавшееся в разнообразии составляющих ее личностей, и то же широкое и вольное изображение каждого характера, взятого в отдельности, сказавшееся в необыкновенной его жизненности. Мы возьмем лишь четыре типа: клерка, юриста, медика и алхимика: они покажут нам, каковы были в средние века люди с образованием филологическим, юридическим, медицинским и естественным. Об одном из них, клерке, мы уже имели случай упомянуть, когда встретились с подобною же личностью в Декамероне Боккаччио.

Клерк

Там был также оксфордский клерк,
Который давно занимался логикой.
Лошадь его была худа, как грабли,
И я вас удостоверяю, что он сам был не только не жирен,
Но казался исхудалым и истощенным.
Его платье было изношено,
Ибо он еще не получил прихода
И не был удостоен какой-либо должности.
Ему было приятнее иметь у изголовья своей постели—
Два десятка книг» в красном или черном переплете,
Аристотеля и его философию,
Чем богатая одежды или скрипку, или лютню.
Но хотя он и был философ,

Однако, в сундуке у него было мало золота,
И все, что он мог выпросить у своих родственников,
Тратил на книги и на ученье,
И ревностно молился за спасение душ
Тех, которые давали ему средства на ученье;
Об ученье пекся он больше всего.
Он не произносил ни одного слова более, чем надо;
И все, что он говорил, было высокой мудрости,
И кратко, и сжато, и полно нравственных изречений.
Речь его отзывалась строгою добродетелью.
Охотно он учился, охотно учил и других». (Ст. 286—310.)

По справедливому замечанию критики, клерк Чосера представляет счастливое pendant к его сельскому священнику. Последний для веры то же, что тот—для науки. Оба они не гонятся за материальным благосостоянием; подарки, которые они получают, являются для одного источником благодетей, для другого средством приобретения книг. Самоотвержением дышит вся фигура клерка!.. Все это так, но—исхудалый, в изношенном платье, на тонкой кляче, и объясняющийся всегда в учительном тоне (как следует жить людям!), тот же клерк сильно напоминает другого энтузиаста, другого человека, самоотверженно преданного идее, другого рыцаря печального образа, Дон Кихота Ламанчского...

Юрист

Если в студенте Чосера слишком мало житейской мудрости или, точнее, совсем нет, то в юристе его этой мудрости слишком много.

Там был тоже богатый опытностью,
Осторожный и благоразумный адвокат;
Он был разсудителен и весьма важен,
Каким и казался; речи его были так мудры.
Он был часто назначаем судьей во время судебных объездов,
И особым указом и полною грамотой.
За свое знание и за свою большую славу
Он получил большое возмездие и много платьев.
Нигде не было такого неутомимого приобретателя.
Действительно, все шло ему в полную собственность,
И его приобретения не могли возбудить подозрения.
Нигде не было столь занятого человека, как он,
И, однако, он казался более занятым, чем был.
Ему подробно были известны все дела и все решения,
Бывшие со времени короля Вильгельма.
Кроме того, он мог составлять бумаги и акты
Так, что нельзя было прицепиться к чему-либо в его работе.
Все указы он знал наизусть.
Он ехал в скромном сером кафтане,
Опоясанном пестрым шелковым кушаком;
О его наружности я более не буду говорить. (Ст. 311—332.)

Опытность, осторожность, благоразумие, разсудительность, мудрость—какие все солидные добродетели для человека, практикующего в той или другой области знания! Зато велика и награда ему: его дом обстановкой своею, вероятно, напоминал магазин всяких редкостей, и при всем том как скромна его наружность: он отнюдь не расположен носить на себе бесполезные признаки своего богатства и про себя довольствуется сознанием своей

собственной силы. Но венцом всего этого точного и живого описания мы должны назвать двуступишие:

Нигде не было столь занятого человека, как он,
И, однако, он казался более занятым, чем был.

Что делать!.. Это общая слабость если не всех, то, по крайней мере, многих важных людей.

Доктор

В приведенной сейчас характеристике адвоката особенно ярко выступает необычайная проницательность творческого гения Чосера, его умение—в каждом единичном явлении уловить общечеловеческие, непреходящие черты, и таким образом сделать это единичное явление типом всех подобных явлений, независимо от их места и времени; то же самое мы должны заметить и об его докторе: знаменуя собою средневековое явление в совокупности своих деталей, портрет этот, за вычетом известных частных, приложим, однако, и к явлениям не-средневековым.

С нами был также доктор медицины.
Во всем свете не было ему равного,
Когда речь шла о медицине и хирургии;
Ибо он был силен в астрономии.
Он лечил удивительно хорошо своего пациента
По часам, назначенными натуральною магией;
Искусно мог он предсказывать исход болезни
По фигурам гороскопа своего больного.
Он знал причину каждой болезни,
Происходила ли она от темперамента,
Холодного или горячего, или сырого, или сухого:
Он был превосходный практикант.
Узнав причину и корень недуга,
Тотчас он давал больному его лекарство;
Его аптекарь всегда был готов
Снабжать его микстурами и сиропами,
Ибо они давали друг другу возможность наживать;
Их дружба велась уже с давняго времени.
Хорошо он знал старика Эскулапа
И Диоскорида, также Руфа,
Старика Гиппократы, Галли и Галиэна,
Серапиона, Дамаскина и Константина
Бернарда, Гатиздена и Гильбертина.
Он ел умеренно,
Ибо кушанье его не заключало в себе ничего лишнего,
А было весьма питательно и удобоваримо.
Немного изучал он Библию.
Он был одет в малиновое с голубым платье,
Подбитое тафтою и тонкой шелковой материей.
Однако он неохотно тратился
И берег то, что приобрел во время чумы.
Так как золото в медицине есть крепительное средство,
То он любил золото по-преимуществу. (Ст. 413—446.)

Как и любое место Общего пролога, выписанные стихи затрогивают целый ряд фактов,

не только весьма характерных для средневековой культуры, но и прямо стоящих в центре ее. Из этих фактов крупнейшими мы должны призвать связь средневековой медицины с магией и астрологией,—связь, знаменующую собой ту темную эпоху, когда люди верили во влияние небесных светил на здоровье или болезнь различных частей человеческого тела и думали, что одни дни благоприятны для срезания мозолей, открытия крови и приема слабительного, а другие—нет... Нам нечего углубляться во все подробности этого факта, утратившего решительно всякое значение и смысл для нашего более просвещенного времени и уже услышавшего свой справедливый приговор в той тонкой иронии, с которой великий английский поэт начертил портрет своего доктора. К тому же у Чосера есть еще один, и еще более популярный в средние века, представитель научного суеверия: это алхимик.

Алхимик

Из всех химерических мечтаний отживающего средневековья, которым имя магия, астрология, демонология, снотолкование и проч., с особенною энергией нападал глубоко-мысленный автор Кентерберийских рассказов на алхимию. Да и понятно: со второй половины XIII века, благодаря алхимическим сочинениям Роджера Бэкона, изобретение философского камня, или искусство делать золото, или мультипликация, оказалось высочайшею целью всякого стремления и стало причиной не одного трагического происшествия. Вот что рассказывает об этом слуга каноника, занимавшегося алхимией:

I. С этими каноником пробыли я семь лет,
 Но искусства его так и не постиг;
 Все, что я имел, я потерял у него,
 И—то Богу известно—так случилось и со многими другими.
 Раньше я обыкновенно носил новое и нарядное платье
 И вообще соблюдал приличную внешность.
 Теперь же мне приходится носить чуть ли не чулок на голове;
 И если прежде мои щеки были свежи и румяны,
 То теперь они исхудали и стали бледны, как свинец
 (Тот, кто поступил так со мной, пусть будет каяться впоследствии);
 А глаза мои от этой работы еще и теперь застилает туманом:
 Вот какие выгоды достаются мультипликации
 Это шарлатанское искусство так меня обчистило,
 Что у меня не осталось ничего, что я имел,
 И, кроме того, благодаря ему же, я запутался в такие долги,
 Что мне в жизнь свою не выплатить их
 Тем, которые меня ссудили деньгами;
 Пусть же всякий, имея меня в виду, остережется на будущее время.
 Кто бы ни увлекся этим искусством,
 Его благосостояние, уверяю вас, погибло,
 Если он будет упорствовать в своем увлечении.
 Клянусь Богом, он не к иному придет,
 Как опорожнит свой кошелек и поглупеет во много раз;
 И когда он, по безумию своему,
 Потеряет собственное имущество в этой азартной игре,
 Тогда он начнет подстрекать других
 К тому же, как это уже сделал он сам;
 Ибо дурной человек чувствует радость и веселие,
 Если повергает своих ближних в горе и злосчастье...
 Так говорил мне однажды некий клерк.

II. Но довольно об этом; я расскажу вам теперь о наших работах.
В ту минуту, когда мы должны приступить
К нашему дьявольскому занятию, мы кажемся удивительными мудрецами;
Во всей нашей терминологии столько глубокой учености...
Я раздуваю огонь, так что у меня чуть не лопаются сердце.
Нужно ли мне рассказывать о том, в каких пропорциях
Должны быть взяты те вещества, которые мы пускаем в дело, —
Пять или шесть унций хорошо будет взять
Серебра или какое-нибудь другое количество?
И должен ли я перечислять вам имена таких тел,
Как опермент, жженная кость, железные опилки,
Которые должны быть стерты в самый тонкий порошок?
А также и то, как все это кладется в глиняный сосуд,
Как туда насыпается соль и перец
Раньше того порошка, о котором я сейчас сказал, —
Как этот сосуд тщательно покрывается стеклянным колоколом,
И о многих других вещах, которые мы там проделываем?
Ибо все наши усилия не приводят ни к чему.
Наш опермент и сублимированный ртуть,
Наш свинец, стерты в порошок с порфиром,
В том или другом количестве; мы берем эти тела,
Ничто нам не помогает — наш труд затрачивается попусту.
И какие бы газы ни поднимались у нас,
Какие бы осадки ни оставались на дне,
Ничто не в состоянии помочь нам в нашем деле.
Таким-то дьявольским манером исчезает наш труд
И все те издержки, которые мы должны были сделать.
Есть очень много и других вещей,
Которые относятся к нашему искусству,
Хотя я и не могу вычислить их по порядку,
Потому что я не ученый человек, —
А расскажу вам о них так, как они придут мне в голову,
Не сортируя их по настоящему.
Это — медянка, лазурь, боракс,
Различные сосуды из глины и стекла,
Уриалы и десцензории,
Фиалы, тигеля, сублиматоры,
Фляги, перегонные кубы
И другие подобные снаряды, едва ли стоящие гроша
И труда вычислять их все...
Да если рассказывать все, то не хватило бы библии,
Какой угодно толстой; поэтому самое лучшее
Все эти имена оставить в стороне;
Итак, думается мне, об этом сказал я столько.
Чтобы заставить взбеситься самого страшного чорта.

III. Но нет! Еще не все: философский камень,
Называемый эликсиром, искали мы все;
Если бы мы его нашли, мы были бы тогда спокойнее;
Но пред лицом Царя Небесного я заявляю,
Что, несмотря на все наше искусство,
Несмотря на все наши старания, он не хотел явиться к нам.
Он заманил нас на огромные затраты;
Мы почти обезумели, сожалея о том,
И однако добрая надежда прокрадывалась в наше сердце,

И мы предполагали, хотя и очень страдали,
Что будем им обрадованы впоследствии;
Такие предположения и надежды сильны и устойчивы;
И я предупреждаю вас, — вы не перестанете искать камня...
Таковы все мультипликаторы. Если бы у них не было ничего, кроме рубашки,
Которую они могли бы прикрыться на ночь,
Или плохого плаща, чтобы надеть его днем,
Они продали бы их, а деньги затратили бы на свое искусство...
Они не могут успокоиться до тех пор, пока у них ничего не останется...
Кроме того, куда бы они ни пошли,
Всякий их узнает по запаху серы,
Ибо от них несет, как от козы,
И запах этот такой острый,
Что на расстоянии целой мили от них
Он заражает человека, поверьте мне.
Так вот по запаху и по платью, которое расползается по всем швам,
Всякий желающий может узнать этих господ.
А если бы кто-нибудь спросил их наедине,
Почему они одеваются так расточительно,
Они сейчас же начали бы шептать ему на ухо,
Что если бы их подстерегли,
Их убили бы за их знания:
Видите, как обманывают они простаков!
Но довольно об этом, я возвращаюсь к своему рассказу.
Прежде чем сосуд ставится на огонь
С известным количеством металлов,
Мой господин смешивает их, и смешивает именно сам, а не кто другой...
Потому что, говорят, он делает это особенно искусно;
Во всяком случае я знаю, что он пользуется такою репутацией,
И все-таки частенько напрашивается на упреки.
И знаете, каким образом? Очень часто случается,
Что сосуд разлетается вдребезги и — прощай все, что в нем содержится.
В этих металлах оказывается такая сила.
Что наша лаборатория не может им противиться.
Хотя бы она была каменная.
Металлы ударяют в ступу так, что пробивают ее,
И часть их смешивается с землей
(Таким образом мы теряем иной раз несколько фунтов),
Другая разлетается по полу,
А третья остается, без сомнения, в потолке.
Хотя враг рода человеческого не является нам воочию,
Я уверен, что он, злодей, вертится тогда между нами,
И в ад, где он господин и повелитель,
Стоны, раздоры и гнев не бывают сильнее...
Когда сосуд разлетался прахом, как я сказал,
Каждый начинал ругаться в досаде на потерю:
Одни говорили, что это произошло от разведения огня.
Другой, что нет, а зависело это от раздувания
(Тут угрозы сыпались на меня со всех сторон, потому что раздувание было моею
обязанностью);
Дурачье, кричал третий, неучи мы безмозглые!
Смесь была составлена не так, как следует.
Нет! — покрывали всех четвертый, — подождите и послушайте меня:
Ведь мы жгли не буквое дерево, —

Это и есть причина, а не что-нибудь другое, ей-Богу!
 Я не могу вам сказать, отчего именно это происходило,
 Но я очень хорошо знаю, что великий был спор между нами.
 Э!.. говорил мой хозяин, что случилось, то случилось.
 Однако теперь я буду иметь в виду эти опасности.
 Я совершенно уверен, что реторта была с трещиной;
 Но как бы то ни было, мы не должны терять мужества;
 По обыкновению, выметите пол поскорее;
 Ободритесь и будьте веселы. —
 Мы сметали сор в кучу,
 Разстилали на полу платок,
 Весь этот сор клали в сито
 И долгое время сеяли и разбирали его.
 А, право!—говорил кто-нибудь, ведь кое-что
 Еще осталось, хоть и не все.
 И если это дело не удалось нам теперь,
 В другой раз оно может пойти удачнее:
 Мы должны рискнуть нашим имуществом;
 Не всегда же купец остается
 При своем благополучии, уверяю вас;
 Иной раз его добро оказывается на дне моря,
 А в другой—оно без вреда достигает берега.
 Молчание!—внушал между тем мой господин—после этого я постараюсь
 Вести работу по совершенно новому методу,
 И если я не преуспею, то изругайте меня:
 Тут была одна ошибка,—я знаю, какая...
 Огонь был слишком силен,—соображал другой.
 Но силен ли он был или слаб, я осмелюсь сказать лишь то,
 Что мы всегда кончаем более, чем дурно.
 Мы никогда не достигаем своей цели.
 И, как безумные, неистовствуем все сильнее.
 (Ст. 16188—16427)

Нет надобности гоняться за какими-либо реальными разъяснениями к этому отрывку из поэмы Чосера, потому что в таком случае произошло бы с нами то же, что и со слугой каноника: от этих разъяснений мы не поумнели бы ни на волос! Предоставим поэтому мультипликацию золота средневековым алхимикам и лучше обратим внимание на художественную сторону цитаты. Чосер дает подробную, опирающуюся на самое тщательное изучено дела картину занятий алхимией. Первую часть отрывка он посвящает изображению разорительности этих занятий, во второй перечисляет их элементы (это перечисление мы сократили, по крайней мере, раз в десять), а в третьей рисует картину их процессов. В первой части мы видим исхудалаго, бледнаго, с воспаленными глазами, полуодетаго молодого человека: это—в наглядной форме—все благодеяния мультипликации. Во второй—перед нами разворачивается то алхимическое *pele-mele* всевозможных склянок с субстанциями, реторт, ламп и печей, в которое превратилось кругленькое состояние упомянутого молодого человека и других ему подобных искателей легкой наживы. Наконец, в третьей—эти субстанции и реторты разлетаются мелкою пылью по воздуху, и толпа обезумевших от взрыва адептов алхимии снова приступает к своим безуспешным опытам, в утешение себе повторяя сквозь слезы припев всякаго азартнаго игрока: авось на этот раз мы будем счастливее!

Ремесла

Рядом с наукою средних веков рассмотрим их ремесла. Для того, чтобы лучше разобраться в том обширном материале, который дает Чосер в Общем прологе для характеристики этой стороны средневековой культуры, установим и с легкими замечаниями процитируем следующие три группы: 1) купец и шкипер, который развозит его товары по морям, 2) пять ремесленников, принадлежащих к значительному городскому цеху, и 3) мельник и хлебопашец, который доставляет ему зерно на размол: уже одна эта голая классификация красноречиво говорит о том, какой широкий район охватывала художническая наблюдательность английского поэта!

Купец

Там был купец с раздвоенною бородою,
В темном сером платье, на высокой лошади.
В фламандской бобровой шляпе,
В сапогах с красивыми и опрятными застёжками.
Он излагал свои доводы с важностью,
Постоянно имея в виду увеличение своей прибыли.
Он желал, чтобы море было охраняемо во что бы то ни стало
Между Миддельбургом и Ореуэллем.
Ему хорошо был известен курс экю.
Этим с полным успехом занимал свой ум сей почтенный человек.
Никто не мог сказать, чтобы у него были долги,
Так хорошо вел он свои дела,
Покупая на наличные деньги и выдавая векселя.
По истине он все-таки был достойный человек,
Но, правду сказать, я не знаю, как его зовут. (Ст. 272—284.)

Как и все богомольцы, купец не скрыл от Чосера присущих торговому человеку слабостей, и поэт с легкою иронией отмечает его постоянные заботы о прибыли, желание замаскировать свои долги и пр. Но, — прибавляет безпристрастный наблюдатель жизни, — несмотря на свои слабости, это был все-таки достойный человек, игравший не последнюю роль в торговом движении того времени. Подле купца всего приличней поставить шкипера.

Шкипер

Там был шкипер, живший в западной стороне (Англии);
Сколько мне известно, он был из Дартмута.
Он ехал, как умел, на кляче,
В платье, упавшем в складках до колен.
Кинжал, привязанный к шнуру,
Висел через плечо его.
Летний зной сделал цвет лица его совершенно коричневым.
И, конечно, он был добрый малый.
Немало вина он выпил
На пути из Бордо, пока спал купец.
Его не затрудняла разборчивая совесть,
Лишь бы ему сражаться и одерживать верх, —
Он обманывал всеми способами.
Что касается его искусства рассчитывать верно приливы,
Его знания морских токов и отмелей,
Положение солнца и луны и его лощанства,
Что подобного ему не было от Гулля до Картагены.

Он был отважен и благоразумен, смею в том удостоверить;
Не одна буря трепала его бороду;
Ему хорошо было известно положение всех гаваней
От Готланда до мыса Финистерре
И каждой бухты в Бретани и Испании.
Его судно называлось Магдалиной. (Ст. 390—412.)

Шкипер, или капитан купеческого судна,—лицо в высшей степени характерное для английской нации, и его описание мастерски исполнено Чосером: все подробности в этом описании замечательно верно отражают действительность. Шкипер едет верхом на кляче, и поэт, от взора которого никогда не ускользнет никакая мелочь, словами «как умел» желал выразить вошедшую в пословицу неловкость моряков в верховой езде. Прекрасно схвачено его лицо, загорелое от постоянного действия ветра и солнца, а также его буйный характер. Хоть и славный малый, он не отличается ни миролюбием, ни даже слишком строгой честностью; ибо по ночам не раз отправлялся вскрывать бочонки с бордоским вином, составлявшим груз его корабля, с целью пображничать на счет спавшего купца, их собственника. Исчисление предметов его разнообразного знания—отмелей, морских токов, маяков и проч., его значительные сведения в астрономии, все это составляет полную картину науки мореплавания того отдаленного времени,—науки, многие части которой сохранились без изменения и до сей поры. Особенно хорош во всем этом описании стих: «Не одна буря трепала его бороду»: он вызывает в нашей фантазии образ смелого моряка в борьбе с бурей и придает грубым чертам его величие опасности.

Цеховые

Придерживаясь установленной классификации, мы выведем теперь группу городских ремесленников.

Торговец мануфактурными изделиями и плотник,
Ткач, красильщик и обойщик
Имели все одну одежду
Великаго и богатого цеха.
На них было платье совершенно новое;
Ножи их были обделаны не в медь,
Но изящно украшены серебром,
Так же, как пояса и кошельки.
Каждый из них имел вид почтенного гражданина,
Достойного сидеть в думе, под балдахином,
Каждый, за свою мудрость,
Был способен стать альдерменом,
Потому что имел порядочное состояние и доходы.
И это мнение вполне разделяли их супруги.
Иначе они, конечно, заслуживали бы порицания.
Очень приятно называться Madame,
Стоять за всенощной впереди других
И видеть свой шлейф, по-царски несомый. (Ст. 363—380.)

Здесь не дело—распространяться об экономическом, политическом и филантропическом значении средневековых ремесленных цехов, сформировавшихся среди возникающей буржуазии во имя того же стремления слабой личности сомкнуться в более или менее солидную коллективную единицу, которое так понятно в эпоху средних веков и проявляется на

каждом шагу в организации их общественной жизни. Лучше обратим внимание на то, что Чосер умел оценить всю характерность ремесленного цеха для средневековой культуры, отметил этот факт и, несмотря на сравнительную краткость изображения представителей его, дал нам почувствовать их специфическое настроение: почтенные, трудолюбивые, состоятельные буржуа, которых жены не прочь потягаться с аристократками...

Мельник

Пред нами—классическая фигура, даже среди классических фигур Чосера, популярнейший из его героев в Англии, непременный представитель табардской компании во всех хрестоматиях по английской литературе,—мельник, личность живая и коренастая, которую только и могла породить английская нация, физически столько же сильная, сколько и умственно.

Мельник был дюжий мужик,
С сильными мускулами и крепкими костями;
Это он доказывал тем, что побеждал всех,
И за кулачный бой получал всегда барана.
Он имел широкие плечи, короткое, но плотное туловище.
Не было ворот, которые бы он не мог сбить с петель
Или проломить, ударив в них с разбега головой.
Борода его была рыжая, как шерсть свиньи или лисицы,
И притом широкая, как лопата.
На самом кончике его носа выросла
Бородавка, из которой выходил пучок волос,
Рыжих, как щетина в ушах свиньи;
Ноздри его были черные и широкие.
(Он имел кортик и маленький щит).
Рот его был величиною с отверстие печи;
Он был забияка и балагур
И говорил большею частью грязные шутки и пакости.
Отлично умел он воровать рожь и брать пробную долю,
И однако, ей-Богу, был у него золотой палец.
На нем был белый кафтан и синяя шапка.
Он умел искусно играть на волынке,
И под звуки ее мы вышли из города. (Ст. 547—568.)

«Всегда и везде мельник есть главное и живописное лицо сельского общества. Обыкновенно самый богатый из всего населения, он часто бывает героем разного рода приключений и отличается скорее веселыми распутством и забиячеством, чем строгою честностью, уже потому, что самое ремесло его представляет и искушение, и вместе возможность к хищению ржи, вверенной ему для размола. В старинные годы мельник, сверх определенной платы деньгами за пользование его мельницей и трудом, имел право взимать известную долю с каждого мешка ржи, привозимого на мельницу. Так как за количеством этого побора было чрезвычайно трудно уследить, то мельника почти повсеместно обвиняли в том, что он воровал не одну пригоршню муки. Хотя мельник Чосера довольно резко назван таким же вором, как и вся его братия, тем не менее о нем сказано, что у него большой палец из золота. Это выражение включает в себе намек на старинную английскую пословицу, которая говорит, что «у честного мельника большой палец из золота», т. е. что честный мельник вовсе не существует. Большой палец мельника, вследствие постоянной проверки посредством него качества размолта муки, составляет характеристический признак людей этого

ремесла, будучи более, чем у других, широк, плосок и гладок».

Хлебопашец

Рядом с мельником мы поставили хлебопашца, родного брата того сельского священника, симпатичная личность которого нами уже известна.

С ним был земледелец, родной его брат,
Который вывез в поле не одну телегу навоза.
Он был истинно хороший хлебопашец,
Живший в согласии и совершенной христианской любви.
Выше всего любил он Бога, любил Его всею своею душой,
Безразлично, была ли ему от того прибыль или потеря:
А после любил ближнего, как самого себя.
Он был всегда готов молотить или пахать, или боронить
Ради Христа, для каждого бедного соседа
Безплатно, если только имел возможность.
Десятину свою он отбывал честно и охотно
Как своею работой, так и своим имуществом.
Он был в блузе и ехал на кобыле. (Ст. 531—543.)

Этот портрет не менее важен для характеристики английских идеалов, чем и портрет мельника: он знаменует собою ту глубоко-религиозную настроенность нации, которая делает Библию любимым чтением английского народа и постоянно готова принять формы аскетического пуританизма XVII века.

Пред нами прошли отнюдь не все действующие лица Кентерберийских рассказов Чосера: по разным причинам оставлены в стороне еще несколько фигур, изучение которых могло бы пролить не мало света и на средневековую культуру, и на переход ее к новому времени, и на широту кругозора Чосера, и на удивительное могущество его творческого гения. Таковы продавец индульгенций, пристав церковного суда, эконо́м юридического факультета, управляющий богатого аристократа, горожанка из Бата,—одним словом, типы, из коих создание каждого в отдельности сделало бы честь любому художнику первой величины. Только отметив их присутствие в гениальном произведении английского поэта для того, чтобы указать на все неисчерпаемо-богатое содержание его, обратимся к центральной фигуре, которая объединила вокруг себя всю компанию, собравшуюся в гостинице Табарда,—к самому содержателю гостиницы, Гарри Бэйли.

Гарри Бэйли

Немного стихов посвятил ему Чосер в Общем прологе: зато он будет неизменным героем каждого частного пролога, о которых речь впереди.

Наш трактирщик был видный мужчина,
Достойный сделаться дворецким в любом замке.
Это был толстый человек с заплывшими глазами;
Более красиваго горожанина не было на Чипе;
С смелой речью, благородный и хорошо воспитанный,
Он имел все достоинства.
И притом он был веселый малый,
И после ужина начал смеяться
И держал веселая речи.. (Ст. 752—702.)

Фигура эта в культурном отношении (в художественном, само собою разумеется, как

все у Чосера) представляет явление весьма интересное. Гарри Бэйли—тип того буржуа, олицетворение той настроенности, которая в средние века выработала литературу французских фавлю и итальянских новелл. Ему присуще то же жизнерадостное мирозерцание, та же ненасытная потребность чего-нибудь смешного и забавного, которую мы отметили в названной литературе, и которая не погибла под давлением средневекового аскетизма, а с торжеством вышла из борьбы и взрастила итальянский гуманизм. Нужно проследить тип трактирщика через все произведение для того, чтобы понять, как любит он поохотиться от души по поводу какого-нибудь веселого похождения, как препирается с благородными, которые требуют все глубокого и нравоучительного. Так, в прологе к рассказу продавца индульгенций происходит следующая сцена.

Выслушав рассказ доктора о несчастной Виргинии, трактирщик говорит ему:

Ты так опечалил мне сердце,
Что с ним чуть не приключился «порок»,
Но—вот тебе Христос!—у меня есть лекарство против печали:
Или хлебнуть малую толику пенистаго эля.
Или прослушать какой-нибудь веселенький рассказец...
Эй, be! amу, господин продавец индульгенций,
Угости-ка нас скорее какою-нибудь шуточкой...
Но тут подняли крик все благородные:
Нет, нет, не давайте ему говорить пакостей!..
Лучше расскажите нам что-нибудь нравоучительное
И глубокое, и тогда мы с удовольствием послушаем. (Ст. 12245—12250.)

Если Гарри старается всегда сам быть веселым, а на случай печали имеет двух утешителей, хорошую пирушку или забавную повестушку, то, с другой стороны, малейшая наклонность его собеседника к задумчивости, сосредоточенности, серьезности уже неприятна ему, и он журит за это клерка, сельского священника, самого автора рассказов (он тоже был в числе богомольцев, собравшихся в Табарде). Главное, смотри весело на мир Божий, —говорит он,—не теряй хорошего расположения духа, и тогда все будет прекрасно. Такова философия трактирщика, которую он высказывает в прологе к повести монастырского священника...

Тут обратился наш трактирщик с развязною речью
К монастырскому священнику и сказал:
Сюда, отец, сюда, сэр Джон,
Расскажи нам что-нибудь такое, от чего бы выиграли наши сердца.
Будь весел, хоть ты и едешь на кляче;
Что за беда, если она худа и жалка!
Ведь она тебя возит! А больше ничего и не нужно,
Кроме одного: никогда не унывай! (Ст. 14814—14821.)

После этого понятно, что взгляды трактирщика совершенно тождественны с сатирическими выходками новелл и фавлю: те же насмешки над монахами, иногда весьма резкия и безцеремонныя, те же замечания насчет слабостей, свойственных женскому полу, иногда весьма ядовитыя, и т. д. Для примера вот один из этих новеллистических мотивов, которыми так богато неистощимое балагурство Гарри Бэйли. Предлагая бенедиктинцу рассказать что-нибудь, трактирщик мимоходом замечает:

Но, извините, я не знаю вашего имени;
 Должен ли я называть вас Дон-Джон,
 Иль Дон-Тома, иль Дон-Альбан?
 Я не знаю также, из какого вы дома, каких вы родителей.
 Во всяком случае, твоя кожа не дурно выхолена;
 На богатом пастбище откормлен ты
 И вовсе не похож на постника иль духа. (Ст. 13935—13940).

С каким бы, думается, удовольствием прочитал такой человек Декамерон Боккаччио, с каким бы оживлением потрепали по плечу простака Каландрино и, конечно, подобно Бруно и Буффальмакко, сыграли бы с ним какую-нибудь «новеллу», т. е. забавную штуку! Сочувствуя от души веселому настроению фавлио и их бойкой сатире и осыпая похвалами тех путников, рассказы которых приближались к этой литературе, трактирщик сочувствует и реалистической манере творчества фавлио и убедительно просит каждого повествователя выражаться, елико возможно, проще и яснее; в этом отношении особенно любопытно обращение Гарри Бэйли к знакомому нам студенту.

Сэр клерк оксфордский, сказал тут наш трактирщик,
 Вы едете так тихо и скромно, точно девушка,
 Которая сидит за свадебным столом.
 От вас сегодня я не слыхал еще ни слова:
 Я полагаю, вы погружены в какую-нибудь философию;
 Но всему свое время, говорил Соломон.
 Ради Бога, проясните свою физиономию,
 — Теперь не время для размышлений —
 Лучше расскажите нам что-нибудь повеселее:
 Назвался груздем, так, по пословице,
 Полезай в кузов!
 Да только, пожалуйста, не проповедуйте, как отцы монахи постом.
 Чтобы заставить нас плакать о наших старых грехах;
 Смотрите, чтобы наше повествование нас не усыпило.
 Итак, — что-нибудь в забавном роде,
 А ваши термины, образы и фигуры
 Поберегите в запасе — на тот случай, если вам придется говорить
 В высоком стиле, как пишут бумаги королям.
 Теперь же, я вас прошу, выражайтесь совершенно ясно,
 Чтобы мы могли понять, что вы будете рассказывать. (Ст. 7877—7896.)

Как видим, в области литературной критики Гарри Бэйли подает руку новому времени, и интересно наблюдать за тем, какие кислые гримасы строит он, когда в силу очереди приступает к рассказу какая-нибудь ученая персона: уж он предчувствует всевозможные риторические фигуры, нравоучительные сентенции и прочие прелести высокого стиля, навевающего на слушателя скуку великую, — и как приободряется он, когда на смену учености и учительности выступает совершенно непритязательное изображение того или другого эпизода из действительной жизни.

Прекрасно изобразил Чосер это столкновение двух противоположных течений средневековой литературы в прологе к рассказу шкипера. Трактирщик просит сельского священника рассказать что-нибудь, — по обычаю средних веков, уснащая свою речь самую нелепую божбой; священник оговаривает его... О, люди добрые, вопит Гарри, сейчас мы услышим суровую проповедь!

Клянусь душой отца, этому не бывать!—
 Сказал тут шкипер.—Мы не дадим ему здесь проповедывать.
 Читать библию или поучение.
 Мы все веруем в Великого Бога;
 Он только поселил бы раздор между нами,
 Посеял бы плевелы в нашу чистую пшеницу.
 Итак, господин трактирщик, заявляю, что
 Моя любезная особа расскажет теперь повесть,
 И я прозвоню вам в такие веселые колокольчики,
 Что разбужу всю честную компанию;
 Но тут не будет философии,
 Медицины или тонкостей юриспруденции
 В моем брюхе немного латыни!.. {Ст. 12903—12930.}

Итак, вот какого рода человек поставлен гениальным поэтом во главе общества,—да и кому же стать, как не ему? Все его окружающие односторонни, все смотрят в угол, и ни один не видит действительности так, как она есть: один самоотверженный энтузиаст, которого можно безпрекословно обобрать до нитки, другой превратился в сухую палку, собирая жалкие копейки; иной стыдлив, как красная девица, а иной безстыден, как четвероногое животное; кто хандрит, кто корчит из себя аристократа... Только он один, Гарри Бэйли, питомец всегда оживленной гостиницы, куда сходятся все дороги, смотрит на мир по-человечески и ловко подсмеивается над страстями и страстишками собравшейся подле него ватаги. Одним словом, мы приходим к тому же, с чего начали,—Гарри Бэйли это здравомысл Чосеровой комедии, излюбленное дитя его творческого гения, быть может, единственная личность, которой он сочувствовал вполне, со всеми ее достоинствами и недостатками, и без всякого быть может, а действительно единственная личность, в которой конкретно и художественно отразилось забитое в средние века веселое настроение человека.

Рамка Кентерберийских рассказов

Этому-то весельчаку и шутнику и принадлежит мысль, за которую с такою охотой ухватилось все табардское общество,—сократить скуку путешествия очередными рассказами. К сожалению, место не позволяет нам заняться анализом этих рассказов: приходится ограничиться общими фразами, которые немного скажут людям, не читавшим Чосера.

Рассказы

Как уже было замечено по поводу Общего пролога, Чосер сумел подняться в Кентерберийских рассказах до той высоты мирозерцания, что отнесся к средним векам с тем объективным любопытством, с каким к ним может отнестись только человек нового времени. Великий английский поэт сделал в своем неподобном произведении с средними веками то же, что пытается сделать с ними предлагаемая читателю хрестоматия, которая удалена от этих веков почти на 500 лет! Отсюда—необычайная широта культурно-исторической картины, раскинувшейся пред его очами, необычайная широта, соответствующая необычайному росту нравственной личности самого поэта.

Его Кентерберийские рассказы—энциклопедия важнейших мотивов средневековой жизни: и религиозный энтузиазм, и рыцарская куртуазия, и животный инстинкт, чтобы не говорить о других мотивах, не столь крупных, или соприкасающихся с тремя упомянутыми,—все это оставило по себе глубокие следы в *хрестоматии* Чосера; такими образом мы имеем

возможность отчетливо представить себе все эти явления, и притом с точки зрения не только положительной, но и отрицательной. Так, напр., охарактеризовав присущее духовенству миросозерцание легендами, поэт приводит затем ряд повестей, в которых изображается падение церковно-аскетических идеалов.

Но мало указать на глубокомысленное общекультурное содержание Кентерберийских рассказов; они являются в то же время великою симфонией поэтического творчества средних веков. Все литературные роды, излюбленные у средневековой публики: и религиозная легенда, и рыцарская поэма, и буржуазная новелла, и античная мифология, и восточная сказка, и животная сага, и моралистический трактат, и народный романс, и церковная проповедь,—все это, со всеми свойственными каждому роду особенностями содержания и формы, находим мы на страницах Чосеровой хрестоматии...

И находим не в виде мертвых, отвлеченных трактатов, между которыми общего лишь то, что они сшиты вместе одною ниткой, а в виде живой, конкретной картины, в виде одной громадной комедии, с действующими лицами, художественно очерченными и приведенными в истинно драматические отношения между собою. В прологе, предпосылаемом каждому рассказу, мы можем следить за тем, как тот или другой путешественник наталкивается на мысль о том или о другом рассказе, какое впечатление производит его рассказ на слушателей и как это впечатление влияет на содержание следующей за ним повести...

Заключение о Чосере

По отношению к Кентерберийским рассказам Чосера за нами остается один долг—подвести итоги своему разсуждению об этом великом произведении английской литературы.

Подобно Боккаччио, Чосер исходит из того же настроения, которое не было господствующим, но которому суждено было сделаться таковым. В этом между ними—сходство, а разница в том, что точка зрения Чосера гораздо шире, чем Боккаччио. Между тем как Боккаччио, проникшись этими настроением, изображает триумф жизнерадостного миросозерцания над угрюмым воздержанием и затрогивает окружающую среду лишь постольку, поскольку ему нужна была сцена для постановки этого комического триумфа, Чосер широко и вольно заносит на страницы своего произведения всю средневековую жизнь и поднимается до способности наслаждаться спокойным ее созерцанием и изучением: рядом с рыцарем поэт выводит мельника, рядом с монахом или священником—человека коммерции: у каждого из них под влиянием известных условий сформировался известный склад мышления и чувствований,—Чосер изучает этот склад и посвящает нас в результаты своего изучения. Он, следовательно, объективнее Боккаччио: его объективизм проявляется не только в обработке сюжета, но, как у Шекспира, и в выборе его, между тем как Боккаччио в выборе сюжета—субъективнейший писатель, какие только существуют в литературе. Тем не менее, несмотря на этот объективизм Чосера, все-таки чувствуется, что он только тогда бывает совершенно в своей тарелке, когда возвращается в области новеллистического настроения своего возлюбленного Гарри Бэйли, и эти рассказы его из обыденной жизни, исполненные в чисто-реальном стиле, представляют верх художественной изобразительности. Конечно, приложение реалистической манеры творчества к такой неопрятной эпохе, как средние века, несколько рискованно, но что же делать—не перекрашивать же мельника, не искажать же его милости!..

Общий вывод о Боккаччио и Чосере

Обобщая свои размышления над поэтической деятельностью Боккаччио и Чосера, как предшественников Возрождения, мы приходим к следующему заключительному выводу.

В лице Боккаччио и Чосера и наиболее развитых из них современников с глаз мыслящего человека ниспадает пелена энтузиазма, морализации, аллегорий и символики, он озирает мир Божий так, как он есть, со всеми его трагическими и комическими явлениями, со всеми его душевными и телесными запросами, и не проклиняет его, а, напротив, становится на его сторону и начинает знакомиться с ним; развивается свободное от всяких предразсудков критическое отношение к окружающему, а с тем вместе оказывается возможным и действительный прогресс в частной и общественной жизни. *Итак, реализм, критицизм, сокращение сословности, движение вперед.*

М. Смирнов.

LXXIX. Греки в Италии и возрождение платоновской философии

В первой половине XV века гуманистическому движению в Италии дан был сильный толчок. До тех пор гуманистам удалось воскресить лишь латинскую, римскую литературу; теперь выступили на сцену греки, познакомившие запад с теми произведениями, которые служили образцами для самих римлян.

Знакомство с греческим языком в средние века

Греческий язык был живым языком долго спустя после того, как латинский стал мертвым. Греческая империя в течение средних веков составляла политически часть Европы; со времени крестовых походов сношения с Византией были даже очень оживленными. Греческая литература продолжала жить в Византии: хотя самостоятельное литературное развитие здесь давно уже прекратилось, — вернее сказать, — пошло совсем в ином направлении, тем не менее греки продолжали еще читать и списывать классических авторов. Казалось бы, что при таких условиях знакомство с этими авторами не было особенно трудно для западной Европы. На деле было не так. Латинский язык знали все образованные люди; по-гречески не знали даже такие ученые, как Абельяр. Случалось, конечно, иногда, что какой-нибудь трудолюбивый, начитанный монах из любознательности занимался греческим языком; но подобные случаи были чем-то необыкновенным, и потому знание греческого языка всегда тщательно отмечалось биографами такого ученого. Если Гомер и Платон были только по наслышке известны средним векам, то, очевидно, в этом виноваты были не внешние обстоятельства.

Причина была другая. Со времени разделения церквей, — и даже ранее, когда начались

Пособия: *Schultze, F.* Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen. Jena, 1874. (Вышло, как первая часть «Geschichte d. Philosophie d. Renaissance»; больше не появлялось). *Vast, H.* Le cardinal Bessarion, etude sur la chretiente et la Renaissance vers le milieu du XV-e siecle. Paris, 1878. *Садов.* «Виссарион Никейский» («Христианское чтение» за 1882 г.). *Voigt, G.* Wiederbelebung d. classisch. Alterthums, 2-e Ausg. 1881. *Krumbacher,* Geschichte d. Byzantinischen Litteratur, Munchen 1891. *Stein.* Sieben Bucher uber die Geschichte des Platonismus, 3 Theil. Gottingen, 1875.

церковные споры между Востоком и Западом,—Византия стала чужою и враждебною стра-
ной для католического мира. Религия в средние века стояла на первом плане; религиозная
вражда была самая жгучая и непримиримая. Случилось как раз обратное тому, что было во
времена римской империи. Тогда, приняв культуру от греков, римское общество усвоило
себе и язык их; говорить по-гречески стало признаком образованного человека. В средние
века, резко разойдясь с греками по церковному вопросу, почувствовали отвращение и к их
языку. Все, что писалось на этом языке, в глазах католиков было вредным и схизматиче-
ским вздором,—стоило ли его изучать?! Иногда вспоминали, что раньше византийских
схизматиков по-гречески писали многие отцы церкви; в XIV в. Ричард де-Бери сетовал на
то, что отеческая литература недоступна европейцам вследствие их невежества в греческом
языке: он старался помочь беде и составил греческую грамматику. Но такие люди были
редким исключением. Большинство католических богословов довольствовалось латинскими
переводами, и когда им понадобился Аристотель, они предпочли лучше взять его у арабов,
чем у византийских греков. Только с ослаблением церковного духа на Западе, с пробужде-
нием светских интересов, стало возможно иное отношение к греческой образованности.
Отец гуманизма, Петрарка, первый понял, что без греческого языка невозможно серьезное
изучение античного мира. Эту мысль он высказывал часто и настойчиво, а так как его мне-
ние было почти законом для образованного общества, то не мудрено, что презрение ко все-
му греческому быстро сменилось совершенно другим чувством,—чувством, которое можно
назвать жаждой греческого языка. По странному совпадению здесь много помогли именно
церковные дела. Византийские императоры, теснимые турками, стали искать помощи на
Западе и думали купить ее ценой церковной унии¹. Один за другим являлись при папском
дворе их послы, по большей части, духовные лица, люди образованные и даже ученые. С
ними приезжали и другие греки, уже не для переговоров, а в надежде воспользоваться бла-
гами церковного соединения. Так начался приток образованных греков в Италию, продол-
жавшийся в течение всего XIV века и особенно усилившийся в первой половине XV, когда
во время ферраро-флорентийского собора греческая культура явилась на Западе в лице
лучших ее представителей—Плетона, Виссариона, Газы, Георгия Схолария и др.

Это постепенное ознакомление Италии с греческою образованностью прошло три ступе-
ни. Сначала заезжие греки являются изредка и случайно. Их очень ценят в это время, хотя
они приносят с собою знания не первого сорта,—но не многому у них выучиваются. Затем,
сношения становятся оживленнее, греков приезжает все больше и больше, с своей стороны
и итальянцы начинают ездить в Константинополь. Для греческого языка это была золотая
пора: он еще внове, им все увлекались, знатоками его дорожили чрезвычайно, и это были
уже действительно ученые люди, нередко талантливые и литературно-образованные—Ма-
нуил Хризолор, знаменитый византийский ритор (учитель), итальянцы Гварино и Филель-
фо. Позже, в особенности после падения Константинополя, греки массами наводняют Ита-
лию, и уважение к ним, вследствие этого, быстро падает; греческий язык уже очень распро-
странен и составляет необходимую часть гуманистического образования; от изучения внеш-
них форм переходят к изучению содержания греческой литературы,—и прежде всего от-
крывают греческую философию, известную средним векам лишь по наслышке, из третьих
рук. Этот третий период—эпоха возрождения платоновской философии.

1 См. статью «Турки в Европе и падение Византии» (вып. III)

Первые пионеры эллинизма

Всего труднее доставалось знакомство с греческим языком родоначальникам гуманистического движения. Нет надобности говорить, что сколько-нибудь сносных руководств в то время еще не существовало,—даже греческие рукописи были редкостью. Нужно было, стало быть, прежде всего достать учителя—грека. Петрарка пользовался уроками некоего Варлаама, который в 1339 г. был в Авиньоне послом от императора Андроника к папе Бенедикту XII. Варлаам был, собственно, не грек, а итальянец из Калабрии. В южной Италии—в Калабрии и на о. Сицилии—от времен византийского владычества сохранилось еще несколько греческих монастырей, так называемых «базилианских», устава Св. Василия Великого. Здесь удержался греческий язык,—с другой стороны, был, конечно, знаком и господствующий, латинский. Оттого базилианские монахи и употреблялись греческими императорами для переговоров с римской курией: в самой Византии знатоков латинского языка найти было трудно. Варлаам был человек очень известный среди греков своими богословскими познаниями, но педагогическим талантом он, видимо, не отличался. По крайней мере, даже такой способный ученик, как Петрарка, перенял от него очень немного и никогда не был в состоянии свободно читать по-гречески. У Петрарки была рукопись Гомера, но она была для него закрытой книгой. Он мог выразить свое почтение к творцу Илиады—для Петрарки, конечно, Гомер был реальным лицом—только тем, что благоговейно целовал его произведение, как он сам пишет. С его содержанием он познакомился только по латинскому переводу, сделанному другим греческим монахом, Леонтием Пилато.

Этого человека разыскал второй из родоначальников Возрождения,—Боккаччио. Пилато был не ученый богослов, а простой монах, грубый и невежественный; единственное достоинство его заключалось в том, что он говорил по-гречески. Жить вместе с ним—он прожил у Боккаччио три года—было немалым мучением для флорентийского гуманиста. Пилато был невыносимо грязен и нечистоплотен, характера очень сварливого и, вдобавок, туп до такой степени, что из всей классической литературы ему доставляли удовольствие лишь непристойные шутки, встречающиеся в римских комедиях. Петрарка острил на его счет, что «этот лев (Leontio) во всех отношениях большое животное». Но другого учителя нельзя было найти, а Пилато обещался, сверх того, перевести на латинский язык всего Гомера. Какова могла быть его работа, можно судить по тому, что переводчик очень плохо понимал по-латыни, а в греческом языке имел столь основательные познания, что имя Ахиллеса производил от *χιλος* (травя, корм для скота). Это был плохой подстрочный перевод, напоминавший Ливия Андроника; но в то время он был литературным событием первой важности. Получив его (в 1360 г.), Петрарка выпустил письмо¹ «к Гомеру», где, между прочим, есть очень любопытные сведения о распространенности греческого языка в то время. Петрарка перечисляет «друзей Гомера» в Италии, т. е. людей, знавших по-гречески или, по крайней мере, интересовавшихся этим языком. В Риме он не мог указать ни одного, а во всей Италии всего 8 или 9 человек. Переводчик Гомера был щедро награжден: по настоянию Боккаччио, во флорентийском университете была основана кафедра греческого языка (в том же 1360 году) и отдана Пилато, как ни мало он годился для роли профессора. И про-

1 У гуманистов было в обычае высказывать свои мнения по какому-нибудь поводу в форме писем, которые предназначались не для какого-либо действительного лица, а для публики, и ходили по рукам в списках.

шло еще полстолетия, прежде чем на этой кафедре появились преподаватели, обладавшие надлежащею подготовкой. Это были уже природные итальянцы, сначала Гварино (1410—1414), затем, Филельфо (в конце 20-х и начале 30-х годов XV в.).

У них, в самом деле, многому можно было научиться. Но мы очень ошиблись бы, если бы стали представлять их себе похожими на современных ученых, кабинетных работников. Странствующие учителя эпохи Возрождения—совсем особенный тип, произведение своеобразных бытовых условий. Наиболее характерным представителем этого типа был Франческо Филельфо (род. 1398 г., ум. 1481 г.).

Филельфо

По своей первоначальной карьере это был не ученый, а человек деловой, служащий,—и житейские способности, приобретенные на этом поприще, играли важную роль в его дальнейшей судьбе. Где и какое он получил первоначальное образование,—сказать довольно трудно; чему-нибудь, однако, он учился, потому что в молодости давали уроки в Венеции,—если верить ему, с большим успехом. Затем мы встречаем его секретарем при венецианском «bailo»—представителе республики в Константинополе; позже он перешел на византийскую службу и несколько лет был переводчиком при дворе императора Иоанна Палеолога. Здесь изучил он греческий язык, больше практически, чем теоретически. Он посещал школу ритора Хризококка, но, по его словам, он большему научился от своей жены, Теодоры,—дочери византийского ученого Иоанна Хризолора,—чем от ритора. Не мало помогало, конечно, любознательному итальянцу и то, что в Константинополе легко было доставать греческие рукописи, еще очень дорогие на западе.

Семь лет прожил Филельфо в Константинополе, собрал большой запас греческих классиков и с этим товаром решил попытать счастья на родине. Его приняли здесь с таким почетом, какого только он мог пожелать. Он сейчас же получил приглашение читать лекции греческого языка,—сначала в Венецию, затем в Болонью, где папский легат, наместник города, выказал к нему особенную предупредительность и от себя назначил ему хорошее жалованье, в прибавку к университетскому. Но для Филельфо этого было мало. Ему хотелось занять первое место в первом итальянском городе—во Флоренции, столице гуманизма. Все литературные знаменитости того времени—Никколи, Траверсари, Бруни, Марсуппини—собирались туда, привлеченные радушием и, особенно, щедростью правителя республики, Козимо Медичи. Приглашение и оттуда не заставило себя ждать; но молодой эллинист боялся продать свои услуги слишком дешево. Ему предлагали 300 дукатов в год, он просил 400 и делал при этом вид, что он, вообще, не слишком нуждается во Флоренции; его будто бы уже приглашали и в Падую и в Рим, да он не поехал,—ему хорошо и в Болонье. А чтобы подзадорить флорентийцев, он приложил к своему ответу каталог рукописей, привезенных из Византии; да это еще не все, прибавлял он: он еще много книг ждет на венецианском корабле, который скоро придет. Переговоры тянулись долго, Филельфо не одно письмо написал флорентийским гуманистам,—и с каждым письмом увеличивал свою ученую репутацию. То он вставлял греческие фразы, то цитировал на каждом шагу греческих классиков, то, наконец, совсем писал по-гречески, чтобы видели, что он не даром просит денег. Но во Флоренции тоже были расчетливые люди, а в Болонье, между тем, начались волнения и жить там стало неудобно; Филельфо должен был согласиться на 300 дукатов, выговорив себе, однако, прибавку на случай, если им будут довольны. Во Флоренции его встретили не хуже, чем в

других местах: первое время только и разговоров было в городе, что о Филельфо. Козимо Медичи первый посетил его по приезде и засвидетельствовал свое расположение богатыми подарками. По улицам народ толпами сбегался смотреть на знатока греческой мудрости. Молодые люди из лучших семейств города были его учениками; он считал у себя до 400 слушателей. Впрочем, к его расчетам нужно относиться осторожно: позже, разочаровавшись во Флоренции, он говорил уже только о 200 студентах. Как бы то ни было, казалось, что Филельфо достиг своей цели; по крайней мере, сам он был убежден, что никто из флорентийских ученых не может с ним соперничать. Он был так самоуверен и так ловко умел себя хвалить; нельзя было не преклониться пред его познаниями, особенно, когда судить их было некому. Но наш эллинист был, кроме того, еще и писатель, и считал себя гениальным поэтом; тут и ждали его неприятности. Однажды он в большом обществе читал свои произведения. Здесь был, между прочим, и знаменитый гуманист Никколо-да-Никколи, глава флорентийского литературного кружка. Сам он ничего почти не писал, но зато считался очень тонким критиком и не щадил чужих произведений. Никколи позволил себе ядовито пошутить насчет стихов Филельфо; тот вспылил, и через несколько дней выпустил резкую сатиру на Никколи и его друзей. В полемику скоро втянулись все ученые и литературные силы Флоренции, но никто не был на стороне Филельфо. Обе стороны не ограничивались указаниями обоюдных стилистических погрешностей; противники уличали друг друга в ростовщичестве, безнравственном поведении, содержании игорных домов — и даже в мелком воровстве. Козимо Медичи вступился за своих старых приятелей, — Филельфо напал и на него, вмешался в политическую борьбу, перешел на сторону аристократической партии, боровшейся с Медичи, и писал против последних невероятные, по своему содержанию, пасквилы. Кончилось дело тем, что он должен был бежать из Флоренции, спасаясь от ножей нанятых его врагами убийц, — и удалился в Сиену. Позже он сам нанял одного bravo¹ и поручил ему известить флорентийских литераторов, но это предприятие потерпело неудачу. Всего удивительнее, что после таких решительных действий Филельфо нашел возможность примириться с домом Медичи и вернулся во Флоренцию; здесь он и умер в 1481 году — 83 лет, пережив всех своих литературных соперников.

Он надолго пережил и свое время, — первый период Возрождения, период странствующих учителей и собирателей рукописей. Люди, большею частью, очень деловые, они по своим приемам больше напоминают торгашей, чем жрецов науки и изящных искусств; жадность и мелкое литературное самолюбие — главные мотивы их бесконечных ожесточенных споров. Конечно, не все были одинаковы. Среди гуманистов немало было людей очень почтенных, работавших из любви к делу, а не ради вознаграждения. Таков, например, Амброджио Траверсари, генерал ордена камалдулов, ученый монах, переводивший «Биографии философов» Диогена Лаэртского. Таковы Бруни и Марсуппини, один за другим бывшие канцлерами флорентийской республики. Но люди, подобные Филельфо, встречались очень нередко: гуманизм, став предметом тщеславия для городов и отдельных богатых лиц, в роде Медичи, сделался доходным ремеслом и возбуждал корыстные интересы. Но не нужно ценить этих людей слишком низко: они сделали свое дело и сделали хорошо. Они овладели вполне обоими классическими языками, умели проникнуться их духом, сами увлекались ими и старались заинтересовать других. Как ни безобразна была, с нрав-

1 Наемный убийца

ственной точки зрения, деятельность Филельфо,—как преподаватель, он и его современники достигли блестящих результатов,—особенно, если сравнить со временами Леонцио Пилато. В конце XV века один гуманист—Анджело Полициано—мог писать флорентийским гражданами: «В вашем государстве, мужи флорентийские, греческая образованность, которая давно уже потухла в самой Греции, воскресла и расцвела до такой степени, что уже люди из вашей среды могут быть учителями греческой литературы; у вас дети из знатных семейств,—чего тысячу лет не бывало в Италии,—так чисто и легко говорят на аттическом наречии, как будто Афины не разрушены и не заняты варварами, но добровольно оторвались от своей почвы и со всею своею образованностью перенесли во Флоренцию».

Роль греков в истории Возрождения

Здесь не совсем справедливо только одно: не упомянуто о том, что же дали прежние обладатели этой образованности, византийцы. Для итальянских гуманистов первого века впереди всего стояла сама греческая речь. Знать язык—вот был предмет их гордости. Мы видели, с каким детским доверием относились к знатокам этого языка первые гуманисты, как чисто школьнически хвастался своим знанием Филельфо. Для византийцев это был родной язык; литературное предание у них никогда не прерывалось. Производя мало оригинального, они не переставали учиться у древних, и иногда, по крайней мере, поднимались до такой самостоятельности, что могли относиться к ним критически, что совсем было не под силу первым гуманистам. Это давало грекам возможность стать выше пререканий о стиле и грамматике,—в их полемике главную роль играли все же идеи, хотя и не собственные, а заимствованные у древних. У итальянцев были покамест только *знатоки*, Византия могла насчитать у себя несколько настоящих *ученых*. Такими был, между прочим, Георгий Гемист, по прозвищу Плетон¹.

Гемист Плетон

Он родился в Константинополе, (в 1355 г.), но прожил всю почти жизнь в Пелопоннесе, где он был долгое время судьей, может быть, чем-то в роде председателя греческого суда, потому что биографы называют его *προβιτῆς τῶν νομῶν*. Его должность давала ему возможность хорошо ознакомиться с положением этой византийской провинции, единственного крупного владения, какое еще оставалось у Восточной империи. Это было тяжелое время для Византии: со всех сторон империи угрожали опасности, больше всего от турок. Постоянные войны требовали денег; население было страшно разорено налогами. Феодальные привычки, после латинского завоевания проникшие в Византию, были особенно сильны в Пелопоннесе и собственной Греции, где французы держались очень долго и имели сильное влияние. Местные правители, топархи, держали себя, как независимые государи, но повиновались императору и его наместникам. Весь механизм администрации был расшатан, и с каждым годом портился все больше и больше. Людей наблюдательных и вдумчивых, каким был Плетон, все это наводило на мысль о необходимости быстрых и всесторонних преобразований. Сначала он надеялся достигнуть этого государственными средствами. Он подавал записки императору и его брату, управлявшему Пелопоннесом; здесь Плетон советовал уменьшить налоги, собирать их более целесообразно, обуздать своеволие топархов, изменить организацию войска. Все это были очень хорошие советы, только

¹ *Γεμιστος*—наполненный, *πληθων*—полный (синонимы); Георгий принял второе прозвание, потому что оно напоминало имя Платона.

исполнять их было некогда: турки с каждым годом подвигались все ближе и ближе. Но если бы даже и было время, нельзя было найти подходящих исполнителей для задуманных реформ. Это последнее обстоятельство скоро понял сам Плетон. Населению империи пришлось перенести не мало превратностей, что очень вредно отразилось на его нравственных свойствах. У византийца развились пороки, которые легко овладевают всеми слабыми людьми: неискренность, вероломство, вообще отсутствие нравственной устойчивости. Для возрождения империи нужен был, прежде всего, нравственный подъем византийского общества, — затем уже политическая и административная реформы. В эту сторону и направились теперь старания Плетона: он задумал всестороннее обновление Византии и решил начать с религии и нравственности. По своему воспитанию и наклонностям, Плетен был, прежде всего, философ, и как философ, конечно, — ученик древних; собственной, оригинальной философии в его время на востоке так же не было, как и на Западе. Вполне естественно, что ему пришла мысль искать спасения у древности, и именно в древней философии. Люди не знают, как им должно жить, так следует их научить этому, а лучший учитель жизни из древних — это Платон, который еще в первые века христианства считался самым возвышенным из философов, — таким, который ближе всего подошел к истинам божественного откровения. Еще Юстин-мученик, один из самых ранних христианских писателей, видел в учении Сократа произведение Божественного разума, а Платона прямо называл христианином и пользовался его доказательствами при объяснении истин христианской веры. Блаженный Августин допускал даже, что новоплатоникам было известно учение о Св. Троице, хотя они и не получили откровения. В этом случае Византия лучше сохранила предания отцов церкви, чем западные богословы. Платона знали и занимались им в Византии гораздо больше, чем на западе; Анна Комнена его читала, историк Никифор Григора подражал его стилю, богослов Григорий Палама (XIV в.) развивал его учение о душе и ее свойствах. Самый значительный из византийских философов, Михаил Пселл (XI в.), был ярый платоновец и противник Аристотеля: у него можно видеть следы той борьбы между этими двумя авторитетами, которая разделяла некогда древний мир и впоследствии должна была разделить представителей возрожденной древности, гуманистов. В том же Пселле ясно выразилась и другая, слабая сторона всех средневековых платоновцев: он еще не отделяет основателя Академии от его позднейших продолжателей и комментаторов. Новоплатоники, Плотин и Ямвлих¹, для него такие же авторитеты, как и сам Платон. Вследствие этого религиозный элемент, присутствующий в платоновской философии, должен был разрастись до невероятных размеров: для новоплатоников познание здешнего земного мира стояло уже на втором месте; первое принадлежало изучению мира сверхчувственного, божественного, царства *идей*. Открывалась необычайно широкая и туманная перспектива, неотразимо привлекательная для человека с такою пылкою фантазией, как Гемист Плетон. Для таких людей Платон становился обладателем особенной, таинственной мудрости, доступной лишь немногим избранным, сливался с полусказочными мудрецами, с

1 Плотин, родом из Ликополя в Египте, род. 205 по Р. Х., ум. около 270, преподавал в Риме новоплатоновское учение, мистически-аллегорическую смесь из греческих систем, в соединении с восточными, египетскими и еврейско-христианскими воззрениями; цель жизни он видел в слиянии с божеством, в освобождении души от плоти.

Ямвлих современник Константина Великого, ученик Порфирия, ученика Плотина. Смешивал учения Пифагора и Платона и также находился под сильным влиянием восточной мистики.

Пифагором и даже Зороастром. Все они были предтечами той новой религии, основатель которой задумал Платон и которая должна была возродить развращенное византийское общество. Реформатор, не обинуясь, признавал в своей новой вере много сходства с язычеством. Учение о переселении душ после смерти в другие тела было одним из главных догматов, резко отличавших учение Платона от христианства. Греческая мифология, которую пользовались и новоплатоники для своих аллегорических объяснений, давала новой религии богатый материал. Платон придумал целую иерархию сверхъестественных существ,—богов и «идей» в Платоновском смысле одновременно,—во главе которой стояли Зевс, но где было место и для Гекаты, и для всякой мелкой челяди олимпийского двора. Система должна была охватить все проявления человеческой жизни: на богословие Платона опиралось подробно развитое учение о нравственности, а это последнее, в свою очередь, было основанием учения о государстве. У новой религии был, конечно, и свой культ, обряды, молитвы и таинства, своя церковь и священнослужители; здесь образцом было уже, впрочем, византийское православие, а не религия Гомера.

Само собою разумеется, что этот грандиозный план остался в голове своего творца и в его сочинениях. Новая религия не пошла дальше небольшого кружка учеников Платона, да и здесь осталась теорией, не перейдя в жизнь. Но фантазии Платона не прошли безследно для истории: на другой почве и в иной обстановке его учение дало плоды,—не совсем такие, впрочем, каких ожидал его автор.

Уже восьмидесятилетним стариком судьба привела Платона в Италию. Он приехал на собор во Флоренцию, не как основатель новой религии, а как самый блестящий представитель старой, как один из лучших знатоков восточного богословия. Подобно его духовным предкам,—Пселлу и прочим средневековым византийцам,—преклонение пред Платоном не мешало ему подчиняться правоверному учению в других вопросах, не касавшихся сущности его системы. Отвергая, по крайней мере, в душе, если не явно, многие основные истины христианства, Платон не допускал никаких отклонений от предания в вопросе об исхождении Св. Духа. Уступить католикам в этом случае казалось ему унижительным и позорным,—и религиозный реформатор превращался на соборе в горячего апологета восточного православия. Но как человек очень живой и увлекающийся, он не мог ограничиться этим, так сказать, служебным, официальным делом. Он быстро сошелся с флорентийскими гуманистами и, благодаря своим знаниям, скоро стал играть между ними выдающуюся роль.

Изучение Аристотеля в средние века

В то время на Западе почти безраздельно господствовал Аристотель. Он вовсе не был авторитетом, искони признанным католическою церковью: было время, когда его учение считалось противным христианству, а его сочинения были под строгим запретом. Но когда католическим богословам пришлось приводить в систему свое вероучение, они поневоле должны были обратиться к величайшему систематику древности.

Сначала воспользовались только формальною стороною его философии—его логикой. Затем случилось то, что часто бывает: средство само по себе стало целью. Стали изучать Аристотеля ради него самого, усвоили постепенно всю его систему, скоро она так срослась с церковным учением, что сама по себе стала чем-то в роде догмата. Церковная кара грозила уже не тем, кто занимался Аристотелем, а тем, кто вздумал бы опровергать его мнения. В

1215 г. была запрещена метафизика Аристотеля, а в 1339 г. та же участь постигла сочинения Оккама, который по некоторым вопросам осмелился не соглашаться с Аристотелем. Система Фомы Аквинского, объединившая Аристотеля и учение церкви в своем знаменитом сочинении «*Summa philosophica de veritate catholica*»,—эта система была официальной философией католицизма до нового времени. Еще в 1629 году парижский парламент грозил уголовным наказанием ее противникам. Но уже гораздо раньше она не удовлетворяла очень многих. Для натур религиозных в ней было слишком мало таинственного, мистического элемента; людям с поэтическим, художественным воображением не мог нравиться метод Аристотеля—холодный, строго разсудочный. Источником гуманистического движения в значительной степени было непосредственное, художественное чувство, любовь к природе и к естественности. Уже первые гуманисты отвернулись от искусственно построенных схоластики; Петрарка от всей души презирал «школьную мудрость» и смеялся над нею, но он не мог противопоставить ей ничего своего. Сила Аристотеля заключалась в том, что он был единственным философским авторитетом: выбора не было; отказаться от основанной на нем схоластики значило отказаться от философии. Петрарка смутно чувствовал, что он мог бы опереться на Платона, но он знал о нем очень немного,—то, что можно было узнать из Цицерона и других латинских писателей. Все последующие гуманисты разделяли в этом случае настроение Петрарки: можно себе представить их удовольствие, когда перед ними явился мудрец, знавший Аристотеля из первых рук, а не по латинским переделкам арабских переводов, и превозносивший Платона. Природа как будто нарочно дала Плетону наружность пророка: высокий, статный старик, с белою, как снег, бородой, с живою и увлекательною речью, он был самым подходящим проповедником для своего поэтического, таинственного учения. Конечно, на флорентийских гуманистов сильно действовала и античная оболочка системы Платона, но, главное, она совсем не походила на школьную премудрость. По настоянию своих новых друзей, Плетон изложил свои взгляды на философию письменно в сочинении «О различии между Платоном и Аристотелем» (*Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφερεται*); это был первый шаг в той философской распри, которая ознаменовала собою возрождение платонства в XV веке.

Аристотель и Платон у Платона

На первый раз это была довольно умеренная книга. Плетон вовсе не думал отрицать заслуг Аристотеля,—напротив, он вполне признавал истинность всей его «физики», всей, так сказать, научной части его системы. Но он жестоко напал на его метафизику, на его богословские воззрения в особенности. Это был протест глубоко религиозной натуры против разсудочного метода перипатетиков; по мнению Платона, Аристотель не верил достаточно ни в Бога, ни в бессмертие души. В противном случае он не учил бы, что мир—вечен. Аристотель никогда не называет Бога, как Платон, творцом и строителем мира; для него Бог только главный начальник, *στρατηγὸς στρατευμάτων ταπτων*, все равно, что полководец в войске. Аристотель представляет себе мир в виде движущихся сфер; в каждой сфере есть свое божество, и сфера, в которой пребывает Бог высший, только одна из этих сфер,—самая совершенная, правда, но все же ограниченная другими. Разве это достойное положение для всемогущего существа? Нет, решает Плетон, учение Платона о едином всеблагом создателе несравненно выше философии его ученика. Кто, как не Платон, доказала лучше всех без-

смертие души? Аристотель вряд ли даже и признавал это бессмертие; по крайней мере, там, где оно всего нужнее, в этике, в учении о нравственности, он и не упоминает о нем, как будто можно быть нравственным человеком и не верить в бессмертие души. Вместо того, чтобы основать добродетель на идее высшего блага, как у Платона, Аристотель видит ее в простой умеренности, в середине между двумя крайностями. А в своем учении о цели человеческой деятельности Аристотель говорит, что удовольствие—непременное условие счастья; чем же это отличается от эпикурейства, столько раз отвергнутого и осужденного христианством? Даже и слог Аристотеля, сухой и бледный, по мнению Плетена, показывает, насколько он уступает Платону, с его образным, поэтическим языком. И такую-то жалкую (*φαυλόν*) философию схоластики выдают за венец премудрости!

Эта критика была в самое чувствительное место средневековой философии. Гордость схоластики составляло полное согласие ее учения с церковною догмой; Плетон доказывал, что эта гордость неосновательна, что *summa philosophica* и *veritas catholica*, соединенным в заглавии сочинения Фомы Аквинского, в действительности несоединимы. Этим была дана почва для дальнейшей полемики против господствующей системы. Последующие платонисты пошли еще дальше в этом направлении, пытаясь сделать в пользу Платона то, что было сделано схоластиками в пользу Аристотеля. Само собою разумеется, что их усилия не остались без отпора со стороны аристотелевцев. Прежде всего Плетон нашел противника в среде самих византийских ученых; это был Георгий Схолярый, впоследствии глава православной партии в Константинополе и, под именем Геннадия, патриарх цареградский после турецкого завоевания. Но эта междоусобная греческая полемика лежит уже за пределами итальянского Ренессанса.

Влияние Плетона на гуманистов

Во Флоренции же учение Плетона было принято с живейшим одобрением. Найден был выход из положения безвыходного для первых гуманистов: можно было оставить на доевшую школьную мудрость и не только не попасть в ряды невежд или неверующих, но, напротив, стать под знамя мыслителя, еще более возвышенного и благочестиваго, чем сам Аристотель. И при этом, вместо сухих силлогизмов, образная, поэтическая речь, аллегорическое объяснение мифов,—словом, вся художественная и мистическая сторона платонизма, которая должна была так сильно привлекать людей, любивших все прекрасное и искавших нового и чудесного. Плетон после окончания собора уехал в Пелопоннес и умер там несколько лет спустя (между 1450—55 гг.), оставив изложение своей философско-религиозной системы в сочинении о законах (*Νομοι*), которое до нас дошло в отрывках. Но его обаяние долго удержалось в Италии, как показывает следующий случай. В 1465 г. венецианцы вели в Пелопоннесе войну с турками. Когда их генерал, Сигизмунд Пандольфо Малатеста, овладел Спартой,—где был погребен Плетон,—он поспешил отыскать могилу ученого, вырыл его кости и «как лучшую часть добычи» перевез в Италию. Здесь, в построенной Малатестой церкви св. Франциска, в Римини, нашел свое последнее успокоение «первый из философов своего времени»—как называет его надгробная надпись. В числе людей, на которых произвел сильное впечатление византийский реформатор, был и Козимо Медичи. Станным образом, этого сухого и холодного человека, прежде всего расчетливого хозяина, сильно заинтересовала платоновская философия. Быть может, он думал найти в ней разре-

шение всех загадок жизни;—наивное убеждение, будто философия заключает в себе безусловную истину, совершенно в духе того времени; или же им просто руководило особого рода тщеславие: у него были *свои* гуманисты, *свои* поэты и художники, и ему захотелось иметь *своего* философа, и свою «академию». Как бы то ни было, со времени знакомства с Платоном Козимо не оставляла мысль об основании платоновской академии во Флоренции. Он довольно своеобразно приготовил своего первого академика. У его домашнего врача, Фичино, был сын, по имени Марсилий: из этого мальчика, очень способного и трудолюбивого, решено было сделать философа. Он воспитывался по особой программе, при чем целью было поставлено полное знакомство с Платоном. А покуда шло это образование, его покровитель собирал, откуда только мог, рукописи Платона и новоплатоников. Когда Марсилий окончил свое воспитание, он нашел богатую библиотеку и мог удовлетворительно справиться с своею задачей: первым слушателем его лекций был сам Козимо.

Фичино

Марсилий Фичино (род. 1433, умер 1499) в известном смысле может быть назван продолжателем Гемиста Плетона: и у него на первом плане религиозная точка зрения. О нем рассказывали, будто он совсем язычник и молится, вместо Мадонны, перед статуей Платона; но это, по всей вероятности, выдумка его врагов; она любопытна лишь в том отношении, что показывает, как смотрели в первое время на занятия Платоном. В действительности, Фичино далеко не отличается тою смелостью и самостоятельностью суждений, как его византийский образец. По своему отношению к предмету он больше походит на схоластиков, чем на Плетена. Совсем схоластический вид имеют, например, его пятнадцать доказательств бессмертия души. Здесь, как и вообще в схоластике, аргументами служат не факты и не идеи, а просто слова: из формального словесного определения души выводятся ее свойства, а из них—бессмертие. По определению, например, душа есть нечто существующее само по себе; но то, что существует само по себе, независимо от всего другого, не может быть устранено через другое, следовательно—бессмертно, значит, душа бессмертна и т. д. Основная мысль Фичино—полное сходство между учением Платона и учением церкви. Платон проповедывал то же, что и Моисей; Фичино даже старается отыскать у греческого философа намеки на грехопадение прародителей и описание потопа. Само собой разумеется, что при всех подобных сближениях жестоко доставалось исторической истине. Помимо стремления найти у Платона упоминание чуть не о всех событиях Ветхаго и Новаго завета, помимо натяжек, так сказать, тенденциозных, у Фичино было еще много промахов невольных, от невежества и неопытности в деле исторической критики. В составленной им биографии Платона нашли место себе все чудеса и басни, какая можно было собрать о Платоне в средневековой литературе. А насколько Фичино понимал метод Платона, видно из его мнения, будто только то, что философ говорит от своего лица, он считал за истину, а то, что говорится в диалогах от лица Сократа и других, самому Платону казалось только правдоподобным. Тем не менее для распространения платонства Фичино сделал чрезвычайно много. Характерною его чертой было пламенное одушевление, с каким он относился к философии, видя в ней выражение мировой мудрости. «Ты, философия», говорит он в одном месте, «построила города, соединила разрозненных людей сначала жилищем, потом браком, потом общностью языка и знаний, ты изобрела законы, ты создала добрые обычаи и нравственность». Он умел передать это оживление другим; его сочинения (два главных: «De

religione Christiana» и «Theologia platonica») читались всюду; еще больше помогала распространению платоновских идей его переписка, изданная впоследствии в XII книгах. Но главной заслугой Фичино был перевод—на латинский язык, разумеется—произведений Платона и Плотина, долгое время считавшийся образцовым. Раньше переводил Платона (как и Аристотеля) Бруни, но его работа далеко не имела такого успеха. Переводы Фичино, напротив, неоднократно перепечатывались, и через них вся образованная Европа могла познакомиться с Платоном.

Наряду с платоновскою философией, флорентийская академия унаследовала от Платона и склонность ко всему таинственному, чудесному. Итальянцы эпохи Возрождения вообще были суеверны; изучение новоплатоновской мистики дало этому чувству теоретическое обоснование. Фичино верил в сны и занимался предсказаниями—настолько серьезно, что даже опубликовал одно из своих пророчеств. Гораздо более замечательным представителем этой стороны Возрождения был граф Джованни Пико Мирандола (Pico della Mirandola) (1462—1494).

Пико Мирандола

Нет характера, который бы яснее показывал связь Возрождения со средними веками. Если бы нужно было в двух словах обрисовать жизнь Пико, то можно было бы сказать, что это была постоянная борьба средневекового темперамента с влечениями, созданными гуманизмом. У его современников составилось о нем двойственное представление. С одной стороны, это—знаменитый ученый, автор многих философских трактатов, один из первых в Европе ориенталистов—знатоков восточных языков; в то же время, это—герой легенд, в биографии которого не меньше фантастического, чем в житии любого из средневековых святых. Правда, сам он не совершал чудес: но зато по поводу его совершались чудеса даже до его рождения. Однажды над домом, где жила его мать, появился будто бы яркий свет, который скоро погас; в то время не поняли, что бы это могло значить; но впоследствии догадались, что явление предвещало ей сыну необыкновенную, хотя и непродолжительную, славу. Три астролога и одни гадалщица предсказали его раннюю смерть (Пико умер 32 лет). Он сам—в горячечном бреду, конечно—видел Богоматерь, которая утешала его, обещая ему жизнь вечную. Чудеса продолжались и после его смерти: Савонарола рассказывал в одной из своих проповедей, что умерший философ являлся ему и горько оплакивал свои земные заблуждения, из-за которых он должен мучиться в чистилище. Но если оставить в стороне сказочный элемент, в самом характере Пико все же было много средневековых черт. Он считал своим долгом заботиться о нищих и много раздавал милостыни: несмотря на свое высокое происхождение и ученую славу, был очень скромным, чего никак нельзя сказать о большинстве его современников; вел уединенную жизнь и удалялся от всяких светских удовольствий, хотя природа наделила его очень красивою наружностью; наконец, постился и бичевал себя ради умерщвления плоти,—словом, отличался всеми добродетелями классических образцов средневекового подвижничества. Положим, что все эти средневековые добродетели развились лишь во вторую половину его недолгой жизни. Смолodu он очень любил удовольствия и увлекался светскою поэзией—большой грех с аскетической точки зрения, который он старался искупить впоследствии, уничтожая поэтические произведения своей юности. Не чужд он был тогда и общей слабости гуманистов—тщеславия. Средством удовлетворения этого чувства были тогда, между прочим, ученые диспуты; Пико

был один из самых блестящих диспутантов; раз в Риме он брался защищать 900 тезисов по самым разнообразным предметам, что, конечно, свидетельствует о его учености, но никак уже не о скромности. Все это, однако, вполне подходит к его средневековой физиономии. Сначала очень бурная молодость, потом покаяние и умерщвление плоти, наконец монастырь—это обычный жизненный путь тогдашней сильной натуры. Пико прошел его до конца, вступив за несколько дней до смерти в орден доминиканцев. Но на этой старой основе культурное движение XV в. вышло новые узоры, вовсе не подходившие к основному фону. Прежде люди каялись в своих чувственных увлечениях и страстях; в жизни Пико на первом плане стояли идеи. Эти идеи мучили его не меньше, чем чувственные грехи; он старался подчинить их своим верованиям или, скорее, тому, что он считал обязательными верованиями христианина, но не мог, и страдал от этого. «Нельзя верить всему, чему хочешь», с горечью повторяет он не раз в своих сочинениях. Но сильно развитое религиозное чувство подсказывало ему, что нужно верить, а создать свою веру, как это сделал Платон, он не осмеливался: для такого религиозного возстания у него была слишком кроткая и послушная натура. Как и у византийского философа, у Пико была своя излюбленная система. Это было уже не платонство и даже не пифагорейство, а нечто еще более туманное и таинственное—еврейская «каббала». Существовало предание,—излишне говорить, что оно ни на чем не основано,—будто Моисей получил на Синае, кроме десяти заповедей, еще мистическое объяснение к ним, которое он сообщил только мудрейшим из народа Израилева. До Ездры оно передавалось устно из поколения в поколение; при Ездre оно было записано и составило 70 книг, отчасти переведенных на латинский язык по приказанию папы Сикста IV (1471—84). Пико изучал каббалу в подлиннике и увлекся ее учением. В молодости он колебался между Аристотелем и Платоном, явно, впрочем, предпочитая последнего, но уже в его римских тезисах, которые он составил, когда ему было 24 года, видно влияние еврейской философии. В тезисах заподозрили ересь, и они были если не прямо осуждены, то, во всяком случае, не одобрены папой.

Это был первый удар для благочестиваго Джованни Пико. Он выпустил вскоре «Апологию», где доказывал, что каббала во всем согласна с христианским учением, но, повидимому, эти доказательства не успокоили его собственной совести. Его следующее сочинение, *Heptameron*, еще более благочестиво по настроению и еще более туманно. Это, собственно, мистическое толкование рассказа книги Бытия о сотворении мира,—толкование натянутое, произвольное, где благочестивая фантазия автора совершенно упразднила логику¹. Здесь ясно только одно: сильное желание автора во что бы то ни стало согласить свои идеи с учением католической церкви. В этой непосильной борьбе между разсудком и верой ум Пико, от природы ясный и сильный, потускнел и ослабел. Только изредка, когда ему приходилось говорить о вещах, не касавшихся его системы, к нему возвращались его энергия и способность выражаться отчетливо. Таково его сочинение против астрологов и, особенно, небольшой трактат «о достоинстве человека» («*De dignitate hominis*») —лучшее, что произвела философия Возрождения. Нужно, впрочем, заметить, что современников Пико вовсе не отталкивали туманность и натянутость его сочинений. Его слава, как философа, была огромна и далеко заходила за пределы Италии и современного ему поколения; его мнения о каб-

1 Основная мысль сочинения та, что каждое слово в повествовании книги Бытия—аллегория и должно быть понимаемо, кроме прямого, еще в 4 переносных смыслах.

бале имели большое влияние, например, на Рейхлина. Накануне смерти философа во Флоренцию вступила французская армия под предводительством короля Карла VIII. Первый вопрос короля был о Пико; узнав, что он тяжело болен, Карл отправил к нему своих лейб-медиков и очень огорчился, когда ему сказали, что состояние больного безнадежно. Его соотечественники, итальянцы, его друзья смотрели на него, как на совершеннейшего из мудрецов. То, что не понравилось бы современному читателю, изобилие мистицизма и неясных идеи, то особенно привлекало людей того времени, в действительности, несмотря на вольнодумство, вовсе не отрешившагося от средневековой религиозности; только эта религиозность не довольствовалась уже католическо-христианской формой и искала новых выходов, находя их в древне-еврейских учениях и даже в язычестве. Последнее процветало в платоновских академиях.

Платоновская академия

Флорентийская академия продолжала работать в том же направлении и по смерти ее основателя (Козимо Медичи умер в 1464 году). Это не было ученое учреждение, в роде нынешних академий; скорее она походила на современное ученое общество. Члены ее не имели определенных обязанностей; их соединяло преклонение перед памятью их общего учителя, Платона. При внуке Козимо, Лоренцо Великолепном, 7 ноября, предполагаемый день рождения и смерти философа, был торжественным праздником для всей Флоренции. Во дворце Лоренцо был в этот день пир, во время которого читались и объяснялись отрывки из Платонова «Пира». Подобный полуязыческие празднества не были единичным явлением. Особенно они процветали в другой платоновской академии, основанной в Риме. Во главе ее стоял Петр из Калабрии, переименовавший из любви к древности свое христианское имя на языческое Pomponius Laetus. Он хвастался тем, что он язычник, и говорил даже, что ему суждено ниспровергнуть христианство. Все другие члены этой академии также приняли языческие имена, клялись именем Платона и видели в нем основателя своей религии. Папа Павел III (1464—71) принял строгие меры против этого «разсадника ереси и неверия», как называл он академию. Но среди самой курии были если не единомышленники Помпония, то, во всяком случае, люди, сочувствовавшие новому движению. Сохранилось одно письмо кардинала Виссариона, показывающее, до какой степени даже вполне правоверные люди прониклись античными воззрениями. Он писал по поводу смерти Платона, своего учителя, следующее: «Я слышал, что наш общий отец и руководитель, покинув все земное, переселился в светлую небесную страну, чтобы вместе с богами Олимпа участвовать в мистериях¹. Радуюсь, что я пользовался обществом человека, мудрее которого не производила Греция со времен Платона, за исключением Аристотеля. Если принять учение пифагорейцев и Платона о бесконечном переселении душ, то нельзя сомневаться, что душа Платона, пройдя через ряд определенных судьбой воплощений, избрала, наконец, своим жилищем тело Гемиста (Плетона)». Конечно, все это литературные метафоры, а не действительные мнения кардинала; но уже одно то, что эти метафоры без стеснения употребляет один из высших представителей церкви, достаточно характеризует настроение эпохи.

В лице именно Виссариона мы находим еще одного крупного представителя платонства. После восторженного пророка Плетона и платонизирующего схоластика Фичино, мы встречаем человека, способного отнестись к Платону более хладнокровно и вследствие этого бо-

1 Буквально: «водить мистические хороводы» (Schultze, 107—108).

лее научно. Хронологически старший современник флорентийской академии (род. 1403, ум. 1472), в истории развития платонства он является заключительным звеном. Там было увлечение или подчинение, здесь уже свободный выбор между философскими авторитетами.

Виссарион. Его воспитание и характер.

Виссарион¹ родился в Трапезунте,—следовательно, не был подданным византийского императора, так как Трапезунт составлял особое государство. Сын очень бедных родителей,—может быть, простых ремесленников,—он пробил себе дорогу единственно своими блестящими способностями. Еще в детстве он обратил на себя внимание местного епископа, который и позаботился о его воспитании. Он учился в Константинополе у лучшего византийского преподавателя того времени, Хризостома: образование, разумеется, было литературно-реторическое, как вообще в то время: будущий гуманист имел полную возможность прекрасно ознакомиться с греческими классиками. Здесь Виссарион встретил не раз упомянутого у нас Филельфо, в то время тоже занимавшегося у Хризостома; личный характер этого итальянца, конечно, был мало привлекателен, но через него Виссарион мог познакомиться с новыми умственными интересами, возникавшими тогда на Западе. Эти интересы не могли быть для него совсем чужды и непонятны. Уже с XIII века, со времени борьбы с франками, западное влияние, очень сильное при Комненах, уступило место реакции в сторону чисто-греческой культуры. Стремление к аттицизму, к очищению классического языка от всяких варварских примесей, проникших в него в средние века, началось на Востоке раньше, чем на Западе. Это греческое возрождение прошло бесследно у себя на родине, потому что Византия не имела будущего. Но оно не осталось без влияния на итальянский гуманизм,—между прочим, потому, что подготовило к участию в Ренессансе некоторых греков, в том числе и Виссариона. Случилось так, что его дальнейшее образование продолжалось в том же направлении. После грамматики и реторики ему понадобилась философия. Самым выдающимся философом Византии был уже известный нам Георгий Гемист, впоследствии Плетон, и Виссарион отправился к нему в Пелопоннес. И место обучения, и личность наставника одинаково не остались без влияния на судьбу Виссариона. Мы знаем, что Плетон буквально бредил древностью,—быть может, больше, чем любой из итальянских гуманистов. Виссарион не сделался сторонником фантастической религии своего учителя,—он для этого был слишком разсудительный и спокойный человек; самое большее, что он усвоил себе некоторые литературные обороты Плетона, образчик чего мы видели выше. Но влияние такого своеобразного и для своего времени самостоятельного мыслителя позволило его ученику подняться гораздо выше рутинной, школьной философии: у него выработался тот широкий, почти научный, взгляд на отношения Платона и Аристотеля, до которого не могли возвыситься слепые поклонники того или другого. Он одновременно освободился и от философских, и от национальных предрассудков своего времени. Та непроницаемая стена, которая отделяла Восток от Запада в средние века, не существовала в Пелопоннесе. Со времени латинской империи он был наводнен французами и итальянцами, которые остались здесь надолго. При ежедневных сношениях различие между франками и греками неизбежно должно было до некоторой степени сгладиться, стусеваться. Живя в такой среде, нельзя было долго сохранить традиционное узко-византийское недоверие к западным европейцам:

1 Его монашеское имя; св. Виссарион был покровителем Трапезунта

если Виссарион впоследствии стал «graecorum latinissimus» (выражение Валлы), то начало этого олатинения следует отнести еще к его жизни в Пелопоннесе.

Таким образом, молодой греческий монах (Виссарион постригся в 1423 г.) еще в ранней молодости с разных сторон подвергался влияниям, подготовлявшим его к будущей гуманистической деятельности. Но сначала он выдвинулся на совсем другом поприще, — как богослов. В этом отношении он приобрел настолько громкую известность, что с небольшим 30-ти лет, его, человека совсем незнатного, притом не византийского уроженца, император назначил на один из высших постов византийской церковной иерархии. Около 1436 года он стал архиепископом города Никеи, которого, кстати, он никогда не видал, ибо он уже давно был в руках турок. Причина такого быстрого возвышения совершенно ясна: Иоанн IV готовился в то время к последней, решительной попытке соединения церквей и нуждался в лучших ученых силах Греции, чтобы достойно представить Византию на соборе, где были лучшие католические богословы.

Виссарион на Флорентийском соборе

С этой стороны Виссарион вполне оправдал выбор императора. По своей учености и красноречию он играл одну из первых, если не самую первую роль среди греков, — и обратил на себя внимание высшего католического духовенства, вообще гораздо более богатого богословскими сведениями, чем греческое. Но тут уже обнаружилось, что молодой архиепископ несравненно больше годился для роли ученого, чем дипломата. Это особенно ясно выразилось в его вступительной речи: он считал задачей собора совершенно беспристрастное исследование спорных вопросов. «Греки и латиняне, говорил он, сошлись с одинаковыми намерениями, обе стороны, с единственным желанием найти истину, предпочитая в ином быть побежденными хорошо, чем победить худо, ибо лучше потерпеть поражение в споре, но зато узнать истину». Дальнейшее поведение Виссариона показало, что это не были пустые слова. Виссарион поступал так, как говорил. Но на соборе дело шло не о научном исследовании: решался практический вопрос, имевший огромные, прежде всего политические последствия; за богословскими разсуждениями стояли вековые религиозные верования, которые имели на массу народа несравненно больше влияния. Когда, благодаря усилиям, главным образом, Виссариона, уния наконец состоялась, греки стали относиться к нему так недружелюбно, что он не нашел возможным оставаться в их среде. Между тем папа (Евгений IV) для закрепления союза церквей принял в ряды курии главных представителей восточной церкви: Виссарион, вместе с бывшим русским митрополитом Исидором, были назначены кардиналами. С этих пор Виссарион окончательно поселился в Италии. Его роль, как защитника византийских интересов, далеко не кончилась этим. Всю жизнь он не переставал хлопотать о крестовом походе на помощь Константинополю; но здесь ему ничего не удалось достигнуть. Гораздо плодотворнее была его деятельность, как одного из представителей Возрождения, — и притом в двояком отношении: и как самостоятельного работника, и как покровителя других работников.

Жизнь Виссариона в Италии: библиотека и академия

Виссарион был единственным византийским греком в Италии, которому удалось достигнуть если не богатства, то все-таки обеспеченного положения. Среди кардиналов он, со своими 600 скуди пенсии и малоодоходною церковью Св. Апостолов, которую дал ему папа,

был, вероятно, самым бедным; но этого небольшого достатка хватало на то, чтобы прилично жить самому и кормить несколько обнищавших на чужбине греческих ученых. Препятствия счастливые времена, когда даже знания какого-нибудь Пилато имели цену, давно прошли. Теперь, по свидетельству Полициано, всякий порядочно воспитанный флорентийский юноша знал больше Пилато. Толпами скитались несчастные «*graeculi esurientes*»¹ по Италии и большею частью должны были довольствоваться скромною ролью переписчиков греческих рукописей. Редко, редко удавалось кому-нибудь из них возвыситься до звания переводчика; но теперь уже никого нельзя было уверить, что Ахиллес значит «не евший сена». Не все это понимали: один грек, Георгий Трапезунтский, вздумал было обманывать папу Николая V, сбывая ему куда негодные переводы, но был сейчас же уличен и с позором изгнан из Рима. Если бы не Виссарион, многим из его соотечественников пришлось бы умирать с голоду; у кардинала никейского всегда было им готово убежище и работа, приносящая хоть что-нибудь. Назначенный главноуправляющим базилианскими монастырями Италии, Виссарион воспользовался этим для того, чтобы удовлетворить своей страсти к книгам; греческие рукописи извлекались из монастырской пыли, тщательно списывались и поступали в библиотеку кардинала. Манускриптов было много, и для знающих греческий язык было постоянное занятие. Собрание греческих рукописей Виссариона считалось одним из самых богатых в западной Европе,—первым после собрания Медичи. Эту библиотеку—до 900 томов, ценою на 15.000 дукатов—кардинал завещал городу Венеции, которая, по его мнению, больше всех итальянских городов оказала услуг грекам. Торговые люди не знали сначала, что им делать с этими рукописями, и ящики стояли некоторое время нераскупоренными. Но скоро нашелся предприимчивый человек, который сумел извлечь отсюда и коммерческую, и научную выгоду: собрание Виссариона легло в основу первого издания классиков, сделанного в Венеции Альдом Мануцием. Благодаря гостеприимству кардинала, около него всегда было много ученых греков, к которым присоединялись иногда и итальянские гуманисты. Они образовали своего рода домашнюю академию, имевшую не меньше влияния на возрождение платонства, чем флорентийская. Особенно велико было ее значение в то время, когда папский престол занимал противник платонства, Павел II, преследовавший Помпония Лета и его товарищей. Тогда дом Виссариона в Тускулуме, где он был в то время епископом,—знаменитое аббатство Грота-Феррата,—стал прибежищем для всех любителей древности. Простые переводчики, рядовые гуманистической армии, и известные писатели, голодные византийцы—и кардиналы, поклонники античного,—сходились здесь на общей им всем почве. Это был один из первых литературных кружков Европы, где научные и художественные стремления сглаживали различие состояния и происхождения. В противоположность академии Медичи здесь не было такого разстояния между хозяином-покровителем и покровительствуемыми гуманистами; Виссарион не был так богат, как флорентийский банкир, и вдобавок сам был ученый. Кружок состоял по большей части из платонцев, и кардинал впереди других защищал дело своего учителя. С обычным ему хладнокровием и научною добросовестностью, он не увлекался тою резкою полемикой против Аристотеля, которую начал Гемист Плетон. В первый раз он вмешался в философскую полемику даже в пользу Аристотеля. Повод подала стычка двух членов его домашней академии, Феодора Газы и Иоанна Аргиропула, из которых один стоял за Аристотеля, другой за Платона.

1 Нищие греки

Виссарион принял среднюю точку зрения. Аристотель, говорил он, действует, как сам советует действовать физику: он объясняет видимое, доступное чувству. Платон все вещи видит в Боге, он берет их идеальную, божественную сторону,—следовательно, занимается тем, чего нельзя видеть и слышать. Оба они могут говорить различно, но противоречия между ними быть не может, потому что и цели их совсем различные. Еще сильнее пришлось высказать Виссариону ту же точку зрения по другому случаю.

Один из самых молодых греческих ученых, Михаил Апостолий, желая угодить кардиналу,—платоновския симпатии которого были всем известны,—написал резкий памфлет против Аристотеля и аристотелевца Газы. Но Виссарион принял это дело совсем иначе, чем ожидал Апостолий: вместо похвалы он получил от кардинала суровое послание, где ему разъяснялось, что Аристотель заслуживает всякого почтения, а вовсе не тех дерзких выходов, которые позволил себе Апостолий. «Да будет тебе известно,—писал Виссарион,—что я уважаю Платона, но уважаю и Аристотеля, почитая того и другого, как мудрейших людей» (письмо 19 мая 1462 г.).

Философские труды Виссариона

Памятником этого уважения к Аристотелю остался перевод его «Метафизики», сделанный Виссарионом по поручению папы Николая V.

Впрочем, этим кардинал оказал немалую услугу и гуманизму: точные переводы с подлинных сочинений Аристотеля не меньше полемики подрывали авторитет школьной философии, опиравшейся, в сущности, не на самого философа, а главным образом на его арабского комментатора, Аверроэса (Ибн Рошд, арабский ученый)¹. Чем больше узнавали настоящего Аристотеля, тем больше падало доверие к его комментатору и вместе с ним к схоластике.

Но скоро пришлось Виссариону высказаться решительно; когда Павел II начал гонение против платоновцев, нашлись и между учеными охотники, в угоду новому папе, изобличать платоновцев во всяких неправдах. Георгий Трапезунтский поднял старья обвинения против Платона в безнравственности и противоречии христианскому учению. Виссарион не побоялся отвечать, хотя и знал настроение папы. Этот ответ «Клеветнику Платона» (*In calumniatorem Platonis Libri IV*)—главное философское произведение Виссариона. Оно начато около 1465 г., а напечатано в 1469 г., как раз после закрытия римской академии папой. Имя автора, его огромная эрудиция и сдержанный тон его книги—все это сразу выдвинуло ее из ряда других полемических сочинений. Первым последствием было прекращение старого спора, еще занимавшего Фичино: кто из двух философов был христианин: Платон или Аристотель? Схоластики доходили до того, что уверяли, будто их учитель, Аристотель, получил особое от других откровение насчет св. Троицы за три слишком века до христианства; Фичино не шел так далеко, но все же не прочь был искать у Платона рассказа о грехопадении Адама. Виссарион откровенно признал, что оба философа были язычниками, и что искать у них подтверждения Библии не следует; хорошо уже, если их основные идеи не противоречат христианству. Кардинал честно согласился, что у Платона в этом отношении есть недостатки: он, например, верил в существование нескольких богов; но раз, что он язычник, это уже извинительно. Быть может, сам Виссарион и не имел этого в виду,

1 «Аристотель истолковал вселенную, Аверроэс же истолковал Аристотеля», говорили в средние века.

но результат был тот, что вопрос был сведен с религиозной почвы: из богословско-философского он стал историко-философским. Это было уже знамение нового времени—и в этом значение работы Виссариона. До него вопрос был поставлен так: или Платон, или Аристотель. «И у того, и у другого есть слабые и сильные стороны, был ответ Виссариона, ни тот, ни другой не могут заявлять притязание на особое покровительство церкви. Оба они мыслители очень почтенные, но люди совершенно чужие для церкви; следовательно, можно критически отнестись к их учениям, не затрагивая нимало учения христианского».

Таково было общее впечатление, которое должна была произвести книга Виссариона. Не нужно думать, чтобы ученому кардиналу удалось отнестись к своему предмету вполне критически: и для него еще Плотин и Ямвлих были авторитетом, наравне с Платоном; и Виссарион не прочь был от игры силлогизмами,—вся его третья книга состоит из подобных упражнений. В этом случае общий тон книги, общее настроение ее автора гораздо важнее самого содержания; по размерам философского таланта Виссарион далеко не был крупной величиной,—да для его дела большого таланта и не требовалось. По натуре он был примирителем как на флорентийском соборе, так и в философской полемике,—к этому и свелась вся его роль. Только на соборе дело шло о жгучем практическом вопросе, и старания Виссариона в конце концов ни к чему не привели; здесь же была чистая теория, и Виссариону удалось если не объединить враждующие партии, то, по крайней мере, установить между ними некоторое равновесие.

Результаты философской полемики

Последствия были самые наглядные—вторая половина XV века уже не была свидетельницей тех шумных философских споров, которые наполняют первую. Аристотелевцы в Падую, платоновцы во Флоренции если не питали друг к другу особого расположения—то не пытались уже уничтожить друг друга в общем мнении. Понемногу привыкли к мысли, что есть два философских авторитета, Аристотель и Платон, между которыми можно выбирать. Обе стороны еще не покинули старых путей; еще прочно держалась старая привычка мерить все богословской меркой, оценивать достоинство философского учения его согласием или несогласием с учением церкви. Должно было пройти еще полтора столетия, прежде чем явился мыслитель, осмелившийся объявить открыто, что философия должна быть основана на чистом мышлении, независимом ни от какого догмата. Но прежде чем отрешиться таким образом от всякого внешнего авторитета, нужно было пройти период выбора между несколькими авторитетами. Уже то одно, что Платона изучают по свободному влечению, а не по необходимости, указывает на сильный подъем умственных интересов. Постоянная работа ума над самыми трудными задачами человеческого мышления незаметно делала свое. Начинали увлекаться знанием ради него самого, независимо от богословских споров, начинали чувствовать достоинство мысли и человека, как мыслящего существа. Это новое чувство нашло себе выражение в словах Пико делла Мирандола, которыми заканчивается его трактат «О человеческом достоинстве». «Бог создал человека в последний день творения для того, чтобы он познавал законы вселенной, любил ее красоту, удивлялся ее величию. Он не привязал его к одному определенному месту, не назначил ему одного какого-нибудь дела, не связал его необходимостью, но дал ему способность двигаться и свободную волю. Я поставил тебя в середине мира, сказал Творец Адаму, чтобы тебе легче было осмотреться и видеть, что в мире находится. Я создал тебя существом ни небесным, ни земным, ни смерт-

ным, но и не бессмертным только, чтобы ты себя свободно образовал и укротил; ты можешь выродиться в зверя и подняться до богоподобного существа. Животные от рождения таковы, какими они должны быть; высшие духи с самого начала таковы, какими они будут вечно. Ты один имеешь развитие, рост по свободной воле; в тебе лежат зародыши самой разнообразной жизни».

М. Покровский.

LXXX. Макиавелли

Биография Макиавелли

Разложение средневековых преданий, которому в такой мере способствовала эпоха возрождения, нигде не совершалось столь быстро, как в классической стране возрождения, в Италии. Древняя философия, древнее искусство, римское право и античное понятие о государстве здесь прежде всего оказали свое обновляющее влияние и послужили толчком к новому развитию. Отрицательное отношение к средневековым идеалам проявлялось в Италии тем сильнее, что носительница этих идеалов—церковь—рано утратила здесь свой нравственный авторитет. Близкие свидетели темных сторон папства, итальянцы начинали смотреть на него, как на источник всех бедствий своей страны. К этому присоединялось влияние практических условий времени, которые выдвигали на первый план новую потребность создания крепкого государственного строя. Чем яснее сознавалась эта потребность, чем более она встречала препятствий для своего удовлетворения, тем живее выражались протесты против действительности и против средневековых порядков, результатом которых она явилась.—Любопытным памятником этого настроения являются произведения Макиавелли, у которого реакция против средних веков принимает крайнюю форму отрицания всех начал средневековой жизни.

Макиавелли родился во Флоренции в 1469 году. Он происходил из древней, но обедневшей тосканской фамилии, члены которой не раз занимали важные должности в Флорентийской республике. Детство и юность Макиавелли совпали со временем господства во Флоренции Лаврентия Великолепного (1472—1492), под покровительством которого флорентийская образованность переживала блестящую пору своего развития. О ранних годах жизни Макиавелли не сохранилось никаких известий. По всей вероятности, он получил, согласно с духом своего времени, гуманистическое образование, которое впоследствии исполнил чтением древних, по преимуществу латинских, писателей. Занятия классиками не сделали из Макиавелли ученого гуманиста, но в связи с общим направлением века, воспитали в нем большого поклонника древности. На литературную деятельность Макиавелли

это увлечение древностью оказало самое глубокое влияние.— Когда умер Лаврентий Медичи, Макиавелли было 23 года. Италия находилась в то время накануне важных событий. Взаимная вражда итальянских государств уже давно подготовляла почву для иноземного завоевания. В борьбе с соперниками мелкие итальянские правительства не раз угрожали призвать иноземцев. Наконец, угрозы перешли в область действительности: в 1494 г. французский король Карл VIII, призываемый миланским герцогом Людовиком Моро, вступил в Италию и положил таким образом начало эпохе итальянских войн, которая была вместе с тем эпохой величайших бедствий для итальянского народа. Совершились важные перемены и во Флоренции. Преемник Лаврентия Петр вскоре успел навлечь на себя нерасположение флорентийцев, и Медичи были изгнаны. На короткий срок Савонароле удалось приобрести влияние во Флоренции, но и его влияние удержалось недолго. Порядки, установленные им, вскоре стали казаться тягостными народу, и свободолюбивые флорентийцы вновь возвратились к чисто республиканской форме правления, которая, как утверждал впоследствии Макиавелли, всего более соответствовала их нравам. Макиавелли в это время было 29 лет. Он искал практической деятельности и вскоре получил освободившееся место секретаря Совета десяти, которое удерживал за собою в течение четырнадцати лет до нового политического переворота, возвратившего Медичи во Флоренцию. Совет десяти заведывал, под надзором Синьории, высшего учреждения в республике, многими важными делами внутреннего управления и внешними сношениями. Макиавелли приходилось вести очень сложную переписку этого учреждения и составлять протоколы заседаний. До сих пор в архивах Флоренции хранятся тысячи писем и документов различного рода, писанных его рукою. Эти занятия служили для Макиавелли прекрасным средством для практического ознакомления с политическим искусством. Но не в канцелярии только и не из общих бумаг получил Макиавелли тот богатый запас политического опыта, которым впоследствии он любил подкреплять свои теоретические положения. В этом отношении, конечно, для него было гораздо важнее непосредственное соприкосновение с жизнью. Его часто посылали с различными поручениями то внутри государства, то к иностранным дворам. То поручают ему осмотр наемных войск, и мы находим его в лагере под Пизой, с которой Флоренция продолжала свою нескончаемую войну; то его посылают в Пистойю, в которой требовалось вмешательство флорентийского правительства для умиротворения враждующих партий; то он разузнает настроение иностранных дворов или ведет с ними дипломатические переговоры.

Дипломатические поручения и донесения

Поручения последнего рода были особенно трудны. И без того сложные политические отношения итальянских государств еще более суживались от вмешательства в дела Италии соседних держав—Испании, Франции и Германии. Французские вторжения, несколько раз повторявшиеся с 1494 г., вносили в политическую жизнь Италии новый ряд опасностей и затруднений. При раздробленности Италии противодействие подобным вторжениям и вмешательствам было для нея невозможно. Таким мелким политическим силам, как Флоренция, приходилось, в целях самосохранения, ладить с иноземцами, вступать с ними в союзы, иногда помогать им денежными и военными средствами; приходилось соображать массу разнородных интересов, лавировать между самыми разнообразными опасностями. Внешняя политика приобретает в эту эпоху в Италии особенное значение; дипломатическое ис-

куство становится чрезвычайно трудным. Более чем когда-либо требовалось теперь от дипломатов зоркости, чтобы уследить за крайне изменчивыми планами иностранных дворов, и умения поддержать со всеми добрыя отношения. Дипломатические поручения Макиавелли исполнял очень часто. Ему давали самые трудные миссии, посылали несколько раз во Францию, в Рим, в Германию, поручали выведывать тайные планы Цезаря Борджиа. Макиавелли большею частью с успехом выходил из затруднений. Памятниками его дипломатической деятельности служат посольския донесения, в которых он, по обычаю посланников своего времени, сообщал своему правительству о ходе переговоров, или о положении дел, с присоединением собственных наблюдений и выводов. Обыкновенно он не останавливается на изложении частных вопросов, послуживших поводом к той или другой его миссии, а большею частью связывает подобное изложение с общими очерком политического положения данной страны, рисует нравы ея народа, характер князя. Характеристики князей и народов, который Макиавелли дает в своих донесениях, отличаются необыкновенною ясностью и силой: в немногих чертах он умеет передать существенное и основное. Здесь уже мы видим будущего проницательного мыслителя и тонкого аналитика. Вместе с тем перед нами раскрывается тот подготовительный процесс, которым воспитывалась политическая мысль Макиавелли. Исполняя различные поручения своего правительства, он узнавал политическую практику своего времени, наблюдал вблизи выдающихся политиков; он мог, наконец, изучить положение Италии, причины ея слабости и упадка. В его обобщающей мысли весь этот материал отлагался в виде заключений и выводов, вошедших впоследствии в его политические трактаты. — В то самое время, как Макиавелли делал свои выводы над итальянскою действительностью, он продолжал изучать древнюю историю. Живя при дворе Цезаря Борджиа, он просит своих друзей прислать ему Плутарха; он читает Тита Ливия и учится у него любви к древнему Риму. Доблести древних римлян, их любовь к отечеству, их политическая мудрость, изображенная красноречивым историком-патриотом, заставляют Макиавелли преклониться перед величием Рима. Встречаясь на практике с каким-нибудь затруднительным случаем, он старается узнать, как поступали в подобных случаях римляне, и ищет поучения в римской истории. Так, например, по поводу возстания в Ареццо, наделавшаго Флоренции много хлопот, он излагает способы, с помощью которых усмирялись возстания римлянами. Из подобных сопоставлений и справок выросли впоследствии «Разсуждения о первой декаде Тита Ливия». Но во время своей служебной деятельности Макиавелли лишь урывками обращался к подобным работам: его занятия в канцелярии и постоянныя поездки оставляли ему слишком мало свободного времени.

Роль во внутреннем управлении

Позже к его прежним обязанностям присоединились новые, которым он предался с необыкновенным одушевлением. Давно уже он пришел к убеждению, что для каждого государства необходимы собственные войска. Он видел на практике во время войны Флоренции с Пизой, как мало можно полагаться на наемных солдат. Он считал бедствием итальянских государств отсутствие в них хорошо организованных войск, набранных из среды граждан и одушевленных любовью к родине. Устроить во Флоренции собственную милицию — было его мечтой. В 1505 году ему удалось, наконец, убедить свое правительство решиться на этот шаг; и лишь только сделаны были необходимыя распоряжения, как Макиавелли спешит привести их в исполнение. Он вырабатывает план военной организации, разъезжа-

ет по флорентийской области, набирает солдат, закупает оружие и выказывает редкую энергию в исполнении плана, который казался ему столь полезным для государства. Его преданность общему делу выступает здесь в самых ярких и симпатичных чертах. Макиавелли находился в самом деятельном периоде своей службы Флоренции, когда новый переворот в государстве ниспровергнул республиканское правительство с гонфалоньером Содерини во главе. В 1512 году Медичи возвратились к власти и, не изменяя старых форм, на деле овладели всеми нитями государственного управления. Макиавелли, как деятельный член старого правительства, казался опасным новым правителям и был отрешен от всех своих должностей. Но его ожидали еще большие несчастья. Вскоре после возвращения Медичи во Флоренцию, два флорентийских юноши, Босколи и Каттони, задумали освободить свое отечество от их владычества. Они составили список лиц, на сочувствие которых рассчитывали, и в число других включили и Макиавелли. Случайно этот список попал в руки правительства, которое заподозрило организованный заговор и арестовало предполагаемых участников его. Вместе с другими пострадал и Макиавелли; он был заключен в тюрьму и подвергнут пытке, но от него ничего не могли добиться и отпустили на свободу. После всех этих испытаний он удалился в свое имение, в котором прожил несколько лет в вынужденном уединении. Он старался заниматься хозяйством, углубился в изучение классиков, но жажда привычной деятельности не покидала его. Он ищет возможности возвратиться во Флоренцию и снова поступить на службу. План этот казался ему осуществимым: многие из его прежних товарищей, служивших прежде республике, сохранили свои места и при Медичи, которые в общем управляли мягко, не прибегая к крутым переменам. Потребность служить государству побеждала в Макиавелли всякие иные соображения. Но все его искания долго оставались безуспешными. Только под конец своей жизни ему пришлось еще выполнить по просьбе Медичи несколько поручений, впрочем, неважных. Но этот невольный покой, которым так тяготился Макиавелли, дал ему возможность предаться литературным занятиям и написать те произведения, которые обезсмертили его имя. Поселившись в деревне, он вскоре принялся за свои политические трактаты. Позже он написал «Историю Флоренции» и несколько менее значительных произведений в прозе и стихах.

Благо государства

Слава Макиавелли, как писателя, по преимуществу основывается на его политических сочинениях. Из-за них он подвергался таким суровым осуждениям со стороны одних и превеликим похвалам со стороны других; в них содержались начала того, что впоследствии называли макиавеллизмом. Из двух главнейших политических трактатов Макиавелли более замечателен тот, который менее известен. «Князь», несомненно, более блестящее с внешней стороны произведение, более определенное по предмету и более систематическое по изложению; но только в «Разсуждениях о Тите Ливии» можно найти полное выражение взглядов Макиавелли и вместе с тем ключ к пониманию «Князя», исходные положения которого находятся уже в «Разсуждениях», освещенные притом связью с другими воззрениями автора. В общем оба трактата не представляют собою чисто-теоретических исследований. Макиавелли слишком долго был практиком и слишком много думал о текущей действительности, чтобы не внести в свою литературную работу живых запросов времени. Он изучает римскую историю для того, чтобы почерпнуть из нея назидание для современников. Он рассматривает различные политические вопросы, но более всего останавливается на

тех, которые имеют значение для его страны. Его живою связью с современностью объясняется и главная проблема, около которой вращаются все его интересы. В то время, когда жил Макиавелли, насущною потребностью Италии было образование крепкого государственного порядка. Соперничество итальянских государств между собою, вражда партий в пределах каждого отдельного города, неистовства мелких тиранов, вмешательство церкви в светские дела и безпрестанные вторжения соседних держав,—все это держало Италию в состоянии постоянной борьбы. В то время не было вопроса более жизненного, как тот, который поставил себе Макиавелли, когда он задался целью исследовать причины упадка и сохранения государств. Средневековые политики сосредоточивали все свое внимание на вопросе об отношении двух властей: духовной и светской. Для Макиавелли это вопрос настолько далекий, что он и не упоминает о нем. Первенство государственной власти для него несомненно; он ненавидит папство и считает его причиной гибели Италии. Все его помыслы устремлены на создание крепкого государства. Макиавелли не лучшего мнения о человеческой природе, чем средневековая церковь. Он не верит в человека и в прочность его нравственных стремлений. Он думает, что в людях преобладают дурные влечения, что все действия их направляются пороком. Но он далек от веры средних веков в воспитательную миссию церкви. Он жил в век Александра VI-го, видел пороки итальянского общества, видел пороки самого папства. Но с тем большею силой он готов был верить, что государство может воздерживать людей от зла и направлять их к лучшим стремлениям. В особенности для Италии крепкая государственная власть являлась, в его глазах, единственным спасением. Но отрешение Макиавелли от средневековых воззрений идет и далее того: для него государство вообще является пределом человеческих стремлений, а служение государственному благу—высшим счастьем для человека. Он боготворит государство, как древний римлянин или грек, и вне его ничего не знает. Он хвалит тех, которые любят свое отечество более, чем спасение души. Он готов жертвовать для блага государства всем—и благом отдельных лиц, и даже нравственными соображениями.

Разсуждения о Тите Ливии

Это были чувства и мысли человека, долго и самоотверженно служившего своему отечеству и притом воспитанного на древних образцах. Понятно поэтому, какую важность имел в его глазах вопрос о сохранении государств. Этот коренной для Макиавелли вопрос развивается в двух его трактатах в совершенно различных направлениях. В «Разсуждениях о Тите Ливии», отправляясь от рассказа римского историка, Макиавелли исследует средства, с помощью которых поддерживаются республики. По замыслу Макиавелли—это трактат о политическом искусстве римлян, с помощью которого они достигли своего величия. В «Князе» Макиавелли показывает, как охраняется государственный строй в княжествах; здесь имеются в виду меры, посредством которых государственный порядок может быть водворен в Италии. В «Разсуждениях о Тите Ливии» пред нами раскрывается политический идеал Макиавелли. К итальянской действительности он относится с глубокою скорбью патриота, видящего свое отечество на краю гибели. Но тем более преклонялся он пред государственным величием Рима, в котором он видел живое воплощение гражданских доблестей и политической мудрости. Его идеал—Рим, и притом Рим республиканский, покоривший весь мир. Лучшего образца невозможно и придумать. «А между тем», говорит Макиавелли, «политики никогда не обращаются за поучением к истории древних; обыкновенно

считают трудным и даже невозможным подражать великим примерам прошлого. Как будто бы люди не остались все те же, подобно небу, солнцу и стихиям!» Разъяснить на исторических примерах истинный дух римлян, который создал их славу и величие, и внушить этот дух своим современникам—такова была задача, которую поставил себе Макиавелли в «Разсуждениях о Тите Ливии». Объяснение политических успехов римлян он прежде всего видит в совершенстве их учреждений. Они сумели установить у себя республиканские формы и допустить народ к участию в управлении; а в этом заключается залог государственного единства и необходимое условие для распространения владычества на другие страны. Главное, что укрепляет мощь государства, это внимание к общей пользе, вызывающее расположение граждан к правительству; а это всего скорее может быть достигнуто в республиках. При завоеваниях надо опираться на народные массы, но для этого надо привлечь их к участию в управлении.—В отзывах Макиавелли о преимуществах римского строя слышится голос гражданина флорентийской республики, расположенного к свободным формам государственной жизни. Макиавелли—несомненный сторонник народного правления; но он не считает его пригодным для всех времен. Как разъясняет он в «Разсуждениях», для установления порядка в новом государстве или для осуществления важных реформ гораздо более успешно монархическое управление. Притом же для прочности республиканских учреждений необходима доблесть граждан, а она встречается не везде. Римляне умели сохранить добрые нравы и этим надолго обеспечили у себя прочный государственный порядок и свободные учреждения. Умеренность, благоразумие и мужество граждан, энергия и преданность общему делу должностных лиц, постоянный надзор за всем государственных учреждений, все это обуславливало здесь правильное течение народной жизни. Макиавелли рассматривает подробно и внешнюю политику римлян, с помощью которой они сумели распространить свое владычество на весь мир. Тайну их завоевательных успехов он видит в их умении обращаться с покоренными народами. Они умели привлечь к себе побежденных, в качестве союзников, оставляли им самоуправление, хотя и утверждали над ними свое главенство. Таким образом, приобретая новые владения, они приобретали и новые силы. Спарта и Афины следовали другому способу: они хотели господствовать над побежденными силой; но в этом и заключалась причина их гибели. Невозможно удерживать в повиновении народ, особенно привыкший к свободе, при помощи одного оружия.—Макиавелли ставит в пример и военное искусство римлян, их умение организовать войска и вести войны. Во всех этих отношениях они дали лучшие примеры, выше которых история ничего не знает. Везде умели они избирать лучшие пути и везде имели успех, и притом благодаря своим доблестям, а не случайной удаче.—Излагая политические приемы римлян, Макиавелли сопоставляет их с приемами других народов, рассуждает, выводит общие правила. Таким образом, его рассуждения о римской истории превращаются в теорию политического искусства. Он говорит, главным образом, о республиках, но выясняет мимоходом и свой взгляд на княжества, их преимущества и недостатки. Над всем изложением господствует идея сильного государства, умеющего сохранить внутренний порядок и распространить свое могущество. Эта идея, которой Макиавелли был фанатическим поклонником, казалась ему воплотившеюся в древнем республиканском Риме; отсюда его преклонение пред римской историей. Но времена римской славы кажутся ему столь же великими, сколько далекими. Оглядываясь вокруг, он видел общество развращенное и лишенное гражданских доблестей; он видел Италию, разъединенную и слабую, страдающую под игом варваров. Не о поддер-

жании упроченного порядка приходилось здесь думать, а об установлении его вновь.—Свое отношение к действительности и к задачам своего времени Макиавелли ясно намечает уже в «Разсуждениях о Тите Ливии». Всякий раз, когда приходится ему сопоставлять древний Рим и современную Италию, он со скорбью отмечает глубокое различие между прошлым и настоящим. Там величие, гражданская доблесть, строгие нравы; здесь безсилие, господство своекорыстных стремлений, порок. Разъясняя причину этого различия, причину упадка Италии, Макиавелли во всем винит католическую церковь. Вместо того, чтобы сохранить в чистоте заветы христианской религии, она сама подавала пример безнравственности. Ей обязаны итальянцы утратой религиозного духа и нравственных стремлений. Она старалась поддерживать разъединение в стране и таким образом привела ее к гибели. Государство не может пользоваться единством и счастьем, если оно не подчинено одному правительству; а римская церковь, сама не будучи в силах стать во главе всей Италии, была, однако, достаточно сильна для того, чтобы поддерживать в ней разделение. Из опасения потерять свою светскую власть, всякий раз когда являлась возможность объединения Италии под чьим-либо владычеством, она призывала иноземцев и разрушала планы тех, кто мог приобрести власть над всею страной. Отсюда произошла политическая слабость Италии, делающая из нее легкую добычу не только для могущественных государств, но для всякого, кто решится на нее напасть.—Таким образом, Макиавелли видит в католической церкви врага государственного единства Италии, и потому сам становится ее решительным врагом. Но с точки зрения своего идеала—идеала могущественного светского государства—он готов иногда нападать на самую христианскую религию. Приучив людей к смирению, к пренебрежению земными благами, она сделала то, что мир стал добычей злых, беспрепятственно господствующих над добрыми, которые, из стремления спасти душу, более склонны терпеть зло, чем мстить за него. Она расшатала государственный порядок и ослабила в людях привязанности к мирским почестям и к государственному служению. Языческая религия, напротив, воспитывала в гражданах мужественные добродетели, приучала их любить отечество и выше всего ставить служение государству. Поэтому Макиавелли готов почти отдать ей предпочтение пред христианскою. Здесь увлечение древностью и отрицание всего средневекового достигает у Макиавелли высших пределов. Одностороннее стремление освободить государственное начало от всяких стеснительных влияний приводит его к самым крайними последствиям.

Князь

Итак, все бедствия Италии, анархия, господствующая в ней, есть наследие средних веков. Но как же помочь злу? Как выйти из этого бедственного положения? Как собрать рассыпавшиеся части государственного строения? Пути и средства для этого Макиавелли также намечает в «Разсуждениях о Тите Ливии». Размышляя о способах восстановления государственного порядка среди испорченных народов, он высказывает мысль, что такую задачу может выполнить только князь. Трудно государству сохранить свободные учреждения, если в гражданах нет добродетели, если лица знатные стремятся властвовать над народом и угнетать его. Только власть монарха может смирить дворян, обуздать народ и установить в государстве единство и мир. Но для этого необходимы решительные меры. Когда дело идет о спасении государства, нечего думать о том, справедлив или несправедлив, кроток или жесток, похвален или позорен известный образ действий; но надо отбросить в сторону всякия

колебания, схватиться за те средства, которые могут помочь в данном случае. Макиавелли считал это необходимым и для республики; он хвалил римлян за то, что они избегали полумер. Но с еще большею резкостью подчеркивает он необходимость не стесняться в средствах в применении к княжествам. Мысли свои о княжествах Макиавелли изложил в особом трактате, за который он принялся еще прежде, чем окончил свои «Разсуждения о Тите Ливии». В то время в Италии приобрела большое значение фамилия Медичи, благодаря избранию одного из ее членов на папский престол. Родственники пап часто делались владетельными князьями. Предполагалось и теперь для брата папы Юлиана создать особое княжество из некоторых городов средней Италии или дать ему королевство Неаполитанское. Быть может, это послужило для Макиавелли внешним поводом поспешить с изложением своих взглядов на природу княжеской власти. Он думал, что его долгий политический опыт может быть полезен новому князю. Он жаждал стать его руководителем, внушить ему свои планы и мечты. С этою целью он пишет своего «Князя», дает советы, указывает пути и заканчивает трактат вдохновенным призывом к Медичи спасти Италию от ига варваров.— Макиавелли разбирает различные виды княжеств; но всего более он останавливается на тех княжествах, которые приобретаются вновь. В наследственных княжествах легко сохранить власть: стоит только не нарушать установленного порядка. Напротив, новому князю предстоят всяческие затруднения. Указать средства к устранению этих затруднений служит главной задачей «Князя». При разрешении этой задачи Макиавелли берет иногда примеры из древней истории; но главный материал доставляет ему современная итальянская действительность, которая была эпохой новых княжеств. При отсутствии твердой государственной власти в Италии, при слабости мелких политических тел, истощаемых притом внутреннею борьбою партий, политические захваты были явлением времени. С помощью наемных войск или посторонней поддержки нетрудно было основать новое княжество, и такие княжества возникали одно за другим. Макиавелли сам видел таких князей и мог изучить их политику путем собственных наблюдений. Все эти наблюдения и воспоминания он изложил в своем «Князе» и таким образом дал верное изображение тирана, каким создала его эпоха возрождения. Князь Макиавелли, подобно князю этой эпохи, неразборчив в средствах. Он не удерживается перед жестокостями, не стыдится обмана, господствует при помощи силы и коварства. Князю, в особенности новому,—так разсуждает Макиавелли,—нельзя удержаться при помощи одних законных средств, недостаточно и одной открытой силы; для того, чтобы не попасть в западню, нужны хитрость и предусмотрительность. Князь должен быть сильным, как лев, и хитрым, как лисица. Он должен держать свое слово только тогда, когда это выгодно, и вообще вести себя сообразно с обстоятельствами. Иногда он должен действовать против всякого человеколюбия, милосердия и даже религии. С виду, однако, он всегда должен казаться добродетельным. Большинство, которое судит по внешности, этому поверит; а мнение меньшинства не имеет значения. В объяснение необходимости держаться таких правил Макиавелли постоянно повторяет, что нельзя оставаться на пути добродетели среди стольких людей, которые склонны поступать иначе. Если князь будет обращать внимание на то, что должно быть, а не на то, что есть в действительности, он погибнет сам и погубит свое государство. Мы видели не раз, замечает Макиавелли, как князья, прибегавшие к хитрости, одерживали верх над теми, которые хотели руководиться в своих действиях требованиями законности.

Цезарь Борджиа

Все свои наставления Макиавелли излагает с циническою откровенностью, которая поражает читателя. Было бы, однако, несправедливо утверждать, как делали это иногда, что Макиавелли хотел рекомендовать свои правила людям в их частных отношениях. Он обращается с своими советами исключительно к государям и имеет в виду только область политики, о ней разсуждает так, как будто бы предписания морали были здесь совершенно неприменимы. Свои советы Макиавелли подкрепляет примерами из действительной жизни, входя иногда в подробный разбор политики отдельных государей. Для нас достаточно будет воспользоваться одним из этих примеров, который может послужить прекрасною иллюстрацией и политических приемов эпохи, и взглядов нашего писателя. Пример этот особенно ценится и самим Макиавелли. Мы разумеем здесь деятельность Цезаря Борджиа, характеристике которой посвящена целая глава трактата. Еще в своих посольских донесениях, в которых Макиавелли сообщал свои впечатления во время пребывания у герцога, он отзывался с большою похвалою о его политической мудрости. Тогда еще он удивлялся искусству Цезаря выполнять свои политические планы и его необыкновенной решительности, с помощью которой он побеждает все препятствия. С тех пор Макиавелли часто вспоминал в своих письмах герцога, всякий раз ставя его в пример новым князьям. Он, конечно, не забыл рассказать о его деятельности и в «Князе». Он подробно описал здесь средства, с помощью которых Цезарь Борджиа, не владея сначала ничем, сумел образовать себе целое государство и установить в нем порядок и мир. Стремясь к этому, не пренебрегал ничем, что только должен делать мудрый и ловкий человек для укрепления своей власти. Достигнув своего положения при поддержке папы и при помощи союзных войск, он постарался затем приобрести собственную силу, на которую можно было бы опираться в дальнейших действиях. Путем подарков и почестей он привлек к себе много приверженцев; врагов же своих он истребил, причем, когда нужно было, прибегал к хитрости. Так, например, наиболее опасных своих соперников он заманил к себе, под предлогом переговоров, уверивши предварительно в своей дружбе, и всех их убил. Совершая завоевания, он из предосторожности истреблял даже потомство тех, у которых отнимал владения, чтобы обезопасить себя на будущее время. Народ он умел расположить к себе хорошим управлением. Когда требовались жестокие меры, он не останавливался и перед ними; но старался показать вид, что они исходят не от него, а от его подчиненных, которым приходилось выполнять его планы. Иногда после того, как главное уже было сделано, он выдавал даже своих слуг народу, чтобы успокоить раздраженных. — Так рисует Макиавелли деятельность Цезаря Борджиа. Свой рассказ он заканчивает следующими характерными словами: «разсматривая все поведение герцога, я не могу его ни в чем упрекнуть; напротив, мне кажется, что его можно поставить в пример всем, которые достигнут власти при помощи счастья и чужого оружия. Имея высокую душу и великия цели, он и не мог действовать иначе». Здесь с яркостью выступает основное воззрение Макиавелли: он смотрит на Цезаря, как на мудрого правителя, стремившагося к установлению твердаго государственного порядка, и потому во всей его жестокой и безнравственной политике видит лишь проявления решительности, проницательности и ловкости; где преследуются политические цели, там все средства кажутся ему дозволенными.

Макиавеллизм

В этом подчинении средств целям, в этом отделении политики от нравственности заключается самая характерная черта политических приемов, рекомендуемых Макиавелли. Но было бы совершенно ошибочно считать Макиавелли изобретателем этой системы. Из одних ссылок его на современную политическую практику можно видеть, что он лишь формулировал то, что было в действительности. Не раз уже было замечено, что макиавеллизм существовал ранее Макиавелли. Политика, изображенная в «Князе», являлась прямым последствием тех условий, при которых возникали новые княжества. Появление тираний совершалось в то время легко; но существование их было подвержено неисчислимым опасностям. Тирану приходилось считаться с недовольными среди своих подданных, быть готовым к нападению соседей и опасаться даже среди членов своей семьи честолюбивых замыслов на свой престол. Он жил в постоянной опасности заговоров, возмущений и войн. Все это вырабатывало характеры подозрительные и жестокие,—политиков, которые везде видели врагов и старались предупреждать чужие козни при помощи собственного коварства. Но и старая республиканская и монархическая государства Италии вынуждаемы были идти по тому же пути. Вокруг них возникали новые политические тела, а вместе с тем являлись и новые опасности для их существования. Чтобы не погибнуть в борьбе с соседями, они должны были увеличивать свои силы, старались приобретать новые владения и по необходимости втягивались во все опасности внешней политики с ее сомнительными путями и средствами. Сами папы, оберегая свою светскую власть, не отставали от других в политике вероломства и насилия. Везде усиление государственного могущества становилось главной заботой правителей. Но в этой атмосфере постоянных опасностей и крайне запутанных политических отношений к нему привыкли стремиться при помощи таких мер, в которых отрицалась всякая нравственность. Если попытки удавались, они вели иногда к созданию государств нового типа с крепкою центральной властью, восстанавливавшей порядок, поддерживавшей правосудие. Но всего чаще подобные меры служили своекорыстной политике честолюбцев, жаждавших власти. Укрепив свой престол при помощи обманов и жестокостей, они погибали обыкновенно в сетях, разставленных ими самими, разорив и обезсилив своих подданных. Но не для этих тиранов в худшем смысле слова давал свои советы Макиавелли. Не к разрушению, а к созиданию призывал он своего князя. Не мелким льстецом властителей с сомнительными целями хотел он быть, а советником князей—устроителей своего государства. Он с негодованием говорит о тех тиранах, которые более грабят своих подданных, чем управляют ими. Он всегда ставит на первом плане мощь и силу самого государственного союза; его постоянной заботой является укрепление государственного порядка. Живя среди развращенного общества и видя общий политический упадок Италии, он ждал осуществления этих задач только от энергического реформатора, который поймет нужды страны и сумеет объединить вокруг себя ее силы. Он горячо верит в возможность этого дела и хочет убедить в этом других. Не возникали ли вокруг него государства при помощи личной энергии предприимчивых людей? Следует только не останавливаться перед затруднениями, но прямо и решительно идти к цели. И вот Макиавелли, проникнутый этой мыслью, зовет своего князя к реформам, которые передавались жизнью, зовет его прекратить грабежи и убийства в Ломбардии, установить порядок в Неаполе и Тоскане, залечить застарелые раны Италии и спасти ее, почти умирающую, от неистовства варваров. Его речь проникается при этом редким одушевлением, хитрый дипломат, возмущавший наше нрав-

ственное чувство, уступает здесь место пламенному патриоту, привлекающему наши симпатии.

Макиавелли обращал свой призыв к Медичи. Когда умер Юлиан, он посвятил свою книгу Лаврентию; но на нее не обратили внимания, и его план объединения Италии для изгнания иноземцев остался мечтой. Однако, сочинения его, и особенно трактата о княжеской политике, вскоре получили большую известность. Их читали, комментировали на все лады, критиковали, переводили на иностранные языки. Макиавелли вскоре нашел и суровых судей, и горячих поклонников. Ближайшие противники Макиавелли упрекали его обыкновенно в равнодушии к требованиям нравственности, при чем, в пылу полемики, взводили на него самые тяжкие и незаслуженные обвинения, выставляя его как разрушителя всех нравственных основ, преследовавшего мелкие цели угодничества тиранам. С тех пор суждения о великом итальянском писателе значительно смягчились. Клеймо низкого льстеца тиранов и изобретателя системы политического коварства давно уже снято с памяти Макиавелли. Его пламенный патриотизм, его преданность общему благу, его ясное представление о задачах итальянской политики и его искреннее желание подготовить лучшее будущее своему отечеству,—все, чем он так выгодно отличался от современников, давно уже нашло себе справедливую оценку. Но никакие панегирики, никакие превознесения заслуг писателя, никакие указания на продолжающуюся еще до сих пор практику макиавеллизма не могли заставить забыть, что Макиавелли пытался учить политике, которая являлась печальной необходимостью смутного времени, не признававшего еще значения нравственных начал и не верившего в силу добра.

П. Новгородцев.

LXXXI. Первое возрождение итальянской скульптуры и живописи

Основная черта нового искусства

Конец XIII-го и первая половина XIV-го ст. являются знаменательной эпохой в истории христианского искусства Италии, ибо оно обнаруживает в это время необыкновенно быстрый, почти внезапный подъем и впервые создает свой собственный национальный стиль, резко отличающийся от господствовавшего до тех пор в Италии стиля романо-византийского. Коренная особенность этого нового итальянского искусства заключается в том, что оно начинает стремиться к освобождению от условных, типических форм и к воплощению своих идей со всею полнотой и разнообразием реальной жизни.

Возрождение скульптуры. Николо Пизано.

Такое направление искусства прежде всего проявляется в скульптуре. Впрочем, приступая к обзору ее памятников в рассматриваемую эпоху, мы сразу наталкиваемся на целый ряд таких произведений, которые, повидимому, следовали при своем возникновении иному, нежели указанный нами, принципу. Мы имеем в виду произведения пизанского художника Николо, которые настолько превосходят все, что было создано в Италии до него, что и до сих пор возбуждают недоумение исследователей. Самая ранняя и в то же время самая характерная из дошедших до нас работ этого художника—мраморная кафедра в пизанском баптистерии (т. е. крестильне), возникшая в 1260 г. При первом же взгляде на украшающие ее изваяния, особенно на рельефы ее пяти стенок или парапета, представляющее благовещение, рождество Христово, поклонение волхвов (табл. I), принесение во храм, распятие и страшный суд, нас поражает не только то, что эти изваяния стоят несравненно

Пособия: *Schnaase*, Geschichte der bildenden Künste, VII B. 1876. *Crowe u. Cavalcaselle*, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Original-Ausgabe I B. 1869. *Thode*, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. 1885. *Фон-Фринкен*, Итальянское искусство в эпоху Возрождения. 1891. *Вышеславцев*, Джиотто и джиоттисты. 1881. *Dobbert*, Ueber den Styl Niccoli Pisano's und dessen Ursprung. 1870. *Его же*, Die Pisani в издании *Dolme*. Kunst und Künstler, I. 1878. *Marcel Reynold*, La sculpture florentine. 1897.

выше предшествовавших и современных им работ, но и, главным образом, то, что они несут совершенно античный характер. Особенно классическим типом отличается Богородица: с диадемой на гордо поднятой голове, с благородною осанкой, задрапированная в ниспадающую широкими складками одежду, она невольно воскрешает в памяти образ языческой Геры. Влияние на нее античных произведений не подлежит сомнению. Так, в пизанском Campo Santo (кладбище) до наших дней сохраняется саркофаг с изображением Федры, которая послужила Николо очевидным образцом для его Богородицы в сцене поклонения волхвов. Но не одна Богородица,—точно так же поклоняющиеся Спасителю волхвы, Симеон в сцене принесения Христа во храм, первосвященник в той же сцене и пророчица Айна, один из дьяволов в сцене страшного суда, с огромною маской на детском теле, наконец, лошади трех царей—носят явные следы заимствования с античных памятников. Тем же античным духом проникнуты и другие скульптуры этой кафедры, напр., аллегорические статуи добродетелей, которые помещаются над поддерживающими кафедру колоннами, особенно олицетворение силы в виде юноши, играющего со львом. Таким образом, основная черта рассматриваемого нами произведения заключается, повидимому, в усвоении им форм классического искусства, в замене прежних романо-византийских образцов античными, а вовсе не в том реалистическом направлении, на которое было указано, как на главную особенность новой скульптуры. Но, всматриваясь в рельефы Николо, мы приходим к иному выводу. В самом деле, византийские художники тоже подражали античным произведениям, и у них, даже в позднейших работах, несомненно, слышатся отголоски лучшей поры греческого искусства. И в то же время—какое различие между длинными, тощими, безплотными созданиями позднейших византийцев и приземистыми, сильно выпуклыми, задрапированными в обильные, широкие складки, характерными фигурами Николо! Если мы обратим внимание на это различие и еще более на то обстоятельство, что фигуры, для которых Николо не мог найти образцов в античном искусстве, например, Христос в сцене распятия или действующие лица страшного суда, несут явные следы самостоятельного изучения натуры и стремления придать им возможно большую выразительность, то невольно приходим к предположению, что мысль—обратиться от прежних образцов к произведениям античного искусства—была вызвана у Николо именно сохранившеюся в этом искусстве до последних минут его существования жизненной оригинальностью его образов. С этой точки зрения становится понятным, почему подражание античным памятникам особенно заметно в пизанской кафедре Николо, этом, как было уже замечено, наиболее раннем из дошедших до нас его произведений, в позднейших же работах его, каковы гробница св. Доминика в Болонье, кафедра в сиенском соборе и фонтан в Перуджии, все более уступает место непосредственному творчеству. К этим позднейшим работам Николо должен быть отнесен, именно в виду обнаруживающейся в нем большей самостоятельности художника, и рельеф на северном портале луккского собора, изображающий снятие со креста (табл. I, 2). Языческий отпечаток, бросающийся в глаза в скульптурах пизанской кафедры, исчезает здесь совершенно: античный элемент как бы претворился и проникся христианским духом. Трогательная, благоговейная заботливость снимающих со креста тело Христово, искренняя печаль Богородицы и Иоанна, поддерживающих руки Спасителя, пробуждающаяся вера в сотнике и глубокое участие к происходящему всех остальных присутствующих,—все это при замечательно ясной, свободно заполняющей пространство группировке фигур производит такое сильное впечатление, что становится вполне понятен восторг тех исследователей,

Таб. I.



2. Снятие со креста. Рельеф Николо Пизано на порталѣ Луккескаго собора.



1. Поклоненіе волхвовъ. Рельеф Николо Пизано на каедрѣ пизанскаго баптистерія.

которые ставят это произведение по его художественному достоинству в непосредственное соседство с созданиями Микель-Анджело.

Джованни Пизано

Но если справедливо, что уже Николо искал красоты не в общих типических формах, а в ее жизненных, индивидуальных проявлениях, то полное развитие это направление искусства получает в работах его сына Джованни. И у него в отдельных случаях заметно еще влияние античных образцов. Но по духу своему его произведения не имеют уже ничего общего с античным искусством и переносят нас в совершенно иной круг художественных идей. Особенно убеждаемся мы в этом, рассматривая рельефы, которыми он украсил кафедры церкви S.-Andrea в Пистойе и пизанского собора. С одной стороны, стремление к выразительности не раз переступает у него всякие границы, заставляя его совершенно пренебрегать красотой внешней формы и приводя к запутанности действия, преувеличенным, карикатурным движениям, неестественным позам, искажению лиц. В то же время ни один из предшествовавших ему скульпторов не умел с такою силой передавать в своих изваяниях разнообразия движения души человеческой. Изображает ли он материнскую нежность любящейся своим сыном Богородицы или дикую энергию и отчаяние женщин, которые стараются защитить своих детей от воинов Ирода (табл. II, 1), радостный порыв поклоняющегося Христу и припавшего устами к Его ноге царя или горе лиц, присутствующих на Голгофе, блаженство праведников или страх и смятение грешников—ему всегда удается найти себе отклик в сердце зрителя. В числе скульптур, принадлежавших некогда к пизанской кафедре Джованни, долгое время называли группу, находящуюся теперь в пизанском музее. Она олицетворяет город Пизу в виде женщины с короной на голове, держащей у груди, как символ плодородия, двух младенцев; она опоясана веревкой с семью узлами, намекающими на господство Пизы над семью островами Средиземного моря, и помещается на пьедестале, который поддерживают аллегорические фигуры мудрости, умеренности, храбрости и справедливости,—добродетелей, руководящих управлением государства; орлы между этими фигурами указывают на римское происхождение Пизы. В этой женщине, без покойный взор которой как будто ждет появления какой-то неведомой опасности, нет и следа красоты, но она дышит такою энергией, которая вполне выкупает ее безобразие. В настоящее время указанная группа приписывается одному из последователей Джованни. Во всяком случае она может быть приведена, как образец того направления, которое приняла итальянская скульптура в XIV столетии.

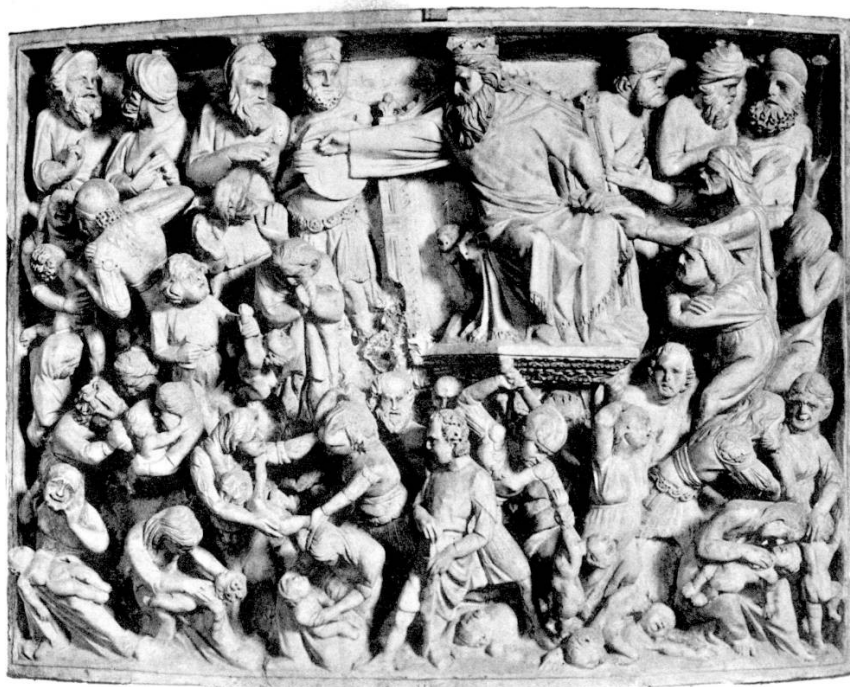
Возрождение живописи. Джотто.

Но еще более, нежели в скульптуре, стремление к самостоятельному, не стесняемому традицией, жизненному воплощению художественных идей проявляется в живописи, которая, благодаря этому стремлению, впервые начинает разворачивать все богатство своих средств. Уже в конце XIII столетия Чимабуэ во Флоренции, а в начале XIV-го Дуччио в Сиене, сохраняя еще вполне византийский стиль, пытаются смягчить его строгость, влить теплоту чувства в его мертвенные образы, придать большую естественность позам и драпировкам. Но решительный переворот в этом направлении совершает знаменитый художник XIV-го столетия Джотто Бондоне. Он вносит в искусство целый новый мир представлений и вырабатывает новый, всем понятный язык для их передачи.

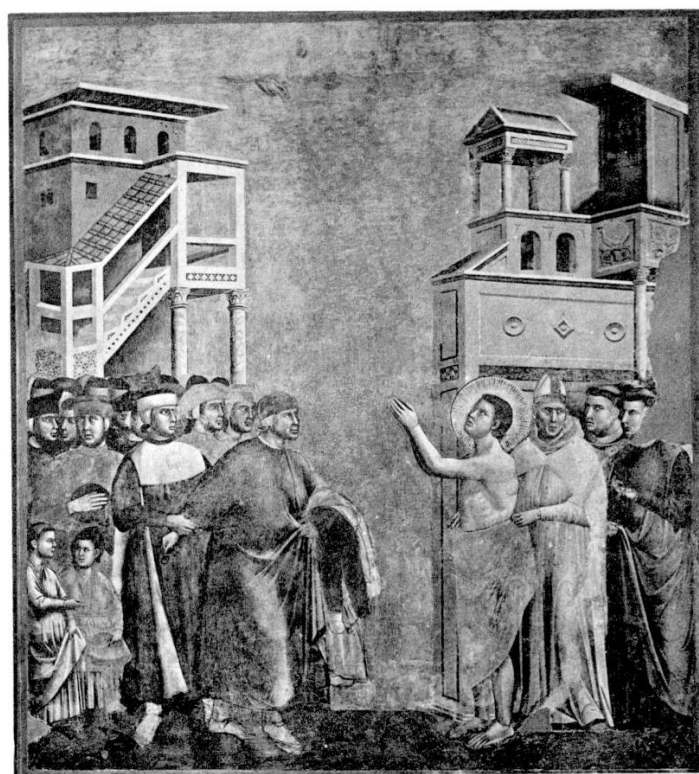
Фрески из жизни св. Франциска в Ассизи

В городе Ассизи над могилой св. Франциска выстроена двухъярусная церковь. В верхней ее части стены продольного корабля украшены фресками в три ряда, из которых нижний в 28 изображениях рассказывает легенду о святом. Этот нижний ряд фресок — самое раннее из дошедших до нас произведений Джотто. По мере того, как развивается действие, возвышается и художественное достоинство фресок, и это дало повод некоторым исследователям считать их работой различных мастеров. Но все они проникнуты одним духом и с самого начала отличаются такою целесообразностью в композиции, такою наблюдательностью и силой фантазии, что несомненно обязаны своим возникновением творчеству одного и того же гениального живописца, смело ступившего на неизведанный дотоле в искусстве путь. Чтобы составить представление об этих фресках, остановимся, например, пред тою, где изображено, как юный Франциск в присутствии епископа, сбросив с себя последнюю одежду, отрекается от своего отца, преследовавшего его за то, что он расточал деньги на разные благотворительные дела (табл. II, 2). В этой фреске прежде всего обращает на себя внимание стремление художника передать драматизм положения и замечательное художественное чутье, с каким выбран для этого момент действия. Обнаженный юноша, которого епископ прикрывает своим плащом, подняв руки и устремив к небу взор, весь сосредоточился в пламенной молитве; отец же его, схватив брошенную одежду, с гневом порывается к сыну, удерживаемый стоящим сзади гражданином. Фигура отца и двух мальчиков, изображенных в левом углу картины с камнями в руках, которыми они, по легенде, преследовали святого, составляют разительный контраст с группой на правой стороне, стоящей за Франциском, где епископ, прикрывая юношу, со взором, полным участия к его судьбе, обращается к своим спутникам, как бы поручая его их попечениям. Группа взволнованных и удивленных граждан за отцом Франциска дополняет сцену, которую вверху картины осеняет десница Бога. Если в позах действующих лиц замечен недостаток свободы, известная неуверенность, как бы робость художника, если он не освоился еще с изображением человеческого тела, то ясная, разумная композиция и яркая передача различных настроений сразу говорят о его замечательном даровании. Теми же достоинствами отличаются и другие фрески рассматриваемого цикла. Особенно поразительно умение художника находить, так сказать, кульминационный момент действия, заставляющей зрителя дополнять в своем воображении то, что этому моменту предшествовало и что за ним последует, и вносить в картину движение реальной жизни, — свойство, которым в такой мере обладал Рафаэль. Не меньшее впечатление производит на зрителя обнаруживаемая Джотто удивительная меткость характеристики. Посмотрите, например, на проводника Франциска, который с жадностью припал к источнику, вызванному молитвой святого (табл. III, 1): «движение его, — говорит Вазари, — передано до того поразительно, что кажется, будто утоляет жажду живой человек». На другой фреске мы видим сбежавшихся в тревоге домашних некоего дворянина в Челано, пораженного внезапною смертью: с какою любовью и тоской засматривает одна из женщин ему в глаза, положив его голову к себе на колени, какое волнение, испуг, горе и участие выражаются на лицах и в позах других присутствующих. А вот перед нами слушающие проповедь Франциска папа Гонорий III-й и его приближенные: вряд ли можно было выразительнее изобразить всецело поглощенное внимание слушателей, при чем каждый из них — и подпершийся рукою, пылливо устремивший взор на проповедника папа, и делающий невольное движение, как бы удивленный, кардинал, и рядом с ним сидящий,

Таб. II.



1. Избиение младенцев. Рельеф Джованни Пизано на кафедре, находящейся в пизанском соборе, теперь в пизанском музее.



2. Отречение св. Франциска от отца. Фреска Джотто в верхней церкви г. Ассизи.

погрузившийся в глубокую думу, — каждый внимает словам проповедника по-своему, согласно своему личному характеру. Самое, быть может, удачное изображение художника — встреча тела Франциска перед церковью S.-Damiano: картина переполнена действующими лицами, которые все охвачены одним общим чувством — горестью по усопшем; но горе это передано до такой степени разнообразно, настроение каждого из участвующих, начиная от склонившейся над безжизненным телом св. Клары и трогательно прощающихся с ним монахинь и кончая толпой граждан и монахов со свечами в руках, выражающих глубокую, но спокойную грусть, до такой степени индивидуально, что зритель невольно становится сам участником действия. Значение этих фресок не было бы нами достаточно оценено, если бы, кроме сказанного, мы не обратили внимания на изображение в них ландшафтов и зданий, которые занимают задние планы. Художники старались передать и очертания гор, и листву деревьев, и города с домами, башнями и стенами, и внутренность помещений. Правда, что эти изображения не всегда удаются ему в одинаковой мере, но знаменательны уже самые попытки представить реальную обстановку действия. Следует отметить также верное приращение, любовное изображение животных и, наконец, успехи в колорите. Краски несравненно теплее, нежели в прежней живописи, а иногда являются даже как бы намеки на желание произвести световые эффекты. Одним словом, в этих фресках заключаются уже все элементы того искусства, которому христианские художники начинают посвящать лучшие свои силы.

Общехристианские сюжеты

Изображение жизни св. Франциска должно было послужить для Джотто отличной школой, ибо ему приходилось черпать содержание своих картин из такой области, которая не была еще затронута прежним искусством, и для художественного воспроизведения которой не сложилось еще традиций, ему приходилось пользоваться не старыми, уже готовыми типами, а создавать свои новые, представлялось обширное поле для самостоятельного творчества. И вот мы видим, что Джотто и при изображении общехристианских сюжетов перестает довольствоваться повторением до него сложившихся концепций, а стремится пересоздавать их с своей личной точки зрения, и прежние традиционные образы, претворенные его фантазией, охватывают зрителя совершенно новым, неожиданным, согревающим душу чувством.

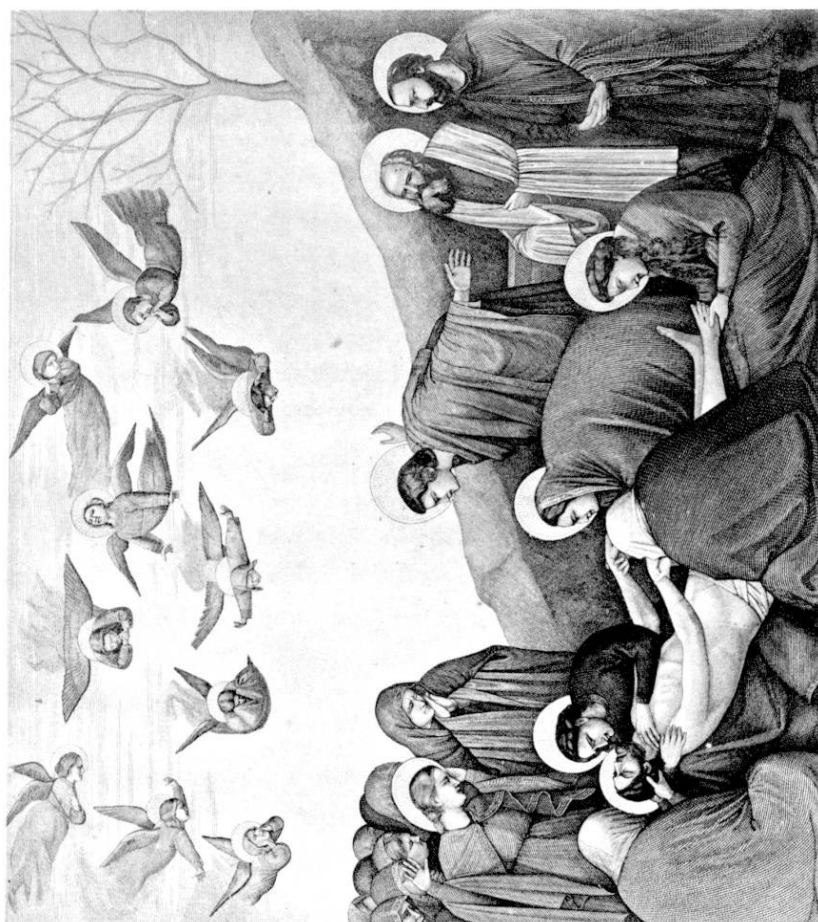
Фрески в Падуе

Самый полный цикл таких сюжетов представляют фрески в церкви S.-Maria dell'Arena в Падуе. Картины размещены здесь в следующем порядке: на арке, ведущей в апсиду, изображен Спаситель в славе, окруженный ангелами, под ним — благовещение, на входной стене — страшный суд, а на продольных — вверху в три ряда главные моменты из жизни Христа и Богородицы, внизу на каждой стене по семи аллегорических фигур добродетелей и пороков, написанных серой краской по серому фону и расположенных так, что добродетели примыкают к той стороне страшного суда, где помещены праведники, пороки — к той, где изображены грешники. В противоположность прежнему искусству, стремившемуся представить священные лица в недостижимом для простого смертного величии, Джотто заставляет их спуститься с неба на землю и жить чисто-человеческими чувствами. Такое впечатление получается иногда благодаря незначительным, повидимому, отступлениям от прежней композиции, перемены в позе, жесте, выражении лица. Так, в древнейших изображе-

Таб. III.



1. Св. Францискъ, вызывающій изъ скалы
источникъ. Фреска Джотто въ верхней цер-
кви въ Ассизи.



2. Плачь надъ тѣломъ Христа. Фреска Джотто въ церкви
S. Maria dell'Arena въ Падуѣ.

ниях благовещения Богородица представлялась обыкновенно сидящею или стоящею в храмине; художники старались придать ей вид торжественный, архангела же иногда заставляли преклонять перед нею колена. Джотто первый и Богородицу изображает коленопреклоненною. Впечатление, получаемое таким образом, совершенно иное: мы видим уже не царицу небесную, но охваченную глубокими, благоговейным чувством женщину. У позднейших итальянских художников, пошедших еще дальше в том же направлении, эта сцена иногда совершенно теряет религиозный характер; но у Джотто она проникнута такою искренностью и наивностью, что не дает ни малейшего повода к подобному упреку. Рассказывая далее о рождестве Христовом, Джотто более строго держится традиции. На уступе скалы помещается постель, на которой лежит Богородица; сзади нея ясли с младенцем, у яслей—осел и бык; на первом плане погруженный в думу Иосиф, а выше, на горе,—ангелы, возвещающие пастухам о рождении Спасителя. Все это видим мы и на древнейших памятниках. Но в то время, как там Богородица лежит совершенно безучастная к окружающему, у Джотто, который следует в этом случае примеру пизанских скульпторов, она, приподнявшись, оборачивается, чтобы помочь повитухе, укладывающей ребенка в ясли.

В соответствии с этою переменою в положении Богородицы небезынтересно обратить внимание на знаменательный поворот, совершившийся в XIII веке в позах Христа и Богородицы в тех иконах, где он изображен у нея на руках. Прежние художники обращали их обоих лицами прямо к зрителю, при чем Богородица служит лишь треном восседающему у нея на коленях и благословляющему Христу. С XIII века мы видим их уже повернувшимися несколько друг к другу: Богородица держит младенца на левой руке, а правую делает движение, как бы на него указывая. Чимабуэ заставлял Христа опираться правою ногой на руку Богородицы и держать ее левую руку. Наконец, Джотто изображает Христа в профиль, с улыбкой поднявшим глаза на Богородицу. Это теплое чувство, связывающее Христа и Богородицу, составляет один из любимых мотивов Джотто и в разбираемых нами фресках, как, например, в сцене сретения, где младенец Христос, серьезно смотря на Симеона, тянется от него к своей матери, которая с тихою улыбкой протягивает ему руки, или в другой сцене, где Богородица, после тщетных поисков за Сыном, находит Его, наконец, в храме среди учителей и радостно к Нему устремляется. Но особенно в изображении страстей Господних получает значение то любвеобильное, исполненное глубокой сердечной нежности, женственное начало, которое воплощается для Джотто в Богородице. Так, в сцене несения креста, в отличие от прежнего искусства, ограничивавшагося изображением одного Спасителя среди толпы воинов или выводившаго Божью Матерь и Иоанна, как простых зрителей, Джотто заставлял своих воинов грубо отталкивать плачущую Богородицу от обращающего к ней взор Христа; и примеру Джотто следуют все позднейшие художники, понимая, что страдания Спасителя, отраженные в горе его Матери, становятся еще ближе зрителю.

Последняя события из земной жизни Христа составляют вообще предмет наиболее характерных изображений Джотто, ибо в них он нашел материал для того драматизма, которым они отличаются у него от прежней более или менее символической их передачи. Это стремление к драматизму, в широком смысле слова, можно заметить почти в каждой из разбираемых нами фресок. Всюду Джотто прибегает к сопоставлениям и контрастам: изображая пламенную молитву св. Анны, рядом с нею, в другом отделении дома, помещает рав-

нодушно прядущую служанку; полному сдержанности и торжественности шествию Богородицы после обручения с Иосифом—веселую толпу встречающих это шествие музыкантов; спокойно взирающим на воскрешение Лазаря ученикам Христа—удивленных, волнующих-

Таб. IV.



Обручение св. Франциска съ бѣдностью. Фреска Джотто въ нижней церкви г. Ассизи.

ся родственников Лазаря и знакомых. Желая оттенить возвышенный характер главного события, он даже вносит иногда в свои композиции мотивы, не лишенные юмора. Таковы, например, перешептывающиеся между собою и подсмеивающиеся женщины, которые при-

сутствуют при трогательной встрече Иоакима и Анны, или повитуха в сцене рождения Богородицы, старательно вытирающая лицо Младенца, или один из гостей на брачном пиру в Канне Галилейской, своею мясистою фигурой напоминающий Фальстафа. Было бы слишком долго перечислять все подобные черты в произведениях Джотто. Но полный простор этому стремлению к драматизму представляют ему страдания и смерть Христа, и лучшая фреска всего цикла—плач над телом Спасителя (табл. III, 2), Поддерживая голову Сына, с безпредельной тоской склоняется к Нему Богородица. У ног Его сидит Мария Магдалина и неподвижно глядит передо собою, как бы окаменелая в своем горе. Иоанн, с закинутыми назад руками, в страстном, порывистом движении наклоняется вперед, впиваясь взором в лицо Спасителя. Две женщины у тела Христа держат его безжизненные руки. Другия женщины, Иосиф и Никодим с видом неизъяснимой скорби смотрят на совершающееся. Горе охватило не только землю, но и небо, где в разных направлениях, всецело предаваясь отчаянию, летают маленькие ангелы. Даже неодушевленная природа принимает участие во всеобщей печали: вдали на каменистом холме стоит дерево с опавшими листьями, и лишь готовые распуститься на нем почки наводят мысль на предстоящее воскресение. Справедливо замечено, что передать впечатление от этой фрески могла бы только одна поэзия, а не прозаическое описание, и что редко изображалось когда-либо такое необузданное горе в такой привлекательной форме. Описанная фреска по общей идее примыкает к фреске плача над телом Франциска, которую мы видели в верхней церкви Ассизи, но отличается от нея более совершенным выполнением. Вообще фрески в церкви S.-Maria dell'Arena показывают уже высшую ступень развитая художественного таланта Джотто. Он стал увереннее, свободнее обращаться с своими образами. Вся техническая сторона сделалась несравненно выработаннее. Но особенно поразительные успехи обнаруживает его дар характеризовать лица и положения. Еще мало знакомый с анатомией и перспективой и теми средствами, которыми представляет художнику применение света-тени и колорита, он, однако, умеет несколькими штрихами создавать до того выразительные образы, что по силе впечатления с ними сравнятся немногие из произведений, располагающих всеми усовершенствованными приемами живописи. Таковы, например, лица Христа и Иуды в сцене взятия Христа под стражу или фигура Марии Магдалины при явлении ей Спасителя после воскресения, которая, с ея страстно протянутыми руками и молящими взором, никогда не изгладится из памяти того, кто видел ее хоть раз.

Чтобы дополнить представление о живописи, украшающей церковь S.-Maria dell'Arena, следует еще указать на аллегорические изображения добродетелей и пороков, которые помещены под сценами из жизни Христа и Богородицы. Они останавливают наше внимание потому, что свидетельствуют о стремлении художника не только обозначать каждое качество внешними атрибутами, но и воплотить его в конкретный образ. Так, например, гнев олицетворен в виде женщины, которая с искаженным лицом и разметавшимися в беспорядке волосами разрывает на себе одежду.

Аллегорические изображения. Обручение Франциска с Бедностью.

Но говоря об аллегорических изображениях Джотто, нельзя не остановиться на самом замечательном из них, которое находится в той же церкви в Ассизи, где мы видели фрески из жизни св. Франциска, но только в другом, нижнем ярусе, и возникло позднее указанных фресок. На своде этой нижней церкви Джотто поручено было написать апофеозу святого и

аллегии трех монашеских обетов: бедности, целомудрия и послушания. Первая из этих аллегорий изображает обручение Франциска с олицетворенною бедностью (табл. IV). На каменистом возвышении среди терновника стоит в разорванной, покрытой заплатами одежде опоясанная веревкой женщина с отпечатком нужды и лишений в чертах немолодого уже лица. С выражением некоторой застенчивости протягивает она правую руку, которую Христос задумчиво передает Франциску, а тот, обращая к своей невесте взор, полный любви, надевает ей на палец обручальное кольцо. Справа от этой группы, около Бедности, видны две женские фигуры, олицетворяющие любовь и надежду, которые одни могут доставить ей утешение в жизни; а за ними, точно так же, как и с другой стороны, участливо вззирающие на Франциска и Бедность ангелы. Впереди к подножию холма подскочила собака и отчаянно лает на Бедность. Этот намек на презрение и ненависть, возбуждаемый бедностью в мире, еще более подчеркнут изображением тут же двух мальчишек, из которых один собирается бросить в нее камнем, а другой тычет палкой. В углах картины помещаются еще две группы, предназначенные для того, чтобы показать, какия требования возлагает на человека служение бедности и какия страсти отвлекают его от этого служения: слева ангел, указывая на Франциска, держит за руку юношу, отдающего свое платье нищему; справа другой ангел тщетно пытается тронуть примером Франциска презрительно улыбающегося знатного человека с соколом в руках—олицетворение гордости, рядом с которым, враждебно смотря на ангела и тревожно сжимая кошелек, стоит, очевидно, скупец, а за ним, схватившийся за грудь и, кажется, олицетворяющей зависть монах. В воздухе над средней группой летят два ангела и несут: один богатую одежду и сумку с деньгами, другой модель здания с садом, т. е. предметы, в которых заключается земное благосостояние; в самом верху картины из облаков опускается, принимая эти дары, рука Божия. Представление о брачном союзе Франциска с Бедностью еще до появления фрески Джотто было весьма распространено среди францисканских монахов. Тот же образ встречается и у Данте, который рассказывает, как Франциск, еще юношей, спорил с отцом за женщину, от которой люди, как от смерти, затворяют врата радости: «лишившись первого возлюбленного, она слишком тысячу сто лет оставалась презираемою и забытою до настоящего ее жениха». Но не в общей идее заключается ценность описанной нами фрески, а в той задушевности, которую Джотто вложил в изображение действующих лиц и которая даже на человека, не посвященного в смысл аллегии, не может не произвести впечатления, в той характерности образов и воспроизведении прямо из жизни выхваченных черт, которые придают художественный интерес сухой, по самому существу своему, аллегии.

Позднейшие произведения Джотто

В указанных произведениях обнаруживаются все наиболее характерные для Джотто черты его стиля. Теми же особенностями, но еще сильнее выраженными, отличаются и позднейшие его работы. Так, в одной из капелл церкви S. Croce во Флоренции Джотто снова написал несколько сцен из жизни св. Франциска. Одна из них—отречение Франциска от своего отца—представляет почти буквальное повторение фрески в верхней церкви Ассизи. Но то, о чем в юношеской работе художника мы должны до некоторой степени догадываться, получило теперь полное развитие; именно, он доводит до высшей степени гнев отца, который порывается к сыну с такою силой, что его должны держать уже два человека, а не один, как прежде; мальчишек же, на прежней картине смирно стоявших с камнями в ру-

ках, изображает готовыми их бросить, вследствие чего одного из них удерживает присутствующая тут женщина, а другого схватил за волосы служитель из свиты епископа. Таким образом, вся сцена принимает еще более страстный характер, и контраст ее с благородною, поглощенною молитвой фигурой Франциска становится еще разительнее. Церковь S. Croce, вообще, обладает самыми совершенными из произведений Джотто. К числу их особенно относятся смерть св. Франциска в указанной уже капелле Барди и сцены из жизни Иоанна Евангелиста в капелле Перуцци. Простота и ясность композиции, необыкновенно тонкая наблюдательность и психологическая верность в изображении характеров и, наконец, удивительная сила фантазии, способная до бесконечности разнообразить основные мотивы, дают этим фрескам право, несмотря на их техническую незрелость, занимать место в ряду величайших произведений живописи.

Перемена в религиозном миросозерцании, как одна из главных причин возрождения в искусстве

Таковы были первые шаги возрождавшегося итальянского искусства. Сравнивая его произведения с работами романо-византийского стиля, мы, как уже и было указано, должны признать в нем главной отличительной чертой его реалистическую наклонность: нельзя не признать также, что эти реалистические наклонности, это стремление сорвать с изображаемых сюжетов оболочку условности, так сказать, ввести зрителя в самое действие и послужили одною из основных причин производимаго им впечатления. Но почему же именно с XIII-го столетия эти наклонности получили в Италии такое всеобщее распространение? Существует взгляд, что указанное направление итальянского искусства приняло под влиянием готического, где подобные же черты проявляются несколько ранее, и нельзя отрицать, что решительный поворот на путь, которым повели итальянское искусство Джованни Пизано и Джотто, совершился отчасти благодаря северным мастерам, о пребывании которых в это время в Италии сохранилось немало свидетельств. Но самое влияние готического искусства не могло бы иметь места в Италии, если бы не нашло там подходящей для себя почвы, если бы и там в это время, как и во всей Европе, но еще интенсивнее, нежели в других странах, началось уже веяние того нового духа, который впоследствии видоизменил весь строй средневековой жизни. Не вдаваясь в подробное рассмотрение перемен, происходившие с конца XII-го века в политической и умственной жизни западно-европейских народов, отметим только ту, которая наиболее должна была отразиться на искусстве, именно перемену или, лучше сказать, новую точку зрения в религиозном миросозерцании, ибо для выражения его идей главным образом и существовало искусство в то время. В Италии эта перемена особенно ясно обнаружилась в проповеди Франциска Ассизского. Существенное отличие его учения от общераспространенных до него воззрений католической церкви заключалось в том, что он целью религиозного совершенствования ставил не столько соблюдение внешних обрядов и догматической правоверности, сколько осуществление евангельского принципа личной любви к миру и человеку. Благодаря этому принципу, он сумел, по крайней мере на время, возстановить порванную средневековым аскетизмом связь между царством земным и царством небесным, снял тяготевшее над материальною природою проклятие и возстановил законные права естественным побуждениям души человеческой. Не трудно видеть, как подобная перемена в религиозном сознании должна была отразиться на искусстве, как она должна была пробудить у художника интерес к окружающему его миру, который, перестав быть исключительно вместилищем греха и, напротив, становясь

носителем божественного начала, раскрыл его взорам неподозреваемую до тех пор красоту, явился неисчерпаемым источником вдохновения,

В. Гиацинтов.

LXXXII. Начало книгопечатания

Переписчики книг в древности и в средние века

С незапамятных времен исторические народы усвоили искусство письма, при помощи которого опыт и знания, с большим трудом приобретаемые людьми, сохранились для грядущих поколений. Когда впоследствии человечество достигло более высокой степени развития, возникла литература и появились писатели, произведения которых распространялись между их современниками и сохранялись для потомства при помощи переписчиков. У древних греков и римлян произведения любимых писателей таким именно способом распространялись в обществе, а от греков и римлян способ распространять известное сочинение в значительном числе экземпляров при помощи переписывания перешел к средневековым народам.

В первую половину средних веков переписыванием книг занимались почти исключительно монахи; по уставу некоторых монашеских орденов, например, бенедиктинского, переписывание книг было обязательно для монаха. В некоторых монастырях были даже особые школы переписчиков, где послушники обучались готовить пергамент, красиво писать, раскрашивать заглавные буквы, украшать рукописи рисунками (миниатюрами) и переплетать книги. Монастыри соперничали один с другим в искусстве каллиграфии и раскрашивании миниатюр.

Деятельность монахов-переписчиков большею частью ограничивалась переписыванием книг духовного содержания, — переписывали Священное Писание, богослужебные книги, учебники. Даже вновь появлявшиеся литературные произведения носили исключительно церковный характер, так как в первую половину средних веков наука и искусство сосредоточивались в руках духовенства; произведения монахов-писателей состояли главным об-

Пособия и источники: *Oberlin*, Essai d'annales de la vie de Guttenberg. *Falkenstein*, Geschichte der Buchdruckerkunst. *Bernard*, De l'origine et des debuts de l'imprimerie en Europe, — Gutenberg und seine Mitbewerber, von I. D. F. *Sotzmann* (статья из Historisches Taschenbuch, herausgegeben von Friedrich von Raumer, neue Folge, zweiter Jahrgang). *Dupont*, Histoire de l'imprimerie. *Владимиров*, Доктор Франциск Скорина. Спб. 1883.

разом из поучений, канонов святым и летописей. Монахи переписывали книги не только для потребностей своего монастыря, но и для продажи, и во многих монастырях изготовление рукописей для продажи составляло важный источник дохода, но так как на переписывание книг уходило много времени и труда, то рукописи продавались монахами очень дорого и были доступны лишь весьма богатыми людям.

Когда просвещение стало распространяться в более обширных кругах, когда начали основываться университеты, переписываемых монахами книг было уже недостаточно, при университетах образуются целые артели переписчиков книг научного содержания. Хотя в такие артели принимались только люди, хорошо знавшие свое дело, однако ошибки при переписывании были неизбежны, каждый переписчик вносил в рукопись свои ошибки, часто искажавшие смысл. Несмотря на появление артелей переписчиков, книги все еще были очень дороги. Так, за рукопись Ливия можно было купить виллу около Флоренции. Дороговизна рукописей возрастала и потому еще, что материал, на котором писались книги — пергамент, был довольно дорог, а бумага вошла в употребление только в начале XIV века.

Кроме артелей переписчиков книг научного содержания, уже в XIV в. возникают цехи переписчиков и в то же время продавцов небольших книжек, имевших более широкое распространение, а именно элементарных учебников, молитвенников и отдельных листов, заключавших в себе важнейшие молитвы, например, *Pater Noster* и *Ave Maria*. Эти листки обыкновенно украшались грубо выполненными от руки рисунками и назывались *breve* (подразумевалось *breve scriptum* — кратко написанное, в отличие от целых книг, отсюда немецкое слово *Brief*).

Обучение закону Божию в средние века для лиц, не посвящавших себя духовному знанию, было неважное. В школе разучивали только символ веры и молитвы, продолжалось же усвоение христианского учения вне школы у проповедников, произносивших свои поучения часто даже и не в церкви. Проповедниками были нищенствующие монахи (*fratres minores* или *pauperes Christi*), люди, часто мало сведущие, даже просто невежественные, не знавшие латинского языка и не имевшие поэтому возможности черпать материал для своих проповедей из первоисточника, т. е. из Священного Писания, читать которое разрешалось только на латинском языке.

Для того, чтобы дать нищенствующим монахам — *pauperibus* (бедным), — какое-нибудь руководство, составлены были книжечки в роде так называемой *Biblia pauperum* (Библия бедных), которая представляет собою ряд картин, около пятидесяти, из истории Ветхаго и Новаго завета, с объяснительным текстом, приложенным к каждой картинке. Такое же назначение — быть пособием для нищенствующих монахов — имело сокращенное издание *Bibliae pauperum*, так называемое *Speculum humanae salvationis* (Зеркало человеческого спасения); в этом издании помещены были только те картины, которые наглядно изображали грехопадение человечества и избавление его Сыном Божиим. Это сокращенное издание предназначалось для более бедных проповедников, которые не в состоянии были приобрести даже «Библию для бедных». (О таком назначении этой книги говорит сам ее составитель: *prohemium libelli compilavi... propter pauperes praedicatores, qui si forte nequiverint totum librum comparare, possunt ex prohemio praedicare.*)

Ксилографическое производство

Еще более, чем *Biblia pauperum* и *Speculum humanae salvationis*, распространялись отдельные листки—*breve* с изображениями святых, так как эти рукописные листки были сравнительно дешевы, и редко кто отказывал себе в удовольствии купить изображение своего патрона или патрона своего города. Вследствие широкого распространения этих *breve* приготавливавшие их мастера (*Briefmahler*) стали исполнять изображаемые на листках рисунки механическим способом, т. е. вырезывали рисунки на тонкой металлической пластинке, клали ее на чистый лист бумаги, а затем смазывали краской; когда пластинку (шаблон) снимали, на бумаге получался требуемый рисунок.

Приготовление рисунков по шаблону было первым несовершенным упрощением производства; затем научились вырезать изображение на деревянной доске, с которой оно и отпечатывалось на бумаге. К отпечатанному изображению святого и вообще к рисунку прибавляли рукописный объяснительный текст. Несколько времени спустя начали и объяснительный текст вырезать на досках и отпечатывать вместе с рисунком. Для того, чтобы отпечатать рисунок и текст, вырезанный на доске, ее смазывали краской, покрывали влажным листом бумаги, затем часто и сильно ударяли по этому листу кожаным валиком, набитым конскими волосом, так что выпуклые очертания рисунка и вырезанных букв вдавливались в бумагу, оставляли на ней наведенную на них краску и таким образом отпечатывались. При таком способе печатания та сторона листа, по которой ударяли кожаным валиком, загрязнялась, делалась лоснящеюся, и оттиски можно было получать только на одной стороне листа.

Ксилографические, т. е. полученные с резанного на дереве изображения, оттиски описанных выше *breve* и *specula*, появляются в начале XV в., и одними из наиболее древних образцов таких изданий считается изображено св. Христофора, отпечатанное в 1422 году. Мастера, изготовлявшие ксилографические рисунки, назывались *Briefdrucker*. Ксилографическое производство наиболее развилось в Голландии, где из отпечатанных ксилографическим способом листков составлялись целые небольшие книжки, именно: *Bibliae pauperum*, молитвенники, календари, руководства для гадания, буквари, сокращенные латинские грамматики. При составлении таких книжек из отдельных листков эти последние склеивались теми сторонами, на которых не было оттисков; таким образом получались более толстые листы, но отпечатанные с обеих сторон.

Ксилографический способ печатания представляет собою громадный шаг вперед в сравнении с переписыванием. Изобретя ксилографию, европейцы самостоятельно додумались до того способа печатания, который был известен китайцам еще в XI в.; к счастью для европейцев, они не остановились на этом трудном, медленном, несовершенном способе книгопечатания, которыми и до сего времени пользуются китайцы, может быть, по этой, между прочими, причине так сильно отставшие от других культурных народов. Дело в том, что ксилографический способ печатания представлял много весьма существенных неудобств, делавших совершенно невыгодным печатание этим способом больших книг. Так, несмотря на массу труда и времени, которого требовало вырезывание текста на досках, каждая из этих досок, по отпечатании вырезанного на ней текста, уже ни к чему не годилась; далее, при ксилографическом способе печатания оттиски получались только на одной стороне листа. Для достижения необходимого сбережения времени, труда и денег нужно

было усовершенствовать печатание так, чтобы оттиски получались на обеих сторонах листа, и, что главное всего, нужно было найти такой способ печатания, при котором раз вырезанные литеры служили бы для печатания не единственного текста, а могли бы разбираться и служить для набора любого нового текста, одним словом, оставалось изобрести типографский пресс и подвижные литеры.

Замечательно, что самая мысль об отдельных литерах была известна еще образованным народам древнего мира. Древние римляне, как рассказывает Квинтилиан, давали детям в руки вырезанные из различных материалов литеры, чтобы облегчить запоминание их форм. Цицерон, опровергая тех, которые утверждали, что мир произошел случайно, без участия богов, говорит следующее: если бросить на землю целую кучу литер всей латинской азбуки, вырезанных из золота или из какого-нибудь другого материала, то ведь никто из утверждающих, будто целый мир произошел случайно, не допустит, чтобы хотя несколько десятков букв случайно упало так, чтобы из них образовался стих из *Анналов Энния*. Говоря это, Цицерон, сам, конечно, того не подозревая, как слепой, так сказать, ощупывал руками гениальнейшее изобретение. Но каждое изобретение является следствием стремлений и потребностей той только эпохи, которая его вызвала.

Причины, вызвавшие изобретение книгопечатания

В древнем Риме случайно брошенные Цицероном слова о подвижных литерах, самое употребление этих литер при обучении грамоте, не могли никого натолкнуть на изобретение книгопечатания, так как не было тогда жгучей потребности в быстром умножении числа экземпляров книг. С другой стороны, не было эпохи, когда человечеству было бы более настоятельно необходимо изобретение книгопечатания, чем в половине XV в., когда это изобретение явилось.

Уже в XIV в., в век Данте, Боккаччио, Петрарки и Уиклиффа, когда стали изучать творения великих писателей древности и увлекаться ими, стал понемногу спадать с человеческого покрова, в который облекли его средневековая схоластика и отсутствие обмена мыслей; но Уиклифф только положил начало освобождению религиозной мысли от связывавших ее оков; его дело продолжал Гус, еще более пошатнувший средневековую схоластику. Пробуждавшиеся науки и искусства находят щедрых меценатов в лице представителей некоторых княжеских фамилий; между этими меценатами особенно прославились бургундские герцоги и члены дома Медичи, оказывавшие радушный прием греческим ученым, пришедшим из завоеванных турками областей Византийской империи.

С какою быстротой стало распространяться к концу средних веков просвещение, видно, между прочим, из того, что в ту эпоху в течение пятидесяти лет в одной Германии основано было семь университетов: в Вене (1365), Гейдельберге (1386), Кёльне (1388), Эрфурте (1392), Вюрцбурге (1402), Лейпциге (1409), Росток (1419). Сколько понадобилось книг для потребностей новых университетов, сколько вышло из этих разсадников просвещения новых образованных людей, которые не могли обходиться без книги! Кроме того, явился громадный круг читателей, не причастных к ученому миру, читателей, не знавших даже тогдашнего языка науки—латинского.

Появление нового обширного круга читателей стало возможно со времени возникновения национальной литературы. В Италии, передовой стране тогдашней Европы, этой ли-

тературе не на мертвом латинском языке, а на живом итальянском положено было начало появлением сочинений Данте, Петрарки и Боккаччио. До какой степени популярны, в тесном смысле этого слова, должны были сделаться произведения этих писателей, видно из слов тогдашнего критика сочинений Данте, который не одобрял его произведений потому, что они придутся по вкусу «медникам, хлебникам и подобному народу». Не только быстро расширился круг читателей, но и литература вдруг обогатилась весьма многими новыми сочинениями, так как распространенное переселившимися из Византии учеными увлечение древне-греческою литературой расширило кругозор образованных людей и открыло новые пути для исследований.

Само собою разумеется, что при быстром развитии литературы и при еще более быстром возрастании требований на книги работа переписчиков не могла удовлетворять спроса, точно так же очень мало помогала делу ксилография, которая могла, содействовать распространению лишь маленьких книжек, букварей, молитвенников и т. п. В эту-то эпоху мысль о подвижных буквах, уже более тысячелетия существовавшая, но как бы спавшая в зачаточном состоянии, пробудилась в умах людей.

Лаврентий Костер и его изобретение

Мысль об усовершенствовании ксилографического книгопечатания должна была прежде всего занимать самих мастеров-ксилографов, которые лучше других видели неудобства ксилографии. Действительно, один из таких мастеров, Лаврентий Костер, живший в Гаарлеме, в Голландии, додумался около 1430 года до необходимости печатать подвижными буквами и сделал первые несовершенные опыты такого печатания. Костеру удалось новым, но весьма еще мало разработанным способом напечатать несколько небольших книжек, а именно *Specula humanae salvationis* и сокращенную латинскую грамматику Доната, которая в большом количестве экземпляров требовалась для школ и продажа которой доставляла хороший доход.

Костер был, повидимому, простой ремесленник; достигнув, благодаря своему изобретению, некоторого усовершенствования, он остановился на первом успехе и, не задаваясь широкими планами, продолжал печатать маленькие книжки и держал свое искусство в тайне. Если даже он оставил после своей смерти, случившейся около 1439 г., несколько учеников, посвященных в его тайну, то они еще менее способны были усовершенствовать изобретенный их учителем способ печатания, а так как этот способ держался в тайне, то не только не проник в соседние с Голландией страны, а даже совсем был забыт к тому времени, когда, спустя два десятилетия по смерти Костера, в Голландию проникло изобретение Гутенберга, который почти одновременно с Костером совершенно самостоятельно пришел к мысли о подвижных буквах.

В гениальном уме Гутенберга мысль о подвижных литерах получила полное развитие. Обладая, благодаря своему знатному происхождению, более высоким образованием, имея поэтому более широкий умственный кругозор, Гутенберг сразу оценил важность своего изобретения, в течение многих лет работал над ним и довел его до такой степени совершенства, что многие из современников подозревали в его работе присутствие помощи дьявола. Изобретение Костера не приобрело известности даже в Голландии, а изобретение Гутенберга с невероятною быстротой распространилось по всем странам Европы, поэтому о Костере

почти забыли, и Гутенберг по справедливости считается изобретателем книгопечатания. Таким образом, к изобретению книгопечатания как нельзя более подходят следующие слова Гёте: люди каждой эпохи являются представителями одинаковых мыслей и стремлений; поэтому естественно, что одновременно разными лицами совершаются одни и те же изобретения, подобно тому, как в разных садах в одно и то же время года падают с деревьев одинаковые плоды. Кто же был этот Гутенберг, которому суждено было облагодетельствовать людей величайшим изобретением, благодаря которому искра божественного огня, более тысячелетия как бы тлевшая под пеплом, превратилась в яркий светоч, осветивший изумленному человечеству дотоле едва известный ему мир Божий.

Происхождение Гутенберга и переселение его в Страсбург

Ганс Генсфлейш, более известный под именем Гутенберга, унаследованным от его матери Эльзы, последней представительницы знатного рода Гутенбергов, родился в городе Майнце. Год рождения Гутенберга не известен, но, принимая во внимание, что уже в 1436 г. он пользовался некоторою известностью в Страсбурге, можно согласиться с теми историками, которые полагают, что он родился в 1397 г. Фамилии Генсфлейш и Гутенберг принадлежали к числу тех знатнейших патрицианских родов Майнца, которые заправляли городскими делами и постоянно враждовали с низшим сословием, с цехами.

О первых годах жизни Гутенберга ничего неизвестно; знаем только, что он должен был со всею своею семьей покинуть Майнц в 1420 г. В этом году вспыхнула в Майнце усобица между патрициями и цеховыми; народная партия победила, и многие из патрициев, в том числе фамилия Генсфлейш, должны были выселиться из родного города. В начале тридцатых годов XV ст. Гутенберг жил в Страсбурге. Само собою разумеется, что изгнанные из Майнца патриции лишились значительной части своего богатства. Впрочем, у представителей рода Генсфлейш уцелели кое-какие средства: им принадлежало поместье близ г. Эльфельда, а Гансу Гутенбергу город Майнц обязан был выплачивать ежегодно небольшую сумму, но выплачивали крайне неаккуратно, и даже совсем прекратил выдачу этого пособия после того, как Гутенберг не воспользовался данным в 1430 г. разрешением вернуться в Майнц. Таким образом и без того скудные материальные средства Гутенберга стали еще меньше; однако он не спешил возвратиться в Майнц, потому, вероятно, что успел уже приобрести некоторую известность в Страсбурге. Дело в том, что Гутенберг, вынужденный покинуть родной город, где по своему происхождению он мог играть видную роль, лишенный значительной части тех материальных средств, которыми обладали его предки, не пал духом, а старался применить к делу те познания, которые дало ему воспитание и которые он сам приобрел, живя на чужбине.

Отчасти из любознательности, отчасти из желания найти средства к независимому существованию, Гутенберг познакомился с разными техническими производствами. Любовь к такого рода занятиям Гутенберг, как полагают, мог приобрести еще в Майнце, где представители рода Генсфлейш вместе с 11 другими патрицианскими фамилиями пользовались правом наблюдать за полновесностью монеты, за верностью мер и весов, эти же фамилии заведывали покупкой золота и серебра для чеканки монеты и поэтому должны были иметь дело с разными техниками и особенно с золотых дел мастерами и резчиками по металлу. В Страсбурге Гутенберг получил известность, как искусный техник, изобретатель, знающий секреты разных производств и умеющий передать другим свои знания; поэтому желавшие

научиться тому или другому производству обращались к Гутенбергу; так, например, один из страсбургских граждан Андрей Дритцен хорошо изучил под руководством Гутенберга искусство шлифовать драгоценные камни.

Занимаясь разными производствами, Гутенберг обратил внимание на печатаемый в Голландии ксилографическим способом книжки и вскоре сделал важное усовершенствование в ксилографическом производстве, изобретя пресс, при помощи которого вырезанный на доске текст отпечатывался на бумаге гораздо скорее, чище и ровнее, чем при помощи нажимания кожаным валиком; кроме того, при помощи прессы можно было получать оттиски на обеих сторонах листа. На этих усовершенствованиях Гутенберг не остановился и после долгих опытов пришел к мысли заменить вырезывание на доске целых страниц текста составлением строчек и целых страниц из отдельных букв.

Первые опыты Гутенберга с подвижными литерами

Полагают, что сначала Гутенберга осенила счастливая мысль распилить доску с вырезанным на ней текстом на отдельные литеры, чтобы иметь возможность набирать из них любые слова, по отпечатании набора на бумаге, разбирать литеры и составлять из них новые страницы, вместо того, чтобы опять вырезывать их на досках. Так сделан был первый шаг. Затем Гутенберг стал вырезывать на маленьких деревянных столбиках выпуклые литеры; сбоку столбики пробуравливались, чтобы можно было, продев в них нить или проволоку, удерживать в порядке набор.

Употребление деревянных литер сразу представило множество весьма существенных неудобств. Во-первых, из дерева можно было вырезать литеры только очень большого шрифта, который не был пригоден для печатания больших сочинений; далее приходилось бы каждую отдельную литеру вырезать от руки, а сколько времени и труда взяло бы это дело, можно себе представить, если вспомнить, что для набора одного только печатного листа требуется около 40,000 литер. Наконец, вырезаемые от руки литеры почти невозможно сделать совершенно ровными по величине, да и совершенно ровные быстро меняют свой вид, трескаются от влияния краски и воды, которою краска с литер смывается, а всякая литера, хотя немного выступающая из набора, должна сломаться при нажимании прессом.

Неудобства деревянных литер побудили изобретателя вырезать литеры из металла. Но вырезать литеры из металла было еще труднее, точно так же невозможно было, приготавливая от руки металлическая литеры, достигнуть того, чтобы они были одинаковой величины; к тому же опыты требовали больших расходов, вырезывание металлических выпуклых литер приходилось поручать золотых дел мастеру. Из сохранившегося до настоящего времени документа узнаем, что один из страсбургских ювелиров изготовил для Гутенберга по его заказу много «предметов, относящихся до тиснения». Полагают на основании некоторых документальных данных, что эти предметы были не что иное, как металлические буквы. За исполнение этого заказа Гутенберг заплатили 100 гульденов—сумму, для того времени довольно значительную.

Договор Гутенберга с Риффе

Так как средства Гутенберга были более, чем ограничены, а дальнейшее приготовление необходимых для осуществления его новой идеи приборов требовало все больших и больших расходов, то Гутенберг решился для улучшения средств воспользоваться своим бо-

лее ранним изобретением и вступил в сообщество с Гансом Риффе, бургомистром соседнего с Страсбургом города Лихтенау. Риффе должен был дать средства для приготовления по усовершенствованному Гутенбергом способу каких-то предметов, которые он надеялся в большом количестве и с значительной выгодой сбыть в Ахене в 1439 г., когда, как можно было рассчитывать, в тот город соберутся многочисленные богомольцы не только со всей Германии, но и из соседних стран. Дело в том, что в ахенских церквах хранились мощи многих святых и разные священные предметы, например, пеленки младенца Иисуса. Эти священные предметы выставлялись народу для поклонения каждые 7 лет.

В 1439 г. истекал семилетний срок со времени последнего всенародного чествования ахенских святынь, предполагалось, что в июле этого года они будут вновь выставлены, и к этому времени ожидалось в Ахен отовсюду богомольцы. Как велико было стечение богомольцев, можно судить по тому, что в один из дней подобного празднества в 1496 г. насчитано было 150 тысяч богомольцев, а продолжалось торжество 14 дней, при чем, ежедневно одни уходили, а на их место приходили другие. Само собою разумеется, что при таком стечении народа Гутенберг мог рассчитывать на хороший сбыт предметов, к фабрикации которых он приступил.

Нельзя с уверенностью сказать, какие предметы предполагалось изготовить для ахенской ярмарки. Сам Гутенберг, в сохранившемся до нашего времени показании, глухо говорит, что он составил сообщество с целью изготовить изобретенным им способом предметы для ахенской ярмарки. Другой участник компании выражается более определенно и говорит, что сообщество составлено было для изготовления и продажи на ахенской ярмарке зеркал (Spiegel); полагают, что под словом Spiegel здесь следует понимать не зеркало в тесном смысле, а те украшенные картинками ксилографические книжки, которые назывались по-латыни *spectula*, а по-немецки *Spiegeln*; такое предположение весьма вероятно, так как несомненно, что опытами Гутенберга с подвижными буквами предшествовало не только близкое ознакомление его с голландским ксилографическим способом изготовления так называемых «зеркал» и других народных книжек, но даже усовершенствование им этого способа, благодаря изобретению особого прессы.

О заключенном между Риффе и Гутенбергом договоре узнал один из учеников и помощников Гутенберга, Андрей Дритцен, и стал упрашивать, чтобы его тоже приняли в сообщество. Кроме того, друг Гутенберга Антон Гейльман, один из знатнейших граждан Страсбурга, просил принять в сообщество его брата Андрея. Но Гутенберг сначала не хотел делать участниками своего предприятия большое число лиц, боясь, чтобы не была открыта тайна его опытов с подвижными буквами; опасался также Гутенберг, что при большом числе компаньонов слухи о производимых им опытах распространятся по городу и навлекут на него обвинение в колдовстве; это опасение так тревожило Гутенберга, что, приступая к своим опытам и не желая поэтому быть у всех на виду, он поселился вдали от городского шума, в одном из глухих предместий Страсбурга. Однако просьбы Гейльмана и Дритцена, людей искренно расположенных к Гутенбергу, смягчили его; он согласился принять двух новых компаньонов, при чем они дали обещание во всем следовать предписаниям изобретателя.

В начале 1438 г. заключен был между всеми четырьмя компаньонами договор, в кото-

ром было точно указано, сколько должен каждый из участников внести денег на общее дело и как будет распределена прибыль между компаньонами. По заключении договора, все участники сообщества стали деятельно заниматься приготовлением к самому производству предметов, назначенных для сбыта на ахенской ярмарке. Самым усердным компаньоном оказался Андрей Дритцен, который день и ночь был за работой. Почти каждый день товарищи Гутенберга посещали его уединенную квартиру, часто засиживались у него за работой и обедали у него.

Впрочем, вскоре участники предприятия узнали, что ахенская ярмарка отложена до 1440 г. и что поэтому нет причины особенно спешить с производством предметов, которые предполагалось сбыть на этой ярмарке. Тем не менее товарищи Гутенберга продолжали часто посещать его и заметили, что, кроме того дела, в котором они принимали участие, Гутенберг занимался еще какими-то опытами, которые он тщательно от них скрывал. Компаньоны стали упрашивать Гутенберга, чтобы он открыл им свой новый секрет и принял их участниками в замышляемом им новом предприятии.

Учреждение в Страсбурге компании

Так как выручка от продажи «зеркал» вследствие отсрочки ярмарки могла быть получена только через два года, то Гутенберг должен был приостановить на целых два года дорого стоящие опыты с подвижными буквами. Поэтому предложение товарищей Гутенберга пришлось как нельзя больше кстати, и он, после некоторого колебания, решился доверить им свою тайну. Прежний договор был уничтожен и заключен новый, по которому Гутенберг обязывался открыть товарищам свое изобретение и принять их участниками в его осуществлении. При этом денежные взносы компаньонов были значительно возвышены, так что в общей сложности они должны были дать Гутенбергу на устройство нового дела 830 гульденов. Договор заключен был на пять лет.

Из того обстоятельства, что договор был заключен на пять лет, заключают, что Гутенберг предпринял печатание большой книги, именно Библии. Хотя Андрей Дритцен и не был в состоянии сразу внести причитающуюся с него сумму, однако Гутенберг не замедлил посвятить его, как и других товарищей в тайну своего изобретения. Заметив ловкость и усердие Дритцена, Гутенберг поместил даже в его квартире пресс и поручил ему учиться тиснению набранных Гутенбергом «форм» (формами еще в настоящее время называют набранные страницы текста). Дритцен с обычным своим усердием принялся за дело, но это усердие оказалось для него роковым, он занемог и незадолго до праздника Рождества 1438 г. умер.

По смерти Дритцена многие из его родных и знакомых, любопытство которых давно уже было возбуждено находившимся у Дритцена диковинным прессом, поспешили в квартиру покойного, чтобы, наконец, узнать, какой это там был пресс и что в нем находится, но Гутенберг предупредил любопытных. Узнав о смерти Андрея Дритцена, он немедленно послал в его дом слугу своего Лаврентия Бейльдека, который передал брату умершего Андрея Дритцена Николаю, что он не должен никому показывать пресс, находившийся в квартире его покойного брата. Кроме того, Бейльдек просил Николая Дритцена вынуть из-под преса находящиеся там четыре формы и разобрать их так, чтобы никто не мог понять, что эти формы означают. Вероятно, Николай Дритцен ответил, что не умеет обращаться с прессом;

поэтому один из участников предприятия, Гейльман, отправился к тому мастеру, который по указаниям Гутенберга сделал пресс, и просил разобрать находящиеся в прессе формы.

Смерть Андрея Дритцена очень повредила предприятию Гутенберга; во-первых, изобретатель лишился самого усердного помощника, во-вторых, братья Дритцена, которым Гутенберг не пожелал предоставить право участвовать в предприятии вместо их покойного брата, затеяли процесс и требовали от Гутенберга возвращения всех денег, полученных им от Андрея Дритцена. Целый почти год пришлось Гутенбергу таскаться по судам. Хотя в конце концов Дритцены проиграли процесс, однако основанная Гутенбергом компания все-таки не достигла той цели, к которой стремился Гутенберг, не дала ему возможности довести до конца опыты с подвижными буквами и приступить к печатанию книг.

То обстоятельство, что смерть Андрея Дритцена надолго приостановила занятия компании, должно было вредно отразиться на ее дальнейшей деятельности. Кроме того, самое изобретение не было еще доведено до такого совершенства, чтобы при его практическом осуществлении можно было обойтись теми средствами, какими обладала компания. Вырезаемые из олова буквы скоро портились, а вырезывание новых требовало все больших и больших средств. Привлечь же к делу новых богатых компаньонов вряд ли удалось бы в Страсбурге после того шума, который вызван был процессом с Дритценами. Между тем Гутенберг был уверен в том, что обладает тайной изобретения, которому суждено облагодетельствовать человечество. Подобно современнику своему Колумбу, судьба которого отчасти напоминает судьбу нашего изобретателя, Гутенберг, несмотря на неудачи, продолжал упорно стремиться к своей цели.

Переселение Гутенберга в Майнц

Сознавая невозможность при недостаточности средств продолжать с успехом свои опыты в Страсбурге, Гутенберг решил покинуть этот город и, лишь только истек пятилетний срок договора, заключенного с Риффе и Гейльманом, переехал вместе с верным своим слугой Бейльдеком в свой родной город Майнц, где, быть может, рассчитывал найти помощь у своих знатных родственников. Полагают, что все свои машины и орудия Гутенберг взял с собою в Майнц. Прибыв в этот город, Гутенберг с прежним усердием принялся за свои опыты. Но дело не могло быстро подвигаться вперед, пока приходилось каждую литеру вырезать от руки из металла и пока для вырезывания литер употреблялся такой мягкий металл, как олово.

Желание облегчить как-нибудь скучную, тяжелую и малопроизводительную работу вырезывания литер от руки навело Гутенберга на мысль обливать вырезанный из более твердого металла выпуклые литеры расплавленным свинцом, который по охлаждении снимался с выпуклой литеры, так что получалась углубленная металлическая форма (матрица) той или другой литеры алфавита, при помощи которой можно было отливать из олова сколько угодно совершенно одинаковых выпуклых литер. Конечно, Гутенберг не сразу дошел до этого важного усовершенствования. Много пришлось вынести неудач, разочарований, прежде чем удалось сделать такой важный шаг вперед; а главное—на производство опытов Гутенберг не только издержал все свои наличные средства, но даже вошел в долги.

Опыты Гутенберга потому поглотили так много денег, что при каждом новом усовершенствовании приходилось бросать все заготовленные ранее литеры. Итак, около 1449 г.

Гутенберг, изобретя упрощенный способ готовить быстро литеры посредством отливки, мог приступить к задуманному им делу, к печатанию Библии,—*Biblia latino vulgata*; напечатание этой священной из всех книг должно было быть первым плодом его изобретения. Лучше выбора нельзя было сделать в интересах человечества и самого изобретателя. Но это предприятие требовало больших расходов, а Гутенберг был уже почти разорен своими многолетними опытами.

После продолжавшихся долгое время неудачных попыток осуществить задуманное предприятие на собственные скудные средства, Гутенберг решился обратиться к Иоганну Фусту, одному из богатейших граждан Майнца, открыл ему свои планы и предложил принять участие в предприятии, дать деньги на его осуществление. Фуст легко понял всю выгоду предприятия, принял предложение Гутенберга и 22 августа 1450 г. заключил с ним договор, по которому обязывался ссудить изобретателя суммой в 800 гульденов на устройство предприятия (из 6%) и, кроме того, выдавать ему ежегодно по 300 гульденов на его ведение. В случае какого-либо несогласия между договаривающимися или неудачи все изготовленные машины должны были быть переданы Фусту в обеспечение уплаты ему долга, в случае же удачи он должен был получить половину прибыли. Этим договором Гутенберг отдавал себя и свое дело во власть Фуста. Но изобретатель, уже отчаявшийся в возможности осуществить свой проект на собственные средства, не обращал внимания на тягость предложенных ему условий,—для него важно было только то, что ему давали средства.

Полный уверенности в успехе, Гутенберг с жаром принялся устраивать на полученные деньги типографию в доме своего дяди. Почти два года посвящено было на устройство необходимых приборов: прессов, форм для отливки литер. Когда большая часть приготовлений была окончена, оказалось, что 800 гульденов не хватает на обзаведение, пришлось обратиться к Фусту с просьбой о новой ссуде; Фуст дал деньги, но на условиях, еще более стеснительных. Желая, наконец, достигнуть цели, уверенный в успехе, Гутенберг соглашался на опасные для него условия, подобно тому, как Колумб ручался матросам своей жизнью в том, что, если они не возвратятся назад, то через три дня увидят землю.

Печатание Библии

Легко понять причину ошибки первоначальных смет Гутенберга, если представить себе всю грандиозность предпринятого им дела—в книге, которую он впервые напечатал, 1282 стр. in folio. Начато было печатание около 1452 г., окончено, согласно договору, к 1455. Напечатаны были экземпляры на пергаменте и на бумаге, на каждой странице по две колонны, при чем заглавные буквы не напечатаны, для них оставлены пробелы, так как предполагалось разрисовать их от руки; действительно, в сохранившихся экземплярах, напечатанных на пергаменте, заглавные буквы разрисованы золотом и разными красками, в простых экземплярах написаны красною и синею красками.

До настоящего времени сохранилось 15 экземпляров Гутенберговой библии; 9 на бумаге и 6 на пергаменте. На книге не обозначено, где и кем она печатана, потому, как полагают, что Фуст хотел еще хранить в тайне новое искусство книгопечатания, чтобы продавать вышедшие из типографии книги по той же цене, как и рукописные. Но несомненная принадлежность этой книги труду Гутенберга доказывается разными вполне достоверными свиде-

тельствами и, между прочим, надписью на одном из сохранившихся экземпляров, что он переплетен в 1456 г., то-есть несколько месяцев спустя после отпечатания Гутенберговой библии. Литеры, которыми отпечатана эта книга, хотя и были отлиты из металла, но были слишком велики, толсты, угловаты и недостаточно тверды, так что часто встречаются места неясно, бледно напечатанные.

Фуст и Шефер

Гутенберг и Фуст сознавали недостатки своей печати, старались их устранить и, желая прежде всего придать литерам более красивый вид, искали человека, обладавшего хорошим почерком, который мог бы не только улучшить шрифт, но также заняться рисованием заглавных букв. Случай привел к ним некоего Петра Шефера, который, благодаря своему прекрасному почерку, пользовался известностью, как хороший иллюминатор, то-есть рисовальщик заглавных букв. Шефер был человек довольно образованный; некоторое время он жил даже в Париже, где, как полагают, изучал в университете право.

Около 1452 года Шефер был принят в доме Фуста и занялся составлением рисунков для заглавных букв; кроме того, ему поручили вырезать из твердого металла те выпуклые буквы, при помощи которых отливались углубленные формы для отливки шрифта. Но как ни красивы были вырезаемые Шефером выпуклые буквы, из приготовляемых с этих букв углубленных форм отливались литеры некрасивые, аляповатые. Происходило это от того, что углубленные формы для отливки литер приготовлялись тоже при помощи отливки из легкоплавкого металла (свинец), который при наливании в форму расплавленного олова размягчался от действия жара, формы портились, и отливаемые в них литеры выходили некрасивыми. Шефер ввел в это дело несколько важных усовершенствований; во-первых, он предложил Фусту делать углубленные формы из более твердого металла, из меди; при этом формы следовало не отливать, а выбивать на меди стальной выпуклой буквой. В таких формах отливка шрифта шла гораздо быстрее, литеры выходили красивее и могли изготовляться очень мелкими; а чтобы этот шрифт отчетливо отпечатывался на бумаге, Шефер предложил отливать его не из олова, а из особого придуманного им твердого сплава, который получил название типографского металла.

Фуст высоко ценил предложенные Шефером усовершенствования и, желая с ним сблизиться, выдал за него замуж свою внучку Христину. Делая Шефера членом своей семьи, Фуст имел в виду воспользоваться предложенными им усовершенствованиями на случай предусмотренного договором разрыва с Гутенбергом. К такому разрыву Фуст давно уже стремился, так как был недоволен Гутенбергом, который заставил Фуста дать на предприятие гораздо более денег, чем было условлено, и притом не отдавал никакого отчета в расходуемых суммах; в Шефере Фуст надеялся иметь более зависимого и послушного, а в техническом отношении не менее искусного руководителя типографии, вполне усвоившего изобретенное Гутенбергом искусство.

Имея в виду отделаться от изобретателя, Фуст тщательно скрывал от него предложенные Шефером усовершенствования, надеясь после разрыва с Гутенбергом открыть с зятем такую типографию, с которою Гутенберг не мог бы конкурировать. Заключенный с Гутенбергом договор давал Фусту полную возможность порвать связи с изобретателем и завладеть его типографией, так как Гутенберг, потративший на опыты все свое состояние, не мог

уплатить Фусту всех занятых у него денег, а между тем на основании договора Фуст имел право потребовать по истечении пятилетнего срока уплаты и в случае неисполнения требования завладеть типографией.

Пока еще шло печатание Библии, Фуст думал только о том, чтобы довести до конца это дело, на которое потрачено было им столько денег, и медлил с процессом; но лишь только в конце 1455 года окончено было печатание Библии, Фуст перестал церемониться и затеял против Гутенберга иск, требуя уплаты всех данных ему займы денег (с % 2.020 гульденов). Гутенберг, конечно, не мог уплатить такой громадной суммы, и Фуст, на основании судебного решения, завладел не только всем инвентарем типографии, но даже отпечатанными экземплярами Библии, которые даже по договору должны были принадлежать не одному Фусту, так как прибыль от предприятия должна была делиться между ним и Гутенбергом. Простодушный и доверчивый изобретатель был лишен вследствие безчестности и безсердечия своего компаньона, а также вследствие пристрастного судебного приговора всех плодов своего великого изобретения и своих двадцатилетних усилий. Цель Фуста была достигнута, он не только владел тайной чудного изобретения, но также вполне устроенною чужими трудами типографией, в которой его зять, ловкий и искусный мастер, мог успешно продолжать дело.

Новая типография Гутенберга

Проиграв процесс, Гутенберг потерял состояние, но не энергию. Ему удалось вызвать сочувствие к своему изобретению в докторе Конраде Гюмери, одном из самых уважаемых граждан Майнца. Гюмери ссудил Гутенберга деньгами на устройство новой типографии, которая и на этот раз была заложена д-ру Гюмери в обеспечение уплаты денег; однако, новый компаньон не действовал подобно ростовщику Фусту и дал Гутенбергу возможность снова стать на ноги. Но устройство новой типографии заняло много времени; между тем Фуст немедленно пустил в ход ту типографию, которую ему удалось оттягать у Гутенберга. Талантливый Шефер осуществил, наконец, предложенные им усовершенствования и быстро превзошел в искусстве книгопечатания самого изобретателя.

Не прошло и двух лет после того, как отнята была типография у Гутенберга, а Фуст и Шефер успели уже выпустить в свет великолепное издание псалтыри. Эта книга, напечатанная литерами, отлитыми уже по способу Шефера, по изяществу, красоте и отчетливости печати до сих пор признается знатоками за образцовое произведение типографского искусства. Так быстро шагнуло вперед, благодаря усовершенствованиям Шефера, недавно изобретенное искусство. В послесловии к псалтыри, изданной Фустом, было уже сказано, что эта книга не писанная, а печатана при помощи пресса и литер. Псалтырь Фуста продавалась гораздо дешевле рукописной, быстро разошлась и уже в 1459 году была издана вторично.

Изобретение мелкого шрифта

Первые два печатные издания, предназначавшиеся преимущественно для употребления в церкви, напечатаны были очень крупным шрифтом и представляли собою огромные фоллианты. Для того, чтобы изобретение было завершено, нужно было найти сплав такой твердости, так усовершенствовать приготовление форм, чтобы можно было отливать литеры гораздо меньшего размера, достаточной твердости для печатания более удобных и более де-

шевых книг малого формата. Шеферу удалось сделать и это усовершенствование, и в 1459 г. он напечатал малым шрифтом *Rationale Durandi*—книгу об обрядах католической церкви.

Нет сомнения, что мысль о необходимости заменить первоначальный крупный шрифт более мелким была подана Шеферу еще Гутенбергом; сам изобретатель, лишь только устроил свою новую типографию, занялся усовершенствованием способов отливки шрифта и в 1460 году напечатал усовершенствованным мелким шрифтом бывшее тогда в ходу сочинение Иоанна де-Януа «*Catholicon*», грамматику латинского языка со словарем. Это сочинение напечатано такими же мелкими литерами, как и напечатанное Шефером *Rationale*, только литеры Шефера гораздо красивее.

Карл VII и книгопечатание

Усовершенствования Гутенберга сделаны им вполне самостоятельно, так как нет основания предполагать, что он получил сведения об усовершенствованиях Шефера от кого-нибудь из рабочих типографии Фуста, который обязал всех служивших у него клятвой не открывать сообщаемых им секретов типографского искусства. Такая предосторожность была далеко нелишнею, так как новое искусство быстро привлекло к себе всеобщее внимание. Только в августе 1457 г. стало известно из напечатанного Фустом и Шефером послесловия к псалтыри об изобретении книгопечатания, а уже в октябре 1458 г. король французский Карл VII посылает тайно в Майнц специалиста в резьбе по металлу Николая Жансона, начальника монетного двора в Туре, с целью разведать о том искусстве, которое изобрел «*messire Gutemberg A. Mayence, pays d'Allemagne*».

Неизвестно, насколько успешна была экскурсия Жансона, но несколько лет спустя, в 1462 г., произошло событие, содействовавшее быстрому распространению книгопечатания по Германии и другим странам, событие, сделавшее тщетными все попытки Гутенберга, Шефера и Фуста сохранить тайну нового искусства. Это событие—взятие и разграбление Майнца во время войны между низложенным архиепископом Майнцским Дитером и назначенным на его место Адольфом Нассауским. При взятии города войсками Адольфа произошел пожар, во время которого сгорел дом Фуста, и типография его была вновь открыта только в 1464 г. Полагают, что типография Гутенберга также очень пострадала от грабежа при взятии города. Так как город был взят после упорного сопротивления, при чем с обеих сторон было много убитых, то курфюрст Адольф осудил на изгнание многих граждан, в том числе всех мастеров обеих типографий. Фусту, человеку богатому и влиятельному, бывшему к тому сторонником Адольфа, удалось, как кажется, вскоре возвратить в город своих мастеров, но рабочие Гутенберга должны были навсегда удалиться из владений курфюрста, искать себе убежища на чужбине, где, конечно, не считали уже себя обязанными хранить вверенную им тайну искусства книгопечатания, и основали в разных городах типографии.

Дальнейшая судьба Гутенберга

Несмотря на разорение во время войны, Гутенберг не покинул совсем типографского дела; он уже пользовался в Майнце некоторою известностью, и в 1465 г. курфюрст Адольф сделал его своим камергером; но недолго пришлось ему носить это придворное звание: в начале 1468 года Гутенберг скончался; все оставшиеся после него типографские машины

перешли к доктору Гюмери, с которым изобретатель не мог расплатиться; при этом уважение курфюрста к памяти Гутенберга сказалось в том, что он просил д-ра Гюмери не продавать оставшихся от Гутенберга машин в какой-нибудь другой город, чтобы они навсегда остались в Майнце. Гутенберга похоронили в церкви св. Франциска в Майнце, где один из его родственников соорудил ему надгробный памятник, не сохранившийся до нашего времени, так как самая церковь св. Франциска была совершенно разрушена в 1793 г. при осаде Майнца.

Великий человек, изобретатель книгопечатания, умер в бедности, после жизни, исполненной борьбы и лишений, едва оцененный современниками. Фуст ни в одном из своих изданий не упомянул о том, что книгопечатание изобретено Гутенбергом; Шефер, в беседах с разными лицами называвший Гутенберга изобретателем, не был так откровенен в печати: в книге, изданной им в 1468 г., он говорит глухо, что изобретателями книгопечатания были два Иоанна (то-есть Гутенберг и Фуст). Только сын Петра Шефера в послесловии к книге, изданной в 1505 г., печатно признал, что «искусство книгопечатания изобретено в 1450 г. в Майнце гениальным Иоанном Гутенбергом и потом усовершенствовано И. Фустом и Петром Шефером». Но еще за шесть лет до издания этой книги один из германских писателей напечатал стихотворение, в котором восхваляет Гутенберга, прославившего Германию своим великим изобретением. Несмотря на то, что такое сознание великой заслуги Гутенберга высказано было уже 30 лет спустя после его кончины, только в XIX столетии сооружен ему в Майнце памятник по проекту великого Торвальдсена на деньги, собранные по всей Европе.

После 1462 г. книгопечатание, которое французский король Людовик XII назвал изобретением скорее божественным, чем человеческим, быстро распространилось по Европе; уже около 1470 г. явились типографии во многих городах Германии, Голландии и Италии. Везде книгопечатников принимали, как дорогих гостей, государи оказывали им особое покровительство. В 1491 г. была напечатана в Кракове Святополком Феолем первая книга кириллицей «Октоих». Первые книги на русском языке (Псалтырь и Библия русска) были напечатаны в 1517 г. в Праге Франциском Скориной, русским по происхождению, уроженцем города Полоцка, а в Москве первая книга была напечатана в 1564 году при царе Иване Васильевиче, диаконом Николо-Гостунской церкви, Иваном Федоровым.

Едва ли какое-нибудь изобретение имело столь важные следствия, как изобретение книгопечатания. Благодаря основанию типографий начали появляться в печати произведения древних писателей, из которых многие не задолго до того были принесены учеными греками в западную Европу из завоеванной турками Византийской империи; еще в 1464 г. Фуст напечатал сочинения Цицерона. Древние писатели становятся предметом тщательного изучения; сделавшиеся многим доступными совершеннейшие произведения классической литературы переводятся и комментируются; сочинения древних философов, ораторов, историков, поэтов делаются образцами для подражания,—достигает наибольшего расцвета великая эпоха возрождения, за которою последовала имевшая такие мировые результаты эпоха реформации, немыслимая без книгопечатания. Один из главных деятелей реформационной эпохи, Лютер, хорошо понимал это и утверждал, что книгопечатание есть высший дар Бога людям для распространения слова Божия и как бы второе избавление рода человеческого,—избавление от умственной тьмы. Действительно, до изобретения книгопечатания

даже появление даровитейших и гениальных людей не могло произвести заметной перемены в умственной жизни народов, так как мысли этих людей делались известны только немногим, масса же народа продолжала коснеть в невежестве. Только с изобретением книгопечатания ораторы получили возможность говорить не перед ограниченным числом слушателей, их аудиторией является все человечество.

Ни одно изобретение не произвело такого глубокого переворота в жизни народов, как книгопечатание, даже величайшее изобретение XVIII в.—паровая машина—имело гораздо менее значения, так как изменило внешнюю материальную культуру, тогда как книгопечатание дало совершенно новое направление развитию культуры духовной: благодаря этому изобретению чувства людей получили новую силу; так благодаря книгопечатанию *всякий* умеющий читать обладает глазами, которыми видит всю вселенную, имеет уши, которыми может слышать не только все умные речи современников, но также мудрые слова предков.

Приведу, наконец, отзыв о книгопечатании одного из знаменитейших наших ученых, Лобачевского: «Печатанию, как будто второму дару слова, новейшие времена обязаны самою большою частью своей образованности. Если науки так удачно и во многих отношениях сравнены со светом, который открывает глазам дотоле невидимые предметы, то сходство сделалось еще совершеннее, когда тиснение книг позволило с такою быстротою распространять наши познания. Вечером родившаяся мысль в уме одного человека, утром повторяется тысячи раз на бумаге и разглашается потом во все концы обитаемой земли».

Виталий Эйнгорн.

LXXXIII. Открытия португальцев в XV веке

Путешествия Поло

Последнее столетие средневековой жизни, XV век, есть время падения феодального строя, возрождения наук и искусств, разнообразных изобретений и географических открытий, которые расширили место действия всемирно-исторической жизни. К географическим открытиям в XV веке привела европейцев необходимость искать морской путь в Индию. Итальянские республики, которые снабжали всю Европу индийскими товарами, потеряли, вследствие завоеваний турок на берегах Черного и Средиземного морей, возможность получать эти товары. Между тем привычка к ним в Европе уже была большая и вместо утраченных сношений с Индией требовалось завести новые. Под Индией в XV веке разумелся не один только полуостров Индостан, но также и страны, лежащие далее на восток: Индокитай, Китай и Япония. Об этих странах в Европе ходили необыкновенно заманчивые рассказы. Так, например, дальше всех на восток проникли два брата, венецианцы Поло, с сыном одного из них Марко. Они пробыли в Китае 26 лет на службе у монголов и оказали хану важные услуги, так что тот не хотел отпускать искусных чужестранцев от себя. В это время они успели объехать Китай, побывать в Индии. Наконец им удалось уехать на родину, но соотечественники отказывались признать Поло. Наследники утверждали, что они уже умерли, а долгое пребывание с татарами сделало их по наружности и разговору похожими на татар, к тому же они были бедно одеты. Тогда Поло собрали своих родственников и старинных друзей и распорол при них свои грубые платья. Из каждого шва посыпались брильянты, сапфиры, изумруды; их признали. Позднее Марко составил описание стран, откуда он привез столько драгоценностей. Он называет их Катаем (Китай), Джипангу (Япония) и много говорит о их богатствах. Не менее привлекательно описывали Индию и арабы, которые называли между Зондскими островами один Золотым, а другой—Серебряным.

Чтобы найти морской путь в эти страны, у европейцев счастливым образом к XV веку были готовы средства. Географические знания, вследствие торговых сношений, значительно расширились: был усовершенствован компас, известный еще с XII века, но мало упо-

треблявшийся по своему дурному устройству (намагниченную иглу обыкновенно продевали сквозь соломинку или кусок пробки, бросали в сосуд с водой и следили за направлением стрелки, но в воде от колебаний ее было трудно определить, куда показывала стрелка). В XIV веке Флавио Джиойя поместил иглу в закрытом сосуде, а вокруг сделал рисунок с румбами¹. В таком виде компас стал с успехом употребляться в плаваниях, и с лучшим компасом моряки стали храбрее плавать в открытом море, в которое долго не решались выйти из Средиземного. Кораблестроение также достигло большого совершенства.

Мореплавание в средние века

Народы северной Европы ранее вышли в океан. Норманны уже давно плавали к берегам Исландии, Гренландии и Северной Америки и вдоль берегов Европы, мимо Гибралтара к западным берегам Африки; венецианцы же и генуэзцы отправляли с севера внутрь Африки свои караваны и имели о ней сведения, но выйти в океан и морем проплыть к ее берегам не решались. Их удерживали рассказы об ужасах, которые ожидали моряков за Гибралтарским проливом. Эти рассказы перешли в средние века от древних финикийян. Аравийские географы рассказывали, что вход в океан берегут каменные изваяния, поставленные не то двурогим Искандером, не то Ираклом исполином, и запрещающие жестами и надписями ехать морякам далее на запад; другие же говорили, что изваяния эти держат в руках ключи, чтобы запирать вход в Атлантический океан. Если же проплыть мимо них, то дальше за проливом лежит «тихое море, словно безконечная, неподвижная громада, перед глазами разстилается туман, и день заменяется сумраком, не видать звезд, исключая некоторых неизвестных». (Уже когда генуэзцы открыли Канарские острова, арабы—еще верили, что океан есть море тьмы). В этом сумрачном море лежат острова: Вечные и Счастливые. Европейцы в согласии с арабами Счастливые острова называли Антильей и прибавляли иные сказания. Вот как повествуется об океане в одной средневековой саге. Св. Брандам усомнился в чудесах океана и за то был осужден 7 лет странствовать в нем от острова к острову, пока волей Провидения не раскрылись перед ним чудные тайны моря-океана. Он видел липкое (кисельное) море и побережье, которое по-немецки названо «Доброй землей». Эта земля подобна раю и так плодородна, что большого нельзя и желать; добавляется, однако, что в ней водились черти. Когда начались плавания, люди долго старались отыскать остров св. Брандама, хотя уже перестали верить легенде.

Наконец, в XIV веке вышли в океан венецианцы и генуэзцы, и вслед за тем начались открытия. Первая генуэзская экспедиция, отправившаяся искать путь в Индию, погибла, но следующая за нею открыла Канарские острова и нашла, что они мало заслуживают названия Счастливых. Затем генуэзцы открыли Мадейру и Азорские острова. Но дальше этого успехи их плаваний не пошли: внутренние неурядицы помешали им попасть в желанную Индию. Первыми пристали в этой стране португальцы, которым вместе с испанцами принадлежит слава великих открытий XV века. Португалия завела у себя флот еще в XIII веке, и король Диниз назначил адмиралом его генуэзца, так как Генуя в то время считалась первою морскою державой; следующий король устроил рейд в Лиссабоне, а в XV веке португальские моряки затмили венецианских и генуэзских и заняли их место на море. Этим развитием морских сил португальцы обязаны были своему инфанту Генриху, прозванному «Мореплавателем».

1 Горизонт делится на 32 части, которые называются румбами.

Экспедиции инфанта Генриха

Инфант Генрих был третий сын короля Иоанна I и, располагая доходами ордена Христа, которого был гроссмейстером, решил употребить эти последние на открытия и завоевания по западному берегу Африки, чтобы обратить жителей новых стран в христианскую веру. Прежде всего он хотел там найти царство Гвиноэ и Золотую реку, впадающую на 150 испанских лиг южнее мыса Боядор, о котором много рассказывали венецианцы, генуэзцы и арабы. Преследуя свою цель, инфант переселился на берег моря, где построил себе виллу у мыса Винцента, и отсюда стал ежегодно посылать по два или по три корабля в океан. В начале своих плаваний португальцы не ходили далеко от берега и не плавали южнее мыса Нун («Недальше»). У них даже была поговорка: «Кто поплывет за мыс Нун, не знает, вернется ли когда». Для обучения моряков теории мореплавания и для составления им новых карт Генрих пригласил опытного капитана с острова Майорки, Хакиме. Сам Генрих также занимался изучением карт и средневековых путешествий. Благодаря заботам инфанта, португальцы начали плавать дальше от берегов и обогнули мыс Нун, но долго не решались обойти следующий мыс, у которого бурун выступал на 6 миль в океан, а на такое расстояние они еще боялись удаляться от берега. Одну из эскадр, отправляемых Генрихом ежегодно, занесло бурей на остров Порто-Санто из группы Мадейрских. На следующий год португальцы открыли Мадейру (лесной), который так называли за огромные растущие там леса. Часть лесов они сожгли и на этих местах развели сахарный тростник и виноградники. Через 12 лет после этого объехали мыс, пугавший их буруном, и назвали его Боядор. Следующие экспедиции видели бедуинов и привезли невода туземцев. Это были признаки, поколебавшие уверенность средневековых географов, что за поворотным кругом нет растительности и жизни. Инфанту хотелось узнать об этих странах от туземцев, но плавания на время прекратились, потому что ему пришлось принять участие в походе против Танжера, предпринятом его братом. Когда начались снова плавания, то моряки привезли несколько бедуинов и открыли Белый мыс, названный так по цвету своих скал. На следующий год пленников отвезли назад, и теперь одно открытие следовало за другим. До сих пор инфант находил поддержку своим планам только у немногих приближенных, которые поселились с ним у мыса Винцента; ни народ, ни двор ему не сочувствовали. Теперь же открытия португальцев обратили внимание на себя даже других государств. Самые плавания стали давать выгоду, и вот начали снаряжаться частные экспедиции, плававшие под руководством инфанта, которому все отдавали пятую часть прибыли. Самим Генрихом при открытиях руководили страсть к знанию и желание распространить христианскую веру, торговцами же — желание обогатиться, и они старались только об этом... ловили невольников собаками, пытали пойманных, чтобы они указывали притоны своих собратий, и таких поступков не стыдились. Даже у одного современного писателя мы встречаем следующее замечание: «Наконец-то Господу Богу, Воздателю добрых дел, угодно было за многия на службе его перенесенные бедствия даровать им победоносный день, славу за их труды и вознаграждение за убытки, так как захвачено всего мужчин, женщин и детей 105 голов».

Не всегда однако проходила для португальцев подобная ловля благополучно. В 1445 году пришла в Португалию весть, что погиб экипаж корабля, отправившагося к Боядору. В следующем году погиб еще другой у Рио-Гранде при следующих обстоятельствах. Португальский корабль окружили туземные лодки и обратились в притворное бегство; когда же

за ними погнался бот, то они осыпали его и корабль отравленными стрелами, переранили весь экипаж и самого капитана, на корабле осталось только 5 матросов. Но теперь, 27 лет спустя после первых плаваний, португальцы были так искусны, что простые матросы сумели найти путь на родину и вернулись от Рио-Гранде, между тем как 12 лет тому назад они не решались отойти от берега и на 6 миль.

Открытия вдоль западного и восточного берегов

Далее был открыт Зеленый мыс и берег, покрытый сочными травами и пальмовыми рощами, где жили негры. По этому поводу дошел до нас очень забавный отзыв одного португальского моряка, который, описывая растительность берега, замечает иронически: «Все это я пишу с позволения его величества Птолемея (географа II века), возвещавшего очень хорошие вещи о разделении мира, но весьма ошибавшегося в одном случае. Он разлагает известный нам мир на три части, а именно: на обитаемый средний и необитаемые пояса — арктический по причине холода и тропический вследствие зноя. Теперь же оказалось наоборот: под экватором во множестве обитают черные племена, а деревья достигают невероятного роста, оттого что именно на юге возвышается сила и обилие растительности, хотя она и проявляется в своеобразных формах». Инфант достиг земель, которые желал отыскать. Затем нашли еще Азорские острова. В это время развился испанский флот; португальцы заботились, чтобы другие государства не посылали своих кораблей к открытым ими побережьям Африки без разрешения португальского короля, и просили об этом папу. Папа издал две буллы, которыми объявлял, что отдает новооткрытые земли в собственность королю португальскому и запрещает другим христианским государям посылать туда свои корабли без его разрешения и продавать туземцам оружие. В средние века папа считал своим правом распоряжаться землями неверных, и потому папские буллы имели большое значение для португальцев. В 1460 году умер инфант, и открытия остановились.

По смерти Генриха Мореплавателя король Альфонс отдал торговлю на Гвинейском берегу на 5 лет в монополию одному португальцу за 500 дукатов в год с тем, чтобы он, кроме того, каждый год открывал 100 миль дальше по берегу. В 5 лет португальцы перешли на экватор, открыли Гвинейские острова и на Золотом берегу основали факторию «La mina», которая имела важное значение для будущих плаваний на юг Африки, предпринятых королем Иоанном II по вступлении на престол. Иоанн II принял титул «владельца Гвиней», основал крепость св. Георгия возле поселения «La mina» и приказал ставить на месте новых открытий падрамы. Так назывались каменные столбы с португальским гербом, каменным крестом наверху и с именем какого-нибудь святого. Первою экспедицией, остановившейся в новом форте, была экспедиция Диего-Кано. Теперь моряки должны были стараться найти путь в Индию вокруг южной оконечности Африки. Иоанн учредил комиссию математиков, которые занимались вычислением градусов южной широты, чтобы определить действительную форму Африки и разъяснить путь к берегам Азии. Диего-Кано дошел до 22-х градусов южной широты и отсюда вернулся. Начальство над следующей экспедицией получил Бартоломео Диас; с двумя кораблями он отплыл из Португалии. Проплыв за устье Конго, Диас часто выходил на берег с неграми, выучившимися португальскому языку в Лиссабоне, и таким образом собирал сведения о странах, мимо которых проезжал, и о дальнейшем пути. Эскадра доплыла до бухты св. Елены, которую Диас назвал бухтой Лавировки, потому что противный ветер долго не впускал корабли в гавань. Отсюда корабли взяли

в сторону, прочь от материка, их застигла буря и несла несколько дней. Моряки заметили, что вода стала холоднее и волны очень крупны, Они повернули на восток, думая, что Африка находится в этом направлении, но берег все не показывался; тогда начали подозревать, что обогнули материк, поплыли на север и скоро приплыли к берегу, на котором паслись большие стада. Берег отсюда шел на восток, и португальцы убедились, что их предположение было верно. Некоторое время Диас с экипажем плыли вдоль берега, открыли остров св. Креста, где поставили падрам; но и дальше все виднелся тот же берег, и экипаж потребовал возвращения. Диас уговорил матросов плыть еще три дня и затем повернул назад. На возвратном пути открыли большой мыс, который называли Бурным, потому что здесь корабли застигнуты были страшными бурями. Король переименовал мыс, назвав его мысом Доброй Надежды, рассчитывая теперь скоро найти путь в Индию; для самого же Диаса мыс оправдал свое название: через несколько лет он погиб здесь в бурю. По возвращении Диаса Иоанн II стал готовить новую экспедицию в Индию, но начальство над нею не поручил Диазу, так как не считал удобным одному человеку дать возможность сделать два важных открытия, а назначил начальником ее Васко-де-Гаму. Экспедиция эта вышла при следующем короле Эммануэле. А между тем Иоанн отправил двух послов на восток Африки с тем, чтобы они отыскиали царство архипресвитера Иоанна (Абиссинию). Один из послов проехал в Индию и по восточному берегу Африки до Софалы, а затем отправился в Абиссинию, где его задержал абиссинский царь и где он прожил много лет. Отчет же о своем путешествии ему удалось переслать королю в Португалию, так что путь вдоль берегов Африки с запада и востока был известен португальцам, когда отправился в Индию Васко-де-Гама.

Экспедиция Васко-де-Гамы

8 июля 1497 года отплыли его корабли из Лиссабона. Путешествие казалось настолько опасным, что накануне отъезда Васко-де-Гама причастился. Король дал ему письма к государям Индии. 25 июля корабли достигли островов Зеленаго мыса, пробыли на них до 3 августа; отсюда они поплыли на запад и прошли очень близко от берегов Бразилии, не видав ее. Затем повернули на восток, и 7 ноября достигли бухты св. Елены; 22 обошли мыс, заехали на остров св. Креста и в день Рождества пристали к берегу, который Васко-де-Гама назвал Costo-Natal (Рождественский берег). Выйдя на восточный берег Африки, корабли попали в Мозамбикское течение, которым отнесло их от твердой земли, такт, что португальцы не видали Софалы. На восточном берегу эскадра в первый раз остановилась у устьев Замбезе, которую называли «рекою добрых предзнаменований», так как жители этой местности понимали арабский язык и рассказали португальцам, что еще далее на востоке живут белые люди, которые приплывают к ним на кораблях, похожих на португальские, и португальцы надеялись, что уже близко до цивилизованных стран Индии. Восточным берегом Африки владели несколько арабских шейхов; к первому из них португальцы попали в Мозамбике. Шейх их принял любезно. Но вскоре арабы, движимые фанатизмом и встревоженные разспросами португальцев об Индии, стали выказывать враждебность и напали на шлюпку, которую прислали с корабля за водой. Васко-де-Гама сделал несколько выстрелов из пушек, арабы испугались, шейх попросил мира и дал лоцмана, который коварно едва не завел эскадру на мель. В апреле месяце португальцы приплыли к Момбазе, которая им напомнила города их родины. В дороге они потеряли половину моряков, вышедших из Лис-

сабона. Отдохнув в Момбазе, португальцы поплыли в Мелинду, где их встретили дружелюбно и дали искусного лоцмана, который в 23 дня привел корабли в Каликут. Это было в воскресенье 20 мая 1498 г.; толпа народа окружила прибывших, и они услышали приветствие на арабском языке: «Поздравляем вас с приездом, благодарите Бога, приведшего вас в богатейшую на свете землю».

Индия

Индия в то время распадалась на множество отдельных государств, так что крупные государи имели в подчинении несколько мелких. На Малабарском берегу, куда пристали португальцы, самый крупный раджа носил титул саморина (что значит «владелец холма и волны»). Каликут был главный город его царства. Недалеко от этого города в пальмовой роще стоял дворец саморина, вокруг него жили в хижинах наи, которые образовали род ордена, не имели права вступать в брак и с детства уже считались членами ордена. Другой важный торговый город на берегу был Кочин. Кочинский раджа неохотно подчинялся саморину каликутскому, потому что считал себя духовным царем всего Малабарского берега.

Саморин назначил аудиенцию Васко-де-Гама. Со свитой отправился этот на берег, во дворец. Наи, как почетная стража, провожали его паланкин. Вся одежда царя сияла брильянтами. Он милостиво принял португальцев, прочел арабский перевод письма их короля и обещал, насколько возможно, исполнить просьбу о разрешении свободной торговли португальцам в Индии. Арабы, которые одни вели до сих пор торговлю индийскими товарами, встревожились и решили не допускать соперников: они подкупили министра, который внушил саморину, что португальцы морские разбойники. Саморин отказал в просьбе покупать товары, жители стали осыпая моряков бранью на улицах, и Васко-де-Гама поторопился отъездом; расставаясь, саморин дал ему любезное письмо. Португальцы, закусив немного пряностей, отправились назад. В дороге их застала сильнейшая буря, такая часто бывает в Индейском океане при смене муссонов. Затем наступило затишье. Много людей умерло от цинги, другие болели, только 8 матросов могли исполнять службу, а все не было попутного ветра. Наконец, он подул, эскадра быстро поплыла к Мелинде, и 29 августа 1499 года Васко-де-Гама вернулся в Лиссабон. Король даровал ему титул адмирала и дворянское достоинство. В гавани, откуда отплыла эскадра, был заложен монастырь Вифлеем, где стали погребаться португальские короли. Камознс воспел путешествие в Луизиаде.

Экспедиция Кабрала

Морской путь в Индию был найден, но сношений с нею не удалось еще завязать, и король на следующий год отправил новую экспедицию. В виду негостеприимного приема индийского государя на этот раз с матросами были отправлены и солдаты, всего 1500 человек на 13 кораблях. Эскадра, под начальством Кабрала, от островов Зеленого мыса, боясь затишья, взяла на запад, и течением ее принесло к берегам Бразилии: бухту, к которой пристали португальцы, Кабраль назвала Безопасным портом, а землю—Землей св. Креста. Отслужили молебен, поставили крест и отправили один корабль сообщить королю о новой земле, а сами поплыли к Африке. У мыса Доброй Надежды их застигла страшная буря, которая потопила 4 корабля, и во время ее утонул Бартоломео Диас. С сильно попорченными кораблями Кабраль приехал в Мелинду, и только на шести отправился отсюда в Индию.

Саморин опять принял очень любезно приехавших, дал Кабралю аудиенцию и, казалось, был готов дать место для торговли, но арабы снова стали всячески мешать португальцам. Дело дошло до драки, и Кабраль принужден был уехать в Кочин, где нашел хороший прием у тамошнего раджи. Здесь португальцы основали свою факторию, а другую в Кананоре, к северу от Кочина. Когда Кабраль возвратился в Португалию с известием об основании фактории в Индии, король начал строить планы о том, чтобы совершенно отнять у арабов торговлю; и следующая экспедиция оставила у мыса Гвардафуй корабли, которые должны были захватывать арабские суда, шедшие из Индии в Красное море. Но прежде чем удалось это, португальцам пришлось выдержать некоторую борьбу. Едва ушли португальские корабли из Индии, как саморин потребовал от раджи выдачи португальцев, оставшихся в фактории. Раджа, надеясь на помощь европейцев, отказал в требовании. Саморин напал на город, выгнал из него раджу и разрушил факторию. Прибывший из Европы флот принудил саморина уйти, и, чтобы на будущее время иметь возможность защищаться, в Кочине заложили крепость с гарнизоном в 80 человек под начальством Дуарте Пачеко и оставили три корабля в гавани. По отъезде португальцев саморин снова напал на Кочин. У него было 70.000 наев и 380 кораблей, у кочинского же раджи всего 5.000. Борьба была трудная, но, благодаря прекрасному положению города и удали Пачеко, саморин был разбит. Перед решительным сражением португальцы исповедались и поклялись лучше пасть, чем сойти с своего поста. Приступ был отбит. В сухопутном войске началась чума, и, потеряв третью часть солдат, саморин вернулся в свой город. Эта победа окончательно утвердила португальцев в Кочине. В самом Каликуте взяла перевес партия, которая скорее предпочитала вести торговлю с португальцами, чем с арабами. Пачеко по возвращении в Португалию был осыпан милостями короля, но потом по лживым доносам был брошен в тюрьму, где и умер, а семья его жила в нищете.

Экспедиции Альмейды и Альбукерке

Окончательно утвердили господство португальцев в Индии Франческо Альмейда и Альфонс Альбукерке. Альмейда с титулом вице-короля отправился в Индию на 22 кораблях с 1500 солдатами. По прибытии он заключил договор с кочинским раджей и другими бывшими вассалами саморина и стал с Малабарского берега посылать корабли на Коромандельский, основывая там фактории. Саморин не оставил враждебных действий против португальцев и, надеясь на поддержку египетского султана, в 1506 году собрал флот в гавани Папане. Сын вице-короля, Лорензо, сжег флот и взял город. Тогда саморин пригласил на помощь египетский флот, который приплыл к Малабарскому берегу. Завязалось сражение, продолжавшееся целый день. К вечеру на помощь египтянам подошел еще гуджератский флот. Португальские капитаны советовали Лорензо ночью пройти мимо неприятеля в открытое море. Лорензо понимал, что в открытом море португальцам выгоднее вести сражение, но считал постыдным так поступить и остался. На следующий день португальские корабли двинулись мимо соединенного флота; последним шел корабль Лорензо. Выстрел сделал в нем пробоину; корабль остановился у свай, вбитых для рыбной ловли, и гребцы не могли сдвинуть судно. Весь экипаж был переранен, гранатой оторвало ногу у самого Лорензо. Солдаты хотели унести тяжело раненого, но он велел посадить себя на стул у грот-мачты и продолжал руководить сражением, пока не был поражен на смерть. Три раза португальцы отбивали неприятеля, который вошел на корабль только тогда, когда люди были

почти все перебиты, а оставшиеся в живых девятнадцать не имели зарядов и были ранены. Когда Альмейда узнал о смерти сына, он сказал: «Я не мог бы желать ему более славной кончины»; он отомстил за его смерть, уничтожив египетский флот. После этого поражения индийцы убедились, что не могут одолеть португальцев. Вскоре Альмейда отплыл в Португалию, и на его место приехал Альбукерке. На возвратном пути Альмейда и его отряд в 150 человек были истреблены неграми в Африке.

С каждым шагом вперед португальцы желали большего. Нашли путь в Индию, пожела-ли основать фактории; достигли этого, и уже Альбукерке не довольствовался основанием фактории, а решил закладывать крепости с гарнизоном, чтобы постепенно овладеть всею Индией. Первые действия Альбукерке были неудачны. Он напал на Каликут. Половина отряда захватила дворец саморина и разсыпалась по нему. Наи по свисткам собрались и напали на португальцев, которые начали отступать парком, где стоял дворец; паи окружили их, и неизвестно, что бы постигло португальцев, если бы им не удалось убить предводителя паев. 70 португальцев легло на месте, самого Альбукерке вынесли из сражения без чувств, а остальные с трудом добрались до кораблей. Оправившись от поражения, Альбукерке задумал напасть на Ормуз, но по дороге решил взять Гою, богатый город на Малабарском берегу, владетель которого был самым значительными раджей после каликутского саморина. В Гое жило много арабов. Когда Альбукерке напал на город, сам государь был в походе, и благодаря этому португальцы легко овладели Гоей. Альбукерке решил сделать Гою столицей португальских колоний и занялся устройством португальского управления. В это время вернулся из похода владетель Гои и вытеснил Альбукерке из города. В океане свирепствовали бури, и флот три месяца не мог выйти из гавани; у португальцев истощились запасы воды и продовольствия. Наконец, бури прекратились, и корабли отплыли в Кананор. Альбукерке присоединил стоявшие здесь португальские корабли к своему флоту и пошел снова к Гое. Несмотря на численное превосходство неприятеля, португальцы взяли город, часть неприятельского войска была перебита, часть утонула. Овладев городом, Альбукерке укрепил его, и, когда на следующий год прежний владетель напал на Гою, португальцы отбили нападавших. Победенный просил мира у победителя, а за ним и все остальные раджи прислали подарки в Гою, которая сделалась столицей Малабарского берега; сам саморин прислал послов предложить португальцам место в Каликуте для основания фактории. Арабы выселились из Гои, и их место заняли португальцы. Альбукерке достиг господства на Малабарском берегу и хотели теперь получить его во всех восточных морях. Прежде всего он вступил в сношения с аденским шейхом. Этот уступил ему место для постройки форта, так что вход в Аравийский залив перешел к португальцам. Затем Альбукерке обратил внимание на Ормуз. Там была основана фактория; владетель Ормуза обязался платить дань португальцам и обещал дать место для постройки укрепления, но, видя, что Альбукерке часто приходится умирять своих капитанов, которые ему неохотно подчинялись, не исполнял своих условий. Тогда Альбукерке взял город и построил в нем форт; такими образом и другой путь товаров попал в руки португальцев, и Лиссабон в XVI веке приобрел то же значение, какое имела Александрия в средние века. Сюда приезжали европейские купцы закупать товары, которые затем развозились по всей Европе. Несколько времени спустя Альбукерке взял Малакку, через которую получались в Индии пряности с Зондских и Молукских островов. Все раджи островов и Индокитая признали свою зависи-

мость от португальских королей, которые стали называться владыками индийской и эфиопской торговли, так как, кроме португальских или имевших пропуски от португальцев кораблей, ни одно судно не имело права плавать в восточных морях. Затем португальцы завязали сношения с Китаем и Японией. В это время с востока подвигались испанцы, которые встретились с португальцами на Молукских островах, и открытия европейцев кольцом охватили земной шар.

В. Лебедева

LXXXIV. Христофор Колумб

1. Жизнь Колумба до 1492 года

Как это всегда бывает с людьми, имя которых связано с какими-либо великими историческими событиями, личность Колумба с течением времени приняла образ легендарного героя. Но как ни привлекательно задуманы все те легенды, с которыми переплелись у потомства воспоминания о его подвиге, — легенды, долге служившие, особенно в книгах популярного содержания, оживляющим элементом рассказа, останавливаться на них не стоит. Действительность гораздо интереснее вымысла, и исторические личности становятся нам ближе и понятнее, когда мы заставим их сойти с того искусственного пьедестала, на который они возведены стараниями поклонников. Только тогда эти лица явятся перед нами, как живые люди, со всеми своими достоинствами и недостатками, и тогда только мы будем в состоянии оценить их помыслы и чувства и понять дух времени, отразившийся в их деяниях. Биография¹ знаменитого генуэзца Христофора Колумба более всего может подтвердить справедливость этой мысли. Впрочем, что касается описания периода его жизни до 1492 г., то едва ли найдется за это время хоть один факт, который бы не был предметом ожесточен-

Пособия: *Фиске*, Открытие Америки; *Уинсон*, Христофор Колумб, *Вебер*, Всеобщая история, т. IX; *Пешель*, История эпохи открытий; *Гумбольдт*, Космос, т. II; *Бэр*, История всемирной торговли; *Фалькенгорст*, Важнейшие открытия и завоевания испанцев в Новом Свете; *Ruge*, статья о Колумбе в *Harper's new monthly magazine* 1892 г.

- 1 Основными источниками для биографии Колумба являются: 1) жизнеописание его, принадлежащее перу его сына Фердинанда Колумба, сохранившееся в итальянском переводе; 2) «История Индии» Лас-Казаса, знавшего хорошо всех членов семейства Колумба и знакомого с прекрасной библиотекой Фердинанда (до 20.000 томов), из которой до настоящего времени сохранилось лишь 4.000 (*Biblioteca Colombina*); 3) очень ценные отчеты о некоторых годах жизни Колумба его друга Андреаса Бернальдеца, священника Los Palacios близ Севильи; 4) подробный отчет о его путешествиях его близкого друга Петра Мартира из Ангиеры, на Лаго-Маджиоро, и 5) письма и отчеты (ок. 60—70) Колумба, из которых по крайней мере 23 писаны им самим.

ных споров, тем более, что автографов Колумба сохранилось очень мало.¹

Личность Колумба

Христофор Колумб, сын шерстобита-ткача, родился, по всей вероятности, в 1446 г., в Генуе. Об его детстве мы не знаем почти ничего. Лас-Казас рассказывает, что он учился в университете в Павии (вероятно, незадолго до 1460 г.) и хорошо изучил там латинский язык. Несмотря на то, что он сделался моряком с 14-тилетнего возраста, он нашел также время изучить географию, начатки астрономии и математики и сделаться хорошим чертежником. Во время отдыхов от морских плаваний по Средиземному морю он, надо полагать, жил в Генуе и зарабатывал кусок хлеба составлением карт и чертежей, на которые был там большой спрос. Около 1470 г., сделавшись известным по своему искусству в этой работе, он последовал за своим младшим братом Варфоломеем в Лиссабон, куда предприятия принца Генриха привлекали опытных мореплавателей и ученых географов, так что этот город сделался главным европейским центром науки мореплавания. Слава португальцев, отважно ходивших по необъятным волнам океана или плававших вдоль западного берега Африки, некоторое время составляла излюбленный предмет толков среди моряков Средиземного моря. В Португалии, как и раньше в Италии, братья Колумбы занимались попеременно то составлением карт, то морскими плаваниями.

Вскоре после прибытия в Португалию Колумб (в 1473 г.) женился на Фелипе Моньиц де-Перестрелло, дочери умершего губернатора о-ва Порто-Санто; Колумб встретил в первый раз эту девушку в капелле Лиссабонского монастыря Всех Святых. Колумб был человек благородного и величавого, если не сурового, вида, высок и крепко сложен, с продолговатым прекрасного цвета лицом, орлиным носом и пронизательными голубыми глазами, легко загоравшимися огнем молодости. Манеры его были вежливы и сердечны, а разговор прелестен; он привлекал к себе всех, с кем встречался, а хорошо знавшим его внушал сильную любовь и уважение. Во всем его виде было что-то властное и серьезное, показывавшее, что его волнуют возвышенные чувства и мысли. Из огненных глаз молодого человека смотрела великая поэтическая душа, в котором горел божественный огонь энтузиазма, присущего истинным гениям.

Проект западного пути в Индию

У жены Колумба было на Порто-Санто небольшое поместье, и он отправился с нею туда искать спокойствия и уединения. Рассказывают, что именно на этом маленьком острове, заброшенном среди таинственного океана, в 300 милях от берега, в уме Колумба впервые зародился великий план искать западного пути в Индию. Тесть его, Перестрелло, выдающийся мореплаватель времен принца Генриха Мореплавателя, оставил много карт и корабельных заметок, и Колумб старательно изучал их. Но правильнее будете объяснять возникновение этой идеи общим умственным движением того времени, так как, благодаря юному искусству книгопечатания, умы в это время с большим интересом, чем прежде, стали относиться к исследованию космографических вопросов.

Труды древних географов, учивших о шарообразности земли, как раз в это время стали

1 «Дело в том», говорит по этому поводу известный американский исследователь эпохи Колумба, Генри Гаррис, «что Колумб при жизни далеко не представлялся своим современникам такою важною личностью, какою является ныне в наших глазах; и письма его, не внушая к себе ни уважения, ни внимания, вероятно, бросались в корзину для ненужной бумаги тотчас по их получении».

печататься один за другим, главными образом в Италии, а оттуда проникали и в Испанию¹. Наряду с этим теплое морское течение из Мексиканского залива доставляло к западному берегу Европы предметы, показывавшие, что на западе существует большая земля. Один португальский кормчий поймал в море на широте Азорских островов брусочек дерева, на котором были искусно вырезаны фигуры, но, очевидно, не железным резцом; такой же кусочек резного дерева Колумб видел у родственника своей жены.

Островитяне рассказывали Колумбу, что море приносит к ним с запада сосновые деревья такой породы, какой нет в Европе и на их островах. Было несколько случаев, что западное течение приносило к берегам Азорских островов лодки с умершими людьми расы, какой не было ни в Европе, ни в Африке. Пока Колумб жил на Порто-Санто, к острову время от времени приставали корабли, шедшие в Гвинею или обратно, и легко понять, какие разсуждения велись там о великой коммерческой проблеме того века, о том, насколько далеко к югу распространяется Африканский берег и есть ли возможность когда-нибудь найти конец его. Между тем Колумб, по временам приезжавший в Лиссабон, избрал этот город главными местом своего жительства.

Письмо и карта Тосканелли

В это время во Флоренции жил один из самых известных астрономов и космографов того времени Тосканелли. К нему обратился Альфонс V Португальский через посредство своего придворного, Фернандо Мартинеца, старого друга Тосканелли; он желал достоверно узнать, что могли значить слухи о теории Тосканелли относительно западного пути в Индию, который тогда искали его моряки вдоль африканского берега. Флорентийский астроном ответили письмом от 25 июня 1474 года и вместе с письмом отправил к королю мореходную карту, на которой был изображен Атлантический океан с Европой на восточной стороне и Китаем на западной.

Около того же времени сам Колумб обращается к Тосканелли с письмом через одного флорентийского купца, жившего тогда в Лиссабоне, и получил от Тосканелли следующий ответ: «Павел медик Христофору Колумбу привет. Получил известие о вашем благородном желании отправиться туда, где растут пряности. В ответ на ваше письмо посылаю копию с другого письма, написанного несколько дней тому назад моему другу, придворному всемогущественнейшего короля португальского в ответ на его письмо, писанное ко мне по приказу

1 Теория шарообразности земли, сменив представления Гомера и Гезиода о земле, как плоскости, была известна еще пифагорейцам в VI ст. до Р. Х. Эта теория, переходя от поколения к поколению, была санкционирована Платоном и Аристотелем в IV в. Аристотель утверждал, что «форма земли круглая», при чем прибавлял, что «люди, соединяющие область в соседстве Геркулесовых Столбов с областью близ Индии и утверждающие таким образом, что море есть едино, не говорят ничего невероятного». Подобные же взгляды высказывали Эратосфен (III в. до Р. Х.), Сенека, Страбон; в шарообразность земли верили Плиний, Цицерон, Вергилий и Овидий. Наконец, во II в. христианской эры Птоломей формулировал для последующих времен общия основы этого воззрения. С течением времени эти взгляды были забыты, но с возрождением умственной жизни в конце средних веков учение о шарообразности земли вновь воскресает; оно встречается уже у Данте в его бессмертной поэме. Аргументы древних писателей были воспроизведены в любопытной книжке «Imago mundi», изданной епископом Пьером д'Айльи в 1410 г.; этот трактат, пользовавшийся в XV ст. большою известностью, был любимой книгой Колумба. Наконец, Колумб, вероятно, хорошо был знаком с рассказами миссионера Рубруквиса о «серебряных стенах и золотых башнях» Кинсея, и особенно с рассказами о чудесах востока Марко Поло и Мандевилля.

его величества. Отправляю вам также мореходную карту, подобную посланной ему¹; в ней вы найдете ответ на ваши вопросы. При сем копия упомянутого моего письма». В этом письме Тосканелли, между прочим, пишет следующее: «Я уже говорил тебе однажды о морском пути в страну пряностей, более коротком, чем та дорога, по которой вы ездите через Гвинею». «Хотя я хорошо знаю, что существование такой дороги может быть доказано на основании сферической формы земли, тем не менее, чтобы сделать вопрос яснее и облегчить предприятие, я решился изобразить дорогу на мореходной карте. Поэтому отправляю его величеству карту, сделанную мною собственноручно, на которой изображены ваши берега и острова, откуда вы должны проехать, чтобы достичь мест, где наиболее изобилуют всякого рода пряности и драгоценные камни. Не удивляйтесь, что я называю *западом* страны, где растут пряности, тогда как их обыкновенно называют *востоком*, это потому, что люди, плывущие постоянно к западу, достигнут этих стран морским подземным (subterranean) путем; тогда как если вы отправитесь по этой (верхней) стороне земного шара, то эти страны будут на востоке». Далее Тосканелли, опираясь на книгу Марко Поло, рассказывает о многочисленных городах, находящихся под властью Великого Хана; о богатейшем порте Зайтоне, в котором ежегодно разгружаются 100 больших кораблей с перцем, а также множество кораблей с другими пряностями; о дворцах, мраморных мостах и «небесном городе» Кинсее², в провинции Манги, имеющем 100 миль в окружности; наконец, о славном о-ве Сипанго (Япония), изобилующем золотом, жемчугом и драгоценными камнями, жители которого покрывают золотом свои храмы и дворцы. В другом своем письме к Колумбу Тосканелли называет его проект плыть к западу—проектом благородным и великим и вновь указывает на выгоды и полезные последствия этого предприятия.

Оригинальность Колумба

Письмо к Мартинецу показывает, что флорентийский 77-летний астроном уже давно думал о западной кратчайшей дороге, и, вероятно, многие слыхали о богатствах, которые можно найти, плывя «прямо к Китаю». Заимствовал ли Колумб свою идею у Тосканелли или нет,—вопросы не особенно важный, так как идея уже носилась в воздухе. Оригинальность Колумба состояла в том, что он представлял себе возможность достигнуть берегов Китая, плывя на запад, в такой ясной и практичной форме, что был готов лично предпринять такое путешествие. Уверенности Колумба в успехе своего предприятия помогла ошибка, благодаря которой величину земного шара он считал меньшею, а материк Азии большим, чем это было в действительности. Принимая, согласно Тосканелли, окружность земли на широте Канарских островов в 18.000 миль, Колумб вместе с тем полагал, что $\frac{6}{7}$ этой окружности должны быть заняты обитаемым миром, включая сюда и Сипанго, так что для того, чтобы достичь этого чудесного острова, ему нужно было проплыть только седьмую часть или немногим больше 2500 географических миль от Канарских островов. Авторитетом в этом отношении для Колумба была 4-я книга Эздры, в которой ясно утверждалось, что 6 частей земли обитаемы и только 7-я часть покрыта водами.

1 По мнению Фиске (Откр. Амер., т. I, стр. 241, прим. 1-е), эта карта была при Колумбе во время его первого путешествия, и он руководился ею при своем плавании. Эта карта была источником для абриса западного полушария на глобусе Мартина Бегайма.

2 Кинсей у Марко Поло соответствует китайскому «Kingsse»—столица, как теперь обыкновенно называют Пекин.

Многие подающие надежду предприятия не удались, благодаря ошибкам в расчете, но на этот раз неверный расчет несомненно помог предприятию Колумба, ибо шансы на успехи были бы очень малы, если бы он предложил проплыть по «морю мрака» почти 12.000 миль, то-есть действительное расстояние от Канарских островов до Японии.

Путешествия норвежцев в Америку в X и XI в.

Прежде, однако, чем выступить со своим предложением перед португальским правительством, Колумб провел некоторое время в Африке на Золотом берегу, а перед тем плывал к северу, повидимому, в Исландию. Но надо отвергнуть, как совершенно нелепое, предположение некоторых исследователей, что сведения о Винлянде, которые он мог получить в Исландии, служили ему руководством или поощрением в его собственном предприятии. Воспоминания о Винлянде в Исландии исчезли раньше 1400 года, и довольно невероятно, чтобы Колумб читал или слышал что-либо об этой стране. Кроме того, упоминание о лесах и мехах и не могло бы привлечь воображения Колумба; он мечтал о величественных городах, больших гаванях, где корабли нагружались шелками и драгоценными камнями, о восточных князьях, покрытых жемчугом и золотом, живущих в дворцах из мрамора и яшмы, среди цветущих садов, полных пряных благоуханий. Таким образом, сами собою падают и обвинения Колумба в том, что он держал сведения о Винлянде в секрете из-за недостойного желания, чтобы за ним было признано первенство в открытии¹. Колумб никогда не думал требовать себе каких-либо прав на открытие Америки; он умер в уверенности, что достиг восточных берегов Азии дорогою более короткою, чем португальцы. Для Колумба было бы большим счастьем, если бы он мог указать своим противникам на Винланд. Он бы таким образом нашел неопровержимый и наглядный аргумент в пользу возможности достигнуть Азии западным путем, из-за недостатка которого ему приходилось ждать и страдать. По совершенно верному замечанию полковника Гиггинсона, в деле убеждения людей дать ему денег для его предприятия «унц Винленда стоил бы целого фунта космографии». Наконец, если бы Колумб знал что-либо о Винлянде, он бы искал его к северо-западу от 28-й параллели, по которой он ехал в первое свое путешествие, и не направился бы к юго-западу, как это повторилось в 3-м и 4-м путешествиях.

Обращение к португальскому правительству

Трудно сказать, когда Колумб впервые обратился за содействием своему плану к португальскому правительству; во всяком случае, его просьба была отвергнута. Существует рассказ, что король Иоанн, получив планы Колумба, тайно отправил корабль за поисками Сипанго; но португальцы, не воодушевленные великою идеей, испугались окружающего их со всех сторон огромного водного пространства и позорно вернулись в Лиссабон. По словам Лас-Казаса, они объявили, что столь же легко найти землю на небесах, как и в этой водной пустыне.

Фердинанд Аррагонский и Изабелла Кастильская

Колумб, узнав о сыгранной с ним проделке, отправился делать свои предложения кастильскому правительству. В 1486 г. мы встречаем Колумба в Кордове, где находился тогда двор. Ему доставлена была возможность изложить свой проект перед Фердинандом и Иза-

1 «Мы обвиняем Колумба в том, что он не был достаточно честен и откровенен и не сказал, где и как он получил свои предварительные сведения о странах, открытие которых он приписывал себе», говорит, например, Андерсон («America not discovered by Columbus»).

беллой. Государи поручили это дело исповеднику королевы, Фернандо де-Талавера, а этот последний передал вопрос собранию ученых в Саламанке, на котором были и профессора знаменитого университета. На собрании, конечно, не было недостатка в брани и насмешках, и против Колумба был выставлен целый ряд текстов из Священного Писания и отцов церкви. Между тем брат его Варфоломей, вернувшийся из африканской экспедиции Диаса, усиленно хлопотал при дворах английском (Генрих VII) и французском (Карл VIII) об осуществлении плана Колумба, который после открытия мыса Доброй Надежды должен был больше, чем когда-нибудь, почувствовать желание доказать превосходство своего собственного проекта. В 1489 г. Колумб снова в Кордове, но государи были слишком заняты мавританскою войной, чтобы его выслушать.

Весной 1491 г. Колумб не мог добиться аудиенции у Фердинанда в лагере, где готовились к осаде Гранады, и осенью, совершенно разбитый и утомленный, решил отрясти с ног своих прах Кастилии и посмотреть, что можно сделать во Франции. Он отправился захватить сына Диего, жившего у тетки в Гуэльве, близ Палоса, в Андалузии.

Настойчивость Колумба

Но тут, наконец, события приняли благоприятный для него оборот. Судьба, наконец, утомилась бороться против такого непоколебимого упорства. В течение нескольких лет высокая фигура Колумба виднелась на улицах Севильи и Кордовы, и когда он проходил с развевающимися по ветру белокурыми волосами, с воодушевленным и энергическим лицом или разстроенный от разочарования при какой-нибудь новой неудаче, оборванные уличные мальчишки ударяли себя по лбу и с удивлением, смешанным с насмешкой, смотрели на этого безумца. Семнадцать лет прошло со времени письма Тосканелли к Мартинецу, и флорентийский астроном давно уже лежал в могиле. Старость приближалась уже и к самому Колумбу. Мы можем представить себе, что когда Колумб выехал из Гуэльвы со своим маленьким сыном Диего, которому было тогда 11 или 12 лет, чтобы снова обратиться к какому-нибудь иностранному правительству, его настроение было не особенно веселое. Дорогою, по преданию, чтобы попросить хлеба и воды для своего мальчика, он остановился у монастыря la Rabida, близ Палоса. Приор Хуан Перец, бывший исповедник Изабеллы, как человек восприимчивый к новым идеям, чрезвычайно заинтересовался Колумбом и внимательно выслушал его рассказы. Он послал за одним медиком в Палосе, несколько знакомым с космографией, и за Мартином Алонзо Пинцоном, зажиточным корабельщиком и опытным моряком, и в этом спокойном монастыре началось совещание, во время которого Колумбу удалось убедить своих новых друзей. Пинцон объявил, что он лично готов отправиться в путешествие, а достопочтенный приор отправил к королеве письмо и очень скоро получил от нея требование приехать к ней в лагерь Санта-Фе, под Гранадой. Через несколько дней Перец вернулся в монастырь с 20.000 maravedis (на нынешние деньги около 118 долларов). На эти деньги Колумб купил себе новый костюм и мула и около 1-го сентября отправился в Санта-Фе вместе с Хуаном Перцем. Немедленно после прибытия Колумба в лагерь его дело было рассмотрено в собрании ученых мужей и было принято с большею благосклонностью, чем прежде в Саламанке. Результатом конференции было обещание королевы серьезно взяться за дело тотчас же после взятия Гранады (2 янв. 1492 г.). Но в эту решительную минуту его жизни Колумб встретил старое препятствие. С гордостью и самоуверенностью, несколько не уменьшившимися в эти долгие годы испытания, он

требовал таких почестей и вознаграждений, которые казались королеве чрезмерными. Лас-Казас горячо хвалит своего друга за это «великое постоянство и возвышенность души». Дело в том, что Колумб имел другой великий план, и на свое морское предприятие он смотрел только как на средство для осуществления этого плана.

Основная идея Колумба

Он мечтал сыграть роль второго Готфрида Бульонского и освободить Иерусалим от неверных, последователей Магомета. Для подобного дела нужны были громадные средства, и Колумб надеялся получить их из Сипанго, с его покрытыми золотом храмами, и из безымянных бесчисленных островов пряностей в китайских морях. Непрерывная дума о дорогих проектах, в которых химеры смешивались с предвидением научных истин, придавала его характеру отпечаток религиозного фанатизма. Он стал считать себя человеком, долженствующим совершить известную миссию, орудием воли Божией для расширения пределов христианства и для совершения несказанно великих подвигов во славу Христа-Бога. При подобном настроении он был способен говорить с королями с видом равенства, совершенно не согласующимся с его незнатным происхождением и незначительными средствами. Нет ничего удивительного, что Талавера склонен был считать Колумба простым шарлатаном.

Переговоры были прерваны, и в один прекрасный зимний день (в начале февраля 1492 года) неугомонный энтузиаст выехал на своем муле в Кордову. Тогда казначей Арагонии, Люи де Сантангел, защищавший и раньше проект Колумба, вбежал в покой королевы и стал говорить с нею со страстной и даже резкою энергией человека, сознающего, что утрачивается навсегда выгодный случай; его поддерживали некоторые из окружавших королеву, которая таким образом была захвачена врасплох. За Колумбом был послан курьер, догнавший его в 6 милях от Гранады. Тут на Колумба нашло минутное колебание; его охватили думы о жестоких проволочках и неисполнявшихся обещаниях в прошлом. Но вот он поворачивает своего мула и едет обратно в город. Дело вновь пересмотрено, и скоро приходит к соглашению. Было условлено:

Договор

(1-й пункт. Что Колумб будет занимать пожизненно, а его наследники на вечные времена, должность адмирала всех тех земель, которые он может открыть в океане¹.

(3-й пункт. Что он имеет право сохранять за собою, за вычетом издержек, *десятую* часть всего жемчуга, драгоценных камней, золота, серебра, пряностей и всех других товаров и продуктов, каким бы то ни было образом найденных, купленных, обмененных или добытых в пределах его адмиралтейства».

Так как, кроме того, Колумб должен был вносить 8-ю часть расходов по снаряжению кораблей, то друзья Колумба дали ему необходимую на первое время сумму. Значительная сумма была наложена на город Палос, в наказание за некоторые проступки, совершенные его населением. Весьма вероятен рассказ, что королева предполагала заложить свои брильянты, так как кастильская казна была истощена. Соглашение было подписано 17 апреля 1492 г., и Колумб *со слезами радости* дал клятву отдать все ожидаемые им богатства *на освобождение Святого Гроба*.

1 Через несколько дней Колумб был утвержден в звании адмирала и получил титул «дон»; этот титул сделан наследственным в его семействе, иначе говоря, ему было дано потомственное дворянство.

2. Открытие Америки

а) Первое путешествие Колумба

Снаряжение флота в Палосе

Когда Колумб приехал с королевскими приказами о сборе кораблей и людей в мае месяце в Палос, население угрожало ему бунтом. Оно было раздражено этим проектом плаванья по «морю мрака», грозившего им страшными бедствиями: стоны и проклятия встретили известие о наложении принудительной контрибуции. Это сопротивление населения вызвало новый решительный приказ короля снарядить суда и экипаж силой. Но тогда вмешались в дело Мартин Пинзон и его братья, пользовавшиеся почетною известностью, как мореплаватели; они повлияли на толпу, обещая лично участвовать в путешествии, и через месяц вооружение кораблей было закончено. Для того, чтобы вербовка шла успешнее, прощали долги и приостанавливали гражданские и уголовные иски; из темниц освобождали преступников на том условии, что они поступят на службу. На коронную службу было взято на неограниченное время три частных каравеллы, при чем ренту и содержание двух из этих кораблей за 2 месяца уплатил город. Самая большая каравелла, предназначенная для адмирала, называлась «Санта-Мария», или «Капитана», и представляла из себя однопалубное судно, около 90 футов длины и 20 ширины.

Вторая каравелла, более быстрая на ходу, называлась «Пинта» и состояла под начальством Мартина Пинзона, а 3-ья, и самая маленькая, была «Нина» («Малютка»). Ни на «Пинте», ни на «Нине» не было палуб. На этих 3-х каравеллах было 90 человек, из которых многие были недовольны и готовы на всякое преступление.

Отъезд Колумба

Перед отъездом, как Колумб, так и весь его экипаж торжественно исповедались и причастились. Наконец, настал тот великий в жизни Колумба момент, когда он мог приступить к осуществлению своих планов, к которым он поистине с редкою настойчивостью стремился в продолжение более, чем восемнадцати лет. В пятницу, 3-го августа 1492 г., за час до восхода солнца, Колумб снял с якоря свой маленький флот, распустил паруса и вывел суда из неглубокого речного рейда Палоса. Он направился к Канарским островам, чтобы оттуда плыть к северной части Сипанго (Японии); этот остров находился на прямой дороге к Зайтону и другим китайским городам, упоминаемым Марко Поло. Колумб плыл по 28-й параллели. Уже в первые дни этого путешествия начали проявляться признаки недовольства со стороны матросов. Руль «Пинты» был сломан и оторван от корабля, и Колумб подозревал, что это было сделано намеренно двумя недовольными собственниками корабля, чтобы они и их судно были оставлены; но на Канарских островах, которые принадлежали Испании, произведены были починки. В эти дни моряки были страшно испуганы извержением Тенерифа, которое они приняли за дурное предзнаменование.

Открытое море

Наконец, 6-го сентября двинулись дальше. Когда на следующий день исчез на восточной части горизонта остров Ферро, последний из Канарских островов, многие из матросов начали громко жаловаться на свою несчастную судьбу; они кричали и рыдали, как дети.

Колумб отлично понимал, как трудно иметь дело с подобными людьми. Он старался унитожить один из главных источников недовольства, ведя 2 различных корабельных журнала: один—верный, для самого себя, и другой—с уменьшенными цифрами, для офицеров и экипажа. Он был настолько ловок, что сумел не возбудить недоверия. Так, например, проплыв в течение 24 часов 10 сентября 180 миль, он записал 144; на следующий день проплыли 120 миль, а он записал 108 и т. д. Если бы не эта остроумная, хотя и недобросовестная, выдумка Колумба, то очень вероятно, что вскоре вспыхнул бы мятеж и Колумб был бы выброшен за борт или принужден вернуться.

Волнение экипажа

Погода была превосходная, и путешествие было бы одним из самых приятных, если бы встревоженное воображение не мучило бедных моряков предчувствием различных ужасов. Так, например, ночью, 13 сентября, корабли прошли магнитный меридиан, и Колумб удивился, увидав, что игла компаса вместо того, чтобы указывать несколько вправо от полюса, начала сильно склоняться к левой стороне. Было невозможно скрыть такой факт от проницательных глаз команды, и все были охвачены ужасом при подозрении, что этот дьявольский инструмент намерен сыграть с ними какую-нибудь злую шутку в наказание за их смелость. Но у Колумба было готово остроумное астрономическое объяснение, и вера команды в его знания была так велика, что победила ее страх.

Второй раз экипаж испугался, когда корабли пришли к огромным водным пространствам, покрытым водорослями и морскими травами, в 800 милях от Ферро: это—известное море Саргассо, превышающее по величине в 6 раз территорию Франции¹. Это море кажется моряку безконечным зеленым лугом, Современные корабли без всяких затруднений проходят по нему, и сначала столь же легко шли и каравеллы Колумба. Но через 2 или 3 дня благодаря тому, что ветер был незначителен, их ход несколько замедлился. Не удивительно, что экипаж испугался. Зрелище представлялось столь странным и диковинным, что оно невольно напоминало им старые фантастические рассказы о таинственных непроходимых морях, среди которых заблуждались и погибали корабли. Через неделю в корабельном журнале отмечено: «нет более травы». Путешественники снова находились в чистом море, на расстоянии 1.400 географических миль от Канарских островов.

Опасное положение Колумба

25-го сентября адмиралу пришлось подумать о том, как бы успокоить нетерпение своего экипажа в виду того, что до сих пор еще не было видно берега. В этот день вечером, может быть вследствие миража, Колумбу и всем матросам показалось, что они видят перед собою берег. По указанию своих командиров все стали на колени и пропели «Gloria in excelsis» (Слава в вышних Богу); но на заре следующего дня все были жестоко разочарованы. Пролет странных птиц и другие признаки, свидетельствовавшие о близости земли, возбудили было опять блестящие надежды, но эти надежды были вскоре разрушены. Матросы после припадка необычайной радости погрузились в бездну отчаяния, Кто-то из матросов, может быть, один из освобожденных преступников, намекнул, что если ночью столкнуть потихоньку адмирала за борт, то впоследствии можно будет совершенно безопасно сказать, что он смотрел на звезды, да и упал по неосторожности в море. Положение Колумба станови-

1 Положение этого моря Саргассо среди океана, кажется, обуславливается тем, что оно составляет нейтральную часть между двумя большими океаническими течениями.

лось с каждым днем все более опасным, и то обстоятельство, что он был итальянцем, начальствующим над испанцами, конечно, не служило ему в пользу. Может быть, он и спасся только благодаря смутной вере его экипажа в превосходство его сведений. Матросы чувствовали, что их адмирал будет необходим им для обратного путешествия.

Перемена курса

При восходе солнца 7 октября они находились на расстоянии более, чем 2.700 географических миль от Канарских островов, т. е. дальше, чем адмирал считал расстояние до Сипанго. Но на основании его ложных отметок они прошли только 2.200 миль. Он начал бояться, не прошел ли к северу мимо Сипанго, и потому он изменил свой курс к ЗЮЗ. Частые перелеты береговых птиц подтверждали его уверенность, что неподалеку на юго-западе должна быть земля. Изменение направления курса было, вероятно, большим счастьем для Колумба. Если бы он продолжал держаться параллели, то, проплыв более 700 миль, он пристал бы к берегам Флориды или же Гольфстрем незаметно унес бы маленький флот к Атлантическому берегу будущих Соединенных Штатов, и флаг Кастилии водрузился бы в Каролине. Теперь ему нужно было проплыть только около 500 миль, но настроение матросов делалось с каждою милей все опаснее и опаснее¹.

Знаменательная ночь с 11 на 12 октября 1492 года

11 октября, когда признаки близости земли сделались несомненными, среди экипажа господствовало сильнейшее возбуждение. Тому, кто первый увидит берег, была обещана награда в 10.000 maravedis, и в роковую ночь с 11 на 12 октября 90 пар глаз ни на минуту не смыкались. Можем себе представить, с каким глубоким волнением вглядывался великий энтузиаст в таинственную даль в эти знаменательные для него мгновения; сердце его усиленно билось, и глаза его смотрели с удвоенною зоркостью. Каравеллы в сумраке ночи плавно неслись с горстью смельчаков все ближе и ближе к неведомой земле, и в этой ночной картине чувствовалось что-то торжественное: наступала одна из величайших минут в истории человечества. Около 10 часов адмирал, стоявший на высокой корме своего корабля, увидал далекий движущийся свет, как будто кто-то бежал по берегу с факелом. В этом показании сначала усомнились, но через несколько часов один матрос на «Пинте» ясно увидал землю и с криком: «Tierra! Tierra!» бросился к ближайшему орудью, чтобы дать условленный сигнал; вскоре и все увидали в пяти милях от кораблей длинный низкий берег. Это было в 2 часа утра в пятницу 12 октября (по новому стилю 21 октября), как раз через 10 недель после отплытия из Палоса и через 33 дня после того, как они потеряли из виду берега острова Ферро. Паруса были убраны, и корабли стали на якорь в ожидании восхода солнца.

Утром были спущены лодки, и Колумб в парадной адмиральской одежде с большею частью своего экипажа отправился на берег, чтобы водрузить там испанское знамя. Со всех сторон росли неизвестные деревья, и ландшафт казался необычайно прекрасным. Матросы, будучи в полной уверенности, что они достигли искомой цели, опьянели от радости. Головы их вскружились от мечтаний о тех богатствах, которые находятся от них теперь так близко. Офицеры обнимали Колумба, целовали его руки, а матросы бросались к его ногам, умоляя о прощении и милости.

1 Рассказ о согласии Колумба вернуться, если не увидят берега через 3 дня, опровергается журналом адмирала, доказывающим, что он до последнего дня сохранял непобедимую решимость.

Встреча с дикарями

На всю эту сцену с несказанным удивлением смотрела толпа совершенно голых дикарей меднокрасного цвета, намазанных жиром и разрисованных. Они полагали, что корабли суть морские чудовища, а белые люди—сошедшие с неба, сверхъестественные существа. Сначала, когда эти страшные существа сошли на берег, дикари убежали в ужасе, но когда увидели, что им не делают ничего дурного, любопытство начало побеждать страх, и они медленно начали приближаться к испанцам, останавливаясь на каждом шагу и падая на землю в знак обожания. Через некоторое время, так как испанцы поощряли их поклонами и улыбками, они настолько расхрабрились, что подошли к путешественникам и начали их ощупывать.

На основании африканского опыта испанцы знали, что дикари с готовностью отдают все ценное за безделушки, и начали менять стеклянные бусы и бубенчики на бумажные ткани, дротики с наконечниками из рыбьих костей, ручных попугаев и небольшие золотые украшения. Начался мимический разговор, и естественно, что Колумб истолковывал все сообразно со своими теориями. Когда туземцы на вопросы, откуда они взяли свое золото, указывали на юг, Колумбу казалось, что там должен находиться роскошный Сипанго. Остров оказался невелик, и дикари называли его Гуанакани. Колумб формально завладел им от имени Кастилии и дал ему христианское название Сан-Сальвадор (Спаситель); это, по всей вероятности, остров, теперь известный под именем Samana, или Atwood's Cay (в группе Луккайских, или Багамских островов).

Колумб, правда, не нашел никаких пряностей или ценных трав, но воздуха был полон благоуханиями, деревья и травы были весьма оригинальны по своему виду, так что он был вполне уверен в существовании пряностей. 25 октября Колумб отплыл на юг, как ему казалось, к Японии (Сипанго); оттуда через 10 дней он попадет в Китай, где и передаст великому хану дружеское письмо, врученное ему Фердинандом и Изабеллой. Но, увы! мечтам Колумба не суждено было исполниться.

Воображаемая Япония

Придя в Кубу, адмирал был очарован удивительной красотой ландшафта: повидимому, он был необыкновенно восприимчив к красотам природы. Он нашел на берегу жемчужные раковины, и, несмотря на то, что он не видал еще блестящих городов, он не сомневался, что нашел Сипанго. Но его попытки объясниться с туземцами не привели ни к какому результату. Он понял их так, будто Куба составляет часть Азиатского материка и что недалеко живет царь, воюющий с великим ханом.

Колумб отправил 2-х послов искать этого царя, между прочим крещеного еврея, знакомого с арабским языком, который был распространен до восточных пределов Азии. Эти послы нашли красивые деревни с большими домами¹; на полях—маис, картофель, табак. Они видели мужчин и женщин, курящих сигары, и им, конечно, и в голову не пришло, что это сильно пахучее растение может составить источник дохода, гораздо более значительный, чем все пряности востока. Они прошли поля, на которых рос хлопчатник, и видели в домах тюки хлопка, из которого ткали грубую ткань или скручивали и делали сети. Но они не нашли ни городов, ни царей, ни золота, ни пряностей и после бесплодных поисков вернулись

1 Постели индейцев имели вид сеней, подвешенных между сваями, и назывались «гамаки».

к берегу несколько разочарованные.

Колумб теперь несколько смутился и стал колебаться. Если это азиатский материк, то, стало быть, этот материк ближе, чем он предполагал. Но где же тогда Сипанго? Колумб узнал от туземцев, что к юго-востоку находится большой остров, изобилующий золотом, и он поплыл в этом направлении. 20 ноября дезертировал Мартин Пинцон, корабль которого был быстрее других. Кажется, Пинцон намеревался попасть домой раньше своих товарищей, что дало бы ему возможность требовать почестей за открытие пути в Индию. Между тем Колумб медленно подвигался к югу вдоль Кубы; ему казалось, что он нашел в реках признаки золота. Когда он достиг мыса, на юго-восточном конце острова, он назвал его Альфой и Омегой, так как считал его краем Азии. 6 декабря он высадился на остров Гаити, который назвал Испаньола. Здесь туземцы говорили ему о стране Сибео, в которой адмиралу слышалось Сипанго. Наконец-то он нашел этот чудесный остров, но тут внезапное и серьезное несчастье совершенно изменило его планы. Утром на Рождестве, на самой заре, благодаря неосторожности и несоблюдению приказаний адмирала, корабль сел на мель; все попытки стащить его с мели оказались напрасными, и волны скоро разбили его на куски.

Возвращение в Европу

От маленького флота Колумба теперь осталась только крошечная «Нина». Поневоле пришлось задаться вопросом: что, если они погибнут или будут выброшены на эти чужие берега раньше, чем известие об их успехе достигнет Европы? Тогда имя Колумба делается притчей во языцех, и его роковая и таинственная судьба только отвратит других мореплавателей от намерения идти по этому пути. Очевидно, необходимо было вернуться в Испанию и рассказать, что им удалось сделать. Тогда будет легко получить корабли и матросов для нового путешествия.

Это решение повело к основанию небольшой колонии на Испаньоле. Вся компания не могла вернуться на небольшом корабле, и очень многие просили оставить их, так как жизнь на острове показалась им довольно привольною, а туземцы казались расположенными к ним. В форте «Рождественском» (La Navidad), построенном частью из обломков разбитого корабля, оставлены были 40 человек и провизия на целый год, а остальные (4 января 1493 года) сели на «Нину» и отплыли в Испанию. «Пинта» была вскоре настигнута, при чем Пинцон старался оправдать свое отсутствие, «говоря, что ушел против воли». По дороге в Европу они выдержали сильнейшую бурю, которая заставила Колумба описать открытие на пергамене, положить его в боченок и бросить в море. Наконец, 15 марта 1493 г., в полдень, Колумб прибыл в гавань Палоса и бросил якорь в том самом месте, откуда семь месяцев назад он снялся с якоря на Санта-Мария». Народ узнал его маленькую каравеллу; рассказ о его приключениях быстро распространился по городу, и в этот день все дела были заброшены. К вечеру, в то время, как звонили во все колокола и улицы были освещены факелами, в гавань вошел другой корабль и бросил якорь. Это была «Пинта». Буря загнала ее в Байону (на сев.-зап. Испании), откуда Мартин Пинцон тотчас же отправил письмо к Фердинанду и Изабелле, требуя награды, но ему воспрещено было показываться при дворе, после чего Пинцон вскоре умер, говорят, от огорчения.

Почести при дворе

Адмирала из Севильи, куда он уехал, потребовали ко двору в Барселону, где он и был

принят с необыкновенными почестями. Ему было приказано сесть в присутствии государей — честь, которую обыкновенно оказывали только лицам королевской крови. Особенный интерес возбудили чучела птиц и небольших млекопитающих, живые попугаи, коллекция целебных трав, несколько перлов и золотых безделушек, и особенно 6 раскрашенных дикарей с Испаниолы; их, конечно, считали обитателями Индии, т. е. индийцами. Все полагали, что теперь найдена прямая дорога, гораздо более короткая, чем та, которую так долго искали португальцы, к неизмеримо богатым странам, описанным Марко Поло. Адмиралу было легко теперь добыть денег и людей для второго путешествия. Когда он, 25 сентября 1493 года отплыл из Кадикса, то у него было уже 17 кораблей и 1500 человек экипажа. Все эти люди мечтали о мраморных дворцах Кинсея, об островах пряностей, о неизмеримых сокровищах Востока. Государи плакали от радости при мысли о том, что эти несказанные богатства дарованы им по воле Бога в награду за их победу над гранадскими маврами и за изгнание из Испании евреев¹. Колумб разделял эти взгляды и полагал, что ему предопределено быть орудием для выполнения Божественной воли. Он повторил свой обет освободить Св. Гроб и обещал в течение семи следующих лет снарядить армию крестоносцев из 50.000 человек пехоты и из 4.000 конницы, а в следующие за этим 5 лет он должен был последовать сам со второю такою же армиею.

Таким образом, Америка, собственно говоря, еще не была открыта в 1492 году; открытие ее было процессом постепенным.

б) Остальные три путешествия.

Разрастающийся интерес к предприятию Колумба

В противоположность первому путешествию, когда все, кроме немногих преданных друзей, считали Колумба сумасшедшим, идущим на погибель, теперь, при начале второго путешествия, люди сбегались не со стонами, а с веселыми песнями, и многие в Италии, Франции и Англии с интересом наблюдали за историей этого плаванья.

В это время давнишним соперничеством Испании и Португалии вызвана была знаменитая Демаркационная папская булла Александра VI, которая проводила линию по меридиану в 100 лигах (лига—3 мили) к западу от Азорских островов и постановляла, что все земли, какия будут открыты на запад от этой линии, должны принадлежать Испании, а все, находящиеся на восток от нея, предоставляются Португалии.

Второе путешествие

Во втором путешествии (1493 г.) участвовало много молодых аристократов, горячих и надутых гidalго, которых взятие Гранады оставило без дела; эти люди впоследствии причинили не мало страданий адмиралу. На Канарских островах Колумб забрал коз, овец, телят, свиней и домашних птиц, потому что он был поражен отсутствием всех этих животных на посещенных им берегах. В это путешествие испанцы впервые познакомились с людоедами, которых называли карибами, карибалами, или канибалами, при чем впоследствии это название сделалось нарицательным для обозначения людоедов. Когда испанцы прибыли в гавань Ла-Навидад, им представилось печальное зрелище. Крепость была сожжена, в домах туземцев были найдены европейския орудия и остатки платья, а близ форта одиннадцать

1 По указу от 30-го марта 1492 г.—200.000 евреев должны были оставить свои дома и свою родину.

зарытых испанских трупов. Колония была истреблена вся без остатка, повидимому, вследствие беспощадных насилий над туземцами грубых моряков. Вновь утвердившись в другом более удобном месте и построивши форт Изабеллу, Колумб отправился исследовать страну Сибao (т. е. остров Гаити), но условия жизни дикарей нисколько не напоминали описания Сипанго, сделанного Марко Поло. Затем Колумб поплыл вдоль южного берега Кубы; здесь он все более и более убеждался, что он плывет вдоль восточного края Китая, тем более, что в зобах зарезанных голубей испанцы нашли пряности и часто слышали название Мангон, напоминавшее богатейшую страну Манги, на которой находился город Зайтон.

План кругосветного путешествия

Вскоре Колумб заметил, что берег направляется к юго-западу, и ему стало ясно, что он теперь достигнет полуострова (Малакки), который Птоломей назвал «Золотым Херсонесом». В уме Колумба составилась грандиозный план. Если он обойдет этот полуостров, то он найдет дорогу к устью реки Ганга. Оттуда он переплывет Индийский океан, пройдет мимо мыса Доброй Надежды и возвратится таким образом в Испанию, совершив кругосветное плавание. К несчастью, в судах его открылась течь; морская вода перепортила все припасы; неустанный труд расшатал здоровье матросов. Экипажи начали громко роптать, не желая ехать дальше, и адмирал понял, что совершить с такими людьми задуманное им путешествие было бы невозможно; он решился вернуться в Испанию. Мыс, где адмирал впервые убедился в значении направления берега, назван был им мысом Доброй Надежды, так как он полагал, что этот мыс гораздо ближе к искомой всеми цели, чем другой мыс того же имени, открытый 7 лет тому назад Диасом.

Между тем, во время пятимесячного отсутствия Колумба насилия испанцев над индейцами вызвали среди последних ряд возстаний, так что по возвращении в Изабеллу Колумб должен был целый год провести за трудным делом защиты колонии от доведенных до крайнего озлобления краснокожих и усмирения творивших насилия испанцев. Понятно, что не было недостатка в жалобах недовольных, и Колумб понял, что необходимо отправиться в Испанию и лично объяснить с государями. К счастью для него, как раз перед его отплытием в южной части острова открыты были богатые золотые рудники в том месте, где впоследствии основано было поселение Сан-Доминго. Колумб был убежден, что открыл Офир Соломона, откуда добывалось золото для великого храма. На время своего отсутствия он назначил своим наместником (аделантадо) брата Варфоломея.

Третье путешествие

В Испании Колумб был принят милостиво, и о жалобах на него ни слова не было сказано. Государи обещали ему доставить корабли для третьего путешествия, но они были приготовлены только поздней весной 1498 г.¹ На этот раз Колумб направился к островам Зеленого мыса, а оттуда к юго-западу, надеясь приблизиться к Золотому Херсонесу (Малакке), объехав который, он мог бы войти в Индийский океан. Это южное плавание привело его в пояс штилей, т. е. в нейтральный пояс между северными и южными пассатами, несколько к северу от экватора. «Ветер внезапно стих, — говорит Ирвинг, — и началось мертвенное спокойствие, продолжавшееся в течение 8 дней. Воздух был раскален как в печке, смола тая-

1 В промежуток между вторым и третьим путешествием Колумба венецианец, переселившийся в Англию, Джон Кабот, в царствование Генриха VII, отправился из Бристолья на запад и открыл Северную Америку (1497 г.)

ла, все щели корабля раскрылись, соленое мясо сгнило, а мука подпеклась, как на огне; из боченков с вином и водой выскочили пробки; некоторые из этих боченков треснули, другие разорвало; жар под палубой был такой ужасный, что никто не мог сойти вниз и остановить начавшееся разрушение. Матросы теряли силы и падали от жары. Казалось, что осуществляется старая басня о «жарком поясе» и что они приближаются к «огненной области, где люди не могут существовать». Самому адмиралу требовалась вся сила его мужества, чтобы сохранять спокойный вид посреди мучительных приступов подагры, которые изнуряли его. Несмотря на это, сильное экваториальное течение спокойно несло корабли, с большею скоростью, чем подозревал адмирал, к северо-западу, и в то время, когда корабли их дали ужасную течь и у них уже почти не оставалось пресной воды, они увидели, наконец, землю, на которой возвышались три остроконечных вершины. Это был остров близ дельты реки Ориноко, которому Колумб дал название Тринидад (остров св. Троицы).

Открытие Южной Америки

Убедившись, что вода потока, который чуть было не потопил корабли, совершенно пресная, и видя громадные волны этой реки, Колумб естественно заключил, что такой большой поток пресной воды может течь только по матерiku; и этот совершенно неизвестный материк простирался очень далеко к югу, не будучи изображен на карте Тосканелли. 5 августа 1498 г. Колумб подошел к берегу материка и, может быть, именно в этом месте испанцы впервые ступили на берег южной Америки.

Колумб знал, что земля есть круглое тело, но не видел необходимости, чтобы она была строго сфероидальною. Теперь он предположил, что она имеет, вероятно, форму груши, очень толстой и почти сферической в нижней ее части, но с короткою и тупою вершиной, в которой находятся экваториальные страны. Он вообразил, что он плыл по небольшому склону и что вновь открытая им громадная река ведет прямо к вершине мира, к тому месту, где, по всей вероятности, находится земной рай, сад, насаженный Господом на востоке, в Эдеме¹. Колумб полагал, что открытый им материк отделен от Кохинхины (Кубы) и Малакки проливом, через который он пройдет в Индийский океан, но дальше продолжать путешествие он не был в силах вследствие болезни глаз и мучительных припадков подагры. Когда он прибыл на Испаньолу, ему пришлось провести два несчастных года в попытках возстановить там порядок, а в это время недоброжелатели Колумба старались поселить в государях недоверие к адмиралу; очень многие из спутников Колумба, разочаровавшись в своих надеждах обогатиться, жаловались Фердинанду на «иноземного авантюриста, основавшего под названием города Изабеллы кладбище для кастильских дворян». Наконец, Фердинанд и Изабелла решились послать в Испаньолу уполномоченного произвести следствие и прекратить раздоры. Слава, приобретенная Колумбом, в первое время после открытия «Индии», несколько поблекла. Предприятие не давало доходов и требовало больших издержек.

Торжество Васко де-Гамы

А между тем около этого времени случилось великое событие, еще ухудшившее положение дел Колумба. Летом 1499 г. вернулся из своего путешествия вокруг Африки Васко де-Гама, бросивший якорь в Калькутте десятью днями раньше, чем Колумб отправился в

1 В средние века обыкновенно полагали, что земной рай находится на вершине горы. См. Данте: «Purgatorio», canto XXVIII.

третье свое путешествие. В торжестве Гамы не было ничего спорного. Он видел блестящие города, разговаривал с могущественными раджами и встретил арабский корабль, экипаж которого пришел в безумную ярость, увидев в этих водах христиан. Он привез с собою в Лиссабон мускатные орехи и корицу, перец и имбирь, рубины и изумруды, платье из дамасского шелка, бронзовые кресла с подушками, трубы из слоновой кости, блестящий малиновый шелк, меч в серебряных ножнах и множество тому подобных предметов. Была найдена древняя цивилизация, открыта торговая дорога, и немедленно же основана фактория на этом индийском берегу. Какой контраст с мизерными делами Колумба, отправившегося в богатое Сипанго с цветом испанского рыцарства и приведшего их в страну, где они должны были или голодать или работать, как простолюдине, тогда как сам он просто шарлатан или сумасшедший.

Приезд в Испанию Бобадиллы и арест Колумба

Для исследования положения дел в Испании был отправлен туда Франциско-де-Бобадилла, коммодор ордена Колатравы. Он вез с собой несколько документов; 1-й из них повелевал ему произвести следствие и наказать преступников; 2-й назначал его губернатором, а 3-й повелевал Колумбу и его братьям передать ему все крепости и всякую другую государственную собственность. Он имел право употребить в дело два последних документа только в том случае, если будут доказаны крупные злоупотребления со стороны Колумба. Когда Бобадилла (в 1500 г.) прибыл в Сан-Доминго, возмущение было уже подавлено, и порядок на всем острове восстановлен. Но Бобадилла немедленно же разрушил все сделанное Колумбом. Он велел прочесть один за другим все предписания государей, и таким образом сразу очутился на вершине своих полномочий. Он заковал Колумба и его братьев в оковы и заключил их в тюрьму, при чем им даже не сообщили, в чем собственно их обвиняют. Когда же мятежники доставили Бобадилле нечто в роде обвинений против адмирала и его братьев, он посадил их в оковы на корабль и отправил в Испанию.

Хозяин корабля, возмущенный видом кандалов на таком человеке, как адмирал, хотел снять их, но Колумб не позволил ему сделать этого. «Нет,—сказал он,—мои государи повелели мне повиноваться, а Бобадилла надел на меня кандалы: я останусь в этих цепях, пока королевским приказом не будет повелено снять их, и я сохраню их на память о своих заслугах»¹.

Вид величественной и почтенной фигуры адмирала, когда он в один из декабрьских дней 1500 г. проходил в цепях по улицам Кадикса, возбудил народную симпатию к нему и негодование против его преследователей. Еще на корабле он написал или продиктовал прекрасное и трогательное письмо к одной из приближенных королевы. Тотчас же в Кадикс был отправлен курьер с приказом освободить братьев и с письмом к адмиралу, приглашавшим его ко двору. Сцена в Альгамбре, последовавшая за прибытием Колумба, есть одна из самых трогательных сцен в истории его жизни. Королева приняла его со слезами на глазах, и этот много вынесший старик, гордый и повелительный дух которого так долго боролся против всех несчастий и оскорблений, теперь не выдержал: в слезах и конвульсивно рыдая, он упал к ногам своей государыни.

1 Фердинанд Колумб говорит, что он видел эти оковы в комнате своего отца и что Колумб хотел, чтобы их положили с ним в могилу.

Государи официально не обратили никакого внимания на обвинения Бобадиллы против адмирала и уверили последнего, что он получит вознаграждение за свои потери и будет восстановлен в своем звании вице-короля и других достоинствах. Это последнее обещание не было однако исполнено, так как государи могли прийти к здравому заключению, что в настоящее время невозможно поручить управление недисциплинированным сбродом на Испаньоле иностранцу, и туда был послан Овандо, который отправился на 30 кораблях с 2.500 людей, так как опять пробудилась вера в Индию: в рудниках Испаньолы начали добывать много золота.

Четвертое и последнее путешествие Колумба

Тем не менее, государи снарядили флот из 4-х небольших каравелл с экипажем в 150 человек и отправили Колумба для новых открытий: подвиги Гамы казались гораздо выше подвигов Колумба, и Испания должна была во что бы то ни стало опередить Португалию.

Колумб решил возвратиться к берегам Кохинхины (Кубы) и плыть вдоль берега к юго-западу до тех пор, пока не найдет прохода между «Райским материком» (Южною Америкой) и Золотым Херсонесом (Малаккой) в Индийский океан, ибо Марко Поло проплыл из Китая в Индийский океан, не встретив большого материка, который приходилось бы обогнуть. Таким образом по западному пути он может достигнуть тех же самых берегов Индостана, которых Гама достиг, плывя на восток. Он был настолько уверен в успехе своего предприятия, что написал папе Александру VI письмо, возобновляя обет доставить войска для освобождения Святого Гроба.

Мистицизм Колумба

Его несчастья делали его все более и более мистиком. Он утешал себя верой, что он — избранное орудие в руках Провидения для расширения пределов христианства. Во время этого 4-го путешествия (1502—1504 гг.) Колумб, плывя вдоль берегов центральной Америки, в продолжение четырех месяцев безуспешно искал прохода в Индийский океан, и его все более и более охватывало безнадежное отчаяние. В этот промежуток времени вследствие кораблекрушения он провел более года на о. Ямайке¹. По возвращении в Испанию больной Колумб был поражен новым ударом: скончалась королева — единственная покровительница, которая могла бы его поддержать. Последние 18 месяцев жизни адмирала прошли в болезни и бедности.

1 Источники передают следующий рассказ, относящийся ко времени его пребывания на этом острове. Однажды благодаря безчинствам над дикарями части экипажа, с которой Колумбу трудно было справиться, островитяне прекратили подвоз провианта и обмен его. Между тем астрономические таблицы дали Колумбу возможность узнать, когда наступит затмение луны (29 февраля 1504 г.); незадолго до затмения он поспешил созвать нескольких соседних кациков (старшин-родоначальников). Он сказал им, что Бог испанцев разсердился на индейцев, так как они не хотят кормить его народ; за это он накажет их, отняв у них луну и предав их всем бедам, какия они вызвали своим поведением. Когда наступила ночь и тень закрыла месяц, поднялся отовсюду вопль ужаса, и перепуганные кацики обещали доставить Колумбу провизию. Они бросились к ногам адмирала, умоляя о защите. Колумб удалился как бы для переговоров с всемогущим Духом, и в ту самую минуту, когда затмение должно было прекратиться, он появился, чтобы сказать индейцам, что своею покорностью они смягчили гнев Божества и увидят сейчас знак его благоволения. Понемногу месяц вышел из-за тени, и когда на ясном небе вновь появилось ночное светило, удивлению индейцев не было пределов. После этого Колумбу никогда не приходилось бояться голода.

Смерть Колумба

Вынесенные им страдания и разочарования сломили его силы, и в день Вознесения, 20 мая 1506 г., он скончался в Вальядолиде. Его смерть прошла совершенно незамеченной. Останки его были зарыты в францисканском монастыре, оттуда в 1513 г. перенесены в Севилью, потом в Испаньолу, в собор Сан-Доминго, а оттуда, наконец, в Гаванну. Такой частый перенос праха Колумба возбудил справедливое сомнение, действительно ли покоящаяся теперь в Гаванне кости принадлежат Колумбу.

Происхождение слова «Америка»

Колумб разделит со многими другими гениальными людьми ту судьбу, что не воспользовался плодами своей деятельности. Не была даже названа его именем часть света, которую он открыл. Этой чести удостоилось имя флорентийца, бывшего на португальской службе, Америго Веспуччи, совершившего несколько путешествий в Новый Свет и описавшего их в своих письмах. В одном из них (из Лиссабона от 1503 г.), адресованном им к Лоренцо Медичи, мы впервые встречаем выражение «Новый Свет» (*Mundos Novus*), которое в 1504 г. появляется уже в заголовке латинского перевода этого письма, сделанного знаменитым архитектором того времени Жиокоңдо и выдержавшего в том же году до 11 латинских изданий, а к 1506 г., кроме того, еще до 8 немецких.

Первоначальное значение слова «Новый Свет».

Но это название «Новый Свет» имело тогда совершенно другое значение, чем в наше время. Тогда в умах людей, впервые употреблявших название «Новый Свет», существенной частью понятия о нем было то, что это свет, лежащий *к югу от экватора* и неизвестный писателям древнего времени; при чем, противопоставляя Новый Свет Старому, противопоставляли не западное полушарие восточному, как теперь, а южное северному. Название же Америки впервые появляется в небольшом трактате немецкого ученого Вальдземюллера, к которому был приложен латинский перевод краткого отчета Веспуччи о его четырех плаваньях. В своем трактате (*Cosmographiae Introductio*), вышедшем в 1507 г., Вальдземюллер предлагает дать название Америки той quarta pars, которую открыл Америго к югу за экватором, при чем, конечно, это открытие не имело по тогдашним понятиям никакой связи с открытием Колумба, ибо Испаньола и смежные с нею острова, открытые Колумбом, были не что иное, как Старый Свет. Лишь мало-по-малу название Америки, будучи применяемо сначала к Бразилии, распространилось затем на весь южный материк.

Карта Меркатора

Наконец, Меркатор, известный географ и математик, изобразив на карте (в 1541 г.) северный материк отдельно от Азии и соединив его с южным материком, впервые написал название Америки крупными буквами так, что оно покрывало и северный, и южный материк. Таким образом, прежний контраст между северным и южным полушариями постепенно сменялся новым контрастом между восточным и западным полушариями, при чем и выяснилось, что истинным открывателем Америки был Колумб.

А. Гартвиг.

LXXXV. Франческо Петрарка

(1304—1374.)

I.

Эгоизм Петрарки. Его отношение к родным.

За исключением Лауры, Петрарка во всю свою долгую жизнь искренно любил только себя самого; он жил только для себя, только для себя учился и писал, одного себя изучал, и одному себе удивлялся. Он не сделался, но родился эгоистом. Ему было только 22 года, когда умерла его мать, оставив его и брата круглыми сиротами. Петрарка уже в то время писал отличные стихи на латинском языке; и вот он решил почтить память матери стихотворением ровно в 38 гекзаметров, по количеству лет, которые она прожила; не удивительно, что плодом этой выдумки явились 38 стихов блестящих и холодных, как сталь. В своей обширной переписке, где он так часто говорит о себе, Петрарка только два раза мимоходом упоминает о матери, а если имя отца и встречается чаще, то лишь в тех случаях, где Петрарка не может обойти его при рассказе о каком-нибудь случае из своей собственной жизни. Своему единственному и, как он часто говорит, любимому брату он за 40 лет, которые обнимает его переписка, написал только 8 писем и, несмотря на свои постоянные переезды, посетил его в монастыре только 2 раза, в последний раз—за 21 год до своей смерти. У него был сын, которого родила одна женщина из Авиньона и которого он с детства держал при себе. При таком отце сын не мог получить хорошего воспитания; в 1359 году 22-летний Джованни вместе с слугами отца обокрал его дом в Милане и за это был прогнан отцом. Позже они примирились, но когда в 1391 году Джованни умер от чумы, Петрарка не скрывал своей радости. «Благодарение Богу», писал он, «который, хотя и не без боли, избавил

Пособия: *Petrarcha*, Opera omnia, Basil. 1544, 2 vol.; *Bartoli*, Storia della letteratura italiana, v. VII; *Korting*, Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance, B. I; *Voigt*, Die Wiederbelebung des klass. Altertums; *Geiger*, Petrarca; *F. X. Kraus*, Essays; *Nollac*, Petrarque et l'Humanisme; *Корелин*, Ранний итальянский гуманизм и его историография.

меня от продолжительного страдания».

Характер его дружбы

У Петрарки было много друзей, повидимому искренно преданных ему и во всяком случае глубоко преклонявшихся пред его гением. Он часто и охотно исследует природу и условия дружбы, еще чаще описывает свои чувства по отношению к друзьям; но все эти разсуждения не идут далее риторических фигур и обнаруживают более начитанность в классиках, чем глубину и искренность чувства. Друзья нужны были Петрарке, прежде всего, как адресаты для писем. Одержимый неодолимою страстью излагать на бумаге свои мысли и чувства, он нашел в античной форме эпистолографии тот удобный род литературы, который не стеснял его определенностью сюжета, а, напротив, давал полный простор его перу и фантазии. Но в то время, как всякое другое произведение обращается непосредственно к публике, письмо требует определенного адресата. Петрарке необходимо было найти несколько человек, достаточно наивных и благоговеющих перед ним, чтобы получать, читать и отвечать на письма, обращенные к адресату стороной, а лицом к публике, письма, наполненные преимущественно рассказами о нем самом и, в лучшем случае, морально-философскими разсуждениями величиною нередко в целый трактат. Такими наивными адресатами и были его друзья, и поэтому нас не должно удивлять, что между ними, за исключением Боккаччио, не было ни одного из выдающихся умов того времени. К этому присоединялось еще другое обстоятельство. По примеру Цицерона, своего главного литературного учителя и образца, Петрарка считал дружбу необходимою принадлежностью всякого философа-моралиста, каким и сам хотел быть. По образцу Цицерона он создает себе культ дружбы, называет своих друзей Лелием и Сократом, исследует природу и основания дружбы и в изящных выражениях описывает одушевляющие его чувства. Но эти чувства, как уже сказано, не идут далее слов. Он охотно принимает подарки и услуги от друзей, но оплачивает им обыкновенно только письмами и уверениями в своей дружбе. Едва ли можно найти более преданного и самоотверженного друга, чем каким был для Петрарки Боккаччио. Он не раз предпринимал далекие путешествия, чтобы посетить Петрарку, подолгу жил у него, писал в его защиту, добился во Флоренции того, что Петрарке возвратили гражданские права и имение, отнятое у его отца, время от времени делал ему дорогие по тому времени подарки, в роде сочинений Цицерона, Баррона, Августина или собственноручно переписанного им для Петрарки экземпляра «Божественной Комедии». А Петрарка после каждой новой услуги с новым жаром брался за перо и, наслаждаясь богатством своих мыслей и изяществом), слога, писал новую вариацию на неистощимую тему о дружбе. Чуждый зависти, скромный и искренний Боккаччио благоговел перед учителем, в письмах и на деле выражал ему свою любовь и удивление, а Петрарка нашел случай не прочесть, а просмотреть «Декамерон» только в 1373 году, т. е. по крайней мере спустя 20 лет после того, как последний был издан.

В молодости Петрарка прожил в доме Стефана Колонна, как родной сын, несколько счастливых лет. Когда в 1348 году умер последний из семи сыновей Стефана, некогда ближайший друг Петрарки, приличие требовало, чтобы Петрарка выразил участие к великому горю старика. И вот, спустя целый год после смерти младшего Колонна, он пишет Стефану письмо, полное риторических похвал и утешений, примеров из древней истории и цитат, но лишенное малейших признаков чувства. С безсердечием, доходящим до жестокости, он

ради риторического эффекта противопоставляет горе, постигшее старца, его прежнему счастью, и безжалостно терзает его сердце подробным перечислением его отдельных потерь. Чувство Петрарки точно до краев наполнено его собственным «я», и в нем не остается места ни для чего другого.

Любовь и интерес к собственному «я»

Точно так же и его мысль всецело поглощена его собственной личностью. Большая часть написанного им, притом его лучшие произведения: его сонеты, большинство латинских поэм, книга «О тайной борьбе своих забот», «Письмо к потомкам» — наполнены этим содержанием. Как влюбленный, который не имеет причины скрывать свою любовь, он говорит о своей возлюбленной — о самом себе — по всякому поводу, рассказывает самые мелкие факты из своей жизни, забывая, что эти подробности могут несколько не интересовать или, наконец, надоесть его слушателям. В своем увлечении он иногда пренебрегает самыми элементарными требованиями приличия, прерывая серьезный разговор пустым замечанием все о том же предмете своей любви, как, например, в том месте своих «Книг о замечательных предметах», где он самодовольно сообщает читателю, что пишет эту страницу отвратительным пером, которое уже три раза принужден был «укрощать железом». Он не раз выражал намерение устранять из своих писем всякие личные и случайные моменты, посвящать их исключительно рассмотрению философских вопросов, — и в отношении своих корреспондентов он строго соблюдал это решение: в его обширной переписке, обнимающей более 500 писем, едва ли найдется сотня строк, непосредственно касающаяся каких-либо событий из жизни его друзей. Но о себе он и здесь говорит часто и с любовью, даже, пожалуй, чаще и охотнее, чем где бы то ни было. Можно было бы составить большой том из писем, в которых он описывает свое настроение, свой образ жизни и свои впечатления по различным поводам; он подробно и многократно рассказывает о своем пребывании в том или другом городе, неудобствах или опасностях, которым подвергся во время путешествия, о своих чувствах к тому или другому другу, о своих дальнейших намерениях, в пяти письмах он описывает свое коронование, в двух — ушиб ноги, причиненный падением с полки тома цicerоновских сочинений, в целом ряде других — то какую-нибудь встречу, то хлопоты с прислугой, то ужин, то приобретение собаки, то мелкие неприятности в роде того, что затерялось какое-нибудь из его писем или что, приехав в Парму, он не застал там своего друга. Но и во всех остальных письмах, трактующих о серьезных философских или литературных вопросах, поминутно, при малейшей возможности, снова появляются на сцену его собственная персона, его личные наблюдения, впечатления и привычки.

Самоанализ

О Петрарке верно сказали, что он был зеркалом самого себя. Его взор как бы постоянно обращен внутрь. Он бессознательно любит игру своих чувств и мыслей, и ни один оттенок в них не ускользает от его внимания. В то время, как большинству людей их внутренний мир представляется лишь смутно, точно подернутый дымкой, Петрарка с любознательностью истинного психолога изучил самые отдаленные закоулки своей души. Здесь он чувствует себя в своей сфере, здесь ему все знакомо и мило; он знает каждую свою мысль и каждое чувство, как библиоман свои книги, и, как он же, знает цену каждой из них, имеет между ними своих любимцев, но ни с одною не может разстаться и все равно ставит на полку — одне выше, другие ниже. Он не знает ни общих чувств, ни слитных настроений —

они расчленяются пред его внутренним взором, и мельчайшие движения души, как солдаты в полку, имеют определенные места в его внутреннем мире. С любовью изучая ежедневную жизнь своего духа, он радуется, как ребенок, подметив в нем малейшее движение, и не может устоять против искушения сообщить о нем другим. Поэтому он пишет всю жизнь, торопливо и с увлечением заносит на бумагу каждое мимолетное чувство, всякую случайную операцию своего ума; если бы отняли у него возможность писать, он умер бы: «жить и писать,—говорит он,—я перестану сразу». Именно эта потребность заставила его обратиться к форме письма. Его письма обыкновенно очень велики и всегда многоречивы; в них находит место не только вся последовательная цепь его идей, но и всякая побочная и случайная мысль, возникающая в его мозгу: их можно назвать моментальными фотографиями его ума. Такой же характер носят его сонеты, моментальные снимки его сердца, содержание которых так метко определил Мюссе в четырех строках:

Lui seul eut le secret de saisir au passage
Les battements du coeur qui durent un moment,
Et, riche d'un sourire, il en gravait l'image
Du bout d'un stylet d'or sur un pur diamant¹

II

Характер Петрарки. Его подозрительность и трусость

Петрарка еще в сравнительно молодые годы достиг необыкновенной славы, и по временам может казаться, что он считал эту славу естественною данью своему гению, что он действительно был проникнут сознанием своего величия. В его поэме «Африка» сначала старший Сципион, потом Энний предсказывают, что в отдаленном поколении явится юноша именем Франциск, который вернет муз из изгнания, воспоет подвиги младшего Сципиона, возстановит славу великих мужей Рима и венчается лавровым венком. В других местах он ставит себя на одну доску с Горацием, Цицероном и Вергилием; он обещает предать безсмертию имя Карла IV и в благодарность за благодеяния, оказанные ему Франческо Каррарским, пишет последнему письмо. Казалось бы, какое гордое самосознание гения! Но это впечатление обманчиво. Стоит какому-нибудь критику указать метрическую погрешность в одном из его латинских стихов,—он разразится целым стихотворным посланием, полным ярости и грубой брани, где дерзкий критик приравнивается к бешеной собаке, к обезьяне, дразнящей тигров, к пауку, соперничающему с Минервой в ткацком искусстве. Когда некто, кого он считал своим другом, осмелился усомниться в его правах на лавровый венок, он поражает его двумя стихотворными посланиями, где обливает грязью своего «врага», ссылается на короля Роберта, который будто бы, забывая о сне и пище, целые ночи проводил за чтением его стихов, и хвастает своею известностью: «мои стихи знают и хвалят на Тибре, в Неаполе, на родине Назона, Флакка и Цицерона, во Франции и на Роне». Он не раз уверяет, что «лай собак не тревожит его», что он «не боится слов», что презирает рукоплескания толпы; он называет своих врагов пьяницами, собаками, черными воронами, старающимися найти пятна на лебедях, жужжащими насекомыми и болтливыми сороками; но доста-

¹ Он один владел тайной схватывать на лету биения сердца, длящаяся мгновение, и, получив в дар улыбку, он чертил ее образ острием золотого стилета на чистом алмазе. (A. de Musset, *Le fils du Titien*.)

точно кому-нибудь задеть его единым словом,—и он выходит из себя, и нет предела его ненависти и гневу, брани и жалобам; достаточно булавочного укола, чтобы он потеряли самообладание и в припадке ярости стал попираť ногами те нравственные идеалы, которых он так охотно выставляет себя носителем. Когда в Венеции четверо молодых аверроистов осмелились признать его «хорошим, но невежественным человеком», он издает против них обширный трактат, где, прикрывшись лицемерным смирением и доброжелательностью, тайком жалит и осыпает инсинуациями своих «друзей»; хуже того, он спускается до роли доносчика, явно стараясь выставить их безбожниками, врагами веры и Христа; он был бы, кажется, не прочь навлечь на дерзких страшную кару церковного суда. Какой-то кардинал, бывший раньше его другом, резко отозвался о нем в кругу прочих кардиналов; он упрекал Петрарку в невежестве, утверждал, что все лучшее украдено им у древних, обвинял его в том, что он вечно домогается церковных мест, и в том, что живет при дворах тиранов, которые питаются потом и кровью нищих и вдов. Когда об этом отзыве сообщили Петрарке, он разразился, конечно, целым потоком ругательств и жалоб, и еще через год, уже незадолго до смерти, издал против прежнего друга страстную инвективу, где выставлял его вместилищем всей возможных пороков, извергом, достигшим кардинальской шапки лишь благодаря знатности своей семьи и путем симонии. Куда девалось недоступное величие *vates*, раздающего бессмертие? Петрарка дрожит за свою славу, точно знает, что приобрел ее нечистыми путями, и точно боится, что ее отнимут у него; в каждой атаке он видит злостное желание умалить свои заслуги, ему страшен каждый противник, хотя бы самый ничтожный. *Alma sdegnosa* Данте, его неуязвимая гордость, чужды Петрарке; его тщеславие трусливо и подозрительно.

Отсутствие самообладания и выносливости

Между тем он любит рядиться в тогу стоика. Несчетное число раз он увещевает друзей гордо и спокойно переносить несчастья, противопоставлять ударам судьбы мужество и терпение, не плакать, и не жаловаться. Это одна из его любимых тем; он написал даже целый трактат «О средствах против счастья и несчастья», где доказывает, что человек не должен обольщаться счастьем и падать духом при невзгодах. Сам он размышлениями и наукой закалил свой дух. «Жизнь научила меня выносить житейския битвы. Ударам судьбы я противопоставляю уже не жалобы и слезы, как некогда, а силы духа, закаленного в страданиях, и твердо стою на ногах, неустрашенный, непобедимый». Мудрый человек, говорит он, должен изгонять из своего сердца или, по крайней мере, умерять свою скорбь, и во всяком случае должен держать ее в тайне. «Если хочешь плакать, плачь, но один, или лучше познай раз навсегда, что человек должен мириться с превратностями человеческой судьбы». — В действительности он ноет и жалуется безпрестанно; он сам стыдит себя за это и оправдывает себя словами: «чувствую, что если не облегчу себя слезами и жалобами, то умру». В нем нет и следа той душевной твердости, того стоицизма, которого он требует от философа; напротив, он до крайности слабохарактерен и нетерпелив. Мы видели, что малейший укол критики лишает его самообладания; точно так же достаточно самого ничтожного житейского огорчения или разочарования, чтобы он впал в отчаяние и стал горько жаловаться на судьбу, на людей, на весь мир. Епископ Аччайуоли обещал навестить его в определенный час, но запоздал; вне себя Петрарка садится писать письмо своему другу Симониду: «Нет более верности на земле, сказал Вергилий, и чем более я думаю об этих словах, тем глубже

понимаю их, и с течением лет нахожу их все более справедливыми. Кто мог бы поверить, чтобы флорентийский епископ, честнейший и благороднейший человек на земле, хотел обмануть меня? Но такова моя доля—быть обманываемым всеми». Затем, подробно изложив обстоятельства дела, он восклицает: «Быть может, он погнушался отобедать у поэта и счел унижительным для себя почтить своим присутствием те места, которые посетил некогда король Роберт сицилийский и вслед за ним столько кардиналов и князей», и т. д. Не успел он еще дописать письма, как прибыл епископ; мгновенно успокоившись, поэт с неподражаемой наивностью продолжает: «Я написал до этих пор и хотел продолжать в том же тоне, когда шум у ворот возвестил мне, что епископ прибыл. Так не проходит дня, чтобы я не узнал на опыте, насколько пусты и суетны жалобы и заботы людей». Тем не менее он отправляет письмо, как он говорит, в назидание другу. Это один пример из многих: самый зоркий глаз не откроет в Петрарке ни следа самообладания, твердости или выносливости. Он боится молнии и землетрясений, очень нетерпелив в болезнях, бежит от чумы. Перенося однажды бурю на море, он дает клятвенный зарок никогда, ни под каким видом, ни по приказанию папы, ни даже если бы встал из могилы его отец, не вверять свою жизнь произволу ветров и волн. Ночь, проведенная им под дождем в открытом поле, кажется ему «адскою ночью». Рассказав о том, как он упал вместе с лошады, он прибавляет: *et nunc horresco referens* (полустышие Вергилия); разумеется, это происшествие описано с величайшею подробностью и в самых ярких красках.

Жажда земных благ

С каким жаром, с каким красноречием умеет он говорить о независимости «твердаго духа», о бессилии материальных условий жизни над душой философа! Сколько раз он доказывает, что следует презирать богатство, что любостяжание есть грех и глупость, что беден только тот, кто многого желает, а потребности растут с богатством! Это тоже одна из его любимых тем; но его жизнь мало соответствует этим правилам. С 1335 года, когда он получил первую свою церковную синекуру—каноникат в Ломбезе, не проходит трех-четырех лет, чтобы он лично или через друзей не ходатайствовал у папы о новых приходах, притом весьма назойливо. Нередкия неудачи вызывают в нем сильнейшее раздражение против авиньонской курии, и тогда он принимается громить Авиньон, папу, курию и, прежде всего, враждебных ему кардиналов. Но пройдет некоторое время, и мы снова видим его в развратном, ненавистном ему Авиньоне. «Ты спросишь, что привело меня сюда? Единственно лишь сила дружбы. Ибо, что касается до меня самого, то я не имею более почти никаких желаний и стремлюсь уже не собирать дары фортуны, а покидать и раздавать их». Это его обычный припев: в действительности дело обстоит несколько иначе. На этот раз он приехал в Авиньон потому, что два дружественных кардинала посоветовали ему выступить кандидатом на свободную должность папского секретаря. К сожалению, его хлопоты оказались безуспешными—он получил отказ, который, впрочем, в его изображении оказывается настоящей победой. Ибо, рассказывает он, более всего дорожа своей свободой, он долго и упорно отказывался от предлагаемой должности; но так как друзья продолжали настаивать на своем предложении, то он согласился подвергнуться требуемому испытанию—написать какую-нибудь официальную бумагу; и тут-то он будто бы с умыслом «развернул крылья своего духа и постарался взвиться так высоко, чтобы исчезнуть из глаз своих преследователей», т. е. постарался доказать, что совершенно неспособен писать «варварским, низким и

безсодержательным» слогом папской канцелярии; только этой уловке он и обязан своим спасением. Подобными письмами он усыплял подозрения своих друзей. Уже в старости, незадолго до смерти, он все еще продолжает кланяться. В 1372 году он просит своего друга, апостольского секретаря Франческо Бруни, походатайствовать за него у папы. «Если бы святой отец пожелал оказать мне некоторую поддержку и тем обозначить мне покойную старость, то пусть не удерживает его мысль о том, что я недостойн этой милости, ибо он наместник Того, Кто ежедневно благодетельствует недостойным. Если он искренно хочет этого, то он может осуществить это единым словом, ибо нет монарха на земле, который так легко мог бы оказывать благодеяния другим, как римский первосвященник», и т. д. Он не знает, чего собственно просить, потому что никогда не думал о таких вещах; притом, если он попросит чего-нибудь определенного, то может случиться, что прежде, чем его просьба дойдет до ушей папы, кто-нибудь другой уже успеет выпросить эту же вещь. Он хочет указать еще только на одно обстоятельство: что бы ни дал ему папа, он вскоре сможет передать это другому, ибо он, Петрарка, стар и немощен.

Лесть

Так этот мнимый стоик унижается и хитрит ради презренных даров фортуны. Он так же слаб перед соблазнами жизни, как перед ее испытаниями; он сам однажды признается, что научился лишь уважать, но не переносить бедность. И еще более, чем корысть, терзает его душу жажда почестей; но почести и доходы не даются даром,—и он добивается их и платит за них сильным мира самой беззастенчивой лестью. Когда в 1338 году король неаполитанский Роберт прислал ему составленную им самим, королем, надгробную надпись для его внуки, прося дать отзыв об этой эпитафии, вот что отвечал ему ошастливленный поэт: «Небывалый блеск ослепил мои глаза! Счастливо перо, написавшее эти строки! Не знаю, чему удивляться более: изумительной ли сжатости языка, возвышенности ли мыслей, или божественному изяществу слога! Никогда, о славный царь, я не поверил бы, что столь высокий сюжет может быть выражен в столь кратких, важных и прекрасных словах; такого совершенства я не мог ждать от человеческого ума». В этом тоне написано все письмо; в конце поэт выражает уверенность, что многие люди согласились бы умереть преждевременною смертью, если бы могли этой ценою купить себе подобную эпитафию. Таких образчиков не мало в переписке Петрарки.

Суетность и тщеславие

В 1353 году, уступая просьбам Джованни Висконти, Петрарка поселился в его столице Милане; он остался здесь также после смерти Джованни, когда власть перешла к Бернабо и Галеацци. Восемь лет прожил он при дворе самых жестоких тиранов, каких знает европейская история, и только страх пред чумой заставил его удалиться из их разбойничьего гнезда. Он так часто и с таким пафосом изображал беспокойство и безнравственность городской жизни, так восторженно говорил о прелестях сельского уединения,—что же побуждало его теперь жить в шумном Милане, одном из крупнейших торговых центров тогдашней Италии? Что заставило его пожертвовать своею личною свободой, которую он называл высшим из благ, и променять независимую жизнь философа-анакорета на некрасивую роль придворного оратора? И, прежде всего, как мог он, глашатай свободы, стать слугой тирана, так тяжко угнетавшего часть той самой Италии, чьи страдания он воспел с такою поразительной силой? Когда Боккаччио узнал о позорном поступке друга, «он возопил к небу».

На его упреки и на вопросы остальных друзей Петрарка отвечал целым потоком бессодержательной реторики, ясно выдающей его смущение; самый сильный его аргумент состоял в том, что он не мог устоять перед просьбами «величайшего из итальянцев»: «Но что окончательно сломило во мне всякое сопротивление,—говорит он,—об этом я хочу рассказать тебе, хотя скромность велит мне молчать: хорошо зная себя, зная, что неспособен быть слугой, я откровенно спросил, чего он требует от меня, и он ответил: «ничего, кроме твоего присутствия, которого одного достаточно, чтобы почтить меня и мое государство». Эта гуманность обезоружила меня; я покраснел, замолчал и молчанием изъяснил, или дал повод думать, что изъясляю согласие». Этою басней он пытается замаскировать свои истинные побуждения; он стыдится признать, что не устоял пред соблазном. Действительно, он прожил в Милане счастливые годы; комфорт, почести, блеск двора и полная свобода от материальных забот надолго прикрепили его к Вискони. Но за эти блага надо было платить услугами и лестью. И вот мы видим его у купели сына Вернабо Висконти, в поэтической эпистоле прославляющим новорожденного и его семью; перед нами и другая его эпистола, где он превозносит Галеаццо, как величайшего и благороднейшего из князей Италии, постигшего тайну римского правительственного искусства: *parcere subiectis et debellare superbos*; мы видим его на площади в Милане, в напыщенной речи возвещающим народу о переходе власти к Маттео, Бернабо и Галеаццо и восхваляющим покойного тирана, Джованни Висконти, чья смерть есть гораздо большая потеря, чем смерть Платона, «ибо можно ли сравнивать сотню или две сотни учеников с тем множеством могущественных граждан, стран и народов, которые все жили в мире и правосудии под властью нашего господина, и которым, когда он умер, несомненно показалось, что солнце упало с неба?» Время от времени он исполняет и более трудные поручения: его отправляют послом то в Венецию, то в Новару, то в Прагу, то в Париж, и он проводит в пути иногда целые месяцы, вдали от своих книг и работ, терпя все неудобства путешествия.

Любовь к уединению

Сколько ненужных лишений, трудов и забот! И какая непримиримая противоречия в этом характере! Потребность в уединении и покое была, несомненно, одним из самых глубоких и прочных чувств Петрарки. Он много раз говорил, что выше всех земных благ ценит свободу, уединение и покой, что предпочитает страдать от голода в полях, чем в городе наслаждаться изобилием и богатством: «возьми у меня все, что я имею,—пишет он,—оставь меня нагим, как я рожден, но дай моей душе мир и спокойствие, и я буду считать себя богачейшим из смертных». Он называет сельскую жизнь блаженством, он завидует тем, кто слышит лишь мычание волов, журчание вод и пение птиц, кто может бродить по холмам и лугам, по зеленеющим берегам рек, в тенистых рощах и садах. В 1337 году он приобрел в долине Воклюз у источников Сорги небольшой участок земли с скромным домиком. Здесь он провел свои счастливейшие годы, здесь написал или задумал свои лучшие произведения. Он встает с постели задолго до наступления дня и с рассветом выходит из дому, но и в полях, как дома, размышляет, читает и пишет. Один, в сопровождении верного пса, бродит он по горам и долинам; тенистый грот служит ему убежищем от полуденного солнца, обработка сада и ужение—отдыхом от занятий. Единственное женское лицо, которое он видит здесь,—лицо его экономки, сухое и выжженное солнцем, подобно ливийской пустыне; она, управитель да двое слуг делят с ним уединение. «Здесь,—говорит он,—нет ни самовластных

князей, ни надменных горожан, ни злоязычия клеветы, ни партийных страстей, ни гражданских раздоров, ни криков, ни шума, ни скупости, ни зависти, ни необходимости обивать пороги заносчивых вельмож; напротив, здесь есть мир, радость, сельская простота и непринужденность, здесь воздух мягок, ветер нежен, поля озарены солнцем, ручьи прозрачны, лес тенист». В парижской национальной библиотеке хранится рукопись Плиния, принадлежавшая Петрарке; здесь на одной из страниц находится рисунок пером, изображающий источник Сорги: сзади видна скала, из недр которой бьет Сорга, и на вершине скалы—теперь давно уже исчезнувшая часовня св. Виктора; впереди стоит цапля, пожирающая небольшую рыбу; под рисунком—дышащая нежностью подпись: *Transalpine solitudo mea josundissima*.

Соблазны мира

В этой идиллической обстановке он на минуту чувствует себя совершенно счастливым. Но его покой непрочен. Он бежал в уединение, потому что «ненавидит грехи людские и преимущественно свои, а также заботы и печальные тревоги, которые живут среди людей»; но он и в уединение принес свои страсти и свою слабость пред искушением, а житейские соблазны настигают его и в тихом Воклюзе. Позднее он с грустью вспоминает об этих счастливых годах. «Вспомни,—говорит он сам себе устами бл. Августина,—как сладко жилось тебе некогда в далекой усадьбе! То, лежа на златном лугу, ты внимал журчанью скрытых вод, то всходил на открытый холм и свободным взором измерял развернутую под тобой равнину, то в тени среди палимой солнцем долины, охваченный сладкой дремотой, наслаждался желанной тишиной, и твой ум не бездействовал, но всегда был занят чем-нибудь высоким. Когда затем, с заходом солнца ты возвращался в свой тесный дом и радовался своему достоянию,—скажи: не казался ли ты тогда себе самому наиболее богатым и счастливым из смертных?»—Увы, отвечает Петрарка, помню и, вспоминая те дни, не могу удержать вздоха.—«Ты вздыхаешь? Но кто вверг тебя в эту скорбь? Твои страсти толкали тебя, и ты снова ринулся в водоворот городов». Его толкала, прежде всего, жажда славы. Он поселился в Воклюзе осенью 1337 года, а уже в конце 1338-го упомянутое выше письмо короля Роберта нарушило его душевный мир: оно раздражило его ненасытное честолюбие, и с этой минуты он уже не найдет покоя, пока не добьется лаврового венка. Два года он неустанно хлопочет, раскидывая сеть лжи и лести, и наконец успех венчает его усилия; тогда он надолго покидает свой тихий Воклюз: морем из Марсели он переправляется в Неаполь, где король и поэт разыгрывают комедию испытания на степень лауреата, оттуда едет в Рим, произносит речь на Капитолии и принимает венец, спустя несколько дней оставляет Рим, на пути попадает в руки разбойников, едет в Пизу, оттуда—в лагерь Корреджио и вместе с ними вступает в только-что отнятую ими у Скалигеров Парму, где, «уступая их любезной просьбе», остается целый год. Затем мы опять находим его в Воклюзе, но он часто наезжает в ненавистный ему Авиньон, разумеется, с целью добыть новый приход, в чем и успевает. В следующем, 1343-м, году он отправляется послом от папы в Рим и Неаполь, оттуда переезжает в Парму и здесь покупает себе дом, но уже спустя год, в феврале 1345 года, бежит из осажденной Пармы и отправляется в Скандиано, оттуда в Модену, Болонью и Верону, затем в Авиньон и Воклюз. Сначала он искал славы, теперь слава преследует его: папа, император, короли сицилийский и французский, Висконти, Корреджио, Гонзага, Малатеста—все наперерыв зовут его к себе, все сулят ему почести и жизнь в довольстве; как

устоять против этих соблазнов? И вот он предпринимает далекие путешествия и целые годы проводит в шумных городах,—и в то же время вечно жалуется на то, что осужден воевать с потом и пылью, и не перестает тосковать по Воклюзу.

III.

Внутренняя борьба

«Я несусь по обширному, грозно взволнованному морю, направляя среди ветров и бурь мой утлый, полный щелей челн, и твердо знаю, что он недолго выдержит, что мне нет надежды на спасение, если милосердие всемогущаго Бога не позволит, чтобы я, напрягши все силы, до гибели достиг берега и после жизни, проведенной среди волн, умер в тихой пристани». Так изображает Петрарка свою душевную жизнь.

В годы полного расцвета сил, тридцати восьми лет, он написал, по примеру Августина, чистосердечную исповедь, которую назвать «Книгою о борьбе своих забот». Читая эту книгу, не знаешь, чему более удивляться: гениальности ли проницательности, с которою Петрарка проследил малейшие изгибы своей души, беспощадной ли откровенности, с какою он обнажает свои душевные язвы, или величию и сложности изображаемой им борьбы. Историки обыкновенно сопоставляют ее с исповедью блаженного Августина,—и вполне справедливо; но между этими книгами есть одно коренное различие: исповедь Августина изложена в виде непрерывного рассказа, исповедь Петрарки—в виде диалога; там звучит один голос—голос победителя, потому что спор уже решен; здесь звучат два спорящих голоса: борьба совершается перед нашими глазами.

Два существа жили в сердце Петрарки, всю жизнь оспаривая друг у друга власть, и в исповеди он противопоставил их лицом к лицу. Одно есть глубоко коренившаяся в его эгоистической натуре любовь к жизни, безумная жажда земных утех, и, как неизбежный спутник этой жажды,—вечный страх потерь и страданий. Этот Петрарка дрожит при мысли о смерти и страстно жаждет бессмертия своего имени: все, чем искушает нас жизнь,—слава, почести, богатство, знатность, женская любовь,—неудержимо манит его, и он мечется всю жизнь, осаждаемый тысячею желаний, тысячею забот и тревог. Другой Петрарка сурово осуждает первого за греховность и суетность его жизни, призывает его подумать о спасении души, требует, чтобы он возненавидел жизнь, возлюбил смерть и отказался от всех земных желаний.

Идеал

Только в добродетели счастье, говорит этот голос, только грех удаляет от счастья. Чтобы достигнуть истинного блаженства, надо всецело сосредоточиться на пламенном желании усовершенствования, и для этого необходимо отказаться от всех других желаний, умертвить свои страсти, подчинить свои чувства разуму. Это—первая и труднейшая ступень к спасению. К ней ведет один испытанный путь—непрестанная мысль о смерти. Ты должен думать о смерти как можно чаще, ты должен стараться представлять себе ее во всех реальных подробностях, должен вызывать в своей памяти яркую картину агонии—судороги членов, гаснущий взор, смертельную бледность, заостренный нос, хрип и стоны. Ты должен думать о смерти так часто и упорно, чтобы мысль о ней мгновенно повергала тебя в трепет и вызывала холодный пот на твоём челе, чтобы тебе казалось, что агония уже владеет тобою и что

твой дух должен тотчас покинуть тело и предстать перед неподкупным Судией с отчетом за всю предшествующую жизнь, при чем ему не помогут ни телесная красота, ни мирская слава, ни красноречие, ни богатство, ни могущество; и чтобы мгновенно пронзала тебя мысль об ужасах ада, о столах и зубовном скрежете, о потоках серы, о мраке, о карающих фуриях, и—что превосходит все эти муки—об их безпредельной длительности, о вечности Божьего гнева. И если все эти представления будут возникать в твоем уме, не вызванным волею, а естественно, и не как возможность, а как необходимость, которая неизбежно должна наступить и почти уже наступила, и если среди этих терзаний не овладеет тобою отчаяние, но сохранишь и жажду исцеления, и надежду на милосердие Божие, и останешься тверд и спокоен,—только тогда откроются пред тобою врата спасения.

Натура

Но он слаб; он не может не страшиться смерти, потому что слишком любит жизнь,—и вот суровый голос принимается обличать его грехи. Ты весь погружен в суету мира. Ты кичишься своим разумом, своею начитанностью и красноречием, красотой своего тела; ты жадно копишь земные богатства, хотя уже давно обезпечен против нужды; ты честолюбив, ты жаждешь знатности и могущества, и только из страха перед тягостями службы не добиваешься высоких должностей; ты чувствен и не в силах смирить волнение крови; ты столько лет, с такою тратой душевных сил, любишь смертную женщину: ты видишь высшее счастье в земной славе, и все твои труды—приобретение знаний и литературная деятельность—имеют ее единственную целью. И каждая из этих страстей рождает в тебе тысячу желаний и страхов; твой слабый дух, подавленный таким множеством разнообразных, неустанно борющихся между собою забот, не в состоянии решить, какую из них ему первую принять, какую питать, какую отвергнуть,—и на все это тебе не хватает ни сил, ни времени, отмеренного скупой рукою. Ты подобен тем, кто на малом клочке земли сеет слишком густо, так что жатва сама себе мешает расти: в твоем чрезмерно занятом духе ничто не может пустить глубоких корней, и ты, как челн без руля на бурном море, кидаешься от одного к другому.

Борьба

И вот начинается упорная борьба—борьба между любовью к жизни и страхом вечных мук, между натурою человека и его идеалом. Эта борьба не может быть решена, потому что решить ее может только воля, а она парализует волю. Петрарка знает, что первое условие спасения—страстное желание и старание исправиться (*desiderium vehemens studiumque surgendi*), и, чувствуя бессилие своей воли, употребляет все средства, чтобы подстрекнуть, прищипорить ее. Он хочет уверить себя, что все, чем искушает его жизнь, суетно и ничтожно. Какая польза от прочитанных тобою книг, когда твои знания ничто в сравнении с тем, чего ты не знаешь? Ты гордишься своим красноречием—но не безумие ли тратить труд и время на изучение слов? и как часто ты оказываешься не в силах выразить точно даже простую и ясную мысль? Ты гордишься красотой и силою своего тела—но разве ты не знаешь, что дуновение ветра, укол насекомого могут сокрушить его силу, что время разрушит его красоту? Ты копишь богатства—не для того ли, чтобы умереть на пурпурной подушке, быть погребенным в мраморном гробу и оставить наследникам тяжбу о наследстве? не безумие ли копить на старость, которой ты, быть может, не достигнешь? Ты ищешь славы—но что слава? Летучее дыхание, молва, живущая в устах толпы, которую ты презираешь.—Так он разлагает умом все земные блага и видит их пустоту и ничтожность,—но все напрасно: он

не в силах вырвать из своего сердца неудержимое влечение к ним. Он рассказывает нам о часах смятения и ужаса, когда мысль о грозящей гибели овладевает им с неодолимою силой: он проливает обильные слезы, моля Господа помочь ему выйти на правый путь,—но слезы льются, а дух остается инертным: *Mens immota manet, lacrymae volvuntur inanes*. Чтобы научиться презирать жизнь, он обращается к самому действительному средству, которое изобрела для этого практика аскетизма,—к мысли о смерти. В ночную пору он ложится на одр и, напрягая воображение, старается тщательно представить себе все подробности агонии и смерти; и так ярки эти образы, что ему кажется, будто уже наступил его последний час: он ощущает смертельные судороги в своих членах, ему уже мерещится ад; тогда он в ужасе вскакивает с постели и, как безумный, вызывает к Христу: «Спаси меня от этих мук, протяни мне руку помощи, чтобы я хоть в смерти нашел покой!» и им овладевает отчаяние, что он не может думать о смерти с радостью, что мысль о ней неизменно повергает его в страх. Он молит Господа в таких словах: «Пусть лучше будет мне чистилищем ложе мое, пусть лучше мое тело томится на нем среди слез и терзаний, чем чтобы смерть привела меня в преисподнюю». Он встает каждую полночь, чтобы прочесть молитву, каждый день отправляет божественную службу, по пятницам питается водой и хлебом. Он хочет уверить самого себя, что больше любит Христа, чем Цицерона; он требует, чтобы знание всегда подчинялось вере, чтобы мнения Платона, Аристотеля, Варрона, Цицерона были отвергаемы, если они противоречат истинной и святой вере; чтобы быть истинным философом, говорит он, достаточно любить Христа, чтобы быть ученым и счастливым, достаточно изучать евангелие. Его любовь к человеческому знанию, к любимым авторам порою кажется ему преступлением, и он решается вырвать ее из своего сердца. «Признаюсь,—пишешь он,—велика была моя любовь к Цицерону и Вергилию, к Платону и Гомеру. Но пора подумать о более важном, пора позаботиться более о своем спасении, чем о красноречии: доньше я искал в чтении удовольствия, теперь ищу пользы. Теперь мои любимые ораторы—Амвросий, Августин, Иероним, Григорий, мой любимый философ—Павел, мой поэт—Давид». Но так сильна в нем грешная страсть, что она, прорывается даже в самую минуту спасительного решения; тут же, в этом самом письме, только что оттолкнув Цицерона и Вергилия, он уже снова тоскует по ним и снова привлекает их к себе: «я постараюсь соединить любовь к этим писателям с любовью к тем; в тех буду изучать стиль, в этих содержание». Начав свою «Африку» обычным обращением к музам, он вдруг вспоминает о Христе и, точно желая искупить греховность своего светского сюжета, обещает Господу воспеть по возвращении с вершины Парнаса много благочестивых песен:

...tibi multa revertens
Vertice Parnassi referam pia carmina...

И во всем, всю жизнь—те же колебания, та же непрекращающаяся борьба. Двадцать один год длилась его любовь к Лауре, но есть ли хоть одна минута, когда бы он считал свою любовь оправданною перед небом? Как он бичует себя за нее в своей исповеди! Она, твоя Лаура, отдалила тебя от Господа; нет большого препятствия к спасению, как плотская любовь. Она отвлекла твою любовь от Творца на творение; когда смерть закроет ей глаза, когда ты увидишь ее лицо, искаженное последнею мукой, и бледные члены,— как будет стыдиться твой бессмертный дух, что он был привязан к брэнному телу!—И он пытается оправдаться: я люблю не тело ее, а душу, далекую от всего земного, горящую небесным

пламенем; она отвлекла мой дух от всего низкого и научила смотреть вверх, ей я обязан всем лучшим, что есть во мне.— Это самообман, возражает совесть. Ты любишь ее тело, ибо разве ты полюбил бы эту душу, если бы она была заключена в уродливом теле? То, что ты есть, дано тебе природой, но чем ты мог бы быть, тем ты не стал благодаря твоей любви; если она удержала тебя от многих дурных поступков, то лишь затем, чтобы ввергнуть в самый тяжкий грех; она исцелила тебя от мелких ран, но вонзила нож в твое сердце. Признаться, ты не был свободен от плотской страсти, ты порой желал дурного (*Turpe aliquid interdum voluisti*)?—Да, но тогда меня побуждали к этому молодость и страсть; теперь это более не повторится, теперь я знаю, чего должен желать. — Не обольщай себя, говорит совесть; ты остался таким же, как был; твое пламя, быть может, стало слабее, но оно не угасло.—То же колебание проходит красною нитью в сонетах. То он поет о телесной красе Лауры и молит судьбу дать ему провести с нею «только одну ночь, но ночь без разсвета» (*Sol una notte, e mai non fosse l'alba*); вечную ночь, где бы их не видел никто, кроме звезд, и говорит о «слепом желании», которое крушит его сердце, и о стене, отделяющей жадную руку от колоса, и жалуется: «надежда шатка, а желание растет» (*La speme incerta, el desir monta e cresce*). То обольщает себя мечтой, что любовь к ней возносит его дух к высшему благу и заставляет его презирать то, к чему стремится каждый влюбленный. То в страхе вечных мук молит Господа помочь ему вступить на иной, на лучший путь, благодарит судьбу за то, что тот день, которого он ждал столько лет, никогда не настал, горько упрекает себя за то, что любит смертное существо с такою верою, с какою подобает любить одного Бога, благодарит Бога за смерть Лауры, освободившую его плененный дух. Сегодня он благословляет все звуки, в которых он воспел ее имя, все свои слезы, вздохи, желания и мысли, которых она одна была госпожой, а завтра он был бы рад отречься от этих «пустых песенок», *cantiunculae inanes*, наполненных *falsis et obscoenis muliercularum laudibus*. И он сам ясно сознает происходящую в нем борьбу: вот сонет, написанный им в Риме, вероятно, в 1337 году: «Священный вид этих мест заставляет меня проливать слезы о моем дурном прошлом, взывая ко мне: встань, несчастный, что ты делаешь? и указывает мне путь, ведущий в небо. Но с этою мыслью борется другая и говорит мне: зачем ты бежишь? или ты забыл, что уже давно пора вернуться, чтобы увидеть возлюбленную? И вняв этой речи, я леденею мгновенно, как человек, внезапно услышавший печальную весть; но затем возвращается первая мысль, и вторая уходит. Которая из них победит, я не знаю; но донныне оне уже не раз вступали в бой между собою».

Из них не победила ни одна. Борьба между землей и небом, между жаждой счастья и жаждой спасения, между Мадонной и Лаурой, Цицероном и Христом продолжалась в Петрарке до смерти. По мере приближения к старости он становился все благочестивее, и произведения его последних лет—«О средствах против счастья и несчастья», «Об уединенной жизни», «О досуге монахов»—в сильной степени проникнуты аскетическим духом. Но жизнь его до конца текла в старом русле. Осудив в исповеди свою чувственность, сребролюбие, жажду славы, любовь к Лауре, он и после написания своей исповеди (1342 г.) остался тем же, чем был до нея: он еще много лет продолжал воспевать Лауру, до самой смерти продолжал добиваться новых приходов, а жажда славы только возрастала в нем с годами; второй его незаконный ребенок—дочь Франциска, родился спустя год после написания исповеди; большая часть его путешествий и восьмилетнее пребывание у Висконти в Милане

приходятся на вторую половину его жизни.

Acedia

Но если он не сумел переломить своей природы и жизнь его не соответствовала его идеалу,—он дорого платил за эту слабость. Глубокий душевный раскол отравил ему лучшие годы, он был болен,—так он сам говорит в своей исповеди—«тем внутренним раздвоением, тем томлением негодующей против самой себя души, когда она с отвращением видит свою грязь—и не смывает ее, сознает свои заблуждения—и не покидает их, страшится грозящей опасности—и не ищет избежать ее». Он завидует тем, которые никогда не задумывались над вопросом о спасении, о греховности земной жизни: они, по крайней мере, вполне наслаждаются радостями данной минуты, не отравляя их себе страхом за будущее, тогда как он не знает счастья в настоящем, но не может рассчитывать и на блаженство в будущем. Долгая надежда и страх, говорит он, вечно оспаривают друг у друга власть над его духом; он постоянно чувствует в своем сердце какую-то неудовлетворенность (*sentio inexpressum quoddam in praecordiis meis semper*); его душа и тело находятся в вечной борьбе между собою; он не хочет того, что может, не может того, чего хочет, и вечно ищет того, чего и хотел бы и мог бы, но не находит; он ни жив, ни здоров, ни мертв, ни болен,—жизнь и здоровье он приобретет лишь тогда, когда достигнет выхода из лабиринта земной жизни. «Бывают минуты, рассказывает он, когда я чувствую себя подобно человеку, который окружен бесчисленными врагами и не видит выхода нигде; тогда мне все кажется противным, жалким и страшным,—врата отчаяния открыты предо мною. Порой эта чума держит меня в своих тисках целые дни и ночи, и это время кажется мне не светом и жизнью, а адскою ночью и горчайшею смертью». В эти минуты он проклинает судьбу, жизнь, весь мир; эта короткая жизнь, говорит он, есть долгая смерть, мрачная тюрьма, жилище скорби, неисходный лабиринт заблуждений; ложе этой жизни для него жестко и покрыто терниями; судьба неустанно преследует его и наносит ему глубокие раны. В одном поэтическом письме, обращенном им к себе самому, он говорит: «Вспомни: с тех пор, как, нагой и беспомощный, ты покинул чрево матери, знал ли ты хоть один отрадный день, когда бы горе, слезы, стоны и печальные заботы не теснили твою грудь, когда бы умолкли твои безпрестанные жалобы!» Он жаждет покоя и мира, но враждебный рок отказывает ему в них. «Если бы я нашел на земле какое-нибудь место, не говорю—хорошее, но не дурное, или, по крайней мере, не слишком дурное,—я никогда не покинул бы его»; но он не находит такого места. Все раздражает его больной дух. Он не может жить без слуг и вечно жалуется на них, называет их подлыми тиранами, ненасытными собаками, ядом, чумой; тот ему слишком молод, этот слишком стар, один слишком поспешен, другой слишком вял. Он не находит слов, чтобы выразить отвращение, которое возбуждает в нем вонь улиц, собаки, свиньи, бродящая стадами, отталкивающий вид нищих, грохот экипажей и гул голосов, надменность счастливых и скорбь несчастных. «Я утверждаю,—говорит он,—что нет под звездами места, где бы благородный дух не утомляли тысячи неудобств, так что нет человека столь счастливого и столь привязанного к жизни, чтобы его не охватывали порой ненависть к жизни и жажда смерти». И так как на земле нет такого места, то он, «подобно человеку, принужденному лежать на жестком ложе, поворачивается то на один бок, то на другой», то-есть кочует с места на место. Он стремился в Италию; приехав туда, он начинает тосковать по Воклюзу: «воспоминание об этих местах охватило мой дух с такою силой, что я не мог устоять против желания

вернуться», — и он возвращается; но не проходит года, и его уже томит скука, он ненавидит и проклинает эти места и ищет предлога покинуть их: и Италия ему слишком далека, и Авиньон с развратною курией слишком близки, и прочее; прожить в Воклюзе лишнюю неделю кажется ему невыносимым, — он пускается в путь, но, застигнутый ливнем, возвращается и остается там целых полгода.

В одной из своих канцон (*I' vo pensando*) Петрарка говорит, что порой, когда он размышляет о своих душевных муках, им овладевает такая глубокая жалость к себе самому, что он готов плакать над собою. Мы знаем, что он любил свое «я» во всех его проявлениях; а за мучительную борьбу, за раскаяние и томление он любил себя еще с удвоенной нежностью, как мать больное дитя. Быть может, к этому чувству присоединялось и другое — тщеславное сознание, что в его сердце вместились вся безпредельная скорбь мира, что таких мук, как он, не знает ни один человек. Отсюда та «сладость страдания», *dolendi quaedam voluptas*, о которой он говорит в своей исповеди, то болезненное сладострастие, с которым человек берedit свои раны: «я так упиваюсь своими страданиями и муками, — говорит он (*sic laboribus et doloribus pascor*), что извлекаю из них некое наслаждение и расстаюсь с ними лишь против воли».

IV.

Аскетизм

В первой половине XIV века, когда складывались характер и миросозерцание Петрарки, формально еще в полной силе царил аскетический взгляд на жизнь. Исходная точка его ясно формулирована в словах Екатерины Сиенской: «Бог противоположен миру и мир противоположен Богу». Оба начала по существу исключают друг друга, и человек должен выбрать одно из них — мир или Бога: одновременное служение обоим невозможно. Христос своею смертью доставил людям право выбора: искупив первородный грех, он примирил их с Богом и снова дал им возможность приобретать блаженство вечной жизни. В силу противоположности между миром и Богом достигнуть вечной жизни можно только путем полного отречения от мира. Все утехи и радости земной жизни суть сети, которыми дьявол старается опутать человека; все мысли и стремления, обращенные на мирское, греховны. Главный источник соблазнов, отвлекающих дух от служения Богу, есть плоть; поэтому умерщвление плоти должно быть главной задачей человека в его земной жизни. Тот, кто хочет посвятить себя Богу, должен обезличиться, отречься от своей воли, потому что она может увлечь его на ложный путь: один из главных обетов монашества — обет повиновения.

Таковы были главные черты этой системы. Это был идеал, теоретическая формула, которую средневековый человек считал должным выполнить в своей жизни и которую он, ежеминутно нарушая, ни на минуту не переставал считать закономерною.

Мы видели, что она сохранила такое же значение и для Петрарки: отречение от мира, умерщвление своей плоти остается и для него непреложным идеалом; тот второй, карающий голос, который звучит в его исповеди, есть голос аскетизма, и борьба, которая происходит в нем, есть борьба между стремлениями его чувственной природы и аскетическим идеалом. В этом смысле Петрарка — вполне средневековый человек. Но в его отношении к аскетическому принципу есть черта, совершенно чуждая предшествующей эпохе.

Та борьба, которую переживал Петрарка, не представляла ничего необычного для средних веков. Как ни была сильна жажда вечного блаженства,—человеку трудно было обуздать свою чувственность, подавить в себе плотские страсти. Жизнеописания святых полны рассказов об искушениях, которыми дьявол старался вовлечь их в грех, о видениях, в которых святому представлялись то прекрасная женщина, то стол, уставленный роскошными яствами, то сам отец зла, суля богатства и могущество. Биограф Екатерины Сиенской, Раймунд Капуанский, рассказывает, что однажды, когда она ослабела от тяжких истязаний, в ней заговорил голос плоти: «Зачем ты напрасно терзаешь себя? Такою жизнью ты неизбежно убьешь себя. Лучше оставь эту глупость, пока не поздно. Еще есть время насладиться жизнью. Ты молода, твое тело скоро окрепнет. Живи, как прочие женщины, выйди замуж и рождай детей, чтобы умножить род человеческий. Разве и святые жены не были замужем? Взгляни на Сару, Ревекку, Лию, Рахиль. Зачем ты хочешь вести необычный образ жизни, который тебе все-таки не по силам?» Даже Франциск Ассизский не был свободен от таких наводнений; и он однажды в тишине ночи сказал себе: «Франциск, ты молод и еще успеешь покаяться в грехах, зачем же ты до срока изводишь себя бдением и молитвами?» До нас дошло от средних веков множество стихотворных диалогов между душою и телом, где душа после смерти горько упрекает тело за то, что оно своею слабостью обрекло ее на вечные муки.

Отношение Петрарки к аскетическому идеалу

Но Франциск Ассизский, услышав совет дьявола, сорвал с себя одежды и в холодную январскую ночь бросился вон и забился в густой терновник, который изодрал его тело в кровь. В Петрарке эта борьба ограничивается областью мысли: аскетический идеал сохранил еще власть над его умом, но не над волею. Мы видели, какие усилия он употребляет, чтобы заставить себя чувствовать так, как предписывал чувствовать аскетизм,—как он мучительными напряжением мысли возбуждает свое воображение, доводит себя до галлюцинаций, до слез, и как все это оказывается напрасным: придя в себя после галлюцинаций, он с ужасом замечает, что остался тем же человеком, каким был раньше, что страшные картины агонии и последнего суда прошли в его воображении, не оставив следа в его душе, что его слезы бесплодны: *mens immota manet, lacrymae volvuntur inanes*. Аскетизм в нем—уже не жизненный принцип, не активное начало, а унаследованный от предков и еще священный для него формальный закон, который противоречит всем его склонностям и стремлениям. Отсюда его пессимизм, его душевная болезнь—*acedia*: идеал, которому он считает нужным служить, мертв для него, а заменить его другим он не в силах. Старое мировоззрение уже не может служить противовесом против мирских стремлений и потребностей, которые действуют в Петрарке, но оно мертвым балластом еще тяготеет над ним; он сын переходной эпохи.

Отношение Петрарки к древности

Среди этого безвыходного томления, среди «гражданской войны своих забот» Петрарка инстинктивно нашел учителя и друга, который помогал ему уяснять себе смутные стремления, возникавшие в нем, и услаждал ему тяжелые минуты жизни: это была классическая литература.

Поэт от природы, Петрарка, был одарен незаурядным эстетическим чутьем и тонким му-

зыкальным слухом; за красоту формы он первоначально и полюбил римских классиков. Еще ребенком, в родительском доме, он прочитал несколько произведений Цицерона, и они произвели на него неизгладимое впечатление. «Еще не понимая их содержания,—разсказывал он позднее,—я не мог оторваться от них, пораженный сладостью и мелодичностью самых слов, и все другое, что мне случалось читать или слышать, казалось мне уже грубым и неблагозвучным». С этих пор чтение римских классиков сделалось его страстью. Он не оставил их и тогда, когда отец, сам юрист, желавший и сына сделать юристом, отправил его в Монпелье изучать право (1319); Петрарка и здесь продолжала. с увлечением изучать римскую литературу, тщательно скрывая свои занятия от отца. Он рассказывает, как однажды отец, приехав по делам в Монпелье и найдя у него несколько классических сочинений, разсердился и бросил их в огонь, чтобы они не отвлекали юношу от его университетских занятий. «Увидя это,—разсказывает Петрарка,—я разразился горьким рыданием, как если бы огонь жег мое собственное тело, и я хорошо помню, как отец, тронутый моими слезами, вынул из пламени две уже полубожженные книги—одною рукой Вергилия, другою—ретику Цицерона,—и, протягивая их мне, с улыбкой сказал: «Возьми их! сохрани эту для развлечения в редкие минуты, а эту—как пособие для твоих занятий правом». Четыре года спустя отец перевел молодого Петрарку для завершения юридического образования в Болонью; отдаленность этого города от Авиньона, где жили родители, избавила его от стеснительного надзора, и он мог с большей свободой предаваться изучению классиков, а спустя еще 3 года, в 1326 г., старик Петракко умер¹. «Сделавшись господином над самим собою,—говорит Петрарка,—я немедленно отправил в изгнание все юридические книги и вернулся к моим любимым занятиям; чем мучительнее была для меня разлука с ними, тем с большим жаром я снова принялся за них».

Эту страстную привязанность к латинским авторам (греческого языка он не знал) Петрарка сохранил до конца жизни. Высшее его наслаждение—чтение классиков; он неистощим в похвалах их мудрости и красноречию. Цицерон для него—величайший писатель всех времен и народов, гениальный и неподражаемый прозаик, который может не нравиться только тем, «кто либо не знает, что есть истинное и совершенное красноречие, либо ненавидит его». Его второй любимец—Вергилий. Еще в молодости он списал себе Вергилия вместе с комментариями Сервия, и эта книга всю жизнь была его неразлучным спутником, исключая нескольких лет, когда она была украдена у него; он записал в ней день кражи и день, когда она была возвращена ему, дни смерти сына, Лауры и друга Сократа. Цицерон и Вергилий для него—оба глаза латинской речи. «О великий творец римского красноречия,—пишет он Цицерону,—не я один, но мы все, украшающие себя цветами латинской речи, обязаны тебе благодарностью, потому что из твоих источников мы орошаем наши поля. Мы должны откровенно сознаться, что, руководимые тобою, на тебя опираясь и озаряемые блеском твоего имени, мы под твоим же покровительством дошли до нашего искусства в писании. Но у нас есть и другой вожь на поприще поэзии: судьба хотела, чтобы мы имели, за кем следовать и вольным, и стесненным шагом, чтобы у нас было кому удивляться и в плавной речи, и в пении». За Цицероном и Вергилием следуют Ливий, Плиний, Сенека, Варрон, Квинтилиан и другие; это его лучшие друзья, в их кругу он чувствует себя счастливым. Он пишет им дружеские письма, то упрекая их в непостоянстве и слабости, то

1 Поэт ради благозвучности изменил фамильное имя Петракко на Петрарку.

осыпая похвалами, то выражая сожаление об утрате их произведений. Сам он всю жизнь, не щадя трудов и издержек, собирает уцелевшие обломки античной литературы. Он неустанно поощряет своих многочисленных корреспондентов к розыскам, сообщает необходимые сведения о сочинениях, которых хотел бы получить, и посылает деньги на переписку их. Во время своих частых путешествий он не упускает случая порыться в монастырских книгохранилищах, и когда его поиски увенчиваются успехом, радость его безгранична. Эту радость он испытал дважды—найдя в Люттихе две неизвестные речи Цицерона, и в Вероне—полуистлевшую рукопись его писем. Зато он не мог простить себе пропажи Варроновских «Древностей», которые когда-то были у него, и был безутешен, когда узнал, что его старый учитель, Конвеневоле да Прато, внезапно скрылся, заложив или продав ссуженный ему Петраркою трактат Цицерона «О славе».

О том, как хорошо Петрарка знал своих классиков, свидетельствует каждая страница его латинских сочинений и писем. Если вспомнить, что у него не было под рукою никаких пособий в роде наших указателей и реальных энциклопедий, то объем его классической эрудиции покажется удивительным. Нет, кажется такого случая или положения, которого он не мог бы пояснить дюжиной примеров из древней истории или цитат из римских авторов. Он без запинки может перечислить все значения, в каких эпитет «золотой» встречается у того или другого из древних писателей. Желая показать, как ничтожна роль зубов в жизни человека, он без труда находит в древней истории несколько убедительных примеров: дочь Митридата имела вверху и внизу двойной ряд зубов, сын вифинского царя Прузия имел в нижней челюсти вместо зубов сплошную кость, а зубы царицы Зиновии были подобны жемчужинам,—и тем не менее все трое умерли. Поздравляя жену Карла IV с рождением дочери, он припоминает Изиду, Сафо, Сибиллу, Пентезилею, Клеопатру, Зиновию, Лукрецию, Клелию, Корнелию и Марцию; призывая Карла IV в Италию, цитирует стихи Горация, Вергилия, Лукана, Стация и Ювенала.

Римских классиков усердно читали и хорошо знали и в средние века. Ошибочно думать, что они были открыты в эпоху Возрождения. Большинство рукописей, по которым изучали их гуманисты, восходит к средним векам, и количество классических произведений, действительно извлеченных гуманистами из забвения, сравнительно ничтожно. Но средние века видели в произведениях латинских авторов лишь собрания всевозможных материалов—исторических, географических, естественно-научных и проч., и были далеки от мысли искать за частностями руководящих идей, стараться понять произведение в целом. Результатом такого отношения к древней литературе было чисто-детское представление о древнем мире, полное отсутствие исторической перспективы, полная неспособность понять своеобразность древнего быта и проникнуть в психологию древнего человека.

Петрарка полюбил римскую литературу за красоту формы и музыкальность языка, но с течением лет, по мере того, как он сам развивался и лучше узнавал ее, между ним и ею устанавливалась и другая, более глубокая связь. Он нашел в ней яркое выражение и поэтический апофеоз тех чувств и стремлений, которые смутно бродили в нем самом. Его натура неудержимо влекла его вон из мира трансцендентальных представлений в мир реальных вещей, и он уже наполовину жил в этом реальном мире,—а в древних авторах он нашел именно изображение человеческого духа в его взаимодействии с реальным миром; поэтому он так страстно полюбил этих авторов, и поэтому же он первый сумел понять их. Они

научили его формулировать то, чего до него никто не выражал: все безконечное разнообразие чувств и идей, возбуждаемых в человеке соприкосновением с реальной обстановкой, он нашел у них уже отчеканенными, вылитыми в сжатую и изящную форму. Отсюда его манера цитировать классиков. Его письма и трактаты кишат цитатами; он цитирует по всякому поводу, часто без всякой нужды; желая выразить нетерпение, с которым он ждет присылки одного из сочинений Августина, он цитирует Овидия:

Septima nox agitur, spatium mihi longius anno.

Но каждая из этих цитат есть частица нового мира, который открывает Петрарка, каждая из них заставляла сильнее биться его сердце. Его любовь к античной литературе и способность понять ее лучше всего свидетельствуют о том, какая глубокая пропасть отделяет его от средних веков.

Отношение Петрарки к схоластике

Мы сказали выше, что он наполовину жил уже в мире реальных вещей. Во всяком случае, трансцендентальная точка зрения на мир, на жизнь, на науку ему уже в значительной степени чужда; он инстинктивно ищет и любит во всем реальное. Этим определяется его отношение к современной ему науке. Он неистовым в насмешках над схоластиками, этой «новой породой чудовищ, вооруженных двулезвевой энтимемой»; он не может поверить, чтобы эта игра словами доставляла кому-нибудь удовольствие, и убежден, что ею занимаются только ради денег; университеты он называет разсадниками высокомерного невежества. Точно так же он презирает и все отрасли средневековой науки—астрологию, медицину, алхимию, грамматику. Он и себя называет философом, но философия, которой он следует, «живет не только в книгах, но в душах, и основана не на словах, а на вещах».

Интерес к реальному миру и к человеку

Достойным изучения ему кажется только то, что имеет непосредственное отношение к человеку. Богословие для него—наука о самопознании; учение о божественном исключается из богословия. «На что следует надеяться в божественных делах,—говорит он,—этот вопрос предоставим ангелам, из которых даже наивысшие пали под его тяжестью. Конечно, небожители должны обсуждать небесное, мы же—человеческое, и, может быть, было бы разумнее совсем не вступать на этот путь, крутой и опасный, чем останавливаться на середине его». Все науки должны иметь одну цель—содействовать усовершенствованию человека, самопознанию; поэтому он жестоко нападает на представителей схоластической философии и науки: первые играют пустыми словами и проводят время в бесплодных прениях, вторые исследуют тысячи ненужных вещей, и все одинаково забывают о человеке. О том, с каким вниманием сам Петрарка изучал реальную жизнь, свидетельствуют многочисленные и меткие наблюдения, разсеянные по всем его сочинениям. Одно из них—трактат «О средствах против счастья и несчастья»—есть как бы энциклопедия таких наблюдений; стараясь доказать суетность всякой радости и всякого горя, он перебирает всевозможные положения, в какие попадает человек, и при этом обнаруживает чрезвычайно близкое знакомство с условиями жизни и деятельности человека, с свойствами и потребностями его физической и духовной природы. Он путешествует, чтобы видеть новые места, и повсюду интересуется следами прошлого. В Неаполе он посещает места, описанным Вергилием, на Британском море ищет остров Туле, о котором читал у Вергилия и Сенеки, в Ахене посещает мнимую гроб-

ницу Карла Великого; для одного из своих друзей, желавшего предпринять путешествие к Св. Гробу, он составил толковый путеводитель, в котором отметил все исторические достопримечательности и красоты природы на пути от Генуи до Палестины и обратно через Египет в Италию. «Недавно,—пишет он,—я объехал Францию, не по делам, а из любознательности; я достиг Германии и берегов Рейна, повсюду наблюдая нравы людей, наслаждаясь созерцанием незнакомых стран и сравнивая все виденное с тем, что у нас».

Характер путешествий Петрарки

Средневековый человек не знал путешествий в современном смысле: он ехал всегда по делу—торговому или военному, религиозному (богомолье) или политическому (посольства). Петрарка, быть может, первый турист нового времени: он путешествует ради самого удовольствия путешествовать. Он любит природу и умеет наблюдать и описывать ее. Мы видели, как восторженно он описывает красоты Воклюза; он первый в литературе заговорил о красоте Ривьеры, и его описание Лигурийского залива может сравниться с лучшими изображениями картин природы, какая представляет всемирная литература. Вообще, он подробно описывает места, по которым проехал. Все это было ново и странно для его современников, и он многократно принимается объяснять своим друзьям, что побуждает его путешествовать. В 1336 году он поднялся на гору Ванту с единственной целью полюбоваться открывающимся оттуда видом; рассказывая об этом в письме к одному из друзей, он оправдывает себя тем, что если Филипп Македонский, уже в старости посетивший одну гору в Фессалии, не навлек этим на себя порицания, то, конечно, такой поступок простят и ему, юноше и частному человеку.

Свобода мысли

Он уже в значительной степени обладает тою духовною независимостью, отсутствие которой составляет одну из главных отличительных черт средневекового человека. Он во многих случаях делает свой ум критерием истины и считает свободу мысли неоспоримым правом каждого: «Пусть каждый следует своему убеждению,—говорит он,—ибо разнообразие мнений безгранично и свобода суждения бесспорна»; «нет выше свободы,—говорит он в другом месте,—чем свобода суждения, и, признавая ее за другими, я требую ее и для себя». Эта независимость мысли сделала его отцом исторической критики. Он первый усомнился в принадлежности некоторым авторам (Овидию, Сенеке, Амвросию и другим) сочинений, которые всеми приписывались им. В 1355 году император Карл IV прислал ему два письма Юлия Цезаря и Нерона, прося высказать мнение о них; эти письма подтверждали привилегии Австрии. Петрарка мастерски доказал их подложность. Цезарь в своем письме постоянно говорит о себе «мы», чего он в действительности никогда не делал; он называть себя Августом, тогда как всякий школьник знает, что этот титул впервые был принят Октавианом; он упоминает о своем дяде, которого не знает ни один из древних писателей; самое имя Австрии было в употреблении у народов, живших к западу от нея, а не у римлян, для которых она была скверной страной; в письме названы год и день, когда оно написано, и пропущен месяц, не указаны консулы того года. Такие же нелепости Петрарка указывает и в письме Нерона. Несмотря на свое восторженное отношение к Цицерону, Сенеке, Вергилию и другим классическим авторам, Петрарка и к ним относится совершенно самостоятельно; первых двух он не раз упрекает в нравственной шаткости и податливости, в Энеиде указывает хронологические несообразности. Иногда его критика вторгается даже в заповедную об-

ласть веры. Один из его противников, доказывая преимущества Авиньона пред Римом, привел, между прочим, отрывок из письма св. Бернарда к папе Евгению, содержащий чрезвычайно резкий отзыв о римлянах; Петрарка отвел этот довод таким рассуждением: конечно, он не сомневается в том, что в настоящее время Бернард—действительно святой, но в то время, когда написано разбираемое письмо, он был еще обыкновенный человек и, следовательно, был подвержен всем человеческим страстям; очень возможно, что римляне чем-нибудь разгневали его, и он в припадке раздражения отозвался о них презрительно. В другой раз Петрарка решился назвать поступок Брута достойным удивления, не стесняясь противоположным отзывом Орозия, который, по его мнению, судил с односторонней христианской точки зрения.

Стремление проявить свою индивидуальность в литературном творчестве

В противоположность средневековому писателю, которому понятие писательской индивидуальности так же чуждо, как и понятие литературной собственности, Петрарка сознательно стремится сохранить самостоятельность и в творчестве, и даже в языке. В предисловии к трактату об уединении он пишет: «В этом исследовании я опирался преимущественно на собственный опыт и не искал другого вожатая, да и не принял бы его, если бы он нашлся, потому что мои шаги свободнее, когда я следую внушениям моего собственного духа, чем когда иду по чужим следам». Он требует от писателей, чтобы они, заимствуя чужое, перерабатывали его самостоятельно, как пчела перерабатывает сок цветов; но еще выше он ставит самостоятельное творчество шелковичных червей. «Хочешь знать, какого мнения я держусь?—пишет он Боккаччио,—Я стараюсь идти по дороге, проложенной нашими предками, но не хочу рабски ступать в следы их ног. Я хочу не такого вождя, который на цепи тащил бы меня за собою, а такого, который шел бы впереди меня, только указывая мне путь; я никогда не соглашусь ради него отказаться от моих глаз, свободы и суждения; никогда никто не запретит мне идти, куда мне хочется, бежать того, что мне не нравится, пробовать свои силы над тем, чего до сих пор не касались, по произволу выбирать самую удобную или самую короткую тропинку, ускорять свои шаги или отдыхать, сворачивать с дороги или возвращаться назад». Он требует, чтобы слог был хотя бы груб и необработан, но оригинален; писатель—не актер, которому идет всякое платье; «каждый должен выработать себе свой собственный слог, потому что каждый имеет от природы нечто своеобразное и ему одному свойственное как в лице и манерах, так и в голосе, и речи». Он сам действительно выработал себе совершенно индивидуальный слог, овладев латинским языком, как живую речь. Он первый порвал с условностью средневековой стилистики. Его слог легок, гибок и кипуч; в нем нет и следа чопорности, шаблонности, безжизненности средневековой латыни. Но в нем нет и рабского цидеронианства позднейших гуманистов; он облекает свою мысль в оригинальную форму, а не пригоняет ее к готовым формулам классического языка.

Выступление из сословной организации

Он умеет уже не только мыслить и писать независимо, но, что более всего замечательно,—он умеет жить один. Незаметно для самого себя, повинаясь внутреннему импульсу, он выступил из сословной организации средневекового общества; формально он—клирик, в действительности он—вполне независимый человек, литератор. Средневековый человек не умел жить вне рамок цеха или сословия, Петрарка боится этих рамок. Он не принадлежит

ни к какому духовному ордену, ни к какой политической партии, он упорно отказывается занять какую-либо должность, которая могла бы ограничить его свободу. Его индивидуальная свобода для него дороже богатств и почестей, и чтобы оградить ее, он удаляется в уединение. Средневековый человек тоже нередко бежал от мира в тишину монастырской кельи, но он делал это—по крайней мере, в теории—с целью умертвить свое личное «я»; Петрарка бежит из шумного города потому, «что это зрелище отталкивает ум, приученный к возвышенному, лишает покоя благородный дух и делает невозможными серьезные занятия, т. е. потому, что эта обстановка стесняет его индивидуальность и тормозит ее свободное развитие.

Жажда славы

Но высшим проявлением личного самосознания была в Петрарке его страстная, бездельная, пожирающая жажда славы. Мысль о том, что действие его личности ограничено пространством и временем, что оно прекратится с концом его земной жизни, невыносима для него; как в жизни он обособляется от толпы, так его влечет и в истории стать особняком от нея и над нею. Он сам рассказывает, что мысль о славе владела им уже в детстве; «она,—говорит он,—заставила меня, еще неоперенного, покинуть теплое гнездо и устремить свой полет к далекому небу». Знакомство с древнею литературой и историей должно было разжечь в нем жажду славы: здесь он нашел и теоретическую формулировку, и яркое воплощение этого чувства, здесь же видел блестящие примеры его осуществления—примеры действительно достигнутого бессмертия. Мысль поставить свое имя в ряд этих бессмертных имен, быть самому спустя столетия предметом поклонения для потомков, каким Цицерон, Вергилий, Сенека были для него,—эта мысль должна была опьянить его; и она действительно сделалась его манией.

Средневековому писателю была чужда мысль о славе: какую цену могла иметь для него, презиравшего все земное, земная слава, и какое право имел он присвоивать себе хвалу за то, что было внушено ему свыше? Он считал себя орудием высшей воли, свой талант—даром Бога; поэтому он часто даже не выставлял своего имени на сочинении: не все ли равно, чьими устами вещает людям божественная мудрость? Он кончал свой труд обыкновенно молитвой о том, чтобы Спаситель или его патрон-святой сжалились над его грешною душой, и просьбой к читателям—молиться о ней. Петрарка кончает предисловие к своим «Жизнеописаниям знаменитых мужей» такими словами: «Если мой труд удовлетворит твои ожидания, то я не требую никакой другой награды, как только, чтобы ты любил меня, хотя бы я лично и не был тебе знаком, хотя бы я уже лежал в могиле и обратился в прах».

Он несчетное число раз и во все периоды своей жизни, даже в глубокой старости, признает жажду славы своею сильнейшею страстью. Он знает, что это стремление греховно и суебно, что оно враждебно добродетели и что ему следует с корнем вырвать его из своего сердца, но он признается, что не в силах сделать это; «жажда славы,—говорит он в одной канцоне,—убаюкивала меня в колыбели, вместе со мною росла изо дня в день, и я боюсь, что нас обоих примет одна могила». Он многократно признается, что слава—единственная цель всех его ученых занятий, всей его литературной деятельности: «цель моих трудов—почет бессмертной известности и славы» (*est mihi famae Immortalis honos et gloria meta laborum*). В своем лихорадочном нетерпении он не довольствуется прямым путем, ведущим писателя к славе; он хочет еще при жизни увидеть свой памятник и сам носить камни для

него. Сколько бессонных ночей, хлопот и тревог стоил ему лавровый венок, сколько лжи и лести! Иногда он сам протягивает руку и просит награды, как в приведенном выше отрывке из «Жизнеописаний знаменитых мужей». Он ревниво оберегает свою славу от посягательств, он не терпит ни противоречия, ни соперничества, его хвастовство и тщеславие, прикрытия нередко лицемерным самоуничижением, не знают границ. Наконец, эта же ненасытная страсть подвигла его на поступок, неслыханный в прежние века,—прямо, чрез головы завистливых и враждебных современников, снести с потомством, самому поведать ему свое имя и свои заслуги. Вот первые строки его «Письма к потомкам», автобиографии, написанной им незадолго до смерти. «Быть может, ты уже слышал что-нибудь обо мне (хотя сомнительно, чтобы мое ничтожное и неизвестное имя дошло до тебя чрез долгий промежуток времени и далекое пространство) и желаешь поэтому точнее знать, какой я был человек и каковы мои произведения, по крайней мере те, о которых ты слышал, что они существуют. Так как обо мне, наверное, будут распространены всевозможные слухи—ибо каждый говорит, повинаясь не истине, а минутному влечению, и никто не соблюдает меры ни в порицании, ни в хвале,—то я хочу сам сказать, что я был смертный человек, как и вы сами»...

Известность Петрарки

И жизнь утолила его жажду до пресыщения. Более, чем Эразм в XVI-м и Вольтер в XVIII-м веке, Петрарка был кумиром своих современников. Император, папы, князья, светские и духовные вельможи наперерыв искали его дружбы, ухаживали за ним, осыпали его почестями и подарками. Знатные и образованные люди приезжали из Франции и Италии единственно с целью увидеть его, насладиться его беседою. Когда он в 1350 году проездом остановился в своем родном городе Ареццо, граждане приготовили ему торжественную встречу и с триумфом провели его по улицам к дому, где он родился; этот дом еще раньше было постановлено сохранять неприкосновенным,—он цел и доньше. В следующем году Флоренция решила основать для него кафедру свободных наук и пригласила его переселиться в город, «уважающий его так, как если бы в нем снова облеклись в плоть дух Вергилия и красноречие Цицерона»; при этом республика предлагала вернуть ему земли, конфискованные у его отца. Венецианский сенат в декрете, адресованном Петрарке, говорит о нем, что слава его во всей вселенной так велика, что на памяти людей между христианами не было и ныне нет философа или поэта, который мог бы сравниться с ним. Друзья и чужие говорят о нем в тоне почти религиозного благоговения. Пармский юрист Дзаморео воспеваает его в гекзаметрах, как отца муз, второго Гомера и Марона, чья слава, как солнце, затмевает все остальные светила. Боккаччио называет его хранилищем истины, красотою и радостью добродетели, образцом христианской святости. После его смерти Доменико из Ареццо пишет, что хотел бы многое рассказать о нем, но лишь только вспомнит о нем, из его глаз текут слезы, и дрожащая рука отказывается писать. В 1341 году один старый и слепой учитель из Понтремоли, некогда сам писавший стихи, узнав, что Петрарка находится в Неаполе, решил отправиться туда, чтобы услышать его речь и поцеловать его руку. Когда он, опираясь на плечо своего единственного сына, прибыл в Неаполь, поэта уже не было там; тщетно искал его старик и в Риме; только в Парме удалось ему застать Петрарку, и он три дня не разлучался с ним. В Бергамо жил ювелир, по имени Энрико Капра, восторжен-

ный поклонник Петрарки; он долго искал случая познакомиться с поэтом, и это ему наконец удалось; тогда у него явилось честолюбивое желание увидеть Петрарку гостем в своем доме, и он так настойчиво просил, что поэт, наконец, согласился исполнить его пламенное желание. Когда он прибыл в Бергамо, у ворот города его торжественно встретили власти и почетные лица коммуны, приглашая остановиться либо в ратуше, либо в доме одного из знатнейших граждан города; ювелир с трепетом ждал решения, но Петрарка остался верен данному слову. Угощение было царское; счастье ювелира было так велико, что родные опасались за его разум. Когда вышел трактат Петрарки об уединении, один старый камальдильский приор, не найдя в числе поименованных автором святых отшельников Ромуальда, основателя своего ордена, послал Петрарке его житие с настойчивою просьбой исправить эту ошибку; когда сделалось известным, что поэт исполнил желание приора, другой знакомый Петрарки потребовал того же почета для Иоанна из Валломброзы. Один врач из Сиены писал Петрарке, что многия места этого трактата исторгли у него слезы, а кавальонский епископ заставлял братию читать за трапезой отдельные главы его.

Его историческое значение

Петрарка не достиг бы такой славы при жизни, если бы далеко опередил свой век. Действительно, Боккаччио, его современник, переживает ту же душевную борьбу, что и он; увлечение древностью еще при Петрарке и в значительной мере независимо от его влияния охватывает всю мыслящую Италию. Но в нем, как в крупном художнике, кризис его времени совершался с несравненно большею напряженностью и силой, чем в остальных его современниках; он первый, благодаря этой самой интенсивности своей духовной жизни и благодаря своему большому литературному дарованию, ярко и в обаятельной форме выразил чувства и стремления, волновавшие его поколение; наконец, новые потребности, будущи в нем ярче и интенсивнее, чем в его современниках, заставили его первым в различных областях жизни и мысли выступить из рамок традиции. Так, кажется, можно определить историческую роль Петрарки.

М. Гершензон.

LXXXVI. Роджер Бэкон

Значение Бэкона в истории средневековой мысли

Роджер Бэкон замечателен в истории средневековой мысли, во-первых, тем, что он еще в XIII веке поднял знамя того возстания против опиравшагося на Аристотеля схоластического метода мышления, которое достигло своего кульминационного пункта лишь гораздо позже; сначала в лице итальянских физиков и философов XVI века (Телезия, Патриция, Джиордано Бруно и др.), а затем в деятельности Петра Рамуса и лорда Франциска Бэкона Веруламского. Предвосхищая основную мысль последнего, Р. Бэкон горячо отстаивает права опытного метода, доказывает необходимость не ограничиваться схоластическим выводением умозаключений из непроверенных общих положений, а обратиться к прямому, опытному исследованию природы. В связи с этим Р. Бэкон заслуживает внимания, во-вторых, как самый выдающийся естествоиспытатель средних веков, как единственный самостоятельный мыслитель в области естественных наук, бывших тогда почти в полном пренебрежении.

Скажем сначала об общем состоянии средневековой науки и ее методов.

Схоластическое мышление. Аристотель.

Средневековая наука и философия воспитались (помимо св. Писания) на греко-римской древности, преимущественно на Аристотеле¹. Аристотель был непререкаемым авторитетом для схоластиков; он назывался просто *philosophus*, был как бы единственным фило-

Источники: *Fr. R. Bacon Opus majus*. Ed. S. Jebb. Londini. 1733. *Fr. R. Bacon opera quaedam hactenus inedita*. Vol. I, containing *Opus tertium, Opus minus, Compendium philosophiae*. Ed. J. S. Brewer. London. 1859 (в серии *Rerum Britannicarum medii aevi scriptores*). — **Пособия:** *E. Charles*. Roger Bacon. Paris. 1864. *Д. С. Милль*. Система логики. Пер. под ред. В. Н. Ивановского. М. 1897—99 г. *Haureau*. Histoire de la philosophie scolastique. Paris. 1878 г. и след., 2 vol. *Fr. Ueberweg*. Grundriss der Geschichte der Philosophie, II. *Fr. Bacon's Novum Organum*. ed. T. Fowler. Oxford. 1889. *В. Уэвель*. История индуктивных наук. Пер. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. Спб. 1867. *Renan*. Averroes et l'averroisme и др. сочинения по истории философии.

1 Общую характеристику схоластики см. во II выпуске (статья «Мистика и схоластика XI—XII веков»)

софом, несравнимым со всеми другими. Схоластики сами называли себя его учениками, «перипатетиками»; они усвоили себе не только его теории, но и его метод—со всеми их достоинствами и недостатками.

Аристотель, завершивший свою философию блестящее развитие греческой мысли классического периода, создал мировоззрение, которое, при всей своей стройности и выработанности, страдало в некоторых отношениях большими недостатками. А именно, прежде всего, мышление Аристотеля слишком подчинялось *популярной речи или обычному словопотреблению*: вместо того, чтобы наследовать, что именно есть в действительности, он часто обращается к языку и ищет указаний на *факты в словах*. Из греков вообще почти никто не знал ни одного языка, кроме своего родного; поэтому им было чрезвычайно трудно различать такие вещи, которые смешивал их язык, и соединять умственно те, которые он различал,—и научные исследования греческих философских школ и их средневековых последователей (схоластиков) представляют собою немногим больше простого выделения и разложения понятий, связанных с терминами популярной речи: все эти мыслители думали, что, определяя значение слов, они могут познакомиться и с фактами. Другою важною причиною ошибок Аристотеля служило общее ему со многими мыслителями древности и средних веков мнение, будто к природе приложимы те понятия, которые выработаны людьми для явлений нравственного порядка: понятия блага, совершенства, красоты и т. п.; дальше мы увидим примеры ошибочного пользования такими понятиями со стороны Аристотеля. Далее, надо указать еще и на то, что Аристотель обращал недостаточно внимания на тот фактический материал, которым он пользовался для построения своих теорий. Так, приводимые им факты не всегда точны и полны—потому ли, что сам он впадал при наблюдениях в ошибки или потому, что он слишком полагался на чужия описания. Опытов он тоже производил далеко недостаточно; так, например, в подтверждение того, что некоторые органы животных могут восстанавливаться, он ссылается на опыт, который будто бы показывает, что у молодых птиц глаза вырастают вновь, если их вырезать; само собою разумеется, что опыт (если бы его Аристотель действительно произвел) дал бы противоположный результат. Часто под видом показаний наблюдения и опыта, Аристотель приводит просто ходячие рассказы: так, он говорит, будто у льва шея состоит не из позвонков, а из одной цельной кости, будто у крокодила верхняя челюсть подвижна и т. п.

Эти недостатки учений Аристотеля особенно заметны на его механических и физических теориях. Вот несколько примеров таких ошибочных рассуждений. «Пустоты нет и быть не может»... Это положение Аристотель доказывает таким рассуждением: пустота есть *лишение* или *отрицание вещества*, своего рода *ничто*; в «ничто» нет и не может быть никаких частей, никаких различий; поэтому и в пустоте не может быть никаких различий, а следовательно, и различий между «верхом» и «низом»; а раз в ней нет ни верха, ни низа, конечно, и тела не могут двигаться в ней ни «вверх», ни «вниз»; между тем движение тел вверх и вниз мы называем присущими их природе, *естественными* для них. Следовательно, эти движения должны всегда существовать; а так как их нет и не может быть в пустоте, то пустота невозможна.

Или вот еще одно рассуждение Аристотеля: мировая сфера вращается на своей оси; ее вращает «Первый двигатель», являющийся причиною всякого движения в мире, но сам неподвижный... Где находится этот Первый двигатель: в центре мира или на его внешней по-

верхности? На внешней поверхности, решает Аристотель: ибо внешняя поверхность мира движется быстрее его внутренних частей; а более быстрое движение можно объяснить только большею близостью к источнику движения.

В начале своего сочинения «О небе» Аристотель доказывает *совершенство* мира так: «тела, из которых состоит мир, имеют три измерения; а три есть *самое совершенное число*: это—*первое* из чисел, потому что единицу мы не можем считать «числом»; о «двух» мы говорим «оба»; три же есть первое число, о котором мы говорим *все*; кроме того, оно имеет начало, средину и конец» и т. д., и т. д.

Недостатки схоластики

У схоластиков все вышеуказанные недостатки были еще сильнее, чем у Аристотеля: их грубое мышление не было в состоянии разобраться и в том, в чем легко разбирались тонкие и проницательные греческие мыслители.

Кроме того, самое происхождение схоластики загораживало от нея прямое исследование природы, направляя ее силы на изучение книг, а не действительности, авторитетов, а не фактов. Схоластика возникла из необходимости развить, истолковать и обосновать учение о религии по правилам аристотелевской логики; но уже вскоре она признала Аристотеля своим вторым (после св. Писания) авторитетом и стала соединять в единое целое мировоззрение оба свои источника, стала приспособлять Аристотеля к св. Писанию, обрабатывать его с точки зрения христианского вероучения. При этом схоластике приходилось, конечно, особенно часто прибегать к истолкованиям, к соглашениям, к подсчитыванию авторитетов и т. п., и изучение самой действительности, стоявшее еще довольно высоко у Аристотеля (несмотря на все его промахи), у схоластиков отошло совсем на задний план.

Заслуги схоластики

Правда, на этом трудном и неблагодарном поприще истолкования чужих мыслей схоластики обнаружили такую силу, тонкость и точность логической мысли, такую умственную ловкость и изворотливость, что, хотя они добыли мало действительно ценных приобретений для общей сокровищницы человеческого знания, зато они воспитали в своих современниках благородное стремление к умственной деятельности и крепкую логику, точность языка и последовательность мышления. Схоластика для своего времени была, несомненно, большим шагом вперед: она защищала права мысли и сама часто за них страдала; она воспитывала в своей трудной школе пастырей и учителей церкви, простых священников и пап, проповедников и ученых, легистов и правителей, и через них влияла на весь строй общественной и церковной жизни, на нравы и понятия, на идеалы и жизненный обиход средних веков; она создала и вырастила для своих потребностей университеты и через них установила тесное общение и благоприятную среду для быстрого распространения новых умственных запросов и новых идей; она объединила в умственном отношении всю Западную Европу так же, как католицизм и власть римского папы объединяли ее в отношении религиозно-церковном, как латынь—в отношении языка.

Но, повторяем, несмотря на эти заслуги, схоластика носила в себе все недостатки аристотелевского мышления, притом еще в усиленной степени, сравнительно с Аристотелем. И вот, едва ли не первым, кто ясно увидел эти недостатки, кто разоблачил их и указал средства для их исправления, был гениальный францисканский монах Роджер Бэкон.

Р. Бэкон

Р. Бэкон, по происхождению англичанин, родился около 1214 г. близ Ильчестера (в графстве Сомерсет). Он происходит из зажиточной рыцарской семьи, учился в Оксфордском университете, где в то время наиболее видными профессорами были выдающийся математик Адам Марч и Роберт Гросстет¹ (Grossum Caput, Greathead, Grossetete—Большоголовый), впоследствии епископ линкольнский, замечательно разносторонний ученый и в то же время видный политический деятель в эпоху Генриха III. Как Адам Марч, так и Роберт, принадлежали к партии баронов, во главе которой стоял Симон де-Монфор. Напротив, семья Бэконов стояла за короля; братья Роджера Бэкона потеряли даже в этой борьбе свое состояние.

В Оксфордском университете того времени, в отличие от Парижа, преподавание не сосредоточивалось на богословии, а включало и целый ряд других предметов: там были люди, знавшие греческий язык (Роберт Гросстет изучил его, будучи 70 лет от роду), а, вероятно, также и еврейский с арабским; там много занимались математикой, физикой, астрономией, алхимией, производили много опытов; там было довольно сильно влияние *арабской* философии, которая более, чем аристотелевская, опиралась на опыт.

Философия и наука у арабов

Арабы, особенно при халифах из дома аббасидов, быстро усвоили плоды греческого просвещения и даже сделали кое-что для дальнейшего развития науки. С произведениями Аристотеля и других греческих мыслителей арабы ознакомились через сирийских несториан (христианских еретиков, последователей константинопольского епископа Нестория), бежавших в V веке от беспощадных преследований византийских императоров в Персию и Месопотамию и там нашедших себе приют. Несториане принесли с собою в Персию и многие из произведений греческой философии в сирийских переводах. В VIII и IX веках по Р. Х. были переведены на арабский язык (с сирийского) все главнейшие сочинения греческих философов; в это время (особенно при халифе Аль-Мамуне, в начале IX века) Багдад был центром оживленной научной деятельности. В его школах, а также в школах других крупнейших городов: Самарканда, Басры, Каира, Александрии, Кордовы, читались и толковались Платон и Аристотель, новоплатоники, греческие географы, врачи и астрономы, были устроены библиотеки и обсерватории. Представителями арабской науки и философии были по большей части не духовные лица (как это имело место в Западной Европе), а врачи. Поэтому там изучение античной медицины и естествознания шло рука об руку с изучением философии: Гиппократ и Гален читали и переводили не меньше, чем Платона и Аристотеля. Особенно значительных (по тому времени) успехов арабы достигли в физиологии, химии, механике, оптике, минералогии². А. Гумбольдт думал, что в «арабах надо видеть истинных основателей физических наук в том смысле, какой мы тесно соединяем с этим наименованием». По мнению Гумбольдта, арабы первые ввели настоящий научный «опыт»: Аристотель и другие греческие ученые производили только наблюдения. Если даже

1 О нем см. выпуск III, стр. 77 сл.

2 О влиянии арабов, их науки и культуры, их открытий и изобретений на Западную Европу можно судить по массе понятий и терминов, усвоенных западно-европейскими языками из арабского. Слова: цифра, алгебра, адмирал, эскадра, флот, фрегат, барка, зенит, надир, алхимия, алкоголь, эликсир, гашиш, и множество других—арабского происхождения. У арабов же заимствованы знаки наших цифр и нот, название многих звезд (Вега, Альдебаран и др.) и т. п.

в этом отзыве и есть преувеличение, то во всяком случае заслуги арабов перед естествознанием довольно значительны, особенно в сравнении с тем, что в ту эпоху сделали для этой отрасли знаний западно-европейские схоластики. Из арабских ученых в багдадском халифате особенно знаменит был Авиценна (980—1038 г.), «князь врачей», в течение нескольких веков бывший авторитетом для европейских медиков; его *Canon medicinae* был настольною книгой средневековых врачей. Кроме того, Авиценна имел большое влияние как автор философских сочинений, особенно по метафизике и логике, в которых он близко следует Аристотелю. Из испанско-арабских мыслителей особенно большое значение в средневековой Западной Европе имел Аверроэс (1126—1198 г.), написавший ряд комментариев почти ко всем сочинениям Аристотеля и называвшийся поэтому «комментатором». «Аверроизм» в средние века считался еретическою философиею, так как он выводил из Аристотеля противным христианству учения: о вечности мира и материи, о том, что личного бессмертия нет, и др.

Евреи знакомят Зап. Европу с Аристотелем и арабской философией

В Западную Европу эта арабская философская литература проникла в самом конце XII и в начале XIII вв. при следующих обстоятельствах. В это время в арабской Испании начались смуты; кордовский халифат стал быстро слабеть и разлагаться... Проснулся и религиозный фанатизм арабов, раньше сдерживавшийся мирным развитием и культурным процветанием Испании. Тяжелее всего приходилось от него евреям, которые стали массами переходить из Испании в южную Францию, принося с собою как свою, еврейскую литературу, так и сочинения арабских и греческих мыслителей (в переводах). Уже и ранее, правда, переводили древния сочинения в южной Италии и в Испании (в Толедо одно время существовала целая коллегия переводчиков). Но теперь, благодаря наплыву новых арабских и еврейских рукописей и людей, знакомых с этими языками, эта переводная деятельность получила новый толчок, и вскоре арабская философская литература стала распространяться и по Западной Европе. Одним из мест, где эта литература была хорошо принята, и был Оксфорд в ту эпоху, когда в нем учился Бэкон.

Надо заметить, что испанские евреи познакомили Европу не только с арабскою философией, но и с Аристотелем—в его полном составе. Дело в том, что до конца XII века в Европе знали в латинских переводах лишь немногия (преимущественно логическая) сочинения Аристотеля. Теперь же были переведены (с арабского и еврейского) и остальные его сочинения: по метафизике, физике, психологии, естественным наукам. Появление этих переводов составило эпоху в развитии схоластической философии. Если раньше средневековая философская мысль вращалась преимущественно около таких вопросов, как вопрос о природе универсалий¹, то теперь стала возможною разработка (на основах, данных Аристотелем) всех отделов знания. Поэтому обыкновенно историю схоластической философии и делят на 2 периода: первый (приблизительно до 1200 года) есть период неполного знакомства с Аристотелем; второй есть время ознакомления со всеми его произведениями, время полного усвоения и переработки учений этого философа.

Торжество философии Аристотеля

Впрочем, Аристотель одержал победу над средневековою мыслью не сразу. Католиче-

1 См. статью «Мистика и схоластика XI—XII веков» (во II выпуске).

ская церковь была в самом начале XIII века напугана новыми, пантеистическими ересями, а потому строго запретила не только чтение, но даже и хранение у себя каких бы то ни было сочинений Аристотеля, кроме логических (логические сочинения его издавна изучались в школах; к тому же знакомство с логическими правилами было необходимо при изучении богословия). Такие запрещения были изданы в 1209 и 1215 годах. Но, несмотря на это, уже в 1231 году папа Григорий IX приказал лучшим из богословов Парижского университета «разобрать недавно запрещенные книги по естественной философии и, тщательно устранив и исключивши из них всякия заблуждения, остальные части их допустить к изучению немедленно и без опасений». С этого момента началось преобладание в университетах Аристотелевской философии. Особенно много сделали в этом направлении нищенствующие братья: францисканцы и доминиканцы, которым и принадлежат честь соглашения Аристотеля с учениями католицизма, честь выработки «средневекового мировоззрения»¹.

Бэкон в Париже и Оксфорде

Таково было в общих чертах положение дел в «республике ученых» в то время, когда Р. Бэкон кончил свое учение в Оксфорде. По обычаю того времени, ему теперь следовало отправиться за дальнейшею наукой в центр тогдашней умственной жизни—в Парижский университет. Бэкон так и сделал: он провел в Париже целых 13 лет (1237—1250 г.). Хотя это было цветущее время Парижского университета, хотя в нем преподавали тогда наиболее знаменитые ученые из нищенствующих, однако, Бэкон остался совершенно недоволен парижскою наукой: все эти доминиканцы и францисканцы были, по его мнению, невежды, в сравнении с Робертом Гроссетом и другими оксфордскими учителями Бэкона. Бэкона возмущало то, что парижские ученые работают не над источниками знания и мудрости, не над самим св. Писанием, а над разными комментаторами и излагателями, особенно над *Liber sententiarum* Петра Ломбарда. Эта книга пользуется у них большим вниманием, чем самые источники вероучения. Все эти ученые изучают только чужия мнения; никто из них не знакомится с самою природою, не подвергает ее опытному исследованию...

В 1250 г. Бэкон вернулся в Оксфорд. Через некоторое время умерли его прежние друзья и покровители: Роберт Гроссет скончался в 1253 г., а Адам Марч в 1257 г.,—и Бэкон остался одиноким. По одним сведениям, он именно в это время стал монахом францис-

1 Уже в первой половине XIII века среди францисканцев явился знаменитый Александр Гэльс (ум. 1245), написавший обширный свод католического богословия (*Summa theologiae*) и получивший за это почетное прозвище *doctor irrefragabilis* («неопровержимый ученый»). Его «Сумма» послужила образцом для многих других. Вскоре и доминиканцы выдвинули Гэльсу достойного соперника в лице немца Альберта (1193—1280), прозванного за свою ученость «Великим» и слышавшего в народе чародеем. Из учеников Альберта самый знаменитый—Фома Аквинский (1227—1274), высший представитель католического богословия, возведенный западною церковью в 1323 г. во святые. Его учения были приняты почти всею католическою церковью; одни францисканцы были всегда противниками «томизма». Фома назывался *doctor angelicus*, *angelus scholarum* («ангельский ученый», «ангел школ»). И даже в наше время, когда папам приходится защищать и возстанавливать католицизм, они не могут найти для этой цели ничего лучше сочинений св. Фомы. В 1879 г. всем верным католикам рекомендовано изучение сочинений Фомы; а папа Лев XIII предпринял на свой счет великолепное их издание. Кроме того, сейчас во всех католических странах Зап. Европы выходят журналы и книги, ставящие своею задачею изложение и соглашение с современною наукою учений Фомы.

Из среды францисканцев противником Фомы Аквинского явился Дунс Скот (1274—1308), прозванный за тонкость своей диалектики *doctor subtilis* («утонченный»).

канского ордена; по другим, он поступил в него значительно раньше. Независимость характера и резкость языка навлекли на Бэкона неудовольствие генерала ордена Иоанна Бонавентуры. Десять лет (1257—1267) провел Бэкон в опале... Все это время он лишь с большим трудом мог продолжать свои научные занятия, так как невежественные и подозрительно к нему относившиеся монахи смотрели на него, как на чародея, и приходили в суевенный ужас, когда он принимался за свои вычисления и астрономические таблицы или пробовал научить кого-нибудь наблюдать положение звезд...

Сношения Бэкона с папой Климентом IV

Наконец, судьба сжалилась над ним. В 1265 г. на папский престол был избран, под именем Климента IV, кардинал Гвидо Фулькоди (или, по-французски, Гюи де-Фульк), слыхавший кое-что о Бэконе. А именно, в 1263 или 1264 году кардинал Гвидо Фулькоди, бывший тогда епископом сабинским, приезжал, в качестве папского легата, в Англию с целью помирить возставших баронов с королем Генрихом III. В это свое пребывание в Англии Гвидо Фулькоди заинтересовался ученым оксфордским монахом; он много слышал о нем, хотя лично, повидимому, не видал его. Когда же кардинал Фулькоди был избран на папский престол, Бэкон решился напомнить ему о себе и тайком, через одного рыцаря, переслал ему письмо, в котором извещал о своем печальном положении, жаловался на притеснения, которые он терпит, указывал на упадок науки и на главные препятствия ее преуспеянию и рекомендовал некоторые средства улучшить положение дела. Вскоре от папы пришел ответ, в котором папа приказывал Бэкону, не обращая внимания на притеснения, тайно написать и прислать ему сочинение, подробно излагающее вопросы, затронутые Бэконом в его письме.

Положение Бэкона было очень трудное: папа не прислал денег; между тем письменные материалы были дороги, надо было платить переписчику; приходилось бояться и за свой труд, и за сохранение тайны. Но могучая энергия Бэкона превозмогла все: он отказывал себе в самом необходимом, занимал, у кого мог, деньги и, наконец, послал папе с доверенным лицом первое и главное сочинение свое—*Opus Majus*, а вскоре затем еще *Opus Minus* и *Opus Tertium*. Посылая их, Бэкон извинялся, что не может, как того хотел папа, дать сейчас же законченное изложение всей системы знания; все эти три произведения—просто очерки, программы для будущих работ; выработать законченное учение не под силу даже соединенным трудам большого количества хорошо подготовленных ученых.

Внимание со стороны папы сделало более сносным положение Бэкона,—однако, не надолго: Климент IV уже в 1268 г. умер, и на папский престол вступил Григорий X, относившийся враждебно к Бэкону.

Несколько лет, впрочем, его еще не трогали, и до 1278 года он жил большею частью в Оксфорде. Впоследствии здесь хранилось много рассказов о чудесах магии, которые он будто бы делал, и с некоторым страхом показывали башню, служившую ему обсерваторией, и передавали, как этот монах—один смотрел по ночам на небо, окруженный какими-то приборами и инструментами, чертил круги и т. п. загадочные знаки, что-то вычислял и записывал. За эти-то никому тогда непонятные наблюдения и вычисления Бэкон и получил прозвание *doctor mirabilis* («ученый, возбуждающий удивление»).

Бэкон в заключении

В 1277 г. парижский епископ Этьен Тампье объявил еретическими и торжественно осудил более 200 философских положений, бывших в ходу в университетском преподавании того времени и шедших, главным образом, из арабских источников. В числе их были и некоторые—большую часть, астрологические—учения Бэкона, который вообще очень высоко ставил астрологию.

Астрология являлась, в сущности, зачаточной формой самой строгой и точной из современных естественных наук—астрономии. Но астрологи того времени, и в числе их Бэкон, шли гораздо далее того, что можно было доказать научными методами, и часто увлекались совершенными химерами. Так, Бэкон говорит серьезно о гороскопах (т. е. о судьбе, выведенной на основании сочетаний созвездий) иудейской, христианской и магометанской религий; высказывает мысль, что самые религии, их возникновение и падение зависят от сочетаний небесных тел. «Астрономы выводят шесть главных сект: секту Сатурна—иудейскую, секту Марса—халдейскую, секту Солнца—египетскую, секту Венеры—сарацинскую и секту Меркурия... это и есть закон христианский, исполненный мудрости и красноречия, закон пророка, рожденного Девой. Секта луны есть секта мерзости и зла, секта антихриста»¹. Христианская религия, по этому странному взгляду, возникла вследствие соединения планет Юпитера и Меркурия; соединение же Луны с Юпитером послужит будто бы причиной полного уничтожения всех религиозных верований. За такие еретические мнения Бэкон был в 1278 г. посажен в заключение, из которого вышел только через 14 лет—семи-десяти восьмилетним стариком. Силы его были совершенно надорваны, и в 1294 г. он умер.

Бэкон как обличитель современников

Преследования, которые терпел Бэкон, объяснялись, впрочем, не одними его астрологическими заблуждениями; его преследовали за тот дух резкого протеста, критики и отрицания средневековых форм жизни, который жил в нем. Бэкон смело указывал на те недостатки и пороки, в которых погрязало все тогдашнее духовенство, долженствовавшее служить примером для мирян. «Везде царит полнейшая испорченность, начиная с самого верха,—говорит он.—Святой престол стал добычей обмана и лжи; справедливость гибнет, мир нарушается, постоянно совершаются возмутительные вещи (scandala). Нравы там развращены; там царствует гордыня, процветает стяжательность, зависть гложет людей, роскошь позорит весь папский двор, там всеми овладела прозорливость... Вот уже несколько лет святой престол пустует из-за интриг, зависти и происков честолюбия... Если таково положение главы церкви, то каковы же члены?! Посмотрите на прелатов, жадно собирающих богатства; не заботясь о вверенных им душах, они хлопочут за своих родственников и мирских друзей... или на коварных законников, смущающих весь мир своими наветами. Между тем труженики, всю жизнь занимающиеся философией и теологией, у всех в презрении!.. Посмотрите, далее, на монахов всех орденов без исключения; как сильно отклонились все они от того, чем они должны были бы быть! как страшно упали, как много потеряли новые² ордена из своего прежнего достоинства! Все духовенство предано гордости, роскоши, жадности. Клирики, где только они ни соберутся в большом числе: в Париже или Оксфорде, смущают всех мирян побоищами, безчинствами и прочими пороками... Князья, бароны и рыцари

1 Opus Tertium, pp. 271—2.

2 Т. е. нищенствующие (францисканцы и доминиканцы).

притесняют и грабят одни других, разоряют своих подданных бесконечными войнами и поборами; им нравится присвоивать себе чужое добро—даже чужия герцогства и королевства, как мы это видим в наши дни. Ведь известно, что король Франции и совершенно незаконно отнял у короля Англии обширные владения¹. Точно так же и Карл совершенно разгромил наследников Фридриха². Никто не заботится о том, что будет и как будет; никто не делает различия между правом и нарушением права,—всякий стремится только к исполнению своих желаний... Народ, уже раздраженный князьями, ненавидит их и потому, где только может, выходит из подчинения им,... О купцах и ремесленниках нет даже и речи: все слова и поступки их—безмерная ложь и обман»³. «Бог, конечно, по своей безпредельной благодати, долготерпению и мудрости, не сразу наказывает род человеческий: Он отсрочивает наказание, пока не исполнится мера неправды, которой уже нельзя и не следует далее терпеть. Так, в книге Бытия мы читаем, что Бог не хотел отдать патриархам обетованную землю, потому что не исполнилась еще мера неправды аморреев; когда же она исполнилась, тогда Бог через сынов Израиля, вышедших из Египта, изгнал неверных и недостойных. Точно так же и согрешивших сынов Израиля Он не тотчас изгнал, а многократно предупреждал их о своем гневe. Но, в конце концов, Он изгнал их из дарованной им земли, и они ушли в плен Вавилонский. И достаточно покарав их, Он привел их обратно в землю их... и, наконец, окончательно погубили вероломных иудеев через Тита Веспасиана, так как в это время уже исполнилась мера неправды иудеев... Так и в наше время исполнилась мера злобы человеческой, и нужно, чтобы справедливый папа со справедливым государем, меч материальный с мечом духовным, очистили церковь. Иначе она будет наказана явлением Антихриста, страшным возмущением, раздорами христианских государей, нашествием татар, сарацин и других царей Востока»...⁴

Понятно, что такие смелые обличения не могли пройти даром безпокойному и непокорному францисканскому монаху... Насколько мог, он защищался против возможных (и, вероятно, действительно выставлявшихся против него) обвинений, указывая на то, что даже святые люди часто бывали несправедливы к новым идеям, что они не понимали их и их представителей. «Новые идеи всегда встречают возражения даже со стороны святых и хороших людей, мудрых в других отношениях: Аарон и Мариам противились Моисею, как писано в книге Чисел, и однако Аарон—святой и Мариам также. Святые осудили перевод Библии бл. Иеронима и звали его искажителем и фальсификатором Писания. Бл. Августин осыпает его порицаниями, и другие святые осмеивают его. Но по смерти Иеронима перевод его превозмог, и ныне им пользуется все латинское христианство... Сорок лет тому назад богословы, парижский епископ и все тогдашние ученые осудили и предали отлучению Физики и Метафизику Аристотеля, ныне всеми признаваемая за здоровое и полезное учение. Много, конечно, было святых и добрых между иудеями, когда распят был Господь, и однако все оставили Его, кроме Матери, св. Иоанна и Марии, да и то одна Мать Божия имела, как говорят, настоящую веру»...

1 Бэкон имеет здесь в виду, очевидно, потерю английскими королями (в первой половине XIII века) всей западной Франции—при Филиппе II Августе.

2 Карл Анжуйский, отнявший Неаполь и Сицилию у потомков Фридриха II Гогенштауфена.

3 *Compendium studii philosophiae*, pp. 399—400.

4 *Ibidem*, pp. 403—4.

Бэкон как критик схоластического мышления и защитник опыта

Главное значение Бэкона, главная историческая заслуга его, как мы уже говорили,—в том, что он был едва ли не первым выдающимся критиком средневековой схоластики: он первый указал ее недостатки и предложил реформу научных методов, с которой необходимо должна была начаться общая реформа науки.

«Четыре, в высшей степени заслуживающие порицания, вещи составляют помехи делу истины, говорит Бэкон. Они стоят на дороге всякому мыслителю и едва позволяют кому бы то ни было достигнуть настоящей мудрости. Вот эти помехи: преклонение перед неосновательными и недостойными авторитетами, долговременная привычка (к известным мнениям), неосновательность суждений толпы и, наконец, скрывание (учеными) своего невежества, вместо которого они выставляют напоказ свою призрачную мудрость... От этих язв происходит все зло человеческого рода; благодаря им, люди не знакомятся с наиболее полезными, великими и прекрасными памятниками мудрости и тайнами всей наук и искусств. Еще хуже то, что этот четвероякий призрак мешает людям понимать свое собственное невежество: они, напротив, всячески прикрывают и отстаивают его и потому не находят от него лекарств. Самое же худшее—то, что, сидя во мраке заблуждений, они уверены в том, что живут в полном свете истины. Поэтому самую чистую истину они считают крайнею ошибкой, самое превосходное—не имеющим никакой цены, самое великое—ничего не стоящим и, напротив, прославляют решительно ложное, хвалят дурное, превозносят в своем ослеплении негодное... Где имеют силы три первый помехи знанию, там не действует ни разум, ни право, ни закон, там нет места для правды, там не имеют силы предписания природы, искажается порядок вещей, господствует порок, добродетель исчезает, там царствует ложь и гибнет истина»¹.

Переходя далее к первой из перечисленных помех знанию—к господству авторитета, Бэкон оговаривается, что он имеет в виду «никоим образом не тот обоснованный и истинный авторитет, который дан Богом церкви или сам собою проявляется в святых философах и совершенных пророках вследствие их заслуг и достоинств, так как они, в пределах человеческой возможности, усвоили себе мудрость». Бэкон говорит «о том авторитете, который без соизволения Божия насильственно присвоили себе многие в мире сем—не за мудрость свою, но по своей притязательности и страсти к славе. Неопытный же народ соглашается признать такой авторитет за многими—на свою собственную погибель... Ибо, по Писанию, за грехи народа часто царствует лицемер. Итак, это—софистические авторитеты необразованной толпы, так же похожие на истинные авторитеты, как каменный или нарисованный глаз похож на настоящий: то же название, но сущность другая»²...

Едва ли может быть сомнение в том, что в этом обличении Бэкон имел в виду признанных руководителей средневековой мысли, схоластиков.

В противоположность таким ложным авторитетам, Бэкон защищает право самостоятельного и непосредственного исследования, право *опыта*. Главною причиной научного бесплодия и бессилия схоластики является, по его мнению, недостаток у нея свободы при исследовании таких предметов, относительно которых верховным судьей должно быть опыт-

1 Opus Majus, в начале,

2 Ibidem.

ное исследование.

«Есть три источника знания,—говорит он: авторитет, разум (или отвлеченное рассуждение, *ratio*) и опыт. Однако, авторитет недостаточен, если у него нет разумного основания, без которого он производит не понимание, а лишь принятие на веру; мы верим авторитету, но не через авторитет понимаем. И разум (отвлеченное рассуждение) один не может отличить софизма от настоящего доказательства, если он не может оправдать свои выводы опытом»... «Доказательство (*arguimentum*) умозаключает и нас заставляет умозаключать относительно данного вопроса; но оно не удостоверяет и не устраняет сомнений, не успокаивает духа в созерцании истины, если дух не найдет ее при помощи опыта»... Опыт один дает настоящее и окончательное решение вопроса, и хотя бы «человек, никогда не видавший огня, имел достаточное доказательство (*probavit per argumenta sufficientia*), что огонь жжет, портит и разрушает вещи, все же дух его не успокоился бы на таком знании и он не стал бы избегать огня, пока не положил бы в огонь руку или какой-либо горючий предмет и не убедился бы через опыт в том, что он узнал из доказательств. После же опыта сожжения чего-либо дух приобретет уверенность и успокаивается в сиянии истины (*in fulgore veritatis*)».

Пренебрегая опытом и не проверяя им своих утверждений, ученые пишут, а толпа считает за доказанное, множество ложных положений. Так, говорят, «будто алмаз нельзя расколоть иначе, как с помощью козлиной крови. И теологи, и философы повторяют это; между тем, ни разу еще не было удостоверено, что действительно можно это сделать при помощи козлиной крови, а без нея делается очень легко. Я видел это своими глазами,—говорит Бэкон. Да это и необходимо, так как драгоценные камни нельзя шлифовать иначе, как алмазным порошком... Далее, распространено также мнение, будто теплая вода быстрее замерзает в сосуде, чем холодная, и это доказывают тем, что противное возбуждается противным, подобно встречающимся врагам. А на опыте удостоверено, что холодная вода замерзает скорее». Таким образом, истинный метод науки, по учению Бэкона,—опытный, проникающий в глубь вещей и доходящий до познания причин явлений.

Но как же быть, если этот опыт будет противоречить старинным, общепризнанным авторитетам. По мнению Бэкона, надо идти дальше древних: надо уважать их мнения,—но, ведь, и они были люди и много раз ошибались; притом современные ученые гораздо богаче их знаниями и опытом, так как они унаследовали и весь опыт прежних поколений. «Сам Аристотель, что бы там ни говорили, не знал всего на свете: он сделал то, что было возможно для его времени, но и он не достиг предела мудрости»... Бэкон был уверен, что настанет время, когда и его эпоха будет считаться невежественною, вопреки гордой уверенности схоластиков, говорящих, что наука закончена и дальше идти некуда.

Бэкон сознавал все трудности, мешавшие в его время широкому и разностороннему изучению природы при помощи «философского» опыта... Что мог сделать он, одинокий труженик, бедный, всеми гонимый и подозреваемый чуть не в колдовстве монах?! «Счастливый Аристотель!—говорит он,—его царственный ученик отдал в его распоряжение свои богатства и множество помощников, которые по всем странам мира искали ему животных и растений для его научных трудов...» Задачу своей жизни, своего труда Бэкон видел только в том, чтобы указать другим правильные методы для работы и вообще средства, ведущие к

цели. Для быстрого и плодотворного развития науки нужна, по его мнению, поддержка со стороны папы или могущественного государя. Тогда найдутся и люди, преданные делу; теперь же одни из них, гнушаясь общим невежеством и упадком истинного знания, живут в одиночестве, работая лишь для себя, других же теснят и лишают возможности быть полезными... Но всех их можно было бы собрать в одну сильную армию людей науки; они могли бы составлять учебники и руководства, отыскивать как в Западной Европе, так и на Востоке редкие книги, в которых заключена мудрость прежних веков; они стали бы делать всякого рода инструменты и приборы, производить опыты, обучать детей и юношей. «Тогда и на Западе процветет знание, и можно будет сказать, что на латинском языке существует законченная философия, какая была у евреев, греков, арабов. Какую славу мог бы заслужить заботами о просвещении государь, который уделит бы им часть своего внимания!»

Основы истинного знания по Бэкону

Истинное знание, пренебрегаемое школьной наукой, должно, по Бэкону, основываться на грамматике (в широком смысле, т. е. на языкознании), математике, перспективе (т. е. на учении о лучисто-действующих силах; этот термин Бэкона по своему содержанию всего ближе к современной физике) и на «экспериментальной науке» (т. е. на практическом, действительном произведении опытов).

По мнению Бэкона, изучение древних писателей окажет самое благотворное влияние на форму современной ему науки: риторика древних заставит вернуться к античной красоте выражения после того, как грамматика откроет всем доступ к сокровищам древности. Бэкон порицает за неясность, несистематичность не только современных ему схоластиков, но и их главного учителя—Аристотеля; находящиеся же в общем употреблении латинские переводы Аристотеля так дурны, что, по его мнению, гораздо полезнее было бы их все сжечь, чем изучать.

Грамматика (языкознание)

Трудность языков, на которых написаны научные и философские сочинения: греческого, арабского, еврейского и халдейского (по перечню Бэкона), преувеличена; между тем, знание их необходимо даже для понимания св. Писания, которое переведено с греческого и еврейского; отсюда же, а также от арабов, идет и философия. Сверх того, знание этих языков могло бы облегчить сношения и торговлю между народами мира, способствовало бы проповеди Евангелия по всем странам света и укрепило бы успехи миссий. Сопоставление языков друг с другом уяснило бы происхождение языка вообще, указало бы, какой язык первичный и как остальные произошли из него, и помогло бы решить многие вопросы в теологии и логике. Таким образом, у Бэкона мы видим уже в зачатке идею сравнительного изучения языков,—и по этому вопросу в его сочинениях есть целый ряд интересных замечаний.

Но самое важное значение древних авторов—в их благотворном влиянии на нравственность, так как в этом отношении, по мнению Бэкона, христиане далеко ниже древних. «Пусть прочтут 10 книг аристотелевой Этики, многочисленные трактаты Сенеки, Туллия (Цицерона) и многих других,—говорит Бэкон, и тогда увидят, что мы погрязаем в бездне пороков и что одна милость Божия может нас спасти. Как преданы были эти философы добродетели, как любили ее! И всякий, конечно, отстал бы от своих недостатков, если бы про-

чел их сочинения: так красноречивы их похвалы справедливой и чистой жизни и обличение ими пороков! Философы были преданы истине, добродетели, презирали богатство, удовольствие и почести, стремясь к будущему блаженству, и являлись победителями человеческой природы». К этому восхвалению морали древних Бэкон возвращается часто и посвящает ему много прочувствованных страниц.

Математика

Другой недостаток схоластики Бэкон видел в пренебрежении математикой, великим вспомогательным средством для изучения опытных наук. «Все науки,—говорит Бэкон,—связаны одна с другою и взаимно друг друга поддерживают; успех одной помогает всем другим, как глаз, например, руководит движениями всего тела». Бояться, что масса знаний обременит человечество... Но ведь знание—сила; следовательно, как крылья не только не стесняют птиц, а, напротив, поддерживают их на воздухе; как четверка лошадей может везти груза более, чем одна лошадь, так и знание облегчает людям их повседневную жизнь и работу самосовершенствования. «Математику ошибочно считают наукой трудною, а иногда даже подозрительною—только потому, что она имела несчастье быть неизвестной отцам церкви. Между тем, как она важна, как полезна!»

Вот как говорит Бэкон о некоторых практических применениях математики... Одна часть ее вообще касается благоустройства человеческой жизни. Сюда относятся отделы об измерении площадей (землемерие); о возведении построек: городов, лагерей, крепостей, башен; об устройстве каналов, водопроводов, искусных мостов, кораблей, снарядов для плавания и пребывания под водой; о построении удивительно полезных машин и инструментов. «Так, например, можно построить приспособления для плавания без гребцов, так чтобы самые большие корабли, морские и речные, приводились в движение силою одного человека, двигаясь при том с гораздо большею скоростью, чем если бы они были полны гребцами. Точно так же можно делать повозки без всякой запряжки, могущая катиться с невообразимою быстротою; летательные машины, сидя в которых, человек может приводить в движение крылья, ударяющие по воздуху, подобно птичьим», и т. д.¹. Сюда же относится устройство инструментов для подъема и опускания даже самых громадных тяжестей без всякого усилия и труда; машин для обороны городов и крепостей от неприятеля и для отражения врагов, мостов через реки без «быков» или других подпор и т. п. Другая часть прикладной математики имеет предметом устройство приборов, необходимых для других наук; для астрономии и астрологии нужны, например, сферы, квадранты, приборы для измерения движения звезд, для наблюдения комет, облаков... Далее, приборы для исследования в области «перспективы»: зеркала плоские, сферические, вогнутые и выпуклые, овальные, конические и т. д.; множество разнообразных приборов для всякого рода «опытных исследований» (*scientia experimentalis*), для медицины, хирургии и алхимии.

Подобными же образом разветвляются практические приложения и других наук, входящих в состав математики: арифметики, астрономии с астрологией и «музыки» (т. е. акусти-

1 De secretis operibus Artis et Naturae et de Nullitate Magiae (ed. Brewer, p. 533). Некоторые видели в этих словах Бэкона как бы предсказание новейших изобретений: воздушных шаров и кораблей, паровоза, парохода и т. п. На самом деле, это, конечно, лишь блестящая возможность, смелые предположения ума, способного проследивать всякую идею в массе ее приложений. Здесь есть уже идеи изобретений, но еще далеко от практического их осуществления. Однако, важно уже и то, что он предвидел возможность такого широкого употребления сил природы на пользу человека.

ки). Между тем, несмотря на столь большое значение и пользу этих наук, никто ими не занимается.

Другия науки

Другия науки, по мнению Бэкона, также далеки от совершенства; во многих едва сделано начало. Аристотель, например, написал лишь одну часть физики—физику начал и общих понятий. Остальные же, «частные» отделы этой науки еще очень мало разработаны,—как, например, перспектива (под которою у Бэкона разумеется не только оптика, т. е. учение о распространении лучей света, но и теория всех вообще лучисто-распространяющихся явлений). То же самое надо сказать и относительно теоретической астрологии, изучающей физическое влияние светил и их движений на землю, порядок времен года, климаты и т. п. (приблизительно то, что теперь называется физической географией); о «теоретической алхимии», т. е. об изучении как неорганических, так и органических соединений, «являющихся, по своему составу, результатом комбинаций тех же элементов и жидкостей, частный случай соединений неорганических веществ». Поэтому в теоретическую алхимию Бэкона входило изучение растений, а также почв (пахотных земель, лесных пространств, пастбищ, лугов, садов и т. п.), домашних и диких животных; изучение человека с физической стороны, что Бэкон называет «медициною»¹, и т. д. И все эти в высшей степени важные и полезные отрасли знания еще ждут себе исследователей и работников...

Бэкон обладал хорошими знаниями в математике и физике; у арабов он изучил только возникавшую тогда алгебру, но особенно любил и изучал астрономию. Он сделал попытку применить свои астрономические сведения в географии, хронологии, а также в деле реформы календаря.

Бэкон—сторонник реформы календаря и географ

Неточности современного Бэкону («юлианского») календаря, по его мнению, ужасны. Во время последней реформы его (при Юлии Цезаре) было принято, что астрономический год состоит из $365\frac{1}{4}$ дней; таким образом, каждые четыре года надо было вставлять один лишний день сверх 365, т. е. делать год високосным. На самом деле, астрономический год, по вычислению Бэкона, почти одиннадцатью минутами меньше $365\frac{1}{4}$ дней, и из этих минут при юлианском календаре приблизительно каждый 130 лет накапливается один лишний день, который надо выкидывать, т. е. один раз в 130 лет не должно быть високосного года. Между тем этого не делается, и происходит полная путаница. Реформа необходима, говорит Бэкон; философы из неверных—арабы и евреи, а также греки, ужасаются тем, как без толково ведут свою хронологию и календарь христиане (т. е. западные европейцы). Пусть папа прикажет исправить эти недостатки, и это будет славным делом, началом, быть может, еще более важных попыток». (Надо принять во внимание, что требуемая Бэконом реформа календаря состоялась только при папе Григории XIII в конце XVI-го века, т. е. спустя триста лет после Бэкона. Этот «григорианский» календарь принят в настоящее время всею Западною Европой.)

«Медленно растут, по словам Бэкона, у западных христиан и географические сведения... Надо производить измерения, определять точно положение стран и городов, а для этого необходимо принять какой-нибудь определенный пункт за начало долготы; можно бы

1 Очевидно, что эта «теоретическая алхимия» очень близка по идее к современной химии.

взять, например, на западе—западную оконечность Испании, на востоке—восточную границу Индии. География, помимо ее практических приложений, важна, по словам Бэкона, и для других наук: нельзя знать людей, не зная климата и страны, в которой они живут, так как климат влияет на произведения растительного и животного царств и еще более на нравы, характеры и учреждения».

В своем *Opus Majus* Бэкон описывает всю тогда известную часть земли, руководясь как древними писателями, так и новыми путешественниками.

Бэкон—противник магии

Бэкон был решительным противником магии. «Все, что совершается вне действий природы и искусства, или не есть уже человеческое, или же—выдумка и обман. Многие предлагают людям разные чудеса, не имеющие за собою никакой действительности: они производят иллюзии при помощи быстрого движения членов, разнообразия голосов, тонкости инструментов, темноты,—наконец, при помощи внушения... Чего не проделывают фокусники, благодаря скорости рук, или чревовещатели—ртом, по своему желанию изображая человеческие голоса, как будто духи говорят с человеком,—или подражая крикам диких животных?... Но всем этом нет ни философских оснований, ни искусства и могущества природы... Что же касаются заговоров, заклинаний и т. п., то все это ложно и сомнительно. Не мало есть вещей, представляющихся непостижимыми, объяснение которых найдено уже философами в действиях природы и искусства, но скрыто от недостойных».

«Изобретения» Бэкона

В новое время Бэкону приписывали много изобретений: порох, очки, телескоп, микроскоп. Но надо заметить, что состав пороха известен был уже раньше арабам, и сам Бэкон пишет, что можно произвести гром и блеск, взрывая смесь из серы, селитры и угля. Правда, Бэкон со свойственною ему проницательностью добавляет, что взрывы такой смеси могут иметь большое значение на войне, при осаде и штурме крепостей и уничтожении неприятельских армий, так что очень может быть, что ему первому пришла мысль—применить порох к военному делу. То же самое и относительно оптических изобретений, о которых упоминает Бэкон: нельзя сказать, что он изобрел очки, микроскоп, телескоп и другие оптические приборы; он указал лишь на множество возможных практических приложений хорошо ему известного факта преломления лучей в чечевицеобразных стеклах. «Прозрачные тела,—говорит он,—могут быть так обделаны, что отдаленные предметы покажутся близкими, и наоборот: на невероятном расстоянии можно будет читать малейшие буквы и различать мельчайшие вещи, разсматривать звезды, где пожелаем. Полагают, что Цезарь с помощью больших зеркал с галльского берега мог видеть расположение лагерей и городов Британии... Можно так оформить прозрачные тела, что большое покажется малым, и наоборот, высокое—низким, скрытое станет видимым. Таким способом Сократ усмотрел между ущелиями гор дракона, отравлявшего город и войско своим тлетворным дыханием... Итак, вовсе не надо прибегать к магическим иллюзиям, когда сил науки достаточно, чтобы произвести действие».

Здесь мы видимо вполне здравые научные идеи на ряду с обычными для средних веков слабостью и фантастичностью фактических и исторических сведений.

Метафизика по Бэкону

Над физической наукой у Бэкона стоит «метафизика», высшее знание, наиболее общая теоретическая наука, к которой восходят все остальные. Их результаты становятся ее началами, и обратно: ее результаты служат исходными точками для остальных наук. Назначение метафизики — наметить различия и взаимные отношения остальных, «частных» наук, их происхождение, характер, порядок, в котором следует их изучать... Она должна давать им форму и вид (*formare et figurare*), излагать методы наук и указывать причины ошибок... В ряду наук практических такое же первое место, как метафизика среди теоретических, занимает мораль, наука о нравственности, «царица всех наук — светская теология». Вообще, теология и мораль, по мнению Бэкона, несмотря на различие их методов, занимаются одним и тем же предметом. Мораль есть как бы отдаленное эхо истин веры и могущественная союзница ее. Упадок нравственности среди своих современников Бэкон объясняет упадком просвещения, всеобщим невежеством относительно истинного знания и много раз повторяет идущий еще от древних философов (Сократа) взгляд, что добродетель есть не что иное, как знание добра и зла, так как нельзя, говорит он, не любить истины, если хорошо ее знаешь. «Разум — вот вождь правой воли; он направляет ее к спасению. Чтобы делать добро, надо его знать; чтобы избегать зла, надо его различать. Пока длится невежество, человек не находит средств против зла... Нет опасности больше невежества. Знающий истину, если иногда и пренебрегает долгом, имеет прибежище в совести, побуждающей его скорбеть о случившемся и остерегаться в будущем. Нет ничего достойнее изучения мудрости, прогоняющей мрак невежества, — от этого зависит благосостояние всего мира. Каков человек в изучении мудрости, таков он и в жизни»...

Отношения между философией и теологией по Бэкону

Кроме естественного, человеческого, или «философского» опыта, по учению Бэкона, есть другой опыт, для которого нужно уже некоторое мистическое настроение, просвещение свыше. «Святые патриархи и пророки, которые впервые дали миру науки, имели внутреннее просвещение, говорит Бэкон. Также и многие верные после Христа. Благодать веры многое освещает, и божественное вдохновение действует не только в духовных, но и в телесных вещах и в философских науках, согласно тому, как Птоломей говорит, что есть два пути для достижения познания вещей: один — через опыт, другой — через божественное вдохновение, что много выше». И Бэкон перечисляет семь степеней этого мистического познания. «Вся человеческая мудрость, все науки как теоретическая, так и практическая — подчинены теологии, служат вере и имеют целью укрепление религии». «Св. Писание есть закрытая рука, а философия — открытая»; но сущность их одна и та же. Всякая истина божественна; а стало быть, и философская, так как и естественный свет разума имеет божественное происхождение. Бог просвещает ум к познанию истины и открывает нам ее. Философия дана Богом тем же людям, кому было дано и св. Писание, а именно — святым... Патриархи и пророки были истинными философами; они знали все — не только Закон Божий, но и все части философии. Из Писания мы знаем, что Иосиф учил начальников фараоновых и старцев египетских. Моисей был искусен во всей египетской мудрости... Мысль, что мудрость древних имеет своим источником св. Писание и предание, была вообще распространена в средние века, и Бэкон вполне усвоил ее; он считает боговдохновенными Моисея и Зороастра, Изиду, Минерву, Аполлона, Атласа, Гермеса, Платона, Аристотеля, Авиценну,

Аверроэса...

Польза философии и причины недоверия к ней

Философия разъясняет учения религии, помогает обращению неверных и опровергает нежелающих познать истины веры. «Неверные отвергают авторитет Христа, евангелия и святых. Потому их нельзя обратить этими средствами. Делать чудеса теперь, можно думать, никто не претендует. Остается один путь—могущество философии, относительно которой и мы, и они согласны, ибо и они не могут отрицать начал человеческой мудрости и отвергать авторитета великих философов. Этим оружием должны мы побеждать их и склонять к истинам веры».

Разделение между религией и философией, по мнению Бэкона, есть просто недоразумение и случайность. До пришествия Спасителя всему миру, кроме еврейского народа, давала законы философия—в пределах сил разума... Мирские правители не хотели принять закона Христова, который был выше человеческого разума, и руководились указаниями философов. Поэтому философия и стала препятствием успехам веры... Философы не хотели уступить апостолам в знании и силе творить чудеса... и не без их советов правители издавали законы о преследованиях и казнях верующих». Потому-то церковь с самого начала и стала во враждебные отношения к философии. Но эта вражда только временная: на самом деле как религия, так и философия строят одно здание, здание человеческого знания. Так и храм Иерусалимский строился не одними рабочими Соломона, но и Хирамовыми... Бэкон был верующим человеком и верным сыном католической церкви. Но только он так же стремился познать истины веры, как, с другой стороны, веровал в знание.

Р. Бэкон и Фр. Бэкон

Таков был этот замечательный францисканец XIII в.; это был могучий ум, далеко опередивший свою эпоху. Некоторыми сторонами своей деятельности он является одним из первых гуманистов; другими—указывает путь новому, научному мировоззрению. В своих сочинениях он дал обстоятельную критику господствовавших в его время научных методов и привел в одну стройную систему почти все натуралистические знания своей эпохи. Во всех жизненных несчастьях его поддерживала благородная вера в силы человеческого ума, горячая любовь к науке, в которой он видел живую практическую силу и главный источник, основной мотив нравственного совершенствования.

Все эти черты сближают Роджера Бэкона с другим великим англичанином и его однофамильцем—канцлером Франциском Бэконом (1561—1626), стоящим уже при самом начале того научного движения, которое за три века до того было предсказано гениальным монахом.

Таким образом, Р. Бэкон уже в XIII веке, когда умственная культура Европы далеко еще не обособилась по нациям, блистательно представляет своею личностью трезвую мудрость и практический гений английского народа.

Вл. Ивановский.

LXXXVII. Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков

1. Разложение поместного хозяйства

Средневековое имение

В первую половину средних веков на всем пространстве Европы—на западе до XII столетия приблизительно, на востоке и гораздо дольше—мы встречаем одну и ту же хозяйственную организацию. Ее называют обыкновенно, в западно-европейской ученой литературе, *мэнориальным* хозяйством (от английского *manor*, *поместье*); по-русски всего удобнее будет передать это через «поместное хозяйство». Особый термин понадобился потому, что такой хозяйственной формы не встречается в наше время уже нигде. Мы знаем две формы землевладения: крупное, хозяйничающее на нескольких сотнях, иногда тысячах десятин, при помощи сложного и дорогого инвентаря, руками наемных рабочих, и мелкое,—обработку небольшой земельной площади при помощи простого инвентаря, руками самого хо-

Пособия. *М. Ковалевский*, Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. I. М. 1898; *У. Дж. Элли*, Экономическая история Англии, пер. Д. Петрушевского, М. 1897; *K. Bucher*, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 2-te Aufl. Tübingen 1898 (есть рус. пер. с 1-го издания); его же, Историческое развитие и классификация форм промышленности (статья из *Handwörterbuch d. Staatswissenschaften*, рус. пер. в сборнике «История труда», изд. М. Водовозовой, Спб. 1897); *K. v. Inama-Sternegg*, Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters, I, Leipzig 1899 (Deutsche Wirtschaftsgeschichte, III Band I Teil.); *d'Avenel*, Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800. I—IV. Paris 1894—98; *Ochenkowski*, Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgang des Mittelalters. Jena 1879; *Schans*, Zur Geschichte d. deutschen Gesellen-Vebande. Leipzig 1877; *Hauser*, Ouvriers du temps passe (XV—XVI siecles), Paris 1899; *Schanz*, Englische Handelspolitik gegen Ende d. Mittelalters, I, Leipzig 1881; *Ehrenberg*, Zeitalter der Fugger. B-de I—II, Jena 1896; *Knapp, G. K.*, Die Landarbeiter in Knechtschaft u. Freiheit. *Heyd*, Histoire du commerce du Levant. Leipzig 1885. *Rogers*, Six centuries of work and wages. 1884. *Vinogradoff*, Villainage in England. Oxford 1892.

зьяина и его семьи. Поместное хозяйство представляет собою соединение крупного землевладения и мелкой культуры. Представьте себе сотню или тысячу мелких крестьянских наделов, но принадлежащих не отдельным крестьянам, а одному лицу—помещику, который владеет, притом, и самими крестьянами с их скудным инвентарем,—и вы получите довольно схожее изображение большого имения первой половины средневековья.

Отсутствие крупного хозяйства в эту пору объясняется очень легко: для того, чтобы завести его,—купить дорогой инвентарь, воздвигнуть обширные постройки и т. д.,—нужно затратить большой капитал; но капиталов не было в то время, да если бы и были, они бы не пошли в сельское хозяйство, потому что там капиталу нечего было делать. Капитал ищет прибыли. Но сельское хозяйство в то время было наименее прибыльным занятием; сбыта для его произведений почти не было: городская жизнь была еще не развита; во всяком имении было все, что нужно,—некому было продать накопившиеся продукты. Оттого всякое имение и работало только на себя, и всякий крупный землевладелец должен был сам находить употребление тому, что вырабатывали его крепостные. Самым благоразумным исходом было—собрать у себя в доме побольше народу,—чтобы не пропадали даром скопляющиеся запасы. Одни из этих людей, привычные к бою, защищали барина в случае нападения соседа,—самое обычное явление в средние века; другие были просто прислугой—удовлетворяли его личным потребностям и прихотям. Держать много прислуги было почти единственной роскошью в эпоху натурального хозяйства, а отчасти даже и не роскошью, а необходимостью. При невозможности доставать покупкой приходилось почти все предметы домашнего обихода изготовлять дома, руками домашних мастеров.

В таких условиях, владелец большого имения был тем крупнее, как политическая величина, тем выше стоял на общественной лестнице, чем больше было у него вооруженной и невооруженной челяди в доме. Если владельцем, как это часто бывало, оказывалось не отдельное лицо, а монастырь или соборный капитул, то место челяди занимали монахи, служки, разные мелкие церковники—но экономическое положение дела от этого не изменялось: поместное хозяйство всегда предполагает две группы населения. Одна группа служит, главным образом, потребительным целям—живет около владельца и удовлетворяет его многосложные потребности. Другая занята производительным трудом: главное назначение ее—кормить и содержать первую группу. Употребляя русские термины, первых можно называть дворовыми людьми, вторые будут крестьяне—на Западе «вилланы».

Юридические положение крестьян

По своему положению в средневековом обществе виллан был немногим выше раба. Во французских грамотах даже XIII—XIV вв. мы иногда встречаем помещика, который уступает соседу сына или дочь своего крепостного человека, удерживая у себя отца и мать; бывает, напротив, что продают родителей, оставляя себе детей. В 1220 г. суассонский епископ «подарил» одному «королевскому сержанту» своего крепостного человека в обмен на молодую девушку, дочь крепостной крестьянки этого сержанта. Как раб, виллан был крепок своему господину и не мог уйти из имения без его разрешения: французский землевладелец имел по отношению к своим крестьянам *droit de suite*,—право отыскивать своего ушедшего крепостного и силою возвращать его на свою землю,—точно так же, как русский боярин-вотчинник времен Ивана III мог отыскивать на чужой земле ушедшего от него «ста-рожильца» и вывозить его обратно в свою вотчину. И как в древней Руси князь наследовал

имущество смерда, —крестьянина, сидевшего на княжеской земле, —если тот не оставлял сына, который мог бы вести хозяйство, —так западно-европейский сеньёр наследовал имущество своего виллана, имел по отношению к последнему «право мертвой руки», *droit de main morte*.

Их экономическое положение

Таково было юридическое положение крестьянина в русской, французской или немецкой вотчине безразлично. Отвечало ли его *фактическое* положение этим суровым юридическим нормам? Главная функция средневекового крестьянина заключалась в том, что он кормил своего барина и его челядь. Отсюда на него ложились два ряда повинностей. Во-первых, он обязан был отдавать на барский двор часть продуктов своего хозяйства. Натуральные платежи крестьянина в пользу землевладельца составляют такое же повсеместное явление в «поместном хозяйстве», как *main morte* и *droit de suite*. В конце царствования Карла V. один французский аббат составил подробную опись земель своего монастыря, опись эта до нас дошла и напечатана. В ней живьем стоит перед нами «поместное хозяйство» с его массой мелких самостоятельных крестьянских дворов. «Гермон крепостной и его жена, крепостная же, с ними 5 человек детей; занимают один участок; земли пахотной засевают 10 мер, под виноградником (столько-то)... под лугом (столько-то)... платят ежегодно... 3 курицы, 15 яиц... Гвентольд, крепостной... земли занимает (столько-то)... платит боченок вина, две меры горчицы, 3 курицы, 15 яиц...» и т. д. В конце XV в. московский великий князь Иван Васильевич, конфисковав вотчины непослушных новгородских бояр, тоже велел произвести опись —и если бы не имена, то, читая эту опись, —писцовую книгу письма Матвея Ивановича Волуева, напр., —мы могли бы подумать, что перед нами работа современника и соплеменника французского аббата. Беру на удачу: «в деревне в Городне: двор Савка Сафронов, сын его Палка, пашни 8 коробей, сена двадцать копен... и т. д.». Перечислив целый ряд дворов, опись заключает: «а дохода с них... 11 баранов, 16 кур, 8 сыров, 12 пятков льну..., 2 коробьи ржи, 2 коробьи овса...» и т. д.

Кроме натуральных платежей, на крестьянине лежала и другая, натуральная же, повинность: работа на барской земле, «барщина», как она называлась у нас. Средневековой землевладелец обыкновенно, —хотя не всегда, —не довольствовался продуктами грубого, мужицкого хозяйства. Для потребностей его стола, у него был свой скотный и птичий двор, где всякая живность лучше выхаживалась и откармливалась, нежели это могли сделать крестьяне. Он оставлял себе и участок земли, которая лучше обрабатывалась, чем крестьянская, и с которой получался хлеб высшего сорта; для обработки этого участка он иногда заводил свой инвентарь, но не нанимал особых рабочих, —да и где бы он нашел тогда вольных рабочих? Этот участок вспахивался иногда крестьянскими сохами, иногда господским плугом, но рабочая сила всегда была даровая, крестьянская: крестьяне должны были известное число дней в рабочую пору отдавать барской запашке, —в этом и состояла, прежде всего, барщина (*corvee*).

По закону, и натуральные платежи, и число дней барщины определялись исключительно произволом барина, ни о каком договоре и речи быть не могло: виллан был *tailable et corveable a plaisir et a volonte*, должен был платить и работать столько, сколько угодно господину. Но не трудно догадаться, что сама организация поместного хозяйства клала эксплуатацию крестьянина очень определенные границы. Если бы он вздумал ограбить до-

чиста своих крестьян, то он сам и его челядь скоро умерли бы с голоду. Русский владелец оброчного имения в первой половине нашего века мог бы все имущество своих крестьян обратить в деньги, а потом на эти деньги все нужное ему купить в городских магазинах,—но средневековой помещик, которому негде было купить, который жил тем, что давали ему крестьяне, так поступить не мог. Отсюда уже очень рано устанавливается определенная норма ежегодных платежей и барщинной повинности,—образчики которой мы видели выше. Платежи эти могли быть тяжелы для крестьян, но, во всяком случае, они не были разорительны, ибо тогда и хозяйство не могло бы итти. Не будучи огражден особым договором, виллан был, таким образом, обеспечен от чрезмерных вымогательств интересами своего барина.

Крестьянское самоуправление

Те же интересы обеспечили крестьянину и некоторое самоуправление. Средневековой вотчинник, как мы могли уже видеть, был всего меньше сельским хозяином, в нашем смысле этого слова. Это был, прежде всего, человек военный: затем, благодаря слабости (у нас в России) или упадку (на Западе) центральной государственной власти, к нему перешли политические права и обязанности, принадлежавшие этой власти—он у себя в имении наблюдал за полицейским порядком, творил суд и расправу, собирал в свою пользу государственные подати. Все это гораздо больше его занимало, нежели хозяйство в его имениях,—хозяйство, которое, как мы видели, шло само собою по раз заведенному порядку. За ним нужно было только присматривать, и эту скучную обязанность землевладелец предоставлял, обыкновенно, приказчику. «Приказчик должен встать рано поутру и следить, чтобы волы были запряжены»—говорит одно английское сельскохозяйственное руководство того времени—«а затем обойти и осмотреть вспаханные поля, а также леса, луга и пастбища. Потом он должен сходить на пашню и смотреть за тем, чтобы не выпрягали волов прежде, чем будет исполнена их дневная работа». Кроме того, он должен распоряжаться жатвой, косью, возкой и другими работами, смотреть, чтобы земля была, как следует, удобрена, вспахала, чтобы лошади не работали через меру,—а также наблюдать за молотьбой на гумне. Но нельзя же было положиться во всем на приказчика, который сам был часто крепостной человек. За ним самим нужно было смотреть. Самому барину заняться этим было неудобно—это заставило бы его слишком много времени тратить на хозяйство. И вот, рядом с приказчиком у всяких работ мы встречаем другое лицо,—английское руководство называет его «ривом»—reeve,—а русский переводчик очень удачно передал это через «старосту». Он отмечал на бирке ежедневные работы, а потом подсчитывал их вместе с приказчиком. Это новое лицо одинаково знакомо и английскому мэнору и русской вотчине XV—XVI вв., и там, и тут оно выбирается самими крестьянами, за круговой порукой: староста отвечает за всех и каждого из крестьян, а крестьяне за старосту. Барин-вотчинник находил такой порядок для себя выгодным: не тратя времени на контроль сверху, он получал таким способом контроль за приказчиком снизу. Но для крестьян это значило, что их работы и повинности определяются не односторонним распоряжением барского агента, а при участии их уполномоченного, ими поставленного и от них зависящего. И судебно-полицейский порядок в имении далеко не зависел вполне от произвола барина: мелкие тяжбы крестьян разбирались на сельском сходе¹.

1 Подробности о сельском сходе см. во 2-м выпуске, статья «Феод и сеньерия».

Свободные крестьяне

Крестьяне, как видим, пользовались в действительности большей свободой и меньше страдали от произвола, чем этого можно ожидать, приняв в расчет только их юридическое положение. Для простоты дела мы до сих пор принимали, что это юридическое положение было у всех одинаковое,—что все они были «сервы», несвободные. Но это не совсем так: среди крестьян, сидевших на участках большого имения, всегда было достаточно и людей свободных, некрепостных. Но отличить их от крепостных было бы не так легко,—не только для нас, но и для средневековых юристов. Экономическое положение и свободных, и крепостных было одинаковое: и те, и другие одинаково были обязаны натуральными повинностями,—должны были кормить барина и его челядь. Про свободного, конечно, нельзя было сказать, что он мог быть «облагаем данями по произволу» (*taillable a merci*)—но на практике, ведь, и с крепостными так не поступали,—это была только формула. Для тогдашнего суда сплошь и рядом трудно было решить, в случае спора,—крепостной перед ним или свободный крестьянин. Самым убедительным признаком крестьянской свободы было бы, конечно, право крестьянина искать себе защиты в общественном суде,—королевском, например,—что теоретически и было вполне возможно в Англии и Германии. Но осуществить это право на практике удавалось очень редко. Обыкновенно (в Англии, например), решающим признаком в пользу свободы считали право крестьянина распоряжаться своим имуществом и членами своей семьи: если крестьянин может выдать замуж свою дочь или продать свою корову, не спрашиваясь господина, то его следует считать некрепостным,—гласит обычная английская формула. Крепостные не могли распоряжаться своим имуществом, потому что господин был их наследником,—и своими детьми, потому что они вместе с детьми принадлежали господину. Выдавая дочь замуж в чужое имение, крепостной должен был платить за убытки барину—*formariage* во Франции (у нас «выводная куница»). Но часто случалось, что энергичный и властный барин требовал того же и от свободных арендаторов его земли, а слабый или добрый хозяин не требовал этого и от крепостных.

Положение свободного крестьянина в поместном хозяйстве всего лучше показывает, как мало значили тогда права отдельного лица, когда им приходилось сталкиваться с экономическим строем. В конце концов, вопрос о свободе или несвободе крестьянина и решали экономические условия: у нас на Руси установилось правило, что крестьянин, проживший довольно долго в чьем-нибудь имении в одном экономическом положении с крепостными, мог в этом имении «застареть» и сделаться крепостным его хозяина без всякого особого юридического акта. *Luft macht eigen*— «воздух делает крепостным», говорили в Германии. Но этот «воздух», эти экономические условия постепенно менялись, и, по крайней мере на Западе, менялись они в пользу крестьянина.

Увеличение числа свободных

Мы сейчас видели, что признание за крестьянином свободы зависело, в последнем счете, от доброй воли землевладельца. Следовало бы ожидать, поэтому, что свободный человек в имении всегда останется исключением и притом недолговечным исключением; что при первой возможности его закрепостят. Если бы мы нашли теперь документы, идущие от самого землевладельца и закрепляющие, напротив, свободу крестьян,—притом, чем дальше, тем в большем количестве, то это было бы ясным признаком, что в поместном хозяйстве происходит какая-то перемена,—что интересы землевладельца толкают его не в том ухе

направлении, как прежде. Между тем, такие документы имеются у нас в достаточном количестве: это—те писцовые книги, более ранние образчики которых (для времени Карла V.) уже приводились выше. С особенною тщательностью велись подобные описи на землях, принадлежавших самому образованному классу средневекового общества,—духовенству. Тут иногда до нас дошли последовательные описания одного и того же имения, сделанные через небольшие, относительно, промежутки времени. Возьмем, например, поместье Бьючэмп в Эссексе (в Англии), принадлежавшее капитулу св. Павла. Сохранились три его описи («книги Страшного Суда», как назывались оне в Англии): 1086, 1181 и 1222 гг.,—все составленные монастырскими властями. В первой «книге Страшного Суда» записано 39 крестьян, среди которых нет ни одного свободного. В описи 1181 г.,—почти сто лет спустя, мы, рядом с 35 несвободными, встречаем уже 18 *свободных*; по некоторым повинностям, лежавшим на этих последних, один новейший исследователь склонен видеть в них потомков вилланов, записанных в книге Страшного Суда 1086 г. В списках 1222 г. число свободных выросло с 18 до 34; так как площадь, занимаемая их наделами, увеличилась в гораздо меньших размерах (с 667 акров всего до 744), то увеличение их числа приходится относить скорее на счет семейных разделов, чем на счет новых освобождений. Но два имени, приведенные в этом документе, принадлежат, повидимому, в одном случае, крестьянину, который сам был в положении несвободного в 1181 г., а в других—сыну крестьянина, находившегося в таком же положении; эти двое, нужно думать, стали свободными в течение последних 40 лет. Итак, за 150 без малого лет Бьючэмпское имение из крепостного на добрую половину превратилось в населенное свободными арендаторами.

Ту же, приблизительно, картину увидим мы, перейдя на эту сторону Ламанша,—притом даже в более раннее время. Возьмем для примера писцовую книгу одного из монастырей Шампани (аббатства Chapelle aux Planches), составленную в XII веке. Аббатство владеет несколькими поместьями, состав которых указывается каждый раз с точным обозначением числа занятых и пустующих участков, как состоящих в руках монастырского управления, так и снимаемых людьми свободными и несвободными. В одном поместье считается 33 участка, занятых свободными, ни одного несвободного и 3 монастырских, в другом 33 свободных, один пустой и опять-таки ни одного несвободного, в третьем 19 свободных, в четвертом 32, в пятом и шестом также одни свободные. Только в двух имениях из 8 заходит речь о меньшинстве крепостных при большинстве свободных.

В западной Германии, по среднему и нижнему течению Рейна, уже во времена Гогенштауфенов свободные арендаторы, часто наследственные, т. е. почти собственники, составляют главную массу крестьянского населения. Здесь, в иных местах, хозяйственный процесс очень характерно берет верх над враждебной ему правительственной политикой. Отдельные князья издают по временам строгие указы, закрепляющие крестьянскую несвободу,—из опасения, что с освобождением крестьян они разбредутся и помещики останутся без рабочих рук, а помещики сами все-таки освобождают крестьян, находя, очевидно, в этом для себя выгоду. Такой случай мы имеем, например, в Тироле: в 1352 г. маркграф Людвиг подтвердил постановление,—часто нарушавшееся, по его словам, в последнее время,—о том, что крестьянин не имеет права располагать своею личностью по своему усмотрению и не смеет оставлять имения без позволения барина. Но немного лет спустя после этого в Берхтесгадене капитул продал своим крестьянам занимаемые ими участки—на пра-

вах вечно наследственного оброка (об этой очень распространенной в средние века форме крестьянского владения будет еще речь дальше). Эта сделка с крестьянами сама по себе предполагает, что капитул признал личную свободу последних; чтобы не оставалось в этом сомнения, одновременно было отменено право капитула наследовать в имении крестьян — «право мертвой руки»; крестьянство держало себя с пробстом, как земские чины с государем — по выражению новейшего историка. Правительство должно было, наконец, признать силу совершившихся фактов, — и в 1404 г. суровые постановления о крестьянской несвободе были значительно смягчены.

Упадок вилланских повинностей

«Право мертвой руки» было настолько характерно для крепостного состояния средневекового крестьянина, что *mainmorte* во Франции значило «крепостной». Отсюда постепенное вымирание *droit de main morte* можно рассматривать как одну из самых существенных сторон раскрепощения. Древнейший случай этого рода — отмену «права мертвой руки» для целого селения — мы встречаем во Франции еще в X веке, но этот случай, вполне изолированный, единичный. Следующий приходится на 1124 г., когда аббат Сугерий освободил от *mainmorte* жителей С. Дени, — и затем через все XII и XIII столетия идет уже целый ряд подобных грамот, освобождающих то вилланов, переходящих на положение горожан, — грамота Людовика Толстого жителям Лана, например (1128 г.), то крестьян в собственном смысле этого слова (как в завещании Альфонса де-Пуатье, брата Людовика Св., освободившего всех крепостных своих имений в Лангедоке). Во Фландрии и западной Германии право землевладельца наследовать своему крестьянину сменяется более скромным правом — брать себе лучшую вещь из имущества умершего (лучшую штуку скота — «*Beste hooft*» или *Besthaupt*, или лучший предмет из движимости — *melius mobile*).

Крепостные крестьяне не могли также заключать браков по своему усмотрению, без разрешения барина — предоставление им этого права также служило признаком освобождения. Грамота 1182 г. дала право обитателям Бомона (во Фландрии) жениться и выходить замуж где и за кого угодно, не спрашиваясь землевладельца. Грамота послужила образцом для целого ряда подобных ей, как во Франции (в Бургундии, Нормандии, Аженэ, Аквитании и графстве Тулузском), так и во многих соседних местностях Германии. В 1252 г. все фландрские крепостные стали свободными.

Размеры процесса

Явления, образчики которых только что были приведены, повторяются во всех, наиболее прогрессивных, странах средневекового запада с такою правильностью, что не приходится считать их случайным исключением, — мы, очевидно, имеем здесь дело с историческим *процессом*; и не будет большой натяжкой назвать этот процесс — *освобождением крестьян*. Нужно только постоянно иметь в виду, что освобождение далеко не всюду захватило всю массу средневекового крестьянства: как крепостное состояние последнего представляется нам везде, и на востоке, и на западе Европы, с однообразными чертами, так освободившееся крестьянство даже на западе — оставляя восток совсем в стороне — дает очень пеструю картину. На ряду с свободными в большом английском имении даже конца XIII в. мы встречаем и прежних вилланов, лишенных перед барином всяких прав — и не имеющих «никакой собственности, кроме своего брюха», по энергичному выражению одного аббата,

который отнял у своих крестьян весь скот и выгнал их с женами и детьми из их изб. В глухих углах Франции последние «сервы» дожили до 1789 г., и тогда их считалось еще до полутора миллиона.

Его характер

Эта неравномерность раскрепощения тесно связана с другою характерною его особенностью: оно совершилось очень медленно, постепенно и незаметно. Крестьянская свобода не была завоевана самими крепостными: возстания крестьян в Англии и Франции в XIV в. были вызваны феодальной реакцией,—попытками восстановить крепостные отношения, начавшие разлагаться уже задолго до этого; «крестьянская война» в Германии в XVI в. была неудачным отпором против вторичного закрепощения. Крестьянская свобода не была создана и актом верховной власти, как это было в России в 1861 г. или в Пруссии в начале нынешнего века. В этом смысле иногда толковался один указ короля Людовика X (1315 г.). Указ этот начинается очень торжественными заявлениями, что «все люди, по естественному праву, должны быть свободными...» и т. п.; эти фразы и сбивали с толку ученых. Но в настоящее время доказано, что этот указ применялся только в королевских имениях и заключал в себе лишь разрешение крестьянам этих имений выкупаться на волю, буде они пожелают—на выгодных условиях (*a de bonnes conditions*). На самом деле, если королевская власть этого времени и опиралась, в борьбе с феодальной знатью, на освободившихся вилланов, то она далеко еще не была достаточно сильна, чтобы самой взяться за это освобождение¹. Крестьянская свобода была результатом массы отдельных, независимых друг от друга и вполне свободных сделок крепостных крестьян и их господ. Мотивы, которые руководили в данном случае крестьянами, вполне понятны. Но что заставляло землевладельцев соглашаться на такие сделки? Вот первый вопрос, на который приходится ответить, рассматривая освобождение крестьян в средние века.

Хозяйственные условия процесса: судьба натуральных повинностей

Присматриваясь к обстоятельствам, сопровождавшим появление свободных крестьян в имении, мы без труда заметим одно—которое идет в разрез с нарисованною в начале этого очерка картиной поместного хозяйства. Мы видели там, что все повинности крестьян по отношению к владельцу были натуральные: последний брал себе отчасти труд крестьянина, отчасти непосредственные продукты этого труда,—и этим жил. Рабское положение виллана тем и подчеркивалось особенно, что он обязан был работать на барской пашне наравне с холопами землевладельца: мы видели, что это экономическое равенство с рабом делало постепенно похожим на раба и юридически—даже свободного поселенца. Юридическое раскрепощение, естественно, заставляет предполагать и экономическую перемену: и действительно, параллельно с освобождением крестьян, натуральные повинности в большом имении мало-по-малу приходят в упадок. В Англии уже при Генрихе I на церковных землях встречались крестьяне, свободные от барщины и обязанные только два дня в году помогать на пашне и три дня—при жатве. В поместьях того шампанского монастыря, о котором говорилось выше, где почти все крестьяне были лично свободны, требования от несвободных

1 Наиболее прямо воздействовала правительственная власть на освобождение крестьян в Тоскане XIII в., но это была власть городская, представлявшая интересы флорентинской буржуазии. В виду этой своеобразности итальянских отношений, они вовсе не приняты в расчет в настоящей статье. Ср. *Pohlmann, die Wirtschaftspolitik der florentiner Renaissance*, гл. I.

были почти такие же, как и от всех остальных—они были заняты на барской запашке от 2 до 5 дней в году. В Германии самой тяжелой барщиной считалась богемская—она занимала у крестьян, в среднем, 6 дней в год; в других местах было еще легче. Притом, отнюдь нельзя сказать, чтобы крестьянский труд доставался помещику совсем даром: собравшихся на помочь крестьян он должен был, во-первых, кормить—и кормить хорошо, иначе они могли отказаться работать. В одной местности южной Германии, например, каждый рабочий получал «краюху хлеба, которая хватала бы ему от колен до подбородка», в другом месте кусок мяса «на два пальца шире тарелки», в третьем хорошая пища должна была приправляться любезным обращением хозяина или его приказчика. Затем, «помочи» часто сопровождалась для крестьян подарками—каждый получал пару башмаков, например, или угощением; в одном месте договор обязывал барина нанимать музыку для развлечения покончивших свой урок рабочих, в другом они выговаривали себе такую выпивку, чтобы каждый «возвращался к себе домой не иначе, как пошатываясь», и т. д. Если эти анекдотические подробности больше характеризуют способ выражения памятников обычного права, нежели действительные хозяйственные условия,—то из-за них все же ясно виден несомненный и очень крупный экономический факт: барщина постепенно теряет свое прежнее хозяйственное значение,—значение одного из устоев поместного хозяйства. Размеры и характер барщинного труда раз навсегда определены обычаем: новому хозяйству нужна более гибкая и подвижная рабочая сила. Оттого к барщине помещик обращается только в исключительных случаях, когда ему неоткуда достать наемных рабочих руки,—а крестьяне пользуются затруднительным положением помещика в этих случаях. И почти то же, хотя с большими ограничениями, приходится сказать о другом устое прежней хозяйственной системы,—о натуральном оброке. «Натуральный оброк не был обременителен», говорит один французский исследователь об эпохе после 1200 года. «Редкость было видеть крестьян, обязанных делиться продуктами своих земель поровну с землевладельцем; «половничество», которое мы находим таким естественным, было тогда признаком полной несвободы. Этот оброк крестьяне старались сделать для себя еще более легким, отдавая помещику продукты, по возможности, последнего сорта. Под словами «оборочный хлеб» всегда разумелся хлеб самого плохого качества. Землевладелец обязан был принимать то, что ему дают; в Эльзасе, напр., обычай устанавливал такое испытание годности оброчного хлеба: барин, который сомневался в доброкачественности принесенного ему крестьянином овса, должен был взять свинью, запереть ее в хлев и три дня не кормить; потом свинье давали овес: если она не отказывалась его есть, оброк признавали доброкачественным. Очевидно, что этого рода повинность больше была обрядом, нежели вызывалась экономической необходимостью. Центр тяжести переносится на повинности совершенно незнакомая прежнему поместному строю—на *денежные платежи*.

Денежный оброк

Замена натуральных повинностей денежными в Англии началась, повидимому, еще до норманского завоевания: денежный оброк встречается уже,—правда, изредка,—в Переписи Страшного Суда Вильгельма Завоевателя. Несколько позже он является постоянным спутником раскрепощения: выходя на свободу, крестьянин обязывается платить барину ежегодно известную денежную сумму,—взамен тех продуктов своего хозяйства и того труда, которые он обязан был отдавать барину, пока был крепостным. Совершенно аналогичный про-

цесс мы имеем во Франции: иногда освобождаемые сразу вносили известную, обыкновенно очень крупную по тому времени сумму. Так, например, в 1249 г. на землях аббатства С.-Жермен-де-Пре жители поместья Villa Nova, уже раньше получившие известные льготы, приобрели полную свободу за 1.400 парижских ливров, а крестьяне другого поместья, Витриак, получили вольную за 2.200 таких же ливров (первая сумма равняется приблизительно 28.000 фр., а вторая 44.000 фр. по теперешней покупной цене денег). Но большинство не в состоянии было заплатить сразу такая деньги — и должно было соглашаться на ежегодный денежный оброк. Возьмем, например, грамоту, которою Понталье в Бургундии возведен на степень свободной коммуны: его обыватели, дворы последних и наделы объявлены свободными, но сами крестьяне обязуются в то же время платить каждый ежегодно 10 солидов на праздник св. Ремигия. Только на этом условии признаются они «свободными и чистыми от всякой дани и подати, от барщины, от всяких стеснений и от «мертвой руки» и от всех «дурных обычаев» (*males coustumes*)». Точно также жители другой деревни достигают свободы от вотчинных поборов только путем снятия их на откуп; они обязываются в 1260 г. платить ежегодно по следующему расчету: у кого будет 10 ливров в год, уплатит 6, а у кого окажется только 100 су, отдаст 4. Беднейший вносит ежегодно 2 солида. Сверх этого, прибавляет сеньёр, мы от них не в праве требовать ничего.

Но в Англии с начала тринадцатого столетия мы замечаем еще более общее и широкое движение — перевод на деньги натуральных повинностей всей крестьян, все равно, свободных или нет. «Сперва, вероятно», говорит новейший историк английского хозяйства, «это было сделано для того, чтобы определить размер штрафа, который должны были платить вилланы, не выполнившие обязательного урока. Но очень часто, вероятно, деньги предпочитались работе; так, в книге Fleta¹ старосте вменено в обязанность тщательно следить за недоимками в работе и стараться взыскивать за них деньги. Это, естественно, повело к денежной оценке всех работ и к стремлению более зажиточных и честолюбивых вилланов заменять последние деньгами».

Условия его возникновения

Интерес, руководившей в данном случае вилланами, сам по себе так же понятен, как и стремление их к освобождению из вилланства. Мотивы поведения землевладельцев очень наглядно рисует нам один английский памятник последней четверти XII в. В Англии замена натуральных повинностей денежными раньше всего произошла в королевских имениях, — и вот как, по словам автора, это произошло. «В первое время после завоевания короли обыкновенно получали доходы с своих мэноров (поместий) не золотом и серебром, а припасами, которыми удовлетворялись обыденные потребности королевского двора. Те, которым было поручено наблюдать за доставкой припасов, знали, сколько их должны были, по установившемуся обычаю, доставить с каждого мэнора. Чеканная же монета, предназначавшаяся для уплаты жалованья солдатам и для удовлетворения других нужд, получалась в виде судебных доходов короля, а также с тех городов и укрепленных мест, где не занимались земледелием. Такой порядок держался во все время правления Вильгельма I и после того, до вступления на престол Генриха I; я лично встречал людей, которые видели припасы, привозившиеся в назначенное время из мэноров ко двору. Королевские чиновники знали точно, из каких именно графств должны доставить пшеницу, из каких — различные сорта

1 Собственно у Вальтера Генлейского в том отрывке, который вошел в книгу Fleta.

мяса, фуража для лошадей и другие предметы необходимости. Если все было доставлено в достаточном (для потребностей двора) количестве, чиновники вместе с шерифом перелагали все припасы на деньги по известной таксе; так, за количество пшеницы, потребное для того, чтобы напечь хлеба на сто человек, клали один шиллинг, за тушу откормленного быка — 1 шиллинг; за барана или овцу 4 пенса; за фураж на 20 лошадей также 4 пенса. Но, с течением времени, Генриху пришлось ездить за море для подавления отдаленных возстаний, и для покрытия расходов на это ему понадобилась чеканная монета. Около того же времени толпы вилланов стали стекаться с жалобами к его двору или, что еще более его огорчало, встречаясь ему во время его поездок, приподнимали лемехи своих плугов, показывая этим, что земледелие падает, так как они терпели много лишений от того, что им приходилось возить припасы на далекое расстояние. В виду этого король внял их жалобам и, посоветовавшись с вельможами, назначил лучших людей, каких он только мог найти для этого дела, и разослал их во все стороны по своему королевству, чтобы они объехали все мэноры и оценили на деньги стоимость натуральных повинностей; при этом они возложили в каждом графстве на шерифа ответственность перед казной за всю сумму, следующую со всех мэноров этого графства».

Ближайшей причиной появления денежных повинностей в имениях английского короля были, таким образом, «отдаленные» военные экспедиции этого последнего. Но с конца XI века не одни английские короли, а все феодальные землевладельцы Европы, в несколько приемов, снимались с мест для экспедиций, гораздо более отдаленных, чем походы Генриха I—для завоевания Святой Земли. Крестовые походы давно уже,—и не без большого основания,—принято ставить в связь с освобождением крестьян на западе в средние века. Схема процесса дается при этом, обыкновенно, очень простая: рыцарь, владелец феодального имения, отправляясь в поход, нуждается в деньгах на дорогу; его вилланы пользуются этим и предлагают своему господину известную сумму, с условием, что он их отпустит на волю. Рыцарь, таким образом, получает деньги, который ему нужны, а вилланы свободу.

Один вопрос здесь остается не совсем ясным: где же вилланы берут те деньги, которые они предлагают своему барину? Откуда взялись самые деньги, на это всего легче ответить: средневековой Европе в наследство от Римской империи достался значительный запас драгоценных металлов. Они не могли исчезнуть совсем, но в эпоху смут, предшествовавших окончательному образованию феодального строя, они спрятались: потеряли денежную форму или просто были зарыты в землю. Они снова стали выходить на свет Божий, когда мало-по-малу возстановился порядок. Как ни плохи были феодальные учреждения с нашей точки зрения, они все же давали людям XI—XII в. такую обеспеченность, о какой и мечтать не смели современники последних Каролингов. Местами, раньше всего в Англии, над феодальным строем уже поднялась сильная центральная власть, стеснявшая произвол и ограждавшая, прежде всего, интересы мелкого люда. И повсюду уже сложилось то обычное право,—так характерное для поместного хозяйства,—которое защищало крестьянина от помещика в интересах самого помещика. Вот эта-то сравнительная устойчивость поместного строя и дает объяснение странному на первый взгляд факту, что у крестьянина могли оказаться деньги, которых не было у сеньёра. Юридически лишенный собственности, крепостной в действительности имел возможность делать сбережения, так как обычный порядок оставлял ему достаточно и земли и времени для ее обработки.

Крестьянское хозяйство было главной экономической силой—помещик вовсе не хозяйничал в более ранний период, а лишь брал себе часть крестьянского дохода. Весь процесс сельскохозяйственной культуры приходился в то время на долю не крупного, а именно мелкого землевладения. И оно же первое воспользовалось начинавшим развиваться денежным хозяйством. Старый металлический запас начал пополняться благодаря возобновившейся разработке рудников (см. очерк 4-й «Средневековой капитализм»). Своими результатами крестовые походы должны были помогать увеличению этого запаса. Восток был гораздо богаче тогдашней Европы; одно разграбление Константинополя в 1204 г. дало крестоносному ополчению, наверно, не один десяток миллионов на наши деньги. Конечно, весь денежный рынок средневековой Европы не составил бы и одной тысячной теперешнего денежного рынка; даже Европа XVI в., после открытия американских рудников, была, вероятно, раз в 10 богаче Европы XIII в. драгоценными металлами. Но все же и этого, незначительного с нашей точки зрения, запаса звонкой монеты было достаточно, чтобы сделать участие денег при всякой сколько-нибудь значительной сделке из исключения—каким оно было раньше—общим правилом. Поскольку этот переворот коснулся крестьян, он и выразился в замене натуральных повинностей денежными платежами.

Условия освобождения—ценз

Так выясняется для нас одна сторона рассматриваемого процесса; но ею не исчерпывается все дело; объяснять освобождение крестьян одною непосредственною нуждой землевладельца в деньгах было бы невозможно уже потому, что непосредственная денежная выгода, которую он получал от освобождения своих крестьян, часто была очень незначительна. Мы видели, что, обыкновенно, он не получал от освобождаемых сразу крупной суммы: за свою свободу крестьянин должен был платить ежегодный, очень небольшой оброк, так называемый «ценз» (cens). Характерною чертой этого оброка была его неизменность: он устанавливался раз навсегда, на вечные времена; после смерти освобожденного платил его сын, потом внук и т. д., из поколения в поколение. На первый взгляд это может показаться очень стеснительною обязанностью: на самом деле сделка была очень выгодна для крестьянина. С развитием денежного хозяйства цена денег должна была все больше и больше падать (у нас в России, напр., 1 рубль половины XV в.=100 р. нынешним), т. е. действительные платежи крестьянина должны были становиться все меньше и меньше. Но иногда владелец не выговаривал себе никакого денежного платежа—и уступал своим крестьянам свободу, напр., за $\frac{1}{13}$ долю валового дохода с их земель. Тут мотивы его поступков становятся уже совершенно необъяснимы с точки зрения непосредственного денежного интереса.

Прикрепление крестьян к земле по договору

Если мы присмотримся ближе к грамотам, отпускавшим вилланов на свободу, нас поразит в них одна особенность: всякий раз освобождение сопровождается одним условием—крестьяне не должны покидать той земли, которую они занимают в момент освобождения. «Если мы покинем имение», говорят, напр., крестьяне С.-Обена во Франшконтэ (1261 г.), «то все наши земли остаются барину». В некоторых грамотах только что освобожденные крестьяне, уже по договору, снова прикрепляют к имению не только себя, но и свое потомство: дают обязательство не выдавать замуж дочерей за пределы вотчины и не позволять сыновьям жениться и заводить хозяйство на стороне.

Отпуская крестьянина на волю, сеньёр, очевидно, не хотел отпускать их из своего имения. Забота странная, если мы припомним главную обязанность виллана, от которой именно его и освобождала отпускная грамота: кормить своего барина. Раз теперь виллан не кормит барина, раз его натуральные повинности перестали быть последнему необходимы,—на что ему виллан? Некоторые экономические же факты, современные изучаемому процессу, объясняют нам отчасти дело.

Мобилизация земельной собственности

Если мы возьмем французское землевладение XIII века, наиболее обильного освобождениями, первый факт, который нам бросится в глаза—очень частые, сравнительно, переходы земель из рук в руки. Передача земли в чужия руки в средние века была делом очень сложным и непривычным: земля оставалась десятки и сотни лет в руках одной и той же семьи. В описываемую эпоху земля каждая 15—20 лет, в среднем, меняет владельца. Одно имение около Авиньона в промежуток с 1274 по 1328 г. перепродавалось 6 раз, т. е. оставалось в руках каждого владельца только 9 лет. Рядом с этим увеличением спроса росла и цена на землю: десятина земли во Франции в конце XIII в. (последняя четверть) стоила ровно вдвое дороже того, что за нее платили в первой четверти того же столетия (261 fr. против 135).

Увеличение ценности земли, параллельно с освобождением сидевших на этой земле крестьян, представляется само по себе очень любопытным явлением. При поместном хозяйстве земля считалась ни во что: цену имели сидевшие на ней крестьяне. Только властью над этими крестьянами и дорожил землевладелец: сельским хозяйством он не занимался. Не было расчета заботиться об увеличении производительности имения, раз оно удовлетворяло потребности его обитателей: поместье жило для себя и работало на себя. Сбыть продукты на сторону было почти некуда.

Появление рынка

К XII веку окончательно складывается средневековой город, о котором много придется говорить ниже: образуется, таким образом, незнакомое раннему средневековью явление—*хлебный рынок*. Поставщиком хлеба для этого рынка и является теперь поместье: вместо того, чтобы кормить только своих обитателей и работать только для себя, оно начинает работать для продажи.

Волей-неволей, феодальный барон,—прежде только государь в своем имении,—становится лицом, близко заинтересованным в сельском хозяйстве,—которым он прежде вовсе не занимался. Или прямо,—если он начинал эксплуатировать с новыми, промышленными целями господскую землю, или косвенно, если земля раздавалась в аренду крестьянам,—но его доход был тем выше, чем выше было качество и количество труда в его имении, потому что тем больше продуктов могло поступить на рынок. Подневольный труд и в том и в другом отношении оказывался очень мало выгодным. «Крепостные нерадивы к работе», говорит одна из французских отпускных грамот, «так как они исполняют ее на других». Свободный человек работает гораздо усерднее: наблюдение, сделанное русскими помещиками XIX века, не чуждо было и французскими сеньёрам средних веков. Благодаря этому, «меньшие права господина», говорит уже цитированная грамота, «будут стоить больше, чем теперь права более значительные».

Но не только *качество*, и *количество* рабочих рук увеличивалось в свободном имении. Распашка новых земель шла, повидимому, быстрее, нежели рост сельского населения, обрабатывавшего эти земли. Спрос на рабочие руки всегда превышал предложение,—и крестьяне массами уходили из крепостных имений в те, где им предлагали более выгодные условия. У сеньёра оставалось, положим, право вернуть своего ушедшего виллана (*droit de suite*),—но его трудно было осуществить при слабости полицейского надзора в тогдашней Европе. Отсутствие сильной центральной власти, так выгодное феодальными землевладельцам в политическом отношении, оказывалось очень вредно для них с экономической стороны. Одна уставная грамота, данная французским монастырем своим вилланам, прямо объясняет факт своего появления желанием монастыря, чтобы «земли не оставались необработанными». Другой документ более ранней эпохи поясняет, что «никто не хочет брать участков в крепостных имениях, все предпочитают свободные». Помещик, замедливший освобождением своих вилланов, терял своих старых крестьян и лишался возможности призвать на их место новых. «Принимая во внимание плодородную почву и умеренный климат», говорит архиепископ Безансонский, отпуская на волю своих крестьян, «можно с уверенностью сказать, что в поместьях население сильно возрастет, как только освобождение от крепостного права будет распространено на всех». А одна помещица конца XIV века, запоздавшая с освобождением, горько жалуется в отпускной грамоте, что «земля ея сильно обезлюдела и запустела, а оброки и прочие ренты сократились и почти совсем исчезли».

2. Городское хозяйство

Исходною точкою всего длинного и сложного процесса крестьянского раскрепощения,—основные черты которого намечены выше,—послужило образование городского рынка—короче говоря, образование города, потому что экономическое значение города в первую половину средневековья к тому и сводилось, что там был рынок. С городом же связана и вся дальнейшая экономическая история западной Европы в средние века: как разложение поместного хозяйства начинает собой экономическую историю позднего средневековья, так разрушение городского хозяйства, переход к хозяйству народному и международному хронологически совпадает с принятым началом новой истории (XV—XVII века).

Разсматривая большое имение, мы имели перед собою организацию производства в средние века: явления распределения занимали нас лишь постольку, поскольку они не выходили за пределы одного поместного хозяйства. Распределения продуктов между различными хозяйствами, обмена, мы не касались—потому что вся система вовсе и не была рассчитана на обмен—как рассчитаны на него теперешние сельскохозяйственные предприятия. Но и в настоящее время,—время полного расцвета отношений, основанных на обмене, на столе у более счастливых обитателей самой капиталистической из стран Европы появляется нередко молоко от *своей* коровы, жаркое со *своего* птичьего двора,—точь-в-точь, как в доброе старое время в поместном хозяйстве; в свой черед, и это последнее никогда не могло вполне выдержать свой «*натуральный*» характер: полная замкнутость являлась для него идеалом, как все идеалы—недостижимым. В действительности, явления обмена вовсе не были ему неизвестны, только, как в наши дни явления натурального хозяйства, они были

исключением, а не правилом—не они давали тон экономической жизни того времени. Но чем дальше, тем их становилось больше,—пока, наконец, обмен не отлился в определенную, очень своеобразную организацию, носящую на себе явный отпечаток натурального хозяйства—но представляющую, тем не менее, крупный шаг вперед, сравнительно с поместным строем: с этой организацией мы знакомимся, изучая хозяйство городское.

Город начала средних веков

Когда мы теперь произносим слово «город»—в нашем воображении возникает картина с довольно определенными *экономическими* признаками: тесные ряды высоких каменных домов, с пестрыми вывесками магазинов, оживленные, покрытые толпой делового люда, улицы и длинный строй дымных фабричных труб на горизонте; полный контраст деревне, —с ее простором и тишиной, низенькими домиками и широкими зелеными полями вокруг. Город для нас, прежде всего, центр обрабатывающей промышленности и торговли,—а деревня такое место, где занимаются, преимущественно, земледелием. Но когда москвичу, например, приходится «ехать в город», пред ним во всей неприкосновенности встают старые, уже стирающиеся в нашем воображении, признаки городской жизни: с башен Ильинских или Владимирских ворота, с зубцов «Китайской стены» на него смотрит еще средневековой *город*, имевший в себе совсем мало «экономического». Лет тысячу назад на западе и еще гораздо позже у нас, под стенами «города» мы бы увидели очень сельскую картину: не только в каком-нибудь захолустном немецком бургe, а в самом Риме VI—VII веков мы нашли бы и обширные пастбища, и густые сады, и пашни, и луга—и другие принадлежности «сельской», по-нашему, жизни. Только вал с частоколом, а позднее стена с башнями отличали этот «город» от деревни,—и его обитатель разнился от деревенского жителя не своими обычными занятиями, а тем, что у него был меч и панцырь на тот случай, если обычное течение жизни будет прервано появлением неприятеля. Город был не средоточием хозяйственной жизни, отличной от деревенской, а местом, куда деревенские жители спасались во время войны. Город в нашем смысле этого слова развился лишь постепенно в течение первой половины средних веков—и развился скорее непосредственно из поместного хозяйства, нежели из этого «бурга», хотя и нашел себе убежище за его стенами.

Зачатки обмена в поместном хозяйстве

Не все большие имения постоянно производили одно и то же, и в одном и том же количестве: полное равенство было так же мало осуществимо, как и полная замкнутость. В одном хозяйстве могло случайно уродиться мало хлеба,—за то холста было выткано больше, чем сколько было нужно для домашних потребностей; в другом, соседнем, могло быть хлеба в избытке, но не хватает холста: что было проще, как достать у этих соседей хлеб в обмен на холст? Иногда такое неравенство могло быть не случайным, а постоянным: в деревне на берегу реки всегда было больше рыбы, чем нужно, и ее обитатели могли постоянно доставать все остальные необходимые для них вещи в обмен на рыбу. Так, мало-по-малу, иные поместные хозяйства получали одностороннее развитие, и, живя вообще для себя, какой-нибудь один продукт, смотря по местным условиям: глиняную посуду, шерсть, холст и т. д.—начинали заготавливать исключительно для обмена. Были предметы, которые ни в каком случае нельзя было производить в каждом хозяйстве,—а они, в то же время были нужны всем, к таким принадлежали, наприм., железо и соль. Торговля, на первых порах, отличалась очень примитивным характером: обменивались, обыкновенно, соседи,—производитель

и потребитель всегда могли завязать непосредственные отношения; не было надобности в особом общественном классе, который взял бы на себя обмен, как в наше время: средневековой купец этой ранней эпохи—почти всегда торговец заморскими, иноземными товарами, с местными продуктами ему нечего было делать. По той же причине долгое время не было надобности и в деньгах—обменивались прямо продукты на продукты: деньги нужны были только в заморской торговле, которая начала развиваться в связи с крестовыми походами. Но уже очень рано понадобилось определенное место, где могли бы совершаться меновые сделки: колесить с обозом из одного имения в другое было бы, конечно, очень неудобно.

Рынок

Это место должно было удовлетворять двум требованиям: нужно было, чтобы оно находилось, приблизительно, в одинаковом расстоянии от всех, заинтересованных в обмене; нужно было также, чтобы оно представляло известную гарантию безопасности,—чтобы можно было везти туда запасы с некоторой уверенностью, что попадут они в руки покупателей, а не каких-нибудь охочих «лихих людей», которыми так богато было средневековье. Обоим требованиям отвечал, обыкновенно, укрепленный бург, лежавший почти всегда в центре области: вот отчего первые рынки и возникли большею частью под стенами укрепленных городов или даже в самых стенах. Связь укреплений с образованием города—рынка очень хорошо можно проследить на примере С.-Омера, в западной Франции: в IX веке это было простое аббатство, неукрепленное, и, благодаря этому, дважды опустошенное норманнами, в 860 и 878 годах. Наученные опытом монахи окружили монастырь стенами, и когда норманны пришли в третий раз, в 891 г., они не могли его уже взять. В X веке этот монастырь был уже городом.

Городское население

«Горожане» этого времени все еще продолжали мало отличаться от своих сельских соседей. Купец, время от времени наезжавший сюда с произведениями далеких стран,—мехами, пряностями, дорогими материями, был здесь *гостем*, так его и называли в древней Руси. Но в качестве постоянных жителей около рынка скоро появились два разряда людей, незнакомых поместному хозяйству: это были, во-первых, мелочные торговцы; средневековой барин, обыкновенно, запасал все, что ему было нужно, оптом, как оптом же спускал он и продукты своего хозяйства; но случалась нужда в рынке и у его вилланов, и они не могли делать оптовых закупок; этим воспользовались более сметливые из горожан; сделав большой запас разных нужных для крестьян продуктов, они сбывали их по мелочам,—с большою, конечно, для себя выгодой. Эти «грошевые вещи», *Pfennwerthe*, покупались большею частью на чистые деньги, которые в маленьких суммах легче, конечно, было найти, нежели в виде крупного капитала. Денежное хозяйство, широкою струей вливавшееся, благодаря заморской торговле, просачивалось, таким образом, в массу средневекового крестьянства, по каплям, благодаря мелочному торгу.

Обрабатывающая промышленность в поместном хозяйстве

Другой, и гораздо более важный для будущего, разряд горожан представляли собою свободные или оброчные ремесленники. Мы видели, что поместное хозяйство стремилось удовлетворить своими силами все свои потребности,—не исключая и потребности в продуктах обрабатывающей промышленности,—и даже интересов высшего порядка, насколько

они были доступны тогдашнему человечеству. На землях аббатства Бога Отца в Шартре в XI столетии мы находим, на ряду с булочниками и поварами, особых поставщиков жареного на вертеле мяса и пирожников. Мясники и хлебопеки завершают собою список лиц, промыслы которых имеют отношение к пище. Гораздо многочисленнее класс лиц, занятых выделкой различных предметов одеяния, начиная с обуви и кончая шляпой и верхней одеждой. В их рядах мы встречаем дубильщиков и меховщиков, нередко поставленных под начальство особого монастырского надзирателя и занимающихся также выделкой перьев и пуху, башмачников, сапожников, портных-закройщиков и портных, кладущих заплату на старое платье, шляпочников, наконец, группу лиц, заведующих выделкой тканей, как льняных, так и шерстяных ткачей, валяльщиков (*fullones*) и красильщиков. Выделка металлов сосредоточивается в руках кузнецов, железных дел мастеров, ножевщиков, золотых дел мастеров. Обработкой дерева, помимо дровосеков, заняты плотники и бочары. Имеются также каменщики и цементщики. Торговлей и обменом заведуют особые купцы и менялы. Последнее указание очень ценно в двух отношениях: во-первых, мы видим, что монастырское хозяйство работало не только для себя, но и на продажу, и не обходилось, в свою очередь, без закупок на стороне,—при чем та и другая операция были настолько обширны, что потребовалось держать для них особого агента; а во-вторых,—и эту новую потребность в обмене монастырь старался удовлетворить приемами старого, натурального хозяйства,—заводя для себя особого домашнего купца и менялу, как у него был домашний повар и домашний сапожник. Но и вся система не выходила из рамок поместного хозяйства: каждый из перечисленных выше ремесленников сидел на земельном наделе, подобно остальным крестьянам, и подобно им был обязан натуральными повинностями,—которые состояли только, разумеется, не в поставке сельскохозяйственных произведений и не в работе на барской запашке, а в праве землевладельца требовать от своего крепостного ремесленника даровой работы по его специальности. На таких условиях даются наделы не только ремесленникам: в писцовой книге аббатства Корби, в числе людей, сидящих на монастырской земле, мы находим и повивальную бабку, и врача, и даже—фокусника.

Барские заказы не могли, само собою разумеется, взять все рабочее время таких мастеровых людей: и барин ничего, конечно, не мог иметь против того, чтобы они, в досужие часы, что-нибудь зарабатывали и себе лично, продавая свои услуги,—прежде всего, своим односельчанам: последнее настолько само собою разумелось, что по большей части такой ремесленник был одновременно и барским, и мирским. Но очень часто могло быть, что одно какое-нибудь имение располагало представителями такого мастерства, каких не было в других: тогда и в этом случае начинался обмен между различными хозяйствами,—обмен рабочими силами. Искусного слесаря или портного брали кругом нарасхват, и землевладельцу сплошь и рядом было выгоднее отпустить такого мастера по оброку, нежели держать его постоянно в своем имении. Ремесленник из барского окончательно превращался в мирского,—притом не для одного «мира», не для одной своей деревни, а для всей округи. Из таких отпущенных по оброку мастеровых и складывался мало-по-малу новый общественный класс, класс промышленных работников по преимуществу, уже почти или и вовсе не занимавшихся земледелием и не связанных с землей.

Перехожие ремесленники и работа по заказу

Мы очень ошиблись бы, если бы стали представлять себе такого средневекового реме-

сленника производителем товара для продажи, в небольших размерах, в роде хозяина какой-нибудь теперешней маленькой мастерской. Тогдашний ремесленник торговал не продуктами своего труда, а самим трудом: его профессиональная ловкость, умение обращаться с орудиями ремесла—вот в чем заключался его товар. Тот, кто имел сырье, желал его переработать, но не умел сам этого сделать,—тот звал мастерового к себе на дом. И теперь еще в иных местностях Германии крестьяне обрабатывают продукты своего льноводства таким способом. Крестьянин растит лен или коноплю; домашними средствами этот лен или коноплю сушат, мнут, чешут и прядут. Затем для тканья пряжа отдается ткачу за сдельную плату; в таком виде суровое полотно возвращается к собственнику для беления, или же опять-таки за плату—передается красильщику для окраски; в конце-концов в дом поденно приглашается швея или портной для изготовления из ткани различных предметов одежды. Во многих сохранившихся до сих пор городских прихода-расходных книгах средних веков встречаются бесчисленные записи расходов на материал и вознаграждение за работу. Там встречаются записи о выдаче кузнецу железа, свечнику—воска, кровельщику—соломы, столяру и экипажнику—дерева для пожарных лестниц и приборов, стекольщику—свинца и стекла, печнику—кафель, кирпичей, глины и волоса, лудильщику—олова, оружейнику—олова и меди для смеси и железа для шомполов; даже и в тех случаях, когда мастер сам ставил материал, стоимость его проставлялась отдельно от платы за работу. Если орудия ремесла были негромоздки, легко их было переносить, мастера обыкновенно звали на дом, чтобы он выполнял работу на глазах у хозяина. Это трудно было, конечно, устроить, когда дело шло о ткаче или булочнике, например: тут, то прямо отдавали муку с обязательством доставить обратно известное количество хлеба, то месили тесто и приготавливали хлеба дома, так что пекарю оставалось лишь выпечь их. Но во всех случаях сырье доставлялось тем лицом, которому нужен был фабрикат.

Из последних примеров видно, что ремесленник далеко не всегда мог быть переходим, —очень часто сама профессия требовала от него прочной оседлости, обзаведения своим хозяйством, непохожим на деревенское. Если это был кузнец или булочник, он мог бы еще, однако, географически все же оставаться в деревне, которая давала ему достаточное количество заказчиков. Но уже золотых или серебряных дел мастер или резчик по дереву не нашел бы здесь достаточного приложения для своего искусства. Ему приходилось устраивать себе оседлость в более бойком месте, куда стекались заказы с разных концов: таким местом и был город с его рынком. Так, ремесленник силой вещей становился городским жителем, «бюргером», «буржуа» в средневековом смысле этого слова.

Происхождение цехов

Как он завоевал себе свободу от власти своего помещика, и как он устроился на новом месте,—обо всем этом читатели этой книги уже узнали в другом месте (см. т. II статью «Французские города в средние века»). Сейчас нас интересует только экономическое его положение; и здесь он еще не так скоро разорвал последние нити, связывавшие его с помещичьим хозяйством. Еще в 1273 г. булочникам города Санса приходилось выкупать право на свою профессию у аббатства св. Петра, которому они платили оброк,—по одному хлебу каждую неделю. Из возникшего по этому поводу процесса мы узнаем, что собственником булочных попрежнему считался монастырь, а городские пекари были лишь пользователи: на бумаге еще оставалась форма помещичьего хозяйства, хотя на деле булочники давно уже

служили не монастырю, а всему городу, и в монастыре давно уже был свой особый хлебопек. Еще недавно ставили в связь с этой старой вотчинной организацией и новую организацию городских ремесленников. Мастерские каждой особой профессии в каждом городе образовали самостоятельную обособленную группу, скрепленную очень прочною внутренней связью и выступавшую как одно целое и перед правительством, и перед публикой; такая группа называлась в Англии «гильдией», во Франции *metier*, в Германии *цехом* (Zunft). Древнейшая парижская корпорация такого рода (цех свечников) появляется в первый раз в 1061 г. Одна хартия 1134 г., касающаяся парижских мясников, упоминает «старинные лавки» этих последних, а другой документ, 1162 г., говорит об их «старинных» обычаях. Немецкие цехи несколько моложе; древнейшие цеховые уставы, дошедшее до нас, это—уставы рыбаков Вормса (1106 г.), башмачников Вюрцбурга (1128 года), ткачей перинного тика в Кельне (1149 года), башмачников Магдебурга (1158 года), портных (1183 г.) и выделывателей щитов (1197 г.) в том же городе и холстовщиков Брауншвейга (1156—1180 г.). Эта групповая организация промышленности, где и размеры производства и его приемы устанавливались сообща всеми товарищами по ремеслу, так не похожа на наш современный строй с его крайним индивидуализмом, что давно обратила на себя внимание и вызвала на объяснение. Французское название цеха (*metier*) несомненно происходит от латинского *ministerium*: а так назывались отряды или артели *крепостных* ремесленников в больших имениях предшествующей эпохи. Отсюда выводили заключение, что свободные мастерские просто подражали той системе, к какой они привыкли, когда еще не были свободными. Против этого возражают, во-первых, что до сих пор можно указать только *один* случай перехода крепостной организации в цеховую (цех котельников в Лейтербахе, в Германии). С другой стороны, цех удовлетворял слишком многообразным потребностям, чтобы возникновение такого разностороннего союза можно было относить на счет какого-нибудь одного—притом случайного—влияния. Он сыграл в свое время огромную политическую роль,—был могучим орудием в борьбе промышленного населения города, как против феодального землевладельца, так и против коренного городского населения—«патрициев», старавшихся удержать за собой привилегированное положение (см. в III в. ст. «Город Кельн в средние века»). Он удовлетворял и потребности религиозного общения,—и был, в то же время, обществом взаимного страхования. «Гильдия вмешивалась почти во все стороны повседневной жизни своих членов», говорит историк английского хозяйства. «Члены гильдии навещали своих больных сочленов, посылали им вино и кушанье со своих праздников, помогали своим обедневшим собратям, давали приданое дочерям последних при выходе их замуж или пособие при поступлении в монастырь, а когда умирал член гильдии, они присутствовали на похоронах и заботились о том, чтобы были исполнены все надлежащие обряды». С другой стороны, потребителям, т. е. всему населению города и его округа, был прямой расчет поддерживать и поощрять такую солидарность промышленников; при ограниченности района производства и сбыта последние являлись, в сущности, монополистами,—и в чем могла найти публика гарантию от их злоупотреблений, как не в круговой поруке мастеров, и таком строе всего дела, при котором оно было бы в руках одного учреждения, цеха, всем видного и действовавшего по определенному уставу, под контролем городской власти? Нужно впрочем сказать, что на первых порах этот устав и этот контроль не шли дальше ограждения потребителя от порчи материала и слишком грубого обмана: «козловые сапоги—так козловые, опойковые—так опойковые, выростковые—так выростковые»,

как говорится в уставе одного немецкого сапожного цеха. Та стройная иерархия мастеров, подмастерьев, учеников, сложная система присяжных экспертов, экзаменов, *chefs d'oeuvre*, — мелочная регламентация всех подробностей производства — все то, что обыкновенно связывается с представлением о цехе — дело гораздо более позднего времени, — в сущности, эпохи разложения цехового строя, когда эта система служила уже не самостоятельным экономическим целям, а была лишь орудием или правительства, в его стремлениях — извлечь из промышленности возможно больше дохода, или экономически господствующего класса, хлопотавшего о том, чтобы не давать ходу конкурентам. Первоначально цехи были очень широкими и свободными союзами, гостеприимно раскрывавшими свои двери передо всяким добросовестным работником, какого бы происхождения и пола он ни был.

Городское хозяйство

В итоге всех этих перемен Европа к XII—XIII веку разбилась на множество небольших городских округов, каждый из которых старался собственными средствами удовлетворить все свои хозяйственные потребности. Этот городской строй был прямым потомком помещного строя, от которого он и произошел путем деления, — как один простейший организм происходит от другого. Раньше, все процессы и обрабатывающей промышленности, и добывающей были сосредоточены в одном месте; теперь они распределились на две группы: обрабатывающая промышленность концентрируется в городе, добыча сырья остается в деревне. Между городом и деревней образуется, благодаря этому, непрерывный живой обмен: город получает из деревни жизненные припасы и сырье и отдает ей в уплату нехитрые средневековые фабрикатy. Площадь этого обмена очень невелика: в средневековой Германии (за исключением вновь колонизованных областей на востоке) города были расположены в 4—5 час. ходьбы друг от друга на юге и западе, в 7—8 час. на севере и востоке; значит, на каждый городской округ приходилось от 2—2½ (ю.-з.), до 5—8 (с.-в.) квадр. миль. Английский юрист XIII в. Брактон свидетельствует, что в его время запрещалось устраивать рынки ближе 6⅔ мили (=10 вер.) один от другого: десять верст были, стало быть, нормальным расстоянием одного рыночного местечка от другого. В таких тесных пределах не трудно было регулировать весь процесс обмена так, как это немыслимо на сколько-нибудь обширном рынке. Было строго определено, где, когда и по какой цене должен продаваться тот или иной товар. Из этих постановлений мы узнаем, между прочими, к чему сводился тогдашний торговый оборот: на Оксфордском рынке начала XIV века продавали, напр., сено и солому, хворост, строевой лес, свиней, пиво, уголь и овощи, кожи и перчатки, меха, холст и сукно, хлеб и молочные продукты.

Регламентация торговли

Продажа должна была начинаться не раньше известного часа, — возвещавшагося иногда звоном особого рыночного колокола; выставленные для продажи, но не проданные товары должны были убраны тоже к определенному часу. Заботясь об интересах потребителя, старались, чтобы продукты попадали к нему из первых рук, — всякого рода барышничество или маклачество либо вовсе запрещалось, либо дозволялось лишь относительно тех товаров, которые не находили себе покупателей среди местного населения. Тою же заботой о потребителе объясняется и самая любопытная для нас сторона этой регламентации: постановления о «справедливой цене». При тесном объеме торгового района не трудно было определить, что должен был стоить тот или другой продукт непосредственному производи-

телю,—а местный обычай не менее точно определял, что мог он взять себе сверх этого за труды. Брать барыш сверх этой обычной нормы было преступлением: парламентский статут 1349 г. предоставил магистратами всех английских городов право расследовать виновность тех торговцев жизненными припасами, которые отказывались продавать свой товар по умеренным ценам. И каждый мэр города, вступая в отправление своих обязанностей, давал присягу, что он будет «тщательно следить за точным исполнением законов по продаже хлеба, пива, вина и всякого рода других съестных припасов». Не только за продажу выше таксы,—за попытку запрашивать выставляли к позорному столбу. А за попытку—ради того же барыша—уменьшить обычный вес хлебной булки одного лондонского пекаря возили по Сити в плетеной клетке.

Мы сейчас видели, какую роль в надзоре за «справедливыми ценами» играл мэр: постоянное вмешательство власти—в особенности городской власти—в экономические отношения населения составляет одну из характернейших особенностей городской системы хозяйства. В этом отношении городская власть была прямым наследником всемогущаго опекуна натурального помещного хозяйства—землевладельца-вотчинника. Как средневековой феодал для своих вилланов, городской мэр был живым провидением для жителей города—только провидением выборным и потому состоявшим под их контролем. На нем лежало «важное дело городского продовольствия... и вообще все, что касается благосостояния всех граждан этого уважаемого города и его окрестностей: «им все живет и движется, и существует». Всем, поэтому, должно «усердно молить Бога сохранить нашего мэра, споспешествовать и помогать ему, чтобы он и впредь тщательно и непрестанно трудился над приумножением почести, богатства и благосостояния этого благородного города и всех его жителей».

Положение международной торговли

Когда в этот замкнутый городской округ, где всё и все заранее было известно, являлся новый, непривычный для местного взгляда, человек, с редкостными заморскими товарами,—он возбуждал в жителях двойное чувство. С одной стороны, глаза разгорались на эти товары—роскошь была не чужда и глухому средневековью, и никто из горожан не был в душе спартанцем. С другой стороны, как и в прежнем натуральном хозяйстве, «враг» и «чужеземец» были понятиями очень близкими. Иностраный купец казался мошенником уже по тому одному, что он был иностранец. И чем реже были такие гости в городе, тем большее недоверие возбуждали они вместе с жадностью. Оттого торговля заграничными товарами,—вообще говоря, исключение в жизни средневекового города,—была обставлена всевозможными предосторожностями. В Англии иностранному купцу еще в XIV веке не разрешалось оставаться в стране более 40 дней. Приехав в какой-нибудь город, он не имел права распоряжаться собой и своими товарами, как ему вздумается: он мог продавать только оптом, но не в розницу, только жителями этого города, но не «посторонним»,—разве уже, когда все туземцы были удовлетворены. С него брали пошлины, от которых эти последние были свободны. Он не мог выбрать даже квартиру по своему произволу: он обязан был жить в доме гражданина, назначенного ему городским магистратом в качестве «хозяина». «Цель этого постановления», говорит историк английского хозяйства, «заключалась в том, чтобы можно было проверять всякую сделку, заключенную иностранцем и чтобы иностранцы не имели возможности, сговорившись между собой, обманывать невинных англи-

чан; по представлению людей того времени, двое иностранцев не могут сойтись вместе без того, чтобы не умыслить какое-нибудь зло. Когда в Англии это правило перестало соблюдаться, то английские купцы были очень недовольны тем, что за границей столь же стеснительное постановление применялось со всею строгостью. «Отчего это мы в их странах должны идти к хозяину, а им не приходится этого делать у нас в Англии, так что они пользуются большей свободой, чем мы?» спрашивает автор стихотворного памфлета, под заглавием *Сатира на английскую политику* (1435 г.). Даже в эту позднюю пору, таким образом, континентальные государства не решались еще отступить от традиций городского хозяйства по примеру Англии. Раньше обмен между различными городскими округами, а тем более с заграницей, был возможен только при исключительных условиях, — раз в год на *ярмарках*.

Ярмарки

Вот как описывает тот же историк Уинчестерскую ярмарку в Англии, — установленную еще Вильгельмом II и продолжавшуюся (со второй половины XII века) ежегодно 16 дней (от 31 августа до 15 сентября). «Утром 31 августа «судьи епископского павильона» с вершины холма объявляли ярмарку открытою, затем проезжали верхом по городу, у ворот принимали ключи от города, брали в свое заведывание весы на городском шерстяном рынке, чтобы никто не мог ими пользоваться, и затем, в сопровождении мэра и бэйлифов, возвращались назад к большой палатке или павильону на холме, где они *назначали особаго мэра, бэйлифа и коронера для управления городом* от имени епископа на время ярмарки. Вершина холма сплошь покрывалась рядами деревянных лавок — в одних торговали фландрские купцы, в других купцы из Кана (Саен) и некоторых других нормандских городов, в третьих — бристольтские купцы. Здесь в ряд поместились золотых дел мастера, там торговцы сукнами; вся ярмарка была обнесена деревянным палисадом; у выходов из него стояли сторожа — предосторожность, не всегда предохранявшая от попыток смельчаков ускользнуть от уплаты пошлин, прорывая себе дорогу под стеною. В первый же день являлись к епископским судьям, на конях и вооруженные, те вассалы епископа, которые обязаны были являться на ярмарку по условиям держания; из них трое или четверо назначались смотреть за тем, чтобы приговоры суда и приказания епископского маршала исполнялись надлежащим образом на ярмарке, в Уинчестере и Саутгэмптоне. В Уинчестере и на семь миль в окружности *в дни ярмарки заставляли местных жителей прекращать всякую торговлю* и на границах этой территории, у мостов и других проходов, разставляли стражу смотреть за тем, чтобы торговая монополия епископа не нарушалась. В Саутгэмптоне, вне отведенной для ярмарки площади, во время ярмарки нельзя было ничего продать, кроме жизненных припасов, и даже уинчестерские ремесленники должны были на время ярмарки переселяться на холм и здесь работать... *На каждой ярмарке был особый суд*, так называемый *court of pie powder* (буквально «суд пыли», поднимавшейся от пыльных ног), в котором представитель лорда решал, на основании норм торгового права, все возникавшие споры, приостанавливая на некоторое время *обыкновенную юрисдикцию городских властей*. Это описание чрезвычайно выпукло рисует перед нами самую характерную особенность международного обмена в средние века: он был исключением, а не правилом, временным перерывом в обычном течении городского хозяйства, можно сказать, упразднением

этого хозяйства на несколько дней в году¹.

3. Цеховая промышленность

Прошло три века, прежде чем исключение стало правилом и международная торговля окончательно подточила хозяйственную самостоятельность отдельных городских округов. Конец этого процесса даже в передовых странах западной Европы—Англии и Франции—приходится на время, выходящее из хронологических рамок нашего изложения—на XVI и XVII века. Но не нужно думать, чтобы внутри города хозяйственная жизнь в течение всего этого периода замерла неподвижно на одних и тех же формах: здесь тоже происходило развитие, мало-по-малу приближавшее цеховую промышленность к формам, более нам близким и знакомым. Средневековой ремесленник мало-по-малу раздваивался, выделяя из себя в одну сторону *цехового мастера*—будущего «предпринимателя», а в другую *подмастерья* и *ученика*—предшественников современного рабочего класса.

Рост городского населения

Мы видели вначале, что образование средневекового города—рынка было исходной точкой целого переворота в средневековой деревне: население этой деревни из крепостных вилланов, если и не везде, то, по крайней мере, в экономически наиболее развитых местностях—превратилось в свободных крестьян. Эта перемена в деревне в свою очередь не осталась без влияния на город. Изучая поименные списки граждан, дошедшие до нас от некоторых средневековых городов, исследователи заметили одну любопытную особенность. Чем ближе мы к новому времени, т. е. чем дальше идет процесс раскрепощения крестьян, тем чаще встречаем мы в этих списках людей, не родившихся в данном городе—пришлый элемент берет верх над туземным. Во Франкфурте на Майне, например, в последней четверти XIV века мы находим около $\frac{1}{3}$ граждан, не родившихся в городе, а переселившихся в него—иногда довольно издалека; $\frac{2}{3}$ пришельцев родились далее 15 верст от города, и, преимущественно, родились в деревне. Через 50 лет мы находим в тех же списках уже более 40% пришлых, и из них уже $\frac{3}{4}$ издалека. Освобождение крестьян, таким образом, несмотря на все старания помещиков удержать рабочие руки в имении,—все же очень увеличило подвижность сельского населения: раз крестьяне получили право распоряжаться собою, не спрашивая барина, более предприимчивых и энергичных потянуло туда, где и условия жизни были лучше, и разбогатеть можно было скорее—в город (совершенно аналогичный факт представляет у нас быстрый рост городского населения после 19 февраля). Но перемена в крепостной деревне изменила не только состав населения города, а и всю его физиономию. Город раннего средневековья походил, вероятно, на теперешнее, не очень большое, торговое село,—отличаясь от него укреплениями, но не размером. Если мы возьмем данные о городском населении второй половины средних веков, особенно XIV—XV столетий, мы увидим совсем иную картину.

В Англии уже в эпоху норманского завоевания считалось около 80 городов, население которых составляло около 10% всего населения страны (150.000 на 1.500.000 человек по приблизительному расчету). Правда, ни один из этих городов не насчитывал более 7—8 ты-

1 Подробности относительно международной торговли в средние века см. в III в. ст. «Ганза».

сяч жителей. В начале XV века Лондон имел уже около 40.000 населения, Йорк и Бристоль до 12.000, Плимут и Ковентри до 9.000 каждый и 5 городов каждый—выше 5.000 человек. Между тем, Англия в средние века вовсе не была самой промышленной и самой городской страной Европы, как теперь: напротив, она в гораздо большей степени заслуживала название земледельческой страны, нежели ее континентальные соседки—Франция, Фландрия, прирейнская Германия. В Германии в течение XIII века основано около 400 городов, в XIV веке—до 300,—большую частью в первой половине,—в XV прибавилось еще до сотни. Относительно их населенности мы имеем сколько-нибудь надежные данные только для двух последних столетий. По податным спискам Цюриха, в 1357 г., в нем можно насчитать 12.375 жителей—и эта самая высокая цифра населения, какую он имел в средние века: в XV веке число жителей упало до 10.000 приблизительно. Росток (в северной Германии, на берегу Балтийского моря) по таким же спискам дает 10.785 чел. для 1387 года и 13.935 для 1410. Франкфурт на Майне в первый из названных годов имел до 10.000 чел., в 1440 г.—до 9.000. Наиболее населенными центрами Германии XV века были Нюрнберг (20.155 ч. в 1449 г.), Страсбург (20.722 чел. в 1470 г.), Ульм (считавший в то же время почти 20.000 жителей) и Аугсбург (18.300 ч. в 1475 г.). Фландрия и Франция были, пожалуй, еще более «городскими» странами, нежели Германия. Для Парижа начала столетней войны один—правда, по всей вероятности, чересчур щедрый расчет—дает около 350.000 населения; гораздо более надежная податная перепись 1291 г. насчитывала в городе 4.159 одних цеховых мастеров, что давало бы, как увидим, ниже, 10—15 тыс. ремесленного населения, или 20—30 тыс. населения вообще. Но Париж был столицей королевства—в нем приходится считать не одно промышленное население: приведенный расчет смело можно увеличить вдвое и принять в Париже конца XIII в. 50—60 тыс. человек.

Как ни скромна кажется большая часть приведенных цифр на наш взгляд—привыкши к городам с сотнями тысяч жителей, все же эти скопления значительных масс населения, по большей части ремесленного, предполагают не такую простую организацию промышленности, как описанная нами в предшествующей главе. Скромные переходные сапожники и портные, работающие на крестьян из крестьянского же материала, не могли создать городов с двадцатитысячным населением. Более крупным размерам рынка соответствует и более крупная промышленная единица: место отдельного рабочего, продающего свой труд, занимает *мастерская*, продающая свои произведения.

Начало производства на продажу

Мысль—закупать самому сырье и готовить из него фабрикаты не для заказчика, а на продажу—сама по себе слишком проста, чтобы не прийти в голову средневековому мастеру. Но его, на первых порах, должны были останавливать, во-первых, размеры рынка: покупателей было слишком мало, чтобы стоило заводить новое дело; во-вторых, у этих немногочисленных покупателей не было привычки покупать готовое. Непривычный к постоянным меновым отношениям средневековой человек был очень недоверчив: продажный товар казался ему так же мало надежным, как и сам продавец. И, конечно, в этом была доля правды: при отсутствии широкой конкуренции,—в наше время быстро наказывающей сбыт плохого товара прекращением этого сбыта,—свое, дома приготовленное сырье бывало, обыкновенно, лучше купленного на рынке. И исполнение работы «по заказу», под непосредственным надзором потребителя, лучше обеспечивало интересы последнего, нежели

«рыночная работа», до сих пор служащая синонимом работы плохой. Прошло не мало времени, пока готовые изделия нашли достаточный спрос: и помог этому все тот же рост города. Выросло число людей, не располагавших своим сырьем и волей-неволей приобретающих покупное: к обмену между городом и деревней присоединился обмен между горожанами. Само деревенское хозяйство перестало быть натуральным и, приспособляясь к обмену, теряло свою прежнюю цельность: в обмен на продаваемое в городе сырье крестьянин приобретает теперь многое такое, что раньше производилось в его собственном хозяйстве. Прежде это последнее отдавало на рынок то, что оставалось за покрытием собственных потребностей; но когда мы читаем, напр., что во Франкфурте на Майне в конце XV в. в один месяц продавалось по 600 свиней, то мы имеем перед собою, конечно, не избытки натуральных крестьянских хозяйств, а продукты правильного торгового скотоводства, ведущаяся прямо в расчете на рынок. В Кельне еще в 1239 г. засвидетельствовано существование особого «масляного рынка (*forum butyri*)», указывавшее на такой же характер молочного хозяйства. Деньги, который крестьянин получал в обмен за свои продукты, ему были нужны, прежде всего, чтобы расквитаться со своими денежными повинностями перед землевладельцем и государством; но у более зажиточного эти повинности не поглощали всего денежного дохода. И вот, что оставалось, он спешил обменять на такую вещь, которая не могло или уже перестало давать его собственное хозяйство. Прежде он одевался во все свое, теперь он приобретает на городском рынке материи более тонкие и нарядные, чем домотканное сукно или холстина; в Германии XV в. местные чины и имперские сеймы находили нужным запрещать крестьянам покупать сукно дороже полуфлорина локоть, чтобы помешать непроизводительной роскоши. Крестьяне, тысячами стекавшиеся в 1497 г. к Никласгаузенскому проповеднику (прозванному «Никласгаузенским бубенщиком»), несли ему серебряные и золотые вещи, драгоценные камни, шелковые ткани и множество таких предметов, которые никак не приходится считать продуктами крестьянского хозяйства. И проповедник не был, вероятно, совсем не прав, когда он находил уместным перед толпой, состоявшей исключительно из крестьян, громить роскошь и возставать, как против вещи нехристианской, против драгоценных ожерелий, шелковых платьев и модных башмаков.

И в городе, и вне города постоянный покупатель мало-по-малу сменил случайного заказчика, и мастер стал уже гнушаться последним, все больше и больше применяясь к первому. Он начинает с того, что перестает ходить в дом заказчика: «Кто делает новые сапоги, тот должен сидеть дома», говорит старый устав франкфуртского сапожного цеха (1355 г.). Только сапожникам, занимающимся починкой старой обуви, разрешается еще работать на дому у заказчиков. В Любеке цеховой устав 1374 г. предписывает, что золотых дел мастер, «*in den husen nicht werken schal*», не должен работать в доме у заказчика. В XVI в. аугсбургские ремесленники говорят уже, что «изстари ведется» не ходить по домам и не работать поденно. В немецком языке экономическая перемена находит себе очень любопытное филологическое отражение: слово *stor*, обозначавшее первоначально работу на дому у заказчика, получает бранное значение «плохой» или «незаконной» работы, и *Storer*’ом начинают называть сначала того, кто работает, не имея на то дозволения от цеха, а потом вообще смутьяна и бродягу. Французские уставы XV века разрешают ходить к заказчику лишь в виде исключения таким ремесленникам, которым это нужно было по условиям ремесла — портным, например, или же обедневшим мастерам, которые не в силах были заве-

сти свое собственное хозяйство. Вообще же все больше и больше утверждается правило, что работать цеховому ремесленнику можно только в мастерской, где надзор со стороны заказчика мог быть заменен бдительным оком городских властей. Если достоинство ремесленника не позволяло ему теперь идти к потребителю на дом, то интересы потребителя, как они тогда понимались, не допускали и мысли о том, чтобы предоставить ремесленника самому себе. Работа не в мастерской стала преследоваться точно так же, как и работа на дому у заказчика, и название «комнатника», *chambrelan*, мастерского, работавшего в своей коморке, приобрело такое же значение по-французски, как по-немецки *Storer*.

Образование рабочего класса

Уже одна обязательность мастерской, сама по себе, должна была вести к дифференцировке рабочего класса—к разделению этого класса на две группы не по свойству занятия, а по экономическому положению: на рабочих, имевших свою собственную мастерскую, и таких, которые своей мастерской завести не могли, а стало быть, должны были работать в чужой. Первые стали хозяевами, мастерами (*maitres*, *Meister*), вторые подмастерьями (*compagnons*, *Gesellen*), работниками в нашем смысле этого слова.

Уже в раннюю эпоху мастер работал часто не один, а с помощником, и нередко брал себе мальчика или подростка,—который помогал ему в разной черной работе и в то же время приучался к ремеслу. Первый назывался обыкновенно его «слугой» (*Knecht*, *valet*, *serviteur*, *servant*), и юридически их отношения, в самом деле, строились по тому типу, образец которого давало положение батрака в крестьянском дворе—типу чисто патриархальному: «слуга», почти всегда неженатый молодой парень, жил в семье мастера на одних правах с ее членами,—и одинаково в полном подчинении у ее главы. Он ел со всеми за одним столом—наравне с сыновьями и дочерьми хозяина, и наравне с ними состоял под его опекой, не смел уходить со двора без спросу, должен отдавать ему отчет в своем поведении и, в случае каких-либо грехов с своей стороны, подвергался отеческому внушению, иногда, может быть, не слишком мягкому: цеху случалось разбирать дела о мастерах, сгоряча «собственноручно поколотивших» своего слугу, «проломив ему голову», или, по крайней мере, оставив на этой голове «шишки и раны». Но экономически помощник мастера был поставлен немного хуже его: ему платили за работу немного меньше, а иногда и столько же, и только очень небережливый человек не сумел бы в два—три года скопить себе на покупку нехитрых средневековых инструментов,—настолько нехитрых, что очень часто рабочие делали их себе сами. Стало быть, от него самого зависело сделаться самостоятельным работником. В таких же патриархальных условиях жил и ученик,—конечно, еще больше под опекой мастера и еще чаще им битый. Но, как и подмастерье, он не был прикреплен к своему званию: ученичество не было особым учреждением, каждый учился дольше или короче в зависимости от своего прилежания и способностей,—и при первой возможности переходил на положение подручного рабочего, в свою очередь легко становившегося рабочим самостоятельным.

Юридическое положение рабочего

Были ли это грубые, но свободные отношения переходящего ремесла перенесены в мастерскую? Что касается грубости, это, повидимому, не подлежит сомнению: дела об изувечении учеников, а при случае и подмастерьев, цеховым судьям приходилось разбирать,

пока вообще существовали цехи. Совсем в ином положении представится дело, если мы спросим о свободе этих отношений. Пока ремесленник работал на дому у заказчика, рабочую плату определял этот последний; подручный получал свой заработок или прямо от него,—или был в доле с мастером. Теперь заказчик сменился покупателем, которого мастерской мог и в глаза не видеть: с ним ведался хозяин мастерской, мастер; какой ему доставался барыш—это было его дело, не касавшееся рабочего; последний работал теперь за определенную плату,—из товарища мастера превращаясь таким путем в наемника. Но юридическая сторона патриархальных отношений продолжала оставаться во всей силе: подмастерье был попрежнему несовершеннолетним членом рабочей семьи, в которой мастер по-прежнему заменял для него отца. Определение заработной платы не могло быть предоставлено свободному соглашению: какие же договоры у отца с детьми? За одну попытку торговаться с мастером подмастерье лишался своего единственного права—права работать, и ему предоставлялось жить, чем он знает. «Если «слуга» (Knecht) придет к мастеру», говорит устав ульмских золотых дел мастеров (1364 г.): «и запросит плату выше обычной,—уверяя, будто такую плату обещал ему другой мастер,—то такого «слугу» не должен брать в мастерскую ни один хозяин города Ульма».

Обычную плату определяли старшины цеха,—всегда выбиравшиеся, разумеется, из «совершеннолетних», полноправных рабочих,—из хозяев. (Лишь впоследствии в советах цехов появляются выборные и от подмастерьев, но они постоянно были в меньшинстве). Сами мастера, таким образом, решали, сколько они будут платить своим рабочим, и решали, обыкновенно, на много лет вперед, по средневековому обычаю раз навсегда определять всякие платежи. Портные мастера двадцати городов верхне-рейнской Германии установили, напр., в 1457 г. вознаграждение подмастерьев на 28 лет вперед. Шпейерские ткачи пробовали сделать это даже «навсегда». Мы видели, как такая прочность платежей была выгодна для крестьян, благодаря тому, что цена денег постепенно падала: по той же причине постоянная заработная плата должна была быть чрезвычайно невыгодна для рабочих.

Другой, само собою разумеющийся вывод из патриархальных отношений, был тот, что рабочий, раз нанявшись, не мог уже располагать своей личностью по собственному усмотрению: до конца срока, на который он подрачился, он не смел уйти от хозяина. За самовольный уход ему грозили не штраф или неустойка, как за нарушение контракта между равноправными людьми, а уголовное наказание,—доходившее до лишения права работать, как и при попытке запрашивать. Консулы Любека, Гамбурга, Росток, Висмара, Штральзунда и Грейфсвальда постановили, напр., относительно подмастерьев бондарного промысла,—особенно развитого в этих приморских городах (1326 г.): «Если какой рабочий уйдет с работы против воли своего хозяина, ни один бондарь названных городов не должен принимать его к себе в услужение». Устав булочников средне-рейнских городов возвращал такому опальному рабочему правоспособность лишь под условием возвращения к прежнему хозяину, у которого он должен был дослужить срок. Чтобы понять всю силу подобных постановлений, нужно припомнить, что рабочий, какими бы талантами и знаниями он ни обладал, не мог заработать ни копейки без посредства мастера; попытка устроиться самостоятельно, вне мастерской, точно так же рассматривалась, как преступление: «ни один не занятый в мастерской (leddig) подмастерье не смеет работать на своем собственном хлебе», определяет один Любекский ремесленный устав 1356 г. Охрана интересов мастеров местами

(во Франции, напр.) поручалась особому персоналу выборных ревизоров или экспертов — «присяжных» (*jures*), «стражей» (*gardes*) и т. п. На их обязанности лежало открывать всякую «нечестную», «фальшивую» работу, — термины, под которыми неправильно было бы разуместь «плохую» работу: дело было не столько в качестве фабриката, сколько в соблюдении «законных» условий его изготовления; а среди этих условий на первом месте стояло, что мастерством можно заниматься «только на хозяина, и притом в доме, где последний живет» (тулузские цеховые уставы). Кто нарушал это правило, подлежал суду тех же «присяжных», — располагавших и нужными полицейскими полномочиями, чтобы их приговоры не оставались на бумаге: правом производить аресты, обыски и т. д.

Экономические условия работы

Не исполнять цеховых уставов было, таким образом, делом рискованным: смельчаки, открывавшие мастерския «тайком» (*secretement*), без всякого права и разрешения от цеха, встречались постоянно, и их не устают разоблачать челобитные мастеров местным властям; но они всегда остаются исключением, — как правило, рабочий идет в мастерскую. Его юридическое положение там нам уже известно; каковы были чисто экономические условия его работы, — ее продолжительность, обстановка, заработная плата? Средневековые источники не дают нам ответов на все эти вопросы настолько определенных, чтобы можно было с какою-нибудь надеждой на успех сравнивать тогдашнего мастерового с нашим современным фабричным рабочим. Рабочее время обыкновенно выражалось в терминах очень общих: от восхода до захода солнца, например, — что дает от 8¹/₂ до 16 час. в сутки, смотря по времени года. Очевидно, на практике рабочей день если и колебался в таких широких пределах, то в зависимости от спроса на тот или другой фабрикат, если дело шло о так называемом сезонном товаре, а никак не в зависимости от времен года. На практике должна была применяться более точная регламентация, которая нам не всегда известна. Парижские сукновалы XIV в. начинали работу летом в 5 час. утра и кончали в 7 час. вечера; зимою они работали с 6 час. до 5: это дает рабочий день от 11 до 14 часов. Рабочие, занятые обстрижкой готовых сукон, с октября по февраль садились за работу в полночь и вставали из-за работы при восходе солнца: вычитая время, необходимое на обед и завтрак, мы получим около 13¹/₂ часов непрерывной работы. Но трудовой день мог быть и еще длиннее: работники лионских типографий XVI века бывали заняты по 16 часов в день, при чем начинать им приходилось с 2 час. утра. Запрещение начинать работу ранее 4 часов пополудни настолько распространено, что, видимо, искушение удлинять рабочий день на половину ночи у хозяев мастерских было очень сильно. Но городские власти смотрели на ночную работу очень косо, — не по филантропическим соображениям, а с точки зрения общественного интереса. Во-первых, в маленьких, тесных мастерских, заваленных материалами, работа при свечах была, как нельзя быть более опасна в пожарном отношении. Во-вторых, всякая ручная работа, — а тогда машин, конечно, не было, — идет хуже ночью, чем днем, и потребитель получает товар низшего качества; вдобавок, и уследить за рабочими ночью труднее, больше искушения для «подделок» и «фальшивой работы» (*malfacon et fraude*): в последнем случае интересы цеха были заодно с интересами покупателей. Но в то время, как власть неуклонно запрещала ночную работу, мастера постоянно колебались между опасением «подделок» и боязнью упустить выгодные заказы, сокращая рабочее время. «Зимою, когда на нашу работу всего больше спроса», жаловались Людовику XI парижские перчаточники, «мы не смеем рабо-

тать ночью... а это для нас самое дорогое время, когда мы могли бы получить наибольшие барыши...» «Притом», поясняли они, «благодаря этому, наши ученики и подмастерья предаются праздности... (припомним, что дело идет о *ночной* работе), ...не имея занятий, они проводят время в играх и распутстве, и совсем отвыкают хорошо работать...» По их челобитной король разрешил им работать зимою до 10 час. вечера, начиная с 5 час. утра,—после чего, разумеется, «праздности» подмастерьев наступил конец. Вообще, правила о ночной работе допускали столько изъятий, что от строгих предписаний вряд ли много оставалось на практике: целый ряд заказов был поставлен вне правил, начиная с работы на принцев и принцесс крови, для нужд королевского двора, по случаю свадеб, перед праздниками и т. д., и т. д. Правда, что и нерабочих дней в те католически-благочестивые времена было несравненно больше, нежели в современной западной Европе. Но мастер и тут едва ли много терял,—а рабочий выигрывал: наиболее распространенным типом платы была почасовая, несмотря на то, что контракты с рабочими заключались по большей части на год. А если хозяин мастерской должен был усилить производство, он всегда мог перейти—и действительно переходил—к почасовой плате, заставлявшей рабочего в его собственных интересах трудиться до последней возможности. Что касается размеров вознаграждения за труд—в той или другой форме,—то их гораздо труднее выразить в понятных нам цифрах, нежели размеры рабочего дня. Во-первых, цена денег в то время при более редком обмене, изменялась, смотря по местности, значительно больше, нежели это бывает в настоящее время, даже у нас в России,—где, как известно, рубль в деревне, в провинциальном городе и в Москве имеет различную покупательную силу, особенно по отношению к сырью—съестным припасам, например. Если нам говорят, что средний французский рабочий XV века получал в день, в переводе на теперешние деньги от 3 до 4 франков, то это еще несколько не определяет его относительно благосостояния—так как мы не знаем, какую сумму жизненных благ можно было в данной местности приобрести за эти деньги. Но гораздо чаще только часть заработка выплачивалась деньгами, остальное давалось рабочему в натуре,—в виде одежды, пищи, квартиры, освещения и т. д., при чем размеры всего этого определялись «обычаем», т. е. никогда точно не определялись. Тут уже никакое сравнение невозможно, потребности теперешнего и средневекового рабочего слишком сильно отличаются друг от друга, чтобы можно было, отправляясь от первого, сказать, что нужно было второму. Одно только несомненно,—что подмастерья постоянно жаловались на плохое содержание и низкую плату.

Размеры предприятий

Но как ни плохо жилось средневековому работнику, он, казалось, мог находить себе утешение в том, что все его стеснения—временныя: не надо забывать, что подмастерье был будущим мастером, в этом великое преимущество средневековой системы производства перед современной,—говорят нам обыкновенно. Теперь ни один фабричный рабочий, если он в здравом уме, не станет рассчитывать сделаться при нормальных условиях фабрикантом-предпринимателем; тогда надежда стать самостоятельным предпринимателем была у всякого. Существование такой надежды очень вероятно; но насколько вероятно было ее осуществление? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, надо, прежде всего, уяснить себе отношение числа рабочих к числу мастеров, или, что то же—мастерских. Косвенную возможность этого дают нам приведенные в начале этого очерка цифры городского населения: возьмем, для примера, Франкфурт на Майне, где во второй половине XIV в. считалось

около десяти тысяч жителей; мы едва ли ошибемся, приняв, что почти все население состояло из ремесленников,—купечество, сильное экономически, численно составляло ничтожное меньшинство. Так как в цехах были не только работники, но и работницы (были даже сплошь женские цехи, белошвеек, например), и так как дети в большом числе встречались в мастерских в качестве учеников и учениц, то возможно, что около половины всего населения было занято промышленным трудом: это дает 5000 рабочих обоего пола и разного возраста,—а цеховых мастеров во Франкфурте считалось 1104 человека. На одного мастера приходилось, в среднем, около 4 мастеровых: такую промышленность нельзя, конечно, называть крупной, но это уже и не мелкое сельское ремесло. Мы принимали в расчет, при этом, только оседлое население, но как раз подмастерья всего меньше отличались оседлостью; организация, которую они себе выработали и о которой нам придется еще говорить, делала для них постоянные перекочевки из города в город гораздо более выгодными, нежели сидение на одном месте. Весьма возможно, что приведенный расчет скромнее действительности, и один немецкий исследователь (писавший, правда, раньше, нежели были установлены приведенные выше цифры) находил, что мастерские с 6—7 рабочими при одном мастере не составляли исключения. Что, во всяком случае, 4 работника (3 подмастерья и один ученик) были нормальным числом, свидетельствуют цеховые уставы, останавливающиеся на этой цифре, как на обычной¹.

Итак, прежде всего, на одного мастера приходилось, по крайней мере, 3 подмастерья (не считая, пока, учеников): на одно место 3 кандидата. Но одно место мог занять только один мастер, а число мест вовсе не обладало склонностью расти,—совсем напротив: как и все в средние века, число мастерских старались определить на веки вечные и к концу этого периода дошли до того, что стали определять количество цеховых мастеров законодательным путем. В Нюрнберге подобные случаи бывали уже в XIV в., в Гамбурге в 1469 г. было положено иметь не более 12 золотых дел мастеров,—а число «рыбаков», т. е. хозяев рыбных лавок, даже уменьшено с 50 на 40, в Травемюнде и Любеке ограничено число башмачников и т. д. Там, где дело не доходило до подобного запираания ворот цеха перед вновь входящими, существовал целый ряд других формальных препятствий. Во Франции, вообще говоря, очень неблагоприятно относились к рабочим, пришедшим из другого города: чтобы получить доступ в мастера, нужно было провести годы ученичества и быть подмастерьем именно этого цеха, а не какого-нибудь иногородняго. В Германии цеховым мастером мог быть только гражданин данного города,—притом приобретшего право гражданства не менее, как за 5 лет. А иногородним это право давалось лишь в том случае, если они приносили с собою в город порядочную, по тому времени, денежную сумму: бедняков, которые могли бы быть потом городу в тягость, никто не хотел принимать. Наконец, чтобы завести мастерскую, тоже нужны были деньги, хотя бы и не очень большие. Уже одни эти условия должны были сузить круг конкурентов на звание мастера,—но их, очевидно, оставалось еще слишком много—и хозяева мастерских не чувствовали себя безопасными до тех пор, пока они не увидели себя огражденными почти непреодолимым барьером. К концу средних веков ма-

1 Для Франции некоторые уставы дают 2 *compagnons* на одного мастера, как *нормальное* число (парижские ножевики, например): но из них же видно, что мастера, при возможности, всегда шли дальше этого минимума. Большинство французских цехов не устанавливали никакой нормы. В Англии портной не мог,—без особого разрешения гильдии—иметь более трех подмастерьев и одного ученика: что опять приводит нас к норме, указанной в тексте.

стером можно было сделаться только по своего рода конкурсному экзамену, — но экзамену, устроенному так, что одни кандидаты на нем всегда проходили, тогда как другие почти всегда проваливались.

Условия доступа в мастера

Во-первых, кто хотел быть мастером, должен был пробыть известное число лет учеником, — число лет, несколько не зависавшее от его успехов в ученье и, обыкновенно, очень продолжительное. Можно подумать, что, подвергая новичков продолжительному искусству, мастера руководились интересами потребителя и нежеланием ронять репутацию цеха, принимая в свою среду недоучек. С этим предположением мирятся 8—9 лет ученичества золотых дел мастера, например, но когда мы узнаем, что нужно было 12 лет учиться делать четки или десять лет тянуть проволоку, — возможность объяснить это целесообразностью почти исчезает. Она пропадает совершенно, раз мы слышим, что срок ученичества можно значительно сократить, сделав при поступлении в ученики более или менее крупный подарок мастеру: вместо 7—8 лет можно было ограничиться 3—4 годами ученья. Тогда нам становится ясно, что не в ученье тут было дело и что длинный срок ученичества ограждал интересы не публики, а, во-первых, мастеров вообще; это была первая преграда на пути будущего конкурента и, во-вторых, данного мастера, — потому что ученику не нужно было платить, и чем дольше рабочий состоял на положении ученика, тем больше извлекал из него хозяин труда бесплатно.

Но отбыв свой срок, ученик вовсе не становился таким же мастером: он только получал право требовать плату за свою работу, становился подмастерьем, пока не более; чтобы подняться выше, он должен был держать экзамен, — выполнить образцовую работу по своему ремеслу, — *chef d'oeuvre*, как называли ее во Франции — имя, ставшее нарицательным для всякой образцовой работы. Самая вещь была знакома не одной Франции, — хотя были страны, на первом месте Англия, где *chef d'oeuvre* вовсе не требовался. Как и долгие годы ученичества, «образцовая работа» в идее должна была служить гарантией интересов публики и достоинства цеха: этим оправдывалась трудность испытания. *Chef d'oeuvre* отнимал у подмастерья иногда месяц, иногда несколько месяцев, иногда даже год упорного труда: это свидетельство не самих рабочих, которые могли быть пристрастны, а официального документа (ордонанса короля Генриха III, 1581 г.). Материал для него иногда был очень дорог: шелковая материя, когда дело шло о платье, золото или серебро, если нужно было изготовить ювелирную вещь: все это кандидат в мастера должен был покупать на свой счет. Это был расход, очень тяжелый для рабочего, и притом безвозвратный: цех не помогал подмастерью готовить *chef d'oeuvre*, но продавался этот последний в пользу цеха, если судьи признавали его удачным, в противоположном случае, а это не было редкостью, его просто уничтожали. Судьями были те же «присяжные», представители мастеров: постоянные жалобы подмастерьев на несправедливость экзамена, уже одне в состоянии были бы внушить нам подозрение, что судьи не забывали интересов тех, кто их выбрал. Но цеховые мастера делали такие подозрения совершенно излишними: сын или зять мастера, говорят французские цеховые уставы, не обязан представлять шедевр, он подвергается только «легкому испытанию», которое «не должно длиться более 24 часов». Другими словами, для чужих ставились почти невыполнимые условия, для своих ограничивались простой формальностью: интересы публики и здесь были только ширмой, за которой работали интересы хозяев ма-

стерских.

Но, очевидно, ни ученичество, ни шедевр не останавливали наплыва конкурентов в такой мере, как этого хотелось бы мастерам, и некоторые цехи находили нужным прибегнуть к последнему средству—от нового мастера стали требовать «вступных денег», подарков «судьям» и пирушки на его счет для всех членов цеха,—«*infinis presents et banquets*», по выражению того же официального документа. В 1456 г. каждый парижский мастер, вновь принятый в цех, должен был заплатить: королю 10 су, а братству всех цеховых мастеров «добровольный дар, по силе возможности, чтобы с его помощью не прерывалась служба Божия и удовлетворялись другие нужды братства». На самом деле, «дар» был так мало «добровольным», что королевский сборщик податей не выдавал новому мастеру квитанции в уплате 10 су, пока тот не предъявлял росписки «присяжных» в том, что они довольны этим «даром». В цехе ремесленников, изготавливавших мячи для игры, нужно было платить (1467 г.) 20 су братству и 10 мастерам. Вновь принятые *sayetiers*¹ платили 20 су братству, 14 казне и 6 «присяжным». Сыновья мастеров или совсем были освобождены от этих взносов, или платили половину. Цифры не дают, конечно, никакого понятия о действительном размере всех этих платежей; что стоили они на самом деле рабочему, это дают понять отчасти документы, в роде приведенного ордонанса Генриха III, который говорит о «чрезмерных расходах» (*excessives depenses*), отпугивающих рабочих от испытания на степень мастера, отчасти тот факт, что и выдержавшие этот экзамен нередко попрежнему оставались подмастерьями у того же хозяина; последний не без гордости видел в своей мастерской работника, украшенного почетным званием мастера, и почасту напоминал ему, что этим званием он обязан хозяину: потому что без одобрения от мастера подмастерье и экзамена держать не смел.

Итак, вопреки очень распространенному (особенно во французской литературе) представлению, будто промышленный класс в средние века не знал ничего о противоположности интересов хозяина и работника и будто цех был товариществом, где каждому трудящемуся обеспечивались равные блага с другими, вопреки этому, мы видим, что уже в средние века складывался особый класс наследственных собственников орудий производства, класс *мастеров*, и почти столько же наследственный класс рабочего пролетариата—*подмастерьев*: неизбежным результатом была борьба двух этих классов. Борьба принимала, отчасти, формы, знакомые нашему времени; но в этом случае юридическая форма средневековой промышленности давала рабочему большие преимущества—и положение подмастерьев постепенно улучшалось: параллельно цеховому строю, окончательно перешедшему в руки мастеров, рабочие вырабатывают свой строй, обеспечивающий их интересы.

Отношения мастеров и рабочих

Около половины XIV столетия (в 1350 и 1362 гг.) властям города Лондона приходилось улаживать пререкания между мастерами, сукнострогами и ткачами, с одной стороны, и их подручными («слугами», «*valets*»)—с другой. В указах, относящихся к этому случаю, поведение «слуг» описывается такими чертами: «до сих пор всякий раз, как возникало какое-нибудь разногласие между мастером и его подручным (*vadlett*), последний обходил обыкновенно всех подручных, занимающихся тем же ремеслом в нашем городе, и вот, по взаимно-

1 Ткачи полушолковой материи—*saye*—очень модной в XV в.

му согласию и уговору, они решали, чтобы каждый из них отказался работать и служить своему мастеру, пока вышеозначенный мастер и его служащий (*servant*) или человек (*man*) не придут к соглашению, вследствие чего мастера сказанного промысла оказывались в большом затруднении, а народ лишался необходимых для него услуг...» Лондонские подмастерья устраивали, таким путем, форменную *стачку* против своих патронов. И это явление не было ни единичным в Англии, ни свойственным исключительно английским отношениям: ордонансы французских королей запрещают всякого рода «*monopoles*» не менее настоячиво, нежели лондонские указы только что описанный обычай тамошних подмастерьев. Правда, что под именем *monopole* правительство разумело, безразлично, и стачки мастеров против публики, и стачки рабочих против мастеров; но конкретные случаи применения этих указов дают нам несомненные случаи стачек последнего рода, подавлявшихся гораздо суровее, чем первые. В 1539 г., наприм., лионскому сенешалу были даны почти неограниченные полномочия по отношению к стачечникам; он мог присуждать их, собственно властью, не только к тюрьме и к изгнанию, но даже к пытке и смертной казни. В двух последних случаях он должен, однако, судить при участии «почтенных лиц (*notables personnages*), адвокатов или иных, сведущих в праве», в числе шести,—для приговора к пытке и десяти—для смертного приговора. Произнесенные при таких условиях приговоры не подлежали апелляции.

Стачка была средством обоюдоострым, столько же, если не больше, вредившим самим рабочим, как и мастерам; это была всегда временная вспышка,—средство, применявшееся рабочими только в крайности. Гораздо чаще столкновения разрешались более мирным путем,—или вмешательством правительственной власти, там, где она была достаточно сильна, или при участии постоянной организации, выработанной подмастерьями. Второй половине средневековья были хорошо знакомы рабочие союзы, столь характерные для современной западной Европы. Их тогдашняя форма настолько своеобразна и типична для своего времени, что о ней стоит сказать несколько слов.

Братства

Мы видели выше (см. очерк 2: «Городское хозяйство»), что цех не был только экономическим учреждением: у него была и политическая, и социально-религиозная сторона. Первая нас не касается в данном случае, важна вторая. Как общество взаимопомощи, цех сливался с «братством». Логически одно не вытекало из другого: основа братства (*confrerie*, *Bruderschaft*) была религиозная, не экономическая; центр братства—это церковь или часовня какого-нибудь святого, под покровительство которого отдают себя «братья». «По общей и искренней нашей вере (*bonne et sociale devotion*) в Господа Создателя и Пресвятую Его Матерь, в достославного святого Михаила, св. Магдалину и св. Екатерину собрались мы, все люди оловянного цеха, взывая к Господу Богу и ко всем добрым святым..., да благоволят они быть посредниками и заступниками за нас перед Спасителем нашим и Искупителем Господом Иисусом Христом...», так начинается устав братства руанских оловянных. Их профессия здесь, очевидно, дело совершенно случайное: братство могли образовывать и не-цеховые, и цеховые разных цехов. Потребности, которым оно удовлетворяло, тоже не имели ничего общего с промышленностью: общие взносы шли, во-первых, на совершение богослужений в праздники святых, патронов братства, на поддержание неугасимой свечи в их церкви или капелле, затем на похороны умерших «братьев», наконец, на

дела благотворительности—помощь престарелым или больным членам, их вдовам и сиротам, устройстве больниц и богаделен. Но само собою было ясно, что удобнее и практичнее было воспользоваться одной готовой организацией, нежели создавать новую: вот отчего братства ремесленников так часто сливались с цехами. Старшины цеха сплошь и рядом бывали тоже и старшинами братства: это одно уже отдавало дела благотворительности и благочестия в полное распоряжение мастеров; но обычай общей молитвы и взаимной помощи, без различия положений, держался здесь очень долго: подмастерья наравне с мастерами были членами братства и пользовались его поддержкой в случае нужды. Скоро, однако же, противоположность хозяйственных интересов начала сказываться и здесь: на похоронах каждого братчика должны были присутствовать все члены, а с отсутствующих без законной причины брали даже штраф; но этот обычай строго соблюдался только, когда умирал мастер или кто из семьи мастера: если же подмастерья собирались хоронить своего товарища, пропущенное время вычиталось у них из заработной платы,—мастера не хотели терять дорогого времени из-за смерти рабочего. Отлучаться в будние дни для похорон товарища прямо запрещалось подмастерьям уставами некоторых цехов. К этим мелким различиям присоединялось более крупное неудобство—финансового свойства: деньги в кассу братства собирались со всех; платили и подмастерья,—хотя меньше, нежели мастера, но, ведь, и достатки их были меньше. Распоряжались же этими деньгами представители только мастеров: подмастерья если и встречаются в числе старшин братства, то, обыкновенно, не по выбору товарищей, а по назначению хозяев, и то впоследствии. На собраниях все братчики были равны, но легко ли было рабочему возвысить свой голос при хозяине, когда он уже не смел иногда даже сидеть с ним за одним столом? Стремление подмастерьев завести свою кассу и свое братство было более чем естественно, при таких условиях. Первые образчики таких братств подмастерьев, все на той же религиозной основе—ради поддержания «общей свечи», встречаются уже очень рано—в XIV веке. Первоначально они действуют с разрешения и под надзором мастеров,—у последних хранится касса братства, выдаваемая рабочим только в дни собраний, а самые собрания происходят под контролем выборных от хозяев. Очень скоро должно было обнаружиться, что недоверие мастеров было вполне основательно,—новыя братства сулили им много неприятностей.

Союзы подмастерьев

В 1417 г. несколько лондонских портных-подмастерьев явились к мэру и просили позволения для себя и «для других своих товарищей, принадлежавших к братству подмастерьев (йоменов)...., собираться ежегодно в день усекновения главы св. Иоанна Крестителя в церкви св. Иоанна Иерусалимского, возле Смесфильда..., служить здесь обедню по усопшим братьям и сестрам их братств *и делать другое, что они до сих пор обыкновенно делали*». Мэр и олдермены, наведя справку в прошлых делах, отвечали, что «разрешение подобного рода собраний, хотя этого добиваются и просят под предлогом благочестивых дел, было бы явным нарушением прежнего указа и сопровождалось бы далее нарушением общественного мира, к чему вели и другие собрания, бывшие в означенном промысле» (они-то и вызвали указ 1415 г., на который ссылались городские власти). В виду всего этого они постановили, чтобы «ни служащие (по servant), ни ученики не осмеливались посещать как бы то ни было собрания, в этой церкви или в ином месте, кроме тех, на которых они бывают вместе с мастерами означенного мастерства и в присутствии последних». Из более

ранних сведений мы узнаем, что подобное же движение происходило и в цехе кожевников, подмастерья которых, не найдя удовлетворения у местных властей, вошли в сношения с каким-то монахом одного из проповеднических орденов, и поручили ему отправиться в Рим—получить от папы утверждение их братства. Если в Англии движение не разрослось, то это, главным образом, потому, что здесь оно нашло немного горючего материала: английские подмастерья были в сравнительно более выгодном положении, чем континентальные. К тому же здесь рано сложилась сильная государственная власть, вообще стеснявшая развитие всяких частных союзов, как рабочих, так и иных: Англия не была никогда классической страной цеховой промышленности. Французские цехи в XV в. уже начинают становиться тем чисто искусственным учреждением, за какое они прослыли в новое время: быстро растущая государственная власть, с одной стороны, рано развившееся капиталистическое производство, с другой—скоро превращают их в орудие для достижения своих целей. Свободно развиваться цеховая жизнь продолжала только в Германии—и здесь мы находим полный расцвет союзов подмастерьев. Они покрывают здесь всю страну, действуют на основании формально утвержденных уставов, иногда на основании привилегии, данной императорскою властью, и объединяют в одно целое рабочих десятков городов. С ними, как с равноправною стороною, вступают в переговоры городские власти—как это было с подмастерьями кольмарских (в Эльзасе) булочников в конце XV в. ушедших из города по причине «обида», нанесенной их братству магистратом (им не дали обычного места в церковной процессии). У них есть свои судьи, приговоры которых имеют обязательную силу и для мастеров: в Магдебурге союз подмастерьев-кузнецов так силен, что он привлекает даже мастеров к *своему* суду. Участие рабочих через представителей, ими выбранных, в управлении цеха становится общим правилом.

Как отражалось это на положении рабочих, экономическом и юридическом? Во-первых, мы нигде не встречаем попытки разрушить цеховой строй или даже цеховую иерархию,—вернувшись к первоначальному равенству всех работников. Совершившийся хозяйственный переворот был молча признан подмастерьями: революционных или реформаторских замыслов они никогда не питали. Прекрасным образчиком их манеры действовать служит история хронологически первой стычки рабочих с мастерами в Германии, имевшей место в Шпейере около 1350 года. Подмастерья ткачей были недовольны, во-первых, размерами платы (припомним, что именно в Шпейере ее пытались определить на вечные времена), во-вторых, тем, что часть платы выдавалась натурой, в-третьих тем, что споры между рабочими и хозяевами разбирались одними выборными от мастеров,—без представителей от рабочих. Когда цех отказал им в удовлетворении, все братство ушло из города; мастера остались без работников и должны были пойти на уступки. Этот первый успех ободрил ткачей, и через 12 лет они сделали новую попытку улучшить свое положение. Вежливый и дружественный тон ответа, который дали им мастера, показывал, что и для них опыт не прошел даром. «Мы, так начинают они, мастера-ткачи и суконщики и все цеховые люди здесь в Шпейере, старшинам подмастерьев ткачей и им всем—шлем дружеский привет и пожелания всего лучшего»... Перемены, которых требовали и добились рабочие, были очень существенны: при поштучной плате за неотделанное сукно они желали иметь вознаграждение, равное тому, какое получал сам мастер от торговца сукном, за отделанное $\frac{2}{3}$ платы мастеру.

Уступчивость мастеров, может быть, объясняется тем, что сукноткачество—одно из тех ремесел, которые всего раньше капитализировались,—и мастера здесь наравне с рабочими уже в эту пору стояли под одинаковым давлением торговцев сукном, которые и были настоящими предпринимателями. Но способ действия подмастерьев не перестает от этого быть характерным: они добиваются не новых условий работы, а улучшения в данных условиях. В сущности, они стремятся лишь закрепить результаты совершившегося переворота, и, путем освобождения ставшего наемным труда, достигнуть замены произвольных отношений—договорными. Особенно это сказалось на борьбе за право разрывать контракт с хозяином,—борьбе, которую упорно вели немецкие подмастерья и, наконец, одержали верх. Мы видели, что первоначально подмастерье, раз нанявшись, терял право располагать собою: он не смел уйти без воли хозяина, если он осмеливался это сделать, он умирал, как рабочий—никто не смел его нанять. Подмастерья, добиваясь права нарушать контракт—платя неустойку,—стремились к юридическому равенству с мастером. Уже в 1387 г. для страсбургских башмачников лишение права работать было заменено штрафом в 5 шиллингов. Торгауские каменотесы платили такой штраф уже не лично мастеру, а, очевидно, братству—потому что состоял он из фунта воску. Заплативши штраф, рабочий мог уйти, даже не кончив начатой работы,—и его нельзя было вернуть. Так как это слишком уже задавало интересы производства, пришлось регулировать подобные случаи, но мастера должны были обратиться за этим к «братству» подмастерьев, и выбранные последними судьи решали,—мог ушедший прервать работу без вреда для дела или нет.

Экономическое значение союзов

Но в общем ходе развития европейской промышленности главным делом средневековых союзов подмастерьев—и на этот раз уже не только в Германии, а и в Англии и во Франции—было не разложение патриархального строя цеха,—над этим в Англии и во Франции работали другие силы, а падение той местной организации промышленности, которая так характерна для второго периода средних веков. Не нужно забывать, что цехи были городской корпорацией и выросли на почве городского хозяйства. Вне этого последнего цех не имел смысла: он был привязан к городу тысячами нитей. Эта связь сохранилась теперь только для владельцев мастерских,—подмастерья, лишённые орудий производства, за то и не были связаны этими орудиями. Они очень скоро поняли, что чем шире рынок рабочих рук, тем больше надежды найти выгодные условия—особенно в те времена, когда цены на все, в том числе и на труд, гораздо сильнее разнились от одной местности к другой, нежели теперь. Оттого странствование, кочевание из одного города в другой, становится классическою приметой средневекового подмастерья. Уставы братств особенно заботятся о таких странниках (Wanderer); всюду находили они кров и приют на первые дни, и братство ставило долгом чести как можно скорее достать им работу. Так сложился, мало-по-малу, под неподвижным цеховым строем вечно движущийся рабочий класс,—и образовался рабочий рынок, не связанный ни с каким отдельным городским хозяйством. Но этим классом воспользовалось уже не цеховое мастерство, слишком мелкое для новых условий, а крупный капитал. Хронологически пункт, на котором мы теперь стоим—XV век—был веком первых крупных промышленных предприятий в западной Европе.

4. Средневековой капитализм

Положение кредита в средние века

В средние века, повидимому, принимались все меры, чтобы помешать образованию денежного капитала: мы уже видели, что нельзя придумать ничего менее благоприятного для крупной международной торговли, чем городское хозяйство. Другой способ сосредоточения в одних руках больших денежных сумм—кредитные операции: им не меньшая преграда ставило общественное мнение средних веков, выразителем которого была *церковь*. Мы уже имели случай говорить в одной из предшествующих статей (см. в в. III «Господство Медичи во Флоренции») о том, как относились в средние века к ростовщичеству—именем которого безразлично клеймили почти все формы кредита. Корень таких экономических взглядов нужно искать, конечно, в экономической действительности эпохи: при натуральном хозяйстве заем может служить только для целей потребления, а не производства; занимают не для того, чтобы извлекать доход из занятого капитала, а для того, чтобы покрыть из него текущие расходы: занимает крестьянин, которого постиг неурожай или пожар, помещик, которого разорила война, и т. д. При таких условиях процентная ссуда почти всегда является эксплуатацией человеческого несчастья, потому что тот, у кого дела идут хорошо, не занимает; понятно, отчего человек, промышлявший отдачей денег займа за проценты, не возбуждал симпатии. Но люди любят логически обосновывать свои симпатии и антипатии: теперь, в области хозяйственных отношений, для этой цели часто служит политическая экономия; средневековой человек во всех областях прибегал к богословию. Рост, по его мнению, был запрещен самим Господом Богом—доказательство чего не трудно найти в Библии: «Если дашь деньги займа бедному из народа Моего, не будь для него ростовщиком и не налагай на него роста» (*Исход*, XXII, 25). Средневековое каноническое законодательство о росте было только дальнейшим развитием этой основной мысли. Кульминационной точкой этого законодательства было распоряжение папы Климента V. «В виду того», гласит оно, «что до нас дошло горестное известие, будто некоторые коммуны, согрешая перед Богом и своими ближними, вопреки законам божеским и человеческим, позволяют своими статутами требовать и платить рост и принуждают должников к уплате его,—сим постановляем, с одобрения настоящего (Вьенского) священного собора, что все власти, начальники (*seigneurs*), ректоры, консулы, судьи, советники и всякия другия, которые дерзнут впредь издавать постановления об обязательной уплате должниками роста, а также о том, что ростовщики не обязаны возвращать деньги, полученные в виде роста, подвергаются отлучению от церкви». «Если же кто-либо впадет в заблуждение и осмелится упорствовать, утверждая, что заниматься ростовщичеством не грешно, сим объявляем, что такой человек будет наказан, как еретик, и повелеваем всем ординариям и инквизиторам действовать со всею строгостью против всех, заподозренных в такой ереси».

Первым последствием такой строгости был, конечно, неестественно-высокий процент роста: и так как самой церкви, с ее сложною сетью хозяйственных отношений, труднее было избежать кредитных операций, нежели кому-либо другому—то прежде всего это чувствовали на себе церковные учреждения. Один английский аббат, заняв для перестройки монастыря у одного еврея 27 фунтов, через 4 года должен был отдать со сложными %—880 фунтов. Но для истории кредита, может быть, всего интереснее те случаи, где церковь или

ея агенты являлись не пассивной, а активной стороной сделки: экономическая необходимость заставляла иной раз выступать в роли покровителей ростовщика тех самых, кто осудил на смерть ростовщичество из-за богословских соображений. Римский престол, раньше организовавший систему налогов, чем какое-либо светское государство, и собиравший эти налоги со всех концов Европы,—должен был и раньше всех других столкнуться с денежным хозяйством. Сбор налогов поручали, обыкновенно, финансистам по профессии, итальянским купцам,—которые никогда не отказывались пускать в оборот скопившиеся в их распоряжении свободные суммы. Первыми организаторами европейского кредита были, таким образом, папские «коллекторы»,—быстро вытеснившие в этой области евреев, что давало последним повод жаловаться, будто их преследуют не только за религиозные убеждения, но и как конкурентов. Римская курия знала об операциях своих сборщиков, но молчала,—потому что не могла без них обойтись, и даже сама должна была обращаться к их услугам. Иннокентий III, в разгаре крестового похода против альбигойской ереси, переводил деньги через посредство кагорских (в ю. Франции) купцов, которые всей Европе были известны за отъявленных ростовщиков. Английский летописец Матвей Парижский рассказывает, немного позже, что «в Англии в эти дни разразилась ужасная зараза Кагорцев (Caorsinorum) и не было почти человека во всей Англии, *особенно из высшего духовенства*, кто не запутался бы в их сетях. Сам король был у них в неоплатном долгу». Когда лондонский епископ попробовал их изгнать из своей епархии за ростовщичество, он был вызван к суду римской курии, где судьи «были друзьями Кагорцев». Со времени Лионского Собора (1254 г.) доходы курии в Англии и Франции значительно возросли,—и соответственно этому возросли операции собиравших их итальянских купцов, которые стали называть себя уже прямо «купцами и менялами папы» (*mercatores vel escambiatores Papae*); один из пап—Иннокентий IV—дал им почетный титул «детей Римской церкви» (*Romanae ecclesiae filii speciales*). В 1377 г. папский коллектор в Лондоне занимал обширный дворец и держал целую армию писцов и чиновников, «как будто он собирал подати для какого-нибудь герцога или князя»,—с раздражением говорит одна современная петиция.

Общественный кредит. Города.

С постепенным ростом средневекового города он тоже должен был переходить к денежному хозяйству в большом масштабе—городское хозяйство дает нам первые примеры общественного кредита; самым типичным случаем этого рода является Флоренция (см. названную выше статью). Но городские займы были хорошо знакомы и другим большим городам средневековья. Большею частью они были внутренние и принимали форму, очень характерную для своего времени и объяснимую отчасти уже хорошо знакомым нам стремлением упрочивать все сделки на вечные времена, отчасти практической необходимостью как-нибудь обойти церковный запрет: форму *покупки ренты*. Долговая расписка, выдаваемая городом, заключала в себе обязательство не возвращения занятой суммы с %—это была бы предосудительная ростовщическая сделка,—а уплаты ежегодно кредитору известного дохода из городских средств—ренты—безсрочно, так что назад деньги он требовать не мог: юридически это была сделка купли-продажи, таким образом, а не договор займа; на практике же рента ничем не отличалась от процентов. Класс таких рентьеров был уже очень распространен в средние века: отцу семейства для обеспечения своей вдовы и сирот городская рента представляла очень удобное средство. Но на первых порах это средство не выходило

за пределы городского хозяйства: внешние, иногородние займы заключались очень туго и на очень тяжелых условиях. Большею частью город-заемщик должен был поручиться в уплате занятых денег за круговую ответственностью всех граждан, которые в случае банкротства платились прямо своею личностью и имуществом. Еще в новое время—в 1612 г.—генуэзская республика арестовала одного лондонского купца за долг английского короля какому-то генуэзцу,—обеспеченный порукой города Лондона. Обязательство последнего гласило, что мэр и вся община города Лондона, как все вместе, так и каждый в отдельности, отвечают за уплату долга «своим лицом, своими землями и всяким иным имуществом, движимым и недвижимым, как теперь, так и на будущия времена». Понятно, что города старались по мере возможности избегать займов на таких условиях.

Государства

Но не все имели возможность выбирать наиболее выгодные условия: в таком менее счастливом положении было средневековое государство. Настоящим родоначальником современного кредита и был не городской, а именно государственный. Нам уже приходилось говорить (см. очерк 1-й: «Разложение поместного хозяйства») об экономических последствиях нового способа ведения войны, какой стал утверждаться в западной Европе со времен крестовых походов. Когда, к XIV веку, окончательно сложились большие национальные государства, им по необходимости пришлось развивать этот способ еще дальше: появились наемные армии, т. е. все содержание войска целиком перешло на средства государственного казначейства. Финансовая сторона войны выдвинулась на первый план. Потеряв возможность пользоваться феодальным ополчением и не выработав еще воинской повинности в позднейшем смысле этого слова, государство, чтобы достать солдат, должно было прибегать к особаго рода посредникам: набор войска сдавали на подряд, как теперь иногда сдают на подряд разные общественные сооружения. Главный подрядчик, генерал, бравший на себя поставку целой армии,—*condottiere*, как называли его в Италии,—сдавал от себя подряд по частям более мелким подрядчикам, полковникам; те—еще более второстепенным вербовщикам, субалтерн- и унтер-офицерам, и эти уже набирали солдат, частью из городского пролетариата или из обедневших крестьян, частью из остатков прежних феодальных дружин, которые еще не вымерли окончательно даже в XV в., частью, наконец, из людей, выбравших себе военное дело, как профессию: такими были швейцарцы, отчасти шотландцы и английские стрелки из лука, главным же образом немецкие копейщики и рейтары. Большое неудобство этих армий состояло в том, что они ничем не были связаны с нанявшим их государством, кроме жалованья: и если последнее платилось им неаккуратно, то солдаты считали себя в праве не только покинуть службу, но и перейти к противнику. Верности национальному знамени здесь не было места, в слабой степени существовала лишь верность нанявшему войско генералу, но и то она держалась только личною популярностью последнего. Вся трагедия Валленштейновской «измены» вертится около столкновения этой верности генералу, который нанял, с верностью императору, на имя которого солдаты были наняты. Тридцатилетняя война не дала в этом случае ничего нового: она была не началом, а концом наемных армий. Вся система была уже на лицо в XV веке, когда сложился классический тип «ландскнехта». Состояние казенного сундука прямо и непосредственно определяло число пехотинцев и всадников, которые могли бы быть выдвинуты в поле. «Нет денег, нет и швейцарцев», гласила тогдашняя поговорка. В каких размерах нуж-

ны были деньги, это покажут два—три примера. В 1532 г. один немецкий финансист считал, что содержание армии среднего, по тогдашнему, размера в течение 6 месяцев—средняя продолжительность похода—без провианта, обоза и т. д., значит, считая, главным образом, жалование, обошлось бы в 560.000 дукатов. Во второй половине XVI века, когда, благодаря притоку американского серебра, цена денег еще упала, содержание небольшой испанской армии в Италии в течение такого же времени стоило уже $1\frac{1}{4}$ миллиона дукатов. А содержание той испанской армии, которая в это самое время «усмиряла» Нидерланды, обходилось ежегодно от 2 до 3 миллионов золотых крон, т. е. гораздо более, чем получалось в год доходов с тех же Нидерландов. Нужно прибавить, что потребность в военных расходах возникала по большей части внезапно, что для расплаты с наемниками требовалась звонкая монета и что монетные запасы тогдашних правительств не могли быть значительны уже по тому одному, что вообще денег в обращении было мало. Весь металлический фонд Европы в 1492 г. не превышал одного миллиарда франков (теперь одна Германия располагает звонкою монетой на $2\frac{1}{2}$ миллиарда франков, Англия больше, чем на 3); влияние Америки начало заметно сказываться лишь с половины следующего столетия. Положение Англии в начале царствования Генриха VIII, во время его войны с французами, дает очень любопытную иллюстрацию к только что сказанному. Когда кардинал Вольсей потребовал экстренной подати на военные расходы в размере 4 шиллингов с фунта состояния каждого, парламент заявил, что требование совершенно неисполнимо: оценивая все имение англичан в 4 миллиона фунтов, палата общин утверждала, что лишь четвертая доля его заключена в монете, другая четверть приходится на земельные владения, и около половины на движимое имущество. Истратив на военные издержки миллион фунтов, Англия спустит за границу весь свой металлический запас, и ей придется вернуться к кожаным деньгам, доказывал парламент. «Предвидя все возможности, нужно принять в расчет и ту, что король может попасть в плен; чем мы тогда будем его выкупать? Теперь французы не хотят нами продавать вино иначе, как за чистое золото. Неужели они отдадут нам короля за лоскутки кожи?» Упорная оппозиция парламента заставила Вольсея ограничиться податью в $\frac{1}{10}$ —вместо $\frac{1}{4}$ имущества. Последствия не замедлили показать, что парламент был прав. Когда, немного спустя, королю для покрытия экстренного расхода пришлось прибегнуть к т. наз. «добровольному», а в сущности принудительному внутреннему займу, разразился настоящий кризис. Сборщики податей доносили Вольсею, что богатые помещики должны были продавать зерно, скот и другие товары с огромным убытком, только бы достать денег; люди, которых раньше ценили в 100—200 фунтов, не могли собрать 40 шиллингов звонкою монетой. На рынках в Кенте скот оставался непроданным, потому что нельзя было найти покупателей иначе, как за половинную цену. В Нориче, центре суконной промышленности, фабриканты предлагали серебряную посуду, заявляя, что денег у них нет.

При таких условиях достать сразу большую сумму денег можно было только путем займа. Но внешние займы обходились тогдашним правительствам невероятно дорого: императору Карлу V случалось занимать,—обыкновенно под обеспечение части налогов, из 30 слишком % годовых! В наши дни правительственные обязательства считаются самыми надежными и потому дают самый низкий %. В те дни короли имели гораздо меньше кредита, чем простые смертные: в среднем % правительственного займа был вдвое выше того, какой брали с обыкновенного купца. Причин на это было достаточно. Во-первых, редкое из евро-

пейских правительств средних веков имело порядочную финансовую организацию. Затем, правительственный кредит носил очень личный характер, более, нежели купеческий; на купеческую фирму можно было положиться, что она себя оправдает, кто бы ни стоял во главе ее; но никак нельзя было ручаться, что, в случае смерти короля, занявшего деньги, его преемник захочет платить его долги. Тогда не умели отличать физическое лицо государя от юридического лица государства, — различие, которое не было ходячим даже и при Людовике XIV: сама собою разумеющаяся для нас юридическая непрерывность финансовой ответственности государства была одним из самых спорных вопросов. Наконец, в случае банкротства кредитор государства не имел почти никаких шансов получить вознаграждение: к французскому или английскому королевству неприменимы были те средства, какие, как мы видели выше, города применяли по отношению друг к другу. «Благородные люди обещают, а держат обещание только мужики», учила старая немецкая поговорка: и на обанкротившихся королях она оправдывалась со всею силой. Кредиторами платили, что хотели, — и, конечно, всякий благоразумный кредитор заранее старался себя застраховать огромным ростом.

Спасаясь от последнего, правительства, в свою очередь, старались всеми мерами избегать внешних займов и добывать деньги внутри страны. В более раннюю эпоху это достигалось наиболее простым путем: периодическим ограблением еврейских ростовщиков. В Германии дело приняло характер правильной контрибуции, которая считалась императорскою регалией и была предметом горячих споров императоров с князьями и князьями между собою. Но не так можно было, конечно добывать те миллионы, каких требовало ведение войны в XV—XVI веках. Да и производить подобную операцию над сменившими евреев папскими коллекторами — или, тем более, над такими денежными королями, как Фуггеры и Медичи, не решился бы ни один государь в Европе. Нужны были мероприятия более сложные, и историю их можно хорошо проследить на английской монетной и таможенной политике XIV—XVI вв.

Меркантилизм

Исходною точкою этой политики была основная мысль *меркантилизма* в его самой простой и грубой форме: «та страна богаче, у которой запас золота и серебра больше». До XVII века, когда эта мысль развилась в экономическую теорию, известную под таким названием, она уже не одно столетие служила руководящею нитью финансовой практики всех европейских государств. Первое следствие, которое выводилось из этой основной посылки, было отрицательное: отнюдь не надо выпускать драгоценных металлов из страны. Едва началась столетняя война, она, несмотря на все победы англичан, тотчас дала себя почувствовать в Англии самым неприятным образом: почти половина звонкой монеты ушла из страны в виде военных издержек. Здесь был ближайший повод к появлению законов, изданных при Ричарде II и действовавших до XVI столетия: вывоз денег и драгоценных металлов из Англии был запрещен, под страхом наказания, как за государственную измену; векселя, выданные английскими подданными на заграницу, должны были оплачиваться из денег, полученных за вывезенные товары, на что давался трехмесячный срок; иностранный купец, привезший товар на продажу в Англию, должен был, по крайней мере на половину всей цены проданного им здесь товара, купить английской шерсти, кож, свинцу, олова, масла, сыру, сукна или иных местных продуктов и только половину мог вывезти деньгами, и то с

особаго разрешения. Законы эти неоднократно подтверждались последующими государями, до Генриха VIII включительно; насколько строго применялся закон, видно из известного анекдота об Эразме Роттердамском, который должен был отдать в Дуврской таможене 20 фунтов, заработанные им в Англии. На практике от закона терпели частные лица, т. е. как раз те, кто мог вывезти денег всего менее: вернуть вексельные операции к натуральному хозяйству никогда, понятно, не удавалось—и для заграничных банкиров, необходимых самому правительству, приходилось или делать исключение, или смотреть сквозь пальцы на нарушение закона; тщательно запирая калитку, оставляли открытыми широкия ворота. Сами английские финансисты понимали, вероятно, всю тщету запретительных мер,—и параллельно с ними мы встречаем другия меры, направленные к тому, чтобы привлечь деньги в страну. Еще до Ричарда II был издан закон, в силу которого всякой покупатель английской шерсти должен был часть уплачиваемой цены (5 су с каждого мешка) представить на монетный двор в Кале в виде слитков серебра или золота для перечековки в английскую монету. В 1397 г. всем купцам, английским и иностранным, было предписано за каждый вывезенный ими за границу тюк кож или мешок шерсти вернуть в Англию в полугодичный срок унцию золота иностранного чекана. Но та же самая причина, которая заставляла парламент издавать подобные законы, недостаток звонкой монеты, делала для английских купцов гораздо более выгодным—расчеты с заграницей векселями, чем наличными деньгами. Попытки парламентов XV века запретить всякия сделки на шерсть, кроме как на наличные, приводили только к временным заминкам в торговле шерстью, пока не находимо было средство обходить закон. В конце концов монетный двор в Кале стоял без всякого дела. И этот закон подтверждался до Генриха VIII включительно, с теми же практическими результатами.

Первая биржа. Лион.

Громадный шаг вперед в развитии меркантилизма представляет политика Людовика XI: французский король первый понял, что привлечь деньги в страну можно, не стесняя торговлю, а лишь поощряя ее. Созданная им лионская ярмарка была эпохой в экономической истории не одной Франции: Лион стал первой товарной и денежной *биржей*, на которой скрещивались операции пол-Европы.

В начале XV века узловым пунктом, где сходились главнейшие торговые пути из Франции, южной Германии и Италии, была Женева, лежавшая за пределами французского королевства. Туда ездили, на ежегодную ярмарку, и французские купцы—и увозили деньги из Франции, что, конечно, совсем не могло нравиться французскому правительству. Оно не могло не заметить, что географически Лион представлял почти те же удобства и имел еще одно добавочное, собственно для Франции—что он был свой, французский город. Но попытки Карла VII развить лионскую ярмарку на счет женовской ни к чему не вели до тех пор, пока навстречу французскому меркантилизму не пошел сюзерен Женевы,—герцог Савойский. Поссорившись с городом, он, в полном забвении своих собственных финансовых интересов, решил сломить горожан блокадой—и закрыл все торговые пути, ведущие к Женеве. Этим тотчас же воспользовался наследник Карла VII; он поспешил даровать лионской ярмарке все привилегии, какими пользовалась женовская, и купцы, привыкшие съезжаться на верхней Роне, вместо отрезанной от всего мира Женевы, поехали теперь в Лион. Вместе с ярмаркой перешел во французские пределы и денежный рынок, сформировав-

шийся в Женеве,—что было едва ли не важнее ярмарки. Флорентинские менялы с давних пор вели здесь обширную биржевую игру, главным образом на счет Франции—скупая для перечековки полноценную французскую монету; сюда же стекалось золото из Зальцбурга и серебро из Тироля, в больших массах доставлявшееся верхне-немецкими купцами. Людовик XI, оградив интерес своего государства, не стал стеснять этих операций; рядом ордо-нансов его и его преемников иностранцам,—особенно флорентинцам и лукканцам, была дана полная свобода торговли. В Лионе был учрежден особый коммерческий суд, первый во Франции. В одном из ордо-нансов (половины XVI в.) было прямо признано, что король «извлекает великую выгоду из денежных сделок, ежедневно совершающихся на лионской ярмарке». И еще гораздо раньше косвенно подтвердила это Женева; доказывая своему са-войскому государю, какую он ошибку сделал, позволив развиться лионской ярмарке, же-невцы приводили, что прежде, если ему нужно было 100 или 200 тысяч гульденов, ему сто-ило обратиться во время ярмарки в Женеву—и нужная сумма бывала собрана в 3—4 дня; а теперь он должен заключать внешний заем—в Лионе. В начале XVI века в Лионе было уже 4 ярмарки ежегодно: «Богоявленская» (Foire d'Apparition ou des Rois) в январе, «Пасхаль-ная» в апреле, «Августовская» и «Всех Святых» в ноябре. «На четырех лионских ярмар-ках», писал в 1528 году венецианский посланник Андрей Наваджеро, «сходится безчислен-ное количество платежей со всех концов, так что оне составляют центр денежного обраще-ния для всей Италии, доброй части Испании и Нидерландов». Когда Карл V вместе с папою Адрианом VI действовали против Франции, одно из главных средств, на которые они рассчиты-ывали в борьбе с своим сильным противником, было возстановление женевской ярмарки. Но из этого ничего не могло выйти—к Лиону купечество слишком привыкло. На смех своим врагам, французское правительство извлекало оттуда все большие и большие суммы: мало того, благодаря лионской ярмарке, Франция создала для себя новые, более выгодные, формы кредита,—что было еще важнее. Война, которую начал с империей Франциск I в 1542 г., потребовала вооружений в неслыханных до тех пор размерах. Французский король двинул в поле две армии, из которых в одной было от 80 до 100,000 человек; в числе их были не только швейцарцы и немцы, но также датские и шведские наемные отряды, пото-му что Франциск заключил союз с королями этих стран. Так как он был, кроме того, в сою-зе и с Турцией, то Габсбурги с своей стороны должны были выставить в поле несколько сильных армий. Генрих VIII английский тоже вооружался, спрос на деньги во всех углах Европы был громадный. Банкиры, снабжавшие обыкновенно королей деньгами, требовали невероятных %.

Новые формы кредита

Тогда впервые лионскому наместнику, кардиналу Турнон (Tournon), пришла в голову мысль—вместо отдельных банкиров, обратиться за деньгами к бирже; кардинал рассчиты-вал, что если бы в Лионе был правительственный банк, принимающий деньги от всех жела-ющих, то такой банк нашел бы сколько угодно капиталов за 8% годовых—по тогдашнему вовсе не высокий процент—и все эти капиталы были бы в распоряжении короля. Мы не знаем результатов этой первой попытки. Но тринадцать лет спустя—в 1555 г. французское правительство устроило первый заем на новых началах,—под именем «Grand parti», наде-лавший страшного шума в тогдашней Европе. Если не считать Флоренцию, опередившую остальную Европу на 100 лет, это был первый известный нам «заем по подписке»,—так хо-

рошо знакомый финансовой Европе теперь. «Все бежали, спеша поместить свои деньги в Grand parti», пишет один современник, «даже слуги несли свои сбережения. Женщины продавали свои украшения, вдовы свои (городские) ренты, чтобы только получить долю в займе. Словом, все бежали, как на пожар». «Не только богатые швейцарские патриции и немецкие князья приняли здесь участие», говорит другой, «но даже турецкие паши и купцы из Турции записались, на имя своих поверенных, более чем на 500.000 экю». Нужно прибавить, что и в смысле финансовой техники Grand parti представляло новый шаг вперед: это был первый в Европе заем с правильно организованным погашением.

Лионский заем 1555 года отмечает собою факт громадной исторической важности: *образование европейского денежного рынка*. Ростовый капитал, вслед за торговым, взломал хрупкие стенки городского хозяйства и начинал уже переливаться через гораздо более прочные и высокие национальные границы. Средневековая финансовая Европа с ее «ростовщиками» и «менялами» умирала, уступая место общественному кредиту, и опальный средневековой «вексель» сменялся солидной, законом обеспеченной, процентной бумагой. Облигации Grand parti принадлежали уже, несомненно, к этому последнему типу. Для нас, привыкших к повседневной продаже и покупке ценных бумаг, наравне со всяким другим товаром, очень странно кажется та формалистика, какою обставлялся переход из рук в руки их родоначальниц XVI века. Облигации французских займов передавались не иначе, как через нотариуса, в присутствии свидетелей. Тяжелой, неудобопонятной деловой прозой того времени писался длиннейший протокол, куда включался, между прочим, весь текст облигации; передача, кроме того, еще отмечалась на ее обороте. Только по соблюдении всех этих формальностей покупатель мог вступить в обладание «королевским письмом».

Антверпен

Одновременно с реформой в пространстве,—образованием над отдельными городскими рынками объединяющего их рынка, общего для всей страны или даже для нескольких стран,—параллельно с этим происходило то, что можно назвать реформой во времени: слияние временных рынков-ярмарок в один непрерывный рынок—биржу. Постоянный рынок и ярмарка взаимно исключают друг друга: где торг идет всегда, там не нужно ярмарки; где бывают ярмарки, там, очевидно, нет постоянного торга. Упразднение ярмарочного характера торговли—такой же явный признак созревания нового экономического строя, как и облигации Grand parti. Типичным показателем этой стороны переворота служит Антверпенская биржа. Она почти ровесница Лионской: расцвет Антверпена и упадок Брюгге, прежде главного коммерческого центра Нидерландов, относится к тем же 60-м годам XV века. Но здесь гораздо больше действовали естественные, географические причины, нежели государственная власть. Антверпен был открытой дверью на Атлантический океан, после открытий испанцев и португальцев с каждым годом приобретающий все большее значение. Затем, ему много помогло то, что это был новый город. В торговых привилегиях нюрнбергских купцов Антверпен упоминается в первый раз в 1433 г.; испанцы, а также итальянцы—флорентинцы и генуэзцы, появляются здесь лишь в самом конце столетия или в начале следующего. А уже в 1564 г. одна английская записка говорит, что антверпенцы «съели торговлю» всех других городов—и в это время Антверпен был уже главным портом европейского континента. Благодаря его молодости, в нем очень легко утвердилась полная свобода торговли—туго дававшаяся старым коммерческим центрам средневековья. Маклер-

ство, посредничество между купцами всюду было монополией в руках привилегированной корпорации—в Антверпене оно было совершенно свободно. Банковое дело везде было в руках присяжных менял—тоже монополистов; в Антверпене им мог заниматься каждый гражданин. Ни о каких стеснениях иностранных купцов (см. очерк 2-й «Городское хозяйство») здесь не было и помину. Уже в 1484 г. обитатели старого, почтенного Брюгге с ужасом говорили, что в Антверпене торгуют круглый год, не обращая внимания на ярмарочные сроки, а еще через 2 года узнали, что там для такой необычной торговли и рынок новый построен, и с англичанами договор заключен. Английские сукна, наравне с пряностями, привозившимися португальцами по вновь открытому морскому пути, составляли главную массу товаров: эти две статьи—последняя вполне—были в руках антверпенцев, через которых получала их остальная Европа. Развитие торговли повело к ее техническому упрощению: на антверпенском рынке впервые утвердился обычай продажи и покупки по образцам, не осматривая товара в натуре: способ, свидетельствующий о таком развитии коммерческого доверия, какое показалось бы совершенно немыслимым заурядному средневековому торговцу. Само собою разумеется, что денежное дело здесь расширялось параллельно товарному обороту,—как это было в Женеве и в Лионе: постройка биржи, служившей, главным образом, для операций с денежными фондами (1531 г.), была завершением всех антверпенских новшеств. Слово «биржа» (*bursa*, от византийского *βυρσα*, кошелек) встречается и раньше в этом смысле: в Брюгге так называлось помещение, где собирались итальянские купцы, преимущественно банкиры. Но только в Антверпене городское управление решилось построить особое здание специально для такого промысла, который был строго запрещен средневековой моралью. «Там слышались звуки всех наречий вселенной, и виднелись костюмы всех возможных наций: словом, это был маленький мир, куда собрались представители всех частей большого мира»—так описал один тогдашний поэт это учреждение, над дверями которого была надпись: «На пользу купцам всех наций и языков». Названия ярмарок уцелели в торговом жаргоне Антверпена только как переживание: к ярмарочным срокам подгоняли сроки уплаты векселей. Никакого более реального значения они не имели. Не подлежит сомнению, что в поэтически воспетом здании новой биржи шла биржевая игра вполне в новейшем духе—на понижение и повышение, на разницу и т. д. Но обитатели этого «нового» города были настолько по-старому благочестивы, что не решались допускать у себя подобные операции иначе, как посоветовавшись предварительно с докторами канонического права парижского университета.

Банкиры

Нам остается сказать несколько слов о размерах этого средневекового капитализма и способах его действия: и в том и в другом случае мы встречаемся на каждом шагу с ростом «новейших черт» на счет средневековых. Прежде всего, какая часть общего богатства шла в эти кредитные операции? Ответ укажет нам, насколько широки были эти последние—какую часть общего коммерческого потока они захватывали. Мы можем приблизительно определить, во что ценились главнейшие банкирские дома тогдашней Европы, и, определяя это, мы увидим в то же время, как постепенно рос европейский миллионер. В половине XIV в., вероятно, самым крупным торговым домом в мире была флорентийская фирма Перуцци; ее состояние достигало 147.000 флорентинских лир, что мы можем вычислить довольно точно, потому что торговые книги Перуцци сохранились. По весу металла такая

сумма составила бы около 147 килограммов (приблизительно 360 ф.) чистого золота, т. е. около 250.000 рублей. Покупную силу этих денег для XIV в. определить не легко: но для XV мы можем принять, повидимому, без большой ошибки, что тогда во Флоренции золото было в 6 раз дороже, чем теперь; в XIV оно не могло быть дешевле, скорее наоборот. Таким образом, крупнейшее состояние Европы XIV столетия составляло около полутора миллиона на наши деньги, а, может быть, и несколько более. В следующем веке богатейшим банкирским домом Европы были уже Медичи; их ценили в 500.000 флоринов, что по подобному же расчету дало бы около 15 миллионов рублей теперешней покупной силы. В первой половине XVI в. во главе финансового мира стоял немецкий дом Фуггеров: в 1546 г. у него считали 4.700.000 гульденов. Это равняется приблизительно 13.000 килограммов чистого золота, т. е. около 75—80 миллионов наших рублей.

Эти цифры дают нам некоторое представление о размерах индивидуального накопления, возможного в конце средних веков. Если мы припомним размеры всего денежного запаса тогдашней Европы, приведенные в начале этого очерка, относительная величина тогдашних миллионеров покажется нам несколько не меньше современных, и мы не сочтем преувеличением характеристики богатого купца, какую мы читаем у одного писателя XVI в.: «Папа приветствовал его, как своего возлюбленного сына, кардиналы перед ним вставали, император и короли, князья и бароны слали к нему своих послов...»

Синдикаты

Но XVI век знал не только крупные индивидуальные состояния: он был свидетелем попыток концентрации больших капиталов, преследовавшей те же цели, что сосредоточение капиталов в наши дни: монополизацию той или другой отрасли торговли. Явление, известное под именем синдиката (в Европе) или треста (trust, в Америке), вовсе не такая новость, какой оно кажется некоторым новейшим экономистам. Все пряности, после открытий португальцев, были на откупе у нескольких антверпенских синдикатов. Торговля перцем и другими пряностями, раньше сосредоточивавшаяся в руках купечества больших портов Средиземного моря, перешла теперь в руки Португалии и была признана королевской регалией. За пряностями ежегодно отправлялся целый флот, и весь его груз, пока еще он был в море, оптом скупали у короля специально для этой цели организованные товарищества антверпенских купцов. Каких размеров была вся операция, видно из того, например, что синдикат для торговли перцем в 1548 г. должен был заплатить королю 3 миллиона дукатов. Если прибавить к этому громадный риск, связанный с подобной операцией при тогдашнем состоянии морского дела, то станет понятно, почему такая торговля была не под силу отдельным капиталистам. Синдикаты устанавливали цену на пряности для всей Европы, какую хотели, получая от 10 до 22% прибыли на капитал, а так как цена колониальных товаров, в особенности перца, по убеждению тогдашних купцов, определяла цену на большую часть товаров (кроме туземного сырья), то значение этих синдикатов в экономической жизни Европы было громадно.

Кроме подобных, довольно прочных союзов капиталистов, встречались, как и теперь, и более случайные и с еще более «современной» физиономией; таков был, прямо спекулятивный по своей задаче, синдикат, образованный в 1498 г. Фуггерами и несколькими другими немецкими домами с целью забрать в свои руки всю тирольскую и венгерскую медь и вздуть искусственно цены на этот быстро дешевевший металл. Участники обязались не про-

давать меди в Венеции (главный рынок) ниже известной цены, но, повидимому, размеры захваченного ими запаса не были настолько велики, чтобы командовать рынком. Цены продолжали понижаться, и синдиката распался.

Промышленный капитализм

Промышленный капитал был сыном торгового и ростового: всюду в мире капиталистического производства капиталисты-купцы были предшественниками капиталистов-предпринимателей, фабрикантов и заводчиков. Россия ближе стоит к этой первой ступени крупного хозяйства, нежели западная Европа; у нас до сих пор класс капиталистов носит название «купечества», и мы причисляем, например, московских фабрикантов к «купцам», — хотя отлично сознаем, что главная их функция заключается вовсе не в обмене.

Колониальные предприятия

Одной из ранних форм приложения крупного капитала к промышленным целям были *колониальные предприятия* XV—XVI веков. Открытие Америки и морского пути в Индию было одним из самых сильных толчков к новому хозяйственному строю. У этих торжественных «открытий», помимо парадной стороны, всем хорошо известной, была еще сторона будничная, на которую не так часто обращают внимание: и то, и другое отмечено усиленным ввозом рабов в Европу. Подвигаясь вдоль берега Африки к мысу Доброй Надежды, португальцы заглядывали и в те африканские страны, мимо которых приходилось им плыть, и интерес был здесь не только географический: их больше всего занимал живой товар, который можно было захватить на этих берегах. Уже во второй половине XV в. торговля неграми была правильно организована. Функцию добывания взяли на себя сами португальцы: на одном из островов Зеленого Мыса была устроена большая сортировочная станция нового товара; отсюда уже забирали его генуэзцы, взявшие на себя функцию распределения. Чем ближе к новому времени, тем больше появляется черных, курчавых рабов на южно-европейских рынках. Совершенно подобные же результаты дало и открытие Америки: уже через два года после своей первой экспедиции, великий адмирал отправил в Европу целый караван рабов, на 12 кораблях; это были пленные индейские «бунтовщики», осмелившиеся защищать свою родину от испанцев. Колумб смотрел на дело с совершенно трезвой промышленной точки зрения и отнюдь не считал своей посылки случайностью. В донесении Фердинанду и Изабелле он отмечает выгодную сторону своего товара, — выхваляет, напр., мускульную силу караيبов, которые были в числе пленников, — и предлагает завести правильную торговлю им. Он указывает на тот недостаток, какой ему приходится во всем терпеть на острове Гаити: нет ни жизненных припасов, ни скота; а потому он просит высылать ему все эти предметы и предлагает платить за них — рабами. Чем больше их прибавит в Испанию, тем больше душ спасется — приняв христианство; кроме того, король и королева с их ввоза могли бы взимать значительную таможенную пошлину.

Проект Колумба не осуществился, ближайшим образом потому, что королева Изабелла усомнилась в его согласии с правилами христианской нравственности. Но эта преграда, вероятно, впоследствии была бы как-нибудь обойдена, если бы проект был экономически осуществим. Рабы не могли найти широкого сбыта в Испании потому, что она в то время, — как и теперь, была страной непромышленною: и сейчас Испания в области крупного произ-

водства уступает место даже России, не говоря о больших промышленных государствах Запада. Ввоз американских и африканских рабов в другие страны затруднялся отчасти тем, что климатические условия средней Европы совсем для них неблагоприятны, отчасти в этих странах был уже достаточно развит туземный пролетариат, и во ввозе рабочих рук необходимости не было. Но там, где не было этих условий, «рабский» капитализм нашел роскошную почву. Уже во второй половине XV века капиталы португальских евреев стали искать себе выхода в промышленности: когда один португальский король изгнал из Лиссабона еврейских банкиров, многие из них переселились на остров св. Фомы (почти под экватором у западного берега Африки) и завели здесь *сахарные плантации*, на которых работали тысячи негров-невольников. На отдельных плантациях было от 150 до 3.000 работников,—это были, таким образом, очень крупные предприятия. В первой четверти XVI века разведение сахарного тростника началось и во вновь открытых испанских владениях в Америке. Для характеристики производства здесь очень любопытно *применение машин*: для выдавливания сока из тростника употреблялись особые вальцы, приводившиеся в движение лошадами или водяною силой. Это одно уже предполагает капиталистические предприятия,—а вместе с капитализмом вошло сюда и рабство. Сначала к плантациям были приписаны туземцы, иногда целыми селениями, совсем так, как на иных наших фабриках петровского времени. Моральным оправданием такой меры у нас был государственный интерес—испанские колонизаторы оправдывали себя интересами христианской религии: хозяева должны были научить своих крепостных рабочих христианскому катехизису, дабы приуготовить их к крещению. Катехизис и молитвы изучались, конечно, на испанском языке, непонятном для индейцев, которые не шутя думали, что Ave Maria обозначает палку или что-нибудь в этом роде,—ассоциация идей вряд ли вполне случайная. Немудрено, если они обнаруживали подчас упорство и закоснелость, так что одному добросовестному испанскому губернатору в 7 месяцев пришлось повесить и сжечь 84 сельских старосты, отвечавших за односельчан: крещеных повесили, а некрещеных сожгли.

Такое промышленное миссионерство привело к тому, что индейцы стали вымирать массами. Тогда их заменили более стойкими неграми, и на их плечах капитализм в американских колониях жил почти до наших дней. И здесь, как на острове св. Фомы, в основу новых предприятий лег ростовой капитал: первые сахарные плантации в Бразилии были основаны лиссабонскими банковскими домами. Право поставлять в эти предприятия рабочие руки стало одной из самых выгодных монополий, которую в XVIII в. одна страна оспаривала у другой. Статья Утрехтского договора, предоставившая Англии ввозить негров в испанскую Америку, разсматривалась современниками, как один из самых блестящих триумфов британской коммерции, и, рассказывая о нем, современники-англичане доходили почти до лирического восторга. Торговля неграми, говорит один из них, «возбуждает до страсти дух коммерческой предприимчивости, создает знаменитых моряков и приносит огромные деньги». Последнее было, вероятно, вполне справедливо: в год, когда написаны были эти строки, один Ливерпуль считал у себя 132 корабля, перевозивших человеческий товар.

Горное дело

Первый пример капиталистической организации свободного труда в Европе дает такая отрасль промышленности, которая по самому своему назначению всего ближе к торговле и

к деньгам: добыча металлов, серебра и меди. Разработка руды во многих местностях началась еще в древности; в средние века она продолжалась, — сначала, вероятно, с меньшей интенсивностью и притом самым первобытным способом. Право на рудные залежи принадлежало всей сельской общине, и каждый крестьянин имел право разрабатывать их на свой страх и риск, своими собственными средствами. Рудники IX—X веков представляли собою массу маленьких шахт, разбросанных без всякого порядка и очень неглубоких, так как в каждой из них работала только одна семья, — крестьян-«старателей», как называли бы их у нас на Урале или в Сибири. Так шло дело, пока не началось своего рода великое переселение народов, только в обратном направлении, — крестовые походы. Мы видели, что они сразу создали спрос на монетный металл. В первое время они же помогали его удовлетворить; но принесенные с Востока драгоценные металлы очень скоро ушли туда обратно, — как только, благодаря тем же походам, с этим Востоком началась правильная торговля. Чем могла заплатить Европа XIII—XIV вв. за восточные пряности и предметы роскоши? Об изделиях европейских фабрик, наводняющих Восток теперь, тогда не было и помину. Грубых европейских фабрикатов того времени едва хватало для внутреннего рынка, да и они не удовлетворили бы более изысканных требований старого культурного Востока. С индийскими и египетскими купцами приходилось расплачиваться драгоценными металлами, — особенно серебром, и тогда, как теперь, более всего ценимым на Востоке. Насколько важно было для восточной торговли обладание драгоценным металлом, видно из того, что центрами этой торговли становились города, крайне неудобно расположенные географически, в роде Гослара в Гарце, только потому, что около них были серебряные рудники. Началась усиленная разработка руды; были затронуты такие рудоносные жилы, которые без того вообще не увидели бы света, потому что лежали слишком глубоко, и обработка их была не под силу «старателям»; эксплуатировались даже такие месторождения, которые заброшены теперь, по совершенной их невыгодности. Старый рудокоп-кустарь уже не удовлетворял новым требованиям и должен был уступить место большим, сложно организованным предприятиям. Право общинной собственности на руду быстро было подменено государственной собственностью, а государственная власть поспешила сделать с новым своим правом то, что она привыкла делать со многими старыми: отдала его на откуп. Кто явился в роли откупщика, угадать не трудно; уже одни имена, стоящие во главе списка новых владельцев рудокопных предприятий, говорят достаточно красноречиво. В Германии мы встречаем здесь Фуггеров, во Франции Жака Кёра, самого знаменитого из французских купцов XV века. Рудным делом завладел тот же торговый капитал, который сначала и вызвал спрос на руду. А прежний его хозяин, крестьянин-общинник, превратился в наемного рабочего. От общины остались только пережитки в горном праве некоторых местностей. В Германии, например, чистый доход от рудника делился иногда на большое число (до 100 и более) равных «кусков» (Кухен от чешского Kus), каждый из которых имел особого хозяина: по своему историческому происхождению, это были идеальные доли членов общины, но они принадлежали теперь не местным крестьянам, а совершенно посторонним людям, иногда жившим за сто верст от рудника и принадлежавшим большей частью к городскому классу. «Куски» продавались, как и всякая иная собственность, и цена их, в зависимости от богатства рудника, доходила до 1.000 талеров. В сущности это были паи крупного капиталистического предприятия; общинное землевладение, самым неожиданным для себя образом, послужило основой акционерного товарищества.

Саксонский горный устав XVI века насчитывает более десятка должностей, административных и технических, связанных с рудным делом. В числе их, рядом со служащими по бухгалтерской части, мы находим и настоящих инженеров, в современном смысле слова, людей, орудующих «циркулем и квадрантом», способных проектировать очень сложные, в глазах современников почти чудесные сооружения для откачивания воды из шахт, вентиляции последних и т. д. Шахты были так обширны, что рудокопами приходилось прибегать к компасу для ориентировки; спуск и подъем рабочих и руды производился, повидимому, при помощи машин, движимых водяною силою или лошадьми; при работах применялся порох. Появился спрос на технически подготовленных людей; до нас дошли любопытные проповеди лютеранского пастора одного из горных округов Германии, сказанные им в 60-х годах того же века. Он настоятельно советует своим прихожанам заботиться, чтобы в школах наравне с Законом Божиим, находила себе место и математика, и умение «обращаться с трех- и четырехугольниками» и технические знания; такой труд теперь может высоко оплачиваться—и не одними деньгами: в назидание своим слушателям пастор рассказывал, как ценил «художников» и как вежливо с ними обходился сам император Максимилиан. Из подробностей рассказа видно, что под «художниками» (Kunstler) разумелись именно инженеры в нашем смысле слова. Первые проекты технологических институтов были, таким образом, современниками реформации.

В средневековом цеховом ремесленнике объединились, до некоторой степени, два элемента, необходимые в промышленности,—профессиональное умение и рабочая рука. В нашей современной крупной индустрии то и другое разделилось между двумя классами работников: небольшой главный штаб руководителей предприятия, работающих головой, предполагает целую армию простых рядовых рабочих, исполняющих, не разсуждая, приказания первых. Промышленная армия связана дисциплиной не хуже настоящей, военной армии: современная фабрика не уступит, в этом отношении, полку или военному кораблю. Один документ, идущий на этот раз из Франции, и еще столетием старше предыдущих, дает нам первый образчик такой тщательной и непреклонной регламентации труда массы рабочих. Свинцовые, серебряные и медные рудники упомянутого выше Жака Кёра после его опалы были конфискованы и перешли в казенное управление (в 1455 г.). Чиновники, заведыванию которых они были поручены, нашли полезным составить письменную инструкцию для рабочего персонала предприятия,—на основании местных обычаев, так что мы имеем в ней порядки, введенные еще Жаком Кёром. Мы узнаем из нея, что все рабочие рудокопы были разделены на смены (piarde), каждая из которых работала определенное число часов. В определенный час все рабочие соответствующей смены должны собраться у входа в шахту, взять у особого сторожа свечи, с которыми они работали под землей,—и все вместе, по данной команде, спуститься в рудник. Кто опаздывал, хотя бы на минуту, не получал свечи, не допускался в рудник и наказывался вычетом одного дня из заработной платы. Смена, находившаяся в шахте, не смела тронуться с места, пока не приходила новая. Кто осмеливался оставить работу раньше конца смены, наказывался, в первый раз, вычетом жалованья за день, во второй раз, за 2 дня, в третий, кроме того, штрафом в 10 су. Если кто не мог продолжать работы вследствие болезни или полученного на работе увечья, должен был предупредить об этом всю смену и сторожа при свечах. Инструменты давались рабочему администрацией рудника, и он отвечал за их целостность.

Сам собою напрашивается вопрос: как относятся положите рабочих в капиталистической промышленности средних веков к их положению в мелких мастерских, где, как мы видели (очерк 3), тоже образовался пролетариат своего рода в лице подмастерьев? Сравнение выпадает безусловно в пользу крупных предприятий. Длина смены в рудниках равнялась 6, 7, иногда даже 5 часам: так как рудокопы были свободны по субботам, когда они закупами себе все нужное на целую неделю, то работа занимала у них 30—40 часов в неделю. Правда, работа в шахтах особенно тяжела: но вряд ли пробыть 7 часов в руднике было тяжелее, чем проработать 17 часов в мастерской парижского перчаточника. Ночная работа (от 8 час. вечера до 3 утра) допускалась только в виде очень редкого исключения; никого нельзя было заставить проработать под ряд 2 смены. О размерах денежной заработной платы в Германии у нас нет точных сведений; но тот факт, что каждый вновь открытый рудник привлекал массу народа, обедневших крестьян и даже купцов, надеявшихся здесь поправить свои дела, говорит в пользу ее относительной высоты. В рудниках Ж. Кёра господствовали еще патриархальные обычаи, и рабочие были на хозяйских харчах; покупать съестные припасы на стороне им прямо запрещалось: если судить по цифрам, приводимым!, инструкцией, в этом не было и надобности. Здесь фигурирует почти чистый пшеничный хлеб, говядина, баранина, свинина, сыр, яйца и вино в таких количествах, что—если только инструкция не была мертвою буквой—рабочие должны были быть сыты. Администрация рудников держала даже на свой счет врача и заботилась о содержании шахты в удовлетворительном санитарном состоянии.

Книгопечатание

Капиталистическая организация обрабатывающей промышленности, в тесном смысле этого слова, в конце средних веков значительно еще отставала от горного дела. Здесь приходится отметить, прежде всего, одно производство, которое уже в силу чисто технических условий не могло организоваться на старый цеховой лад, хотя и пыталось сохранить внешние формы цеха: *книгопечатание*. Для того, чтобы завести типографию, купить печатные станки, шрифт, чернила, бумагу—нужен был капитал очень значительный, сравнительно с заведением швейной мастерской, например. Мало того: типографские произведения не могут сразу найти себе сбыт в таком размере, чтобы тотчас же вернуть сделанные издержки. Барышей приходится ждать, а в это время жить самому и платить работникам, иные из которых—корректора, например,—стоят очень дорого сравнительно с простыми мастерами. При таких условиях мастер-типографщик не мог быть ничем иным, кроме замаскированного капиталиста-предпринимателя. Надевал он на себя такую личину, конечно, не из удовольствия ее носить, а потому, что надеялся извлечь из нея для себя выгоду. Цеховые порядки позволяли ему не платить жалованья более молодым работникам, которые были на положении учеников, и «отечески» держать в руках рабочих постарше,—на положении подмастерьев. Выгоды капиталистического предприятия соединялись, таким образом, с тою напряженною эксплуатацией труда, какая достижима только в маленькой мастерской. Но типографские рабочие не помещались в старыя цеховыя рамки: во Франции весь XVI в. наполнен столкновениями мастеровых-наборщиков с содержателями типографий, и последствием было почти полное разорение печатного дела в Лионе—вначале так блестяще расцветшего. Политика французских мастеров оказалась близорукою, и барыши перешли от них к немецким типографам, которые, вероятно, были настолько же уступчивее, на-

сколько их рабочие были менее требовательны.

Сукноткачество

В других отраслях сосредоточение больших масс рабочих в одном месте, для планомерной работы под одним руководством, сделало еще очень небольшие успехи. Средневековая техника не ушла еще настолько далеко вперед, чтобы детальное разделение труда—главное достоинство мануфактуры—могло быть выгодно и могло окупить с барышом постройку фабричных зданий, закупку в больших размерах орудий производства и т. п. предварительные расходы. Всего выше, в смысле совершенства выделки, стояло сукноткацкое производство. Это было одно из самых старинных производств, притом такое, где раньше, нежели в каком-либо другом, началась работа на продажу. «Пища и одежда суть предметы первой необходимости для человека, служащие для поддержания его жизни, и играют соответственно важную роль в социальной истории... Но хлеб можно было производить в сравнительно незначительном количестве; он не мог иметь сбыта на отдаленном по времени и пространству рынке. Это относилось одинаково и ко всем вообще пищевым продуктам... С сукном дело обстояло совершенно иначе. Будучи также предметом необходимости, но притом таким, который можно «сохранить», сукно создало впервые такую отрасль производства, в которой появилась особая группа ремесленников. Среди лиц, занятых в этой же отрасли промышленности, впервые обнаружилась сильная тенденция к дальнейшей специализации. Всюду, где условия были благоприятны, особенно относительно снабжения сырым материалом, мануфактура эта скоро стала работать не на один только местный спрос; а это последнее обстоятельство не только поощряло то разделение труда, преимущества которого рано были замечены, но вело также к созданию класса торговцев, отдельного от собственно производителей» (Эшли). Можно прибавить, что, благодаря своей «сохраняемости», сукно первое из всех европейских фабрикатов стало предметом международной торговли: одна новгородская грамота XII в. уже знает «сукно ипское» (Ипрское, от города Ypres, нем. Ypern, во Фландрии). Суконным производством в больших размерах занимались еще монастыри, в ту эпоху, когда было бы напрасно искать значительных капиталов где-либо, кроме церкви. В позднее средневековье это производство было едва ли не первым в Европе по своему значению. Его роль во Флоренции мы уже видели (см. ст. «Медичи» в III выпуске). «Сила и блеск немецкого бюргерства в средние века обуславливались, главным образом, шерстяною промышленностью», говорит историк немецкого сукноткачества (Гильдебранд). «На ввозе необходимого для нея сырья и вывозе ее фабрикатов выросла морская сила Ганзы и мировая торговля Германии... История развития сукноткачества больше, нежели история одной отрасли промышленности: это история хозяйственной культуры немецкого народа». Занятые ею работники считались тысячами. В Бреславле суконный цех уже в 1333 г. выставял 900 вооруженных людей. В Кельне после одного возстания было изгнано сразу 1800 ткачей. Особенно многочисленны были они в Нидерландах. В 1350 г. в Лувене считали 4000 ткацких станков, столько же в Ипре, 3200 в Мехельне. В 1326 г. 3000 ткачей были изгнаны из Гента за бунт против графа фландрского. Во 2-й половине XIV в. там считалось до 18000 человек, занятых сукноткачеством, а в Брюгге с его округом даже 50000, Англия стала работать на вывоз позже,—главным образом под влиянием эмигрировавших туда нидерландских ремесленников. В 1354 г. она вывозила не более 5000 кусков сукна, при вступлении на престол Генриха VIII уже до 80000 кусков, а к концу его царствования бо-

лее 120,000. Еще в XVII в. шерстяные материи составляли $\frac{2}{3}$ всего английского вывоза.

Размерам производства соответствовала и его техническая выработанность. Прежде, чем превратиться в сукно, шерсть подвергалась целому ряду операций, каждая из которых была в руках особого класса работников: сначала ее мыли, затем чесали, потом пряли, затем пряжа поступала к ткачу, потом ее валяли, наконец, подстригали и красили. Прялка была сначала ручная, только в XVI в. появился ножной привод; но в сукновальне уже с XII в. применялась водяная сила, —откуда ее немецкое название «валяльной мельницы» — Walkmühle. Разделение труда шло, таким образом, рука об руку с введением механической силы в производство. Главным препятствием к распространению последней служили сами цехи, верно предчувствовавшие, что машина убьет мелкую мастерскую: всем известен случай, как в Данциге по приказу городского магистрата, представлявшего интересы цеховых мастеров, —был утоплен изобретатель самоткацкого станка, а его изобретение уничтожено.

Попытки суконной мануфактуры

Но в тех местах, где, как в Англии, суконная промышленность была более или менее свободна от гнета цеховой организации, —именно здесь скорее всего могла явиться мысль придать производству фабричный характер. Забота о развитии английского сукноделия приписывается еще Симону де-Монфору, и с тех пор она входила, как существенный составной элемент, в меркантилистскую политику английских королей. Фландрские и брабантские эмигранты из ткацких округов встретили у них самый любезный прием: в первой половине XIV в. ряд королевских грамот предоставил им право свободно заниматься своей промышленностью, независимо от опеки английских «гильдий». Несмотря на все хлопоты, последним удалось добиться этой опеки только в XV в. До этих пор существование свободной промышленности в Англии не один раз давало себя чувствовать. Уже в 1339 г. некий «Томас Бланкет и другие граждане Бристоля завели инструменты для выделки сукна у себя на дому, для чего *нанимали* ткачей и других ремесленников». За эту попытку устроить в городе мануфактуру с вольнонаемным трудом мэр и бэйлифы Бристоля —верные друзья мастеров —тяжело оштрафовали Томаса и других. Но король снял этот штраф и предписал оказывать Томасу и другим предприимчивым гражданам, а также их рабочим, надлежащее покровительство. Дальнейшая судьба бристольских мануфактур нам неизвестна; вероятно, дело не дало тех барышей, каких ожидал Бланкет, и прекратилось. Дальнейшие случаи этого рода мы имеем уже от XVI столетия: внешний толчок делу дала секуляризация целого ряда монастырей Генрихом VIII; опустевшие монастырские здания и привлекли внимание предпринимателей. В 1543 г., по словам современника, все помещения аббатства Мэмсберийского принадлежали некоему Стёмпу, «неимоверно богатому суконщику», который купил их у короля. «В настоящее время», продолжает тот же современник, «по всем углам обширных монастырских зданий, принадлежавших аббатству, разставлены станки для тканья сукна, и этот Стёмп намеревался устроить одну или две улицы, с домами для суконщиков позади, на пустопорожних землях аббатства». Точно также в Сайсистере (Cirencester) «была выстроена очень красивая сукновальня». Около 1546 г. Стёмп из Мэмсбери вошел в переговоры относительно аренды Оснейского аббатства, находившегося вблизи Оксфорда, за ежегодную ренту в 18 фунтов; наряду с другими условиями предполагалось, что Стёмп «обязется давать работу от времени до времени двум тысячам человек, если найдется столько таких, которые будут исправно исполнять свою работу, постоянно занимаясь изде-

лием сукон». Результаты и этих предприятий нам неизвестны: можно думать, что и они оказались преждевременными. Но что Стёмп из Мэмсбери не был единичным исключением, за это ручается нам очень любопытная английская народная баллада XVII века, герой которой жил, вероятно, в первой половине предшествующего столетия. Он был богатый суконщик,—и вот как описывается, между прочим, его заведение: «в горнице, просторной и длинной, стояло двести станков, прочных и крепких: на этих станках—истинная правда—работали двести человек, все в одну шеренгу. Возле каждого из них сидело по прелестному мальчику, которые с большим восторгом приготавливали челноки. А тут же, в другом помещении, сто женщин без устали чесали шерсть, с радостным видом, и звонко распевали песни. В следующей комнате, находившейся возле, работали сто девушек в красных юбках, с белыми, как молоко, платками на головах: эти прелестные девушки, не переставая, пряли в этой горнице весь день, распевая сладкими, как у соловьев, голосами, нежно-пренежно. После этого они вошли в другую комнату, где увидели бедно одетых детей: все они сидели и щипали шерсть, отбирая самую тонкую от грубой; всех их было полтора года, детей бедных слабых родителей; в награду за свои труды каждый из них получал вечером по одному пенни, кроме того, что они выпьют и съедят за день, что было для этих бедных людей немало-важными подспорьем. В следующем помещении он видит еще пятьдесят молодцов: это были стригали, показывавшие здесь свое искусство и умение. Тут же, возле них, работали еще целых восемьдесят человек. Кроме того, он имел еще красильню, при которой держал сорок человек, да еще на сукновальне двадцать».

Английская мануфактура, как и все на свете, имела свой героически период. Если верить балладе, в этот период ясно уже выступала характерная черта новейшей фабричной индустрии: широкая эксплуатация более дешевых видов труда—детского и женского. В то же время нельзя не отметить, что автору баллады,—как, вероятно, и английскому простонародью, которое было его публикой,—рабочие большой мануфактуры казались веселыми и довольными: чего, наверное, никто не сказал бы о цеховых подмастерьях. Но не эти черты дают физиономию английской промышленности XV—XVI веков: мануфактура была делом далекого будущего, и отдельные явления, виденные нами в этот период, только предсказывали такое будущее. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы крупный капитал не овладел ткачеством уже в эти дни. Не создав фабрики, конец средних веков был свидетелем появления другой формы крупной промышленности—формы, не вымершей еще окончательно до сих пор на западе и стоящей в полном цвете у нас в России. Это была *система домашнего производства*.

Система домашнего производства

Около половины XVI века в Англии начинают слышаться жалобы, очень странные для начала нового времени: жалуются на упадок городской жизни и запустение городов. Сотни маленьких торгово-промышленных центров, имена которых так часто повторялись в средние века, теряют, повидимому, всякое значение: и одновременно с их упадком разоряется населявший их ремесленный люд. «Много хороших суконщиков», говорит один акт Эдуарда VI (1554 г.), «живших в Устере (Worcester) и других сити и городах и занимавшихся выделкой сукна в продолжение 5—6 лет, при чем некоторые взяли себе и жен из среды суконщиков..., были принуждены оставить свое ремесло и прекратить производство сукна к их великому обеднению и к крайнему разорению множества бедного люда и ремесленни-

ков, обыкновенно добывавших себе пропитание при помощи сказанных суконщиков». Масса мелких мастерских закрылась, оставив без средств существования как их хозяев, мастеров, так и находивших себе работу в мастерских мелкий люд—подмастерьев: в высшей степени характерно для официального документа XVI века это противоположение первых и вторых, как двух особых *классов*, при чем подмастерья прямо причисляются к беднякам, тогда как мастера раньше ими не были, а стали такими только вследствие экономической катастрофы. Самая катастрофа находит себе ближайшее объяснение в других актах соседних годов: так, акт 1557—8 гг. указывает на то, что «за последние года лица, занимающиеся делом или мастерством изготовления сукна, перестали довольствоваться тою жизнью, какою живут ремесленники, и тем промыслом, на котором они выросли, и поселяются в *деревнях* и тех городах, которые не принадлежат к числу сити, местечек или корпоративных городов (т. е. таких, в которых были цехи), и здесь, занимаясь делом и становясь в положение сельских хозяев, не только скупают различные фермы и пастбища..., но и увлекают за собою из сити и проч. всякого рода ремесленников». Эти последние выходили, главными образом, из рядов городских подмастерьев: «ткачи и рабочие суконщиков, прозанимавшиеся ремеслом сукнодела и ткача три или четыре года, бросают своих мастеров и, становясь суконщиками, ведут дело на свой страх, без капитала, искусства и знания к великому поношению настоящих сукноделов». Что у «настоящего сукнодела» само собою предполагался в это время известный «капитал», хотя бы и небольшой, помимо «искусства и знания», это опять очень характерно для цеховой промышленности позднего средневековья. Но еще важнее для нас другое обстоятельство: катастрофа гораздо сильнее ударила мастеров, нежели тот «бедный люд», о котором так сожалеет акт 1554 г.; подмастерья во многих случаях даже выигрывали, став счастливыми конкурентами своих прежних хозяев, о чем они раньше и мечтать не смели. И это—признание самих мастеров, ибо указ, без сомнения, вдохновлялся их петициями: если даже считать недостаточным доказательством главное его содержание,—он значительно стеснял изготовление сукон вне корпоративных и рыночных городов,—то одно из второстепенных постановлений—обязательное 7-милетнее ученичество,—раскрывает источники уже с полной очевидностью. Но мастера терпели от конкуренции не одних только переселившихся в деревни подмастерьев, а и от сельских ткачей-кустарей,—что мы узнаем из «Акта о ткачах», изданного в 1555 г. «Ни один сельский ткач шерстяных материй не должен держать более двух станков или извлекать какую бы то ни было выгоду более, нежели из двух станков». Сельские ткачи не должны иметь более двух учеников.

Если мы сведем содержание приведенных выше постановлений к их наиболее существенным итогам, таких мы получим два: во-первых, кризис коснулся не всей промышленности, а только исключительно цеховой; внецеховая, повидимому, продолжала усиленно развиваться,—настолько, что защитники цехового режима сочли нужным принять против нее меры; во-вторых, непосредственной причиной кризиса было соперничество города с деревней, на почве обрабатывающей промышленности,—что не совсем обычно,—и что еще более необычно, победительницей оказывалась деревня.

Борьба города с деревней представляет однакоже в области именно сукноткачества вовсе не единичное явление, свойственное только Англии, и только эпохе Эдуарда VI и Марии «Кровавой». Мы встречаем его и в других местах,—притом всего раньше в стране, на-

много опередившей Англию в обрабатывающей промышленности,—во Фландрии. Уже в 1342 г. цеховые ремесленники Брюгге добились от фландрского графа такого распоряжения: «Запрещается фабриковать, стричь, красить, продавать, или отдавать в долг сукно на всем протяжении Franc de Bruges (округа, лежавшего вне городской черты). В тех приходах Franc de Bruges, в которых раньше имелись инструменты, станки и проч., могут, однако, оставить себе *по одному станку* и работать на нем сукно *из собственной шерсти*. Это сукно может служить исключительно для личного пользования тех, кто его произвел, а также их жен, детей и домашних; им строго воспрещается продавать сукно». Запрещение продажи вскрывает перед нами экономическую подкладку всего дела: цеховые мастера города Брюгге хлопотали не о стеснении крестьянского домашнего ткачества: крестьяне не были их покупателями, и им было все равно, во что те одевались. Но сельские ткачи стали теперь производить для рынка, и производить в больших массах: возникало *новое крупное производство*, грозившее цехам конечной гибелью,—это-то и встревожило так хозяев средневековой промышленности. Они «запретили» новое производство,—и успокоились, вообразив себе, будто поток экономического развития запрудить так же легко, как какую-нибудь деревянную речонку. Но угрожающие признаки виднелись уже всюду, и сорок лет спустя после фландрских мастеров забили в набат в центре английского сукноткачества, в Нориче,—все против того же сельского ткача. В 1388 г. здесь был издан городским управлением «указ, чтобы никто из граждан не покупал в пределах городских вольностей устедских сукон у *сельских ткачей* иначе, как в помещении, известном под именем устедского рынка, под страхом уплаты 40 шиллингов за нарушение этого постановления в первый раз, 4 ф.—во второй и потери своей свободы (т. е. привилегий) в третий раз; чтобы смотреть за соблюдением этого указа, были выбраны особые пристава». Десять лет спустя подобное же постановление прошло и в лондонском муниципалитете: сельские суконщики могли останавливаться, показывать и продавать сукно только в особом рынке (так называемом Blackwell Hall); продажа должна была производиться еженедельно от полудня четверга до полудня субботы; притом купцы, среди которых упомянуты, в частности, «чужаки», т. е. иностранцы, не могли покупать у них иначе, как в этом здании и в назначенное время; наказанием за нарушение этих правил служила во всех случаях конфискация сукна. Для надзора за их соблюдением городской совет в 1405 г. уполномочил компанию суконщиков выбирать ежегодно смотрителя здания.

Целью всех этих мер было—оградить интересы городского ремесла, но достигали они совсем противоположной цели. В мелкой борьбе против конкуренции на местных городских рынках суконные цехи из-за деревьев не видали леса: кажется, до наступления своего последнего часа они и не подозревали, что в образа скромного сельского ткача с ними борется тот самый могучий торговый капитал, на котором выросло и окрепло само суконное ткачество. Переход к деревенскому ремесленнику был ближайшим последствием ряда побед этого капитала, который, для Англии, отмечаются приведенными выше цифрами вывоза сукон. Узкий городской рынок имел то преимущество, что на нем размеры производства легко было высчитать и установить заранее, без риска большой ошибки. Весьма трудно было ожидать, чтобы местный потребитель стал себе шить вдруг по три пары платья, вместо одной—и совсем было невероятно, чтобы он стал ходить без платья. Но когда на сукно образовался такой же все-европейский рынок, как и на деньги, дело приняло совсем другой

вид: не только тогдашний купец, но и современный статистик не усчитал бы возможного спроса в разных углах Европы, среди самых разнообразных местных условий. Рынок потерял свою определенность; выбрасываемые на рынок товары шли с риском—не найти достаточного числа покупателей и остаться на складе; если не капиталистическому строю вообще, то началу крупной индустрии неизбежно свойственны *перепроизводство* и *кризисы*. Яркую картину такого кризиса даст нам одно современное описание английских волнений 1527 года. Разрыв Англии с Карлом V закрыл для английской торговли все области, принадлежавшие Габсбургам, т. е. пол-Европы. Оптовые склады были переполнены сукном, которое не находило сбыта. «Когда суконщики из Эссекса, Кента, Уилтшира, Сэффолька и других графств, где занимаются выделкой сукна, привезли сукна в Blackwell Hall в Лондон для продажи, как это они обыкновенно делали, то почти вовсе не нашлось купцов, желающих купить у них сукна. Суконщики, после того как им не удалось продать свои товары, стали отказывать в работе своим прядильщикам, чесальщикам, валяльщикам и другим, которые живут производством сукна, что вызвало сильный ропот в народе, особенно в Сэффольке». Правительство совершенно растерялось перед этими непривычными явлениями; кардинал Вольсей пытался заставить лондонских купцов покупать сукно, предлагал даже ссудить их казенными деньгами; члены тайного совета ездили по ткацким округам и уговаривали суконщиков продолжать производство. Само собою разумеется, что все это не помогло ни на минуту: кризис продолжался своим порядком, и местами дело дошло до возмущения безработных.

Большой рынок оказался очень неустойчивым и требовал от производства такой эластичности, какой цехи вовсе не обладали. Цеховой мастер, специализировавшийся на изготовлении сукна, не мог бросить дела, потому что сократился спрос на его фабрикат,—ему нечем было бы жить. Его положение было хуже даже положения современного фабричного пролетария во время безработицы, потому что теперешний рабочий, по большей части, может себе найти занятие в другом производстве, а цеховой, кроме сукна, ничего делать не мог. А купцу нужно было столько сукна, сколько требует в данный момент рынок,—не больше и не меньше. Ему нужен был поставщик, который мог бы сокращать, а, в случае надобности, и расширять свое производство в очень значительных размерах. Таким и был сельский ткач: он жил не одним промышленным трудом; у него было свое маленькое деревенское хозяйство—огород, кусок пашни, кое-какой скот. В случае надобности, он мог впроголодь перебиться во время кризиса; падала цена на сукно,—ему можно было сбавить плату, тогда как цеховые привыкли получать одно и то же при всяких условиях, и местами им удалось даже оформить эту привычку законодательным путем. Плата, какую получал французский ткач шелковых материй от скупщика за каждый кусок, была определена законом: случай, который показывает одновременно, как широко была распространена уже работа для оптового сбыта, а не для местного рынка,—и как плохо в то же время приспособлялась французская промышленность к новым условиям. У сельского ткача не могло быть таких претензий. Если, доведенный до крайности, он и бунтовал иногда, то невежественных крестьян в каком-нибудь медвежьем углу гораздо легче было усмирить, нежели лондонских «истинных сукноделов», которые умели найти дорогу к кардиналу Вольсею. Развивать сельское, внецеховое ткачество на счет цехового купцу-суконщику был прямой расчет, и он начал делать это уже давно, пользуясь средством, которое у него было всегда в

руках—кредитом. Он давал в долг сельскому ткачу и деньги, и шерсть, и инструменты,—с лихвой вознаграждая себя впоследствии на цене фабрикатов. Там, где прежде был один ткач, выросла целая деревня ткачей; в несколько десятилетий из деревень выросли целые округа,—и скоро большая часть вывозного сукна получалась уже из села, а не из города. Меры, которые принимали цехи на пользу своих интересов, на самом деле шли на пользу купеческому капиталу. Сосредоточивая сбыт сельской суконной промышленности на немногих крупных рынках, цехи еще усиливали ту монополию, какой, фактически, еще раньше пользовался оптовый торговец. Лондонская компания суконщиков уже в XIV в. пользовалась и юридически монополией на розничную продажу сукна в столице и ее пригородах: а мы видели, что Лондон был сделан одним из главных рынков для сельских ткачей. Правда, монополия оговорила, что оптом сельские суконщики могут продавать сукно всем подданным короля; но это было исключение в пользу других купцов, а никак не «всех подданных», потому что кто же стал бы покупать сукно оптом, кроме купца? Когда Англия начала вывозить шерстяные материи в большом количестве, командующее положение заняли купцы, взявшие в свои руки заграничную торговлю, уже к концу того же столетия составившие огромную компанию «странствующих торговцев» (Merchant Adventurers). «Компания эта,—говорит один старинный ее историк,—состояла из большого количества богатых и опытных купцов, живших в разных крупных сити, приморских городах и других местностях королевства, а именно: в Лондоне, Йорке, Нориче, Экзетере, Ипсвичи, Ньюкэстле, Гулле и др. Эти люди с давних пор сплотились и соединились в компанию для производства торговли и для мореплавания, торгуя сукном, каразей и всеми другими, как английскими, так и иностранными товарами, которые можно продать в чужих краях». Против такой концентрации капиталов не могли устоять местные ремесленные организации, и когда городские мастера-ткачи спохватились, начав хлопотать о полном запрещении сельского ткачества, дело было уже сделано. Они сами были уже разорены в конец и накануне того, чтобы попасть в кабалу к тем же купцам. «Акт о ткачах» тщетно вооружался против тех, кто «скупал станки и отдавал их на подержание за столь высокую плату, что бедные ремесленники не в состоянии содержать даже самих себя, не говоря уже о их женах и детях». Городской ремесленник, подобно сельскому, должен был кредитоваться у купца: торговый капитал доделывал последнюю часть своей задачи. Он сводил теперь цехового мастера к тому положению, в какое давно был поставлен сельский ткач-кустарь, к положению рабочей силы в руках крупного предпринимателя.

Так сложился, на заре новой истории, самый первобытный и, может быть, именно поэтому, самый прочный вид капиталистической промышленности, сложился постепенно и безшумно, далеко не вызвав к себе такого внимания, как современные его зарождению церковные споры. А между тем это была та же «Реформация», только в области народного хозяйства. Оставляя работнику-кустарю иллюзию самостоятельности, не соединяя массы рабочих под одну кровлю, не тратясь на машины и здания—капитал уже управлял сотнями тысяч людей, все благосостояние которых зависело не от погоды, как у средневекового земледельца, не от собственного труда, как у ремесленника раннего средневековья, не от привилегий, завоеванных вековой борьбой, как у цехового мастера средневековья позднего, а исключительно от положения рынка. Невольно бросается в глаза внешнее сходство системы домашнего производства с знакомою нам системой поместного хозяйства: и там, и

тут мы встречаем соединение мелкого хозяйства с крупною собственностью, работу сотен и тысяч отдельных крестьянских семейств на одного человека, в первом случае капиталиста, во втором—феодала сеньора. И там, и здесь полная «патриархальность» отношений, т. е. полный произвол, ограничиваемый однако на практике обычаем, и полное безучастие собственника к самому процессу производства: капиталист-скупщик может иногда и в глаза не видеть тех, кто на него работает. Домашнее производство—своего рода капиталистический феодализм, но феодализм совсем другой ступени экономического развития: большое средневековое имение работало только на своего барина, не заботясь о внешнем мире, деревня мелких производителей-кустарей трудится только для этого внешнего мира. Сходство лишь в том, что в обоих случаях сами работники получают меньше всех.

М. Покровский.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
LXXXII. Марсилий Падуанский и Вильгельм Оккам.....	3
LXXXIII. Джон Уиклифф.....	10
LXXXIV. Чешский реформатор Иоанн Гус.....	32
II.....	37
III.....	47
IV.....	55
LXXXV. Базельский собор.....	66
LXXXVI. Гуситы и Чешские братья.....	82
LXXXVII. Данте.....	90
LXXXVIII. Боккаччио и Чосер, как предшественники возрождения.....	107
I. Средние века накануне возрождения.....	107
II. Декамерон Боккаччио.....	114
III. Кентерберийские рассказы Чосера.....	130
LXXXIX. Греки в Италии и возрождение платоновской философии.....	158
LXXX. Макиавелли.....	178
LXXXI. Первое возрождение итальянской скульптуры и живописи.....	189
LXXXII. Начало книгопечатания.....	203
LXXXIII. Открытия португальцев в XV веке.....	219
LXXXIV. Христофор Колумб.....	228
1. Жизнь Колумба до 1492 года.....	228
2. Открытие Америки.....	235
а) Первое путешествие Колумба.....	235
б) Остальные три путешествия.....	240
LXXXV. Франческо Петрарка.....	246
I.....	246
II.....	249
III.....	255
IV.....	260
LXXXVI. Роджер Бэкон.....	270
LXXXVII. Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков.....	287
1. Разложение поместного хозяйства.....	287
2. Городское хозяйство.....	300
3. Цеховая промышленность.....	309
4. Средневековой капитализм.....	323